

индекс : 84471

ЗНАМЯ

ISSN 0130-1616

5/2013
май



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

В Ы Х О Д И Т с я н в а р я 1 9 3 1 г о д а

с о д е р ж а н и е

05/2013 май

- 3 Александр Кушнер. **Большое зеркало.** *Стихи*
- 8 Анатолий Курчаткин. **Чудо хождения по водам.** *Роман. Окончание*
- 71 Дмитрий Мельников. **Деда Глеба.** *Стихи*
- 74 Елена Комарова. **Синий чайник.** *Рассказ*
- 78 Сергей Тимофеев. **Маршевые роты.** *Стихи*
- 83 Маргарита Меклина. **Вместе со всеми.** *Рассказ*
- 93 Айгерим Тажи. **неспящий в тибете.** *Стихи*

Х Х в е к : р е т р о с п е к т и в а

- 97 Владимир Новохатко. **Белые вороны Политиздата**

м е м у а р ы

- 116 Анна Кузнецова (Гольдина). **Отчего люди не летают?**

с в и д е т е л ь с т в а

- 139 Игорь Мостинский. **Сороковые в Новоселках**

а р х и в ы

- 151 М.С. Петровых – А.Т. и М.И. Твардовские. **«Я очень не хочу, чтоб наш разговор прервался».** *Публикация В.А. и О.А. Твардовских*
- 159 Мирон Петровский. **Опыт комментария к одному письму**

п у б л и ц и с т и к а

- 162 Лев Симкин. **Упрямство духа**

к р и т и к а

- 174 Марк Липовецкий. **Пейзаж перед**

к р и т и к а – э т о к р и т и к и

- 190 Сергей Чупринин. Бывшие

п о м е н с л а т у р а

- 196 Алла Марченко. Слова и краски

ф о р у м

- 204 Татьяна Геворкян. «Друг – действие»
206 Сергей Боровиков. Письмо в редакцию

н а б л ю д а т е л ь

р е ц е н з и и

- 207 Э. Мороз. — Максим Осипов. Человек эпохи Возрождения
210 Татьяна Риздвенко. — Анна Аркатова. Прелесть в том
213 Дмитрий Володихин. — Александр Терехов. Немцы
216 Елена Зейферт. — Борис Рыжий. В кварталах дальних
и печальных... Избранная лирика. Роттердамский дневник.
Составление: Т. Бондарук, Н. Гордеева
219 Станислав Секретов. — Евгений Гришковец. Письма
к Андрею
222 Сергей Кормилов. — М.Л. Гаспаров. Филология
как нравственность. Статьи, интервью, заметки. О прошлом
и будущем. Об интеллигенции. О культуре. О школе. О
жизни. *Составление: А.М. Зотова*
225 Борис Фрезинский. — Ирма Кудрова. Прощание с морокой

д в а ж д ы

- 228 Анатолий Курчаткин
230 Геннадий Красухин
Евгений Сидоров. Записки из-под полы

в ы с т а в к а

- 232 Павел Лукьянов. Оранжевая меланхолия. Фотопроект
Кузьмы Вострикова. *Куратор Виталий Пацюков*

с п е к т а к л ь

- 235 Карен Степанян. «Р.Р.Р.» По мотивам романа
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
*Спектакль Театра им. Моссовета. Сценарий, постановка,
сценография и костюмы: Юрий Еремин*

н е з н а к о м ы й ж у р н а л

- 238 Ольга Степанянц. Персонаж: тексты о текстах (Уфа)

Александр Кушнер

Большое зеркало

* * *

Я. Гордину

Спорили, кто бы рискнул гладиаторский бой
В жизни увидеть хоть раз? Неужели Толстой?
Нет, разумеется. Дело при этом не в страхе.
Разве не помнил он ядра и сомкнутый строй,
Артиллерист, в лужах крови не вязнул и прахе?

А про Тургенева и говорить ни к чему.
Шарф на глаза — и подглядывать сквозь бахрому
Он, не надейся, не станет. Скорее, заплачет.
Помнишь, как он сплосовал в пароходном дыму?
Правда, и дым тот удушливым был и горячим.

Может быть, Чехов? Ведь ездил же на Сахалин!
Опытность — доблесть прозаика. Сколько ангин
Вылечил, колик, в холерной работал больнице.
Но в Колизей не пошёл бы! Смотреть, как один
Душит другого, а главное, оба — убийцы?

Кто же тогда? Ты кого-то имеешь в виду,
Только сказать не решаешься. Я отойду,
Чтоб невзначай не услышать любимое имя.
Он и в раю б не смутился, не дрогнул в аду,
Ну и тем более не растерялся бы в Риме.

И делибаш у него с казаком на виду
Гибнут у всех — и солдаты любят их ими.

* * *

Посмотрев на дела отца, неужели сын
Не смутился, увидев всех этих слепых, убогих,
Не подумал, за что они терпят — и ни один
Не возропщет, но кланяться будет пришельцу в ноги:
Вдруг он вылечит? Он и лечил их, а что ж отец,
Почему от рождения слепой должен быть незрячим

Об авторе | Александр Семенович Кушнер — лауреат премии «Поэт» (2005) и других литературных премий. Постоянный автор журнала «Знамя». Предыдущие публикации — № 2, 2011, № 4, 2012.

И не видеть ни облачка в небе, ни тех овец,
Что похожи на облачко? Смотрим на них — и плачем.

Почему не заплакал? Не задал простой вопрос,
В чём они провинились, безногие и хромы?
Можно ли проповедовать, требовать в царстве слёз
Исполнения заповедей? А ещё немые,
А ещё бесноватые... Крестных трёхдневных мук,
Может быть, маловато ввиду повседневной муки?
Не учить, а учиться у них! Это всё, мой друг,
Говорю я в слезах, — не из прихоти или скуки.

* * *

Оделся, вышел на мороз
Январской ночью. Не спалось.
Посёлок дачный льдом оброс
И вместе с ним — земная ось.

И в снежном бархате, в шелку
Была такая красота!
И вдруг увидел на снегу
Чужого белого кота.

Не испугался кот ничуть,
Сидел, уйти не захотел,
Во все глаза на Млечный путь,
На звёзды пышные глядел.

Не отступил, не отбежал,
Как будто звёздный видел сон,
И человека приглашал
Смотреть на них, как смотрит он.

* * *

Так, как если б меня уже не было,
Я вошёл в свою комнату, свет
Не включая, и рюмочки тремоло
Прозвучало, и скрипнул паркет.

Словно вещи меня ещё помнили,
Нет, обиделись, скажем точней,
И притворство моё не одобрили,
Не до призраков им и теней.

Что за игры? И стол без хозяина
Будет выброшен, вынесен шкаф.
Ждёт их горькая участь, окраина
Жизни, свалка, лишение прав.

И картинки как будто обижены
На стене, и торшер приуныл.
Свет зажгёт и сказал им, пристыженный:
Да не бойтесь вы: я пошутил.

* * *

Рембрандт Харменс ван Рейн сам себе наскучил:
Сколько можно смотреть на царя Давида
И несчастного Урию? Тёмный случай,
Ветхий мрак, непростительная обида.

Он ушёл бы куда-нибудь из музея,
Чтобы красно-багрового цвета горе
Отпустило его. Тяжела затея.
Знает Урия, что он погибнет вскоре.

И поэтому Рембрандт забыть обоих
Был бы рад, да нельзя: написал их слишком
Хорошо. Где-то облачно-голубое
Небо есть: как нужна ему передышка!

Выйти б на полчаса из густого мрака,
Петербургские башни увидеть, шпили,
Да не в силах он в сторону сделать шага,
Так они ненавидели и любили!

* * *

Цезарь Борджиа, дай мне немного яда,
Где он, в перстне узорном, в ларце скрипучем?
Мне его для себя, не для мщенья надо.
Мало ли что случится, — на всякий случай!

Это будет большое благодеянье
И хороший с твоей стороны поступок.
С белым воротом, в бархатном одеянье,
Ты-то знаешь, как слаб наш состав и хрупок.

Ты злодей, и сестричка твоя — злодейка.
Плохо вас воспитал благолепный папа.
Вообще мне не нравится вся семейка.
Нравится можжевеловая мне лапа.

Я люблю это небо, не беспокойся,
К шуму лиственный глубоко привязан,
Но в конце нас сомнительное геройство
Ждёт, беспомощность и унижение сразу.

Одиночество, дряхлость, потеря речи.
Кое-кто предпочёл бы паденье с крыши.
Если б смертному мраку пойти навстречу,
Как уходят в нору полевые мыши!

Безусловно, я разные слышал мненья,
Для меня большинство из них непригодны.
В отношении других это преступленье,
В отношении себя мы вполне свободны!

* * *

Проснёшься на цветах, петуньях и фиалках,
И бабочка лежит смуглянка под рукой,

Примятая тобой, тебе её не жалко?
У простынь вид теперь садово-полевой.

Как в голову пришло, кто первый вместо белой
Придумал простыню с рисунком полевым?
Наверное, назвать его идею смелой
Могли бы мы, да быть смешными не хотим.

И смелостью зовём великие свершенья,
Рискованный пример, опасные шаги,
А это что же, блажь, причуда, украшение,
Находка, милый вздор – какие пустяки!

Подумаешь, храбрец! Простынный Боттичелли,
Фабричный виртуоз, стотысячный тираж...
А всё-таки лежим с цветами на постели,
И бабочка всю ночь сон охраняет наш.

* * *

Вернём, — сказали боги, — Одиссея
На родину: придётся быть добрее,
Иначе он туда вернётся сам.
Придумать трудно что-нибудь смешнее,
И шутка эта так понятна нам!

О Господи, как гулки эти гроты,
Какие щели, каменные своды,
Циклопы, лотофаги, Полифем,
Тоска и страх, досадные просчёты,
Но дуб кипит и солнце светит всем!

Плыть за море, разить мечом троянца,
Боясь богов, сгорая от стыда,
Мрачнеть, но знать: и боги нас боятся.
Иначе можно только затеряться,
В Итаку не вернуться никогда!

* * *

Ну и что ж, что у Шекспира в пьесе
Из Вероны по морю плывут
До Милана, — этот мир чудесен,
Потому что ветром он продут,
И, смотри, расцвечен парусами
Даже там, где их в помине нет!
Пусть встаёт волна перед глазами,
Если моря требует сюжет.

Не идти ж ему в Адмиралтейство,
Не просить же карту показать.
То ли дело — правду от злодейства,
Как от суши хляби отличать.
Эрудит, глядящий исподлобья,
Зарываясь в пыльные тома,
Добивается правдоподобья,
Но не правды сердца и ума.

* * *

*Не друзей — приятелей зову я:
С ними лучше время проводить...*
М. Кузмин

Поделив знакомых на приятелей
И друзей и разницу меж ними
Объяснив, поэт своих читателей
Обманул: друзьями дорогими,
Очевидно, он считал зависящих
От него — и сам от них зависел,
Без него судьбы своей не мыслящих,
Требовал любви от них и писем.

И страной зелёной, тенью лиственной
Грезил над замёрзшею Невою.
Получается, что легкомыслие
Дорогой оплачено ценою,
Но стихи, стихи так увлекательны,
И твержу я их равнодушно,
Не умея друга от приятеля
Отличить, да это и не нужно.

* * *

Большое зеркало у нас висит напротив
Окна — и в зеркале том дерево шумит
В июньской зелени, в октябрьской позолоте,
Я, я — наверное, забывшись, говорит,
И вряд ли кажется ему таким уж диким
Местоимение, и первого лица
Стесняться незачем, а быть равновеликим
Себе так хочется и надо — до конца!

Шуметь — и радоваться собственному шуму,
Блестеть — и этот блеск бесхитростно дарить
Сидящим в комнате, удвоенную сумму
Листвы и в комнате, и во дворе хранить,
Казаться топчущейся во дворе толпою,
Так эти ясени подвижны и густы.
Я, я, — и в зеркале любит себя собою.
И, многоликому, я говорю: *ты, ты!*

Анатолий Курчаткин

Чудо хождения по водам

роман

16

И снова его вез «Мерседес». Только на этот раз вместо директора по связям на сиденье рядом топырился с молчаливо-неприступным видом охранник в черном костюме и, само собой, при галстуке, с переднего сиденья высовывал из-за спинки розово светящееся на солнце ухо еще один охранник.

О базе отдыха для топ-менеджеров В., естественно, как и все на заводе, слышал, но даже не знал, где она находится. Случалось, в обеденный перерыв, уже после того, как покончено с горячим, за стаканом компота-киселя-морса, или в курилке разговор о базе заходил, — В. в этих обсуждениях не участвовал: не интересовала его таинственная база. Он не VIP-персона, что ему и думать о ней. Но сейчас В. внимательно следил, куда его вез «Мерседес».

Дорога, по которой выехали из города, была ему известна. И была известна дорога, на которую свернули. Но потом свернули еще, нырнули в лес, по сторонам шоссе замелькали названия деревень и деревенок, которые ни о чем не говорили его памяти, и В. потерял ориентацию. Однако, когда сворачивали в очередной раз, за окном проплыл указатель с названием озера, легендарно гремевшего на всю округу, не рукотворного, а созданного самой природой, огромного — не чета Запрудному, — удаленного от всех промышленных предприятий, воду из него, по слухам, можно было пить без всякой очистки. В детстве, помнил В., он там однажды был с родителями на пикнике. Тот пикник, устроенный заводским профсоюзом родителей, прекрасно запомнился В.: ехали и ехали разбитыми грунтовыми, автобус переваливался с боку на бок на колдобинах, крикая рессорами, — сомнительное удовольствие, недовольно переговаривались вокруг взрослые. Теперь же дорога была — бархатный асфальт, с отчетливой, как вчера нанесенной разметкой — будто для оживленного движения. На озеро между тем, гласило сарафанное радио, попасть стало совсем невозможно. Согласно все тем же слухам в его окрестностях построили некий секретный объект — к нему, должно быть, и вела эта бархатная дорога, — обнесли колючкой на бетонных столбах, установили КПП, без пропуска нечего и соваться. Туда едем, указав на стрелу с названием озера, решил В. уточнить у охранников. Но те только с суровой досадливостью посмотрели на него, словно он совершил нечто предосудительное, и ничего не ответили.

Впрочем, недолго уже оставалось В. пребывать в неведении. Еще несколько минут — и дорога, прямо посередине леса, перегородилась двустворчатыми, выкрашенными наискось в красно-белые цвета шлагбаума воротами, на обочи-

не бодрым скворечником торчал бетонный дом-будка, и от него к машине, покачиваясь, неторопливо поплыл человек в черно-зеленом леопардовом раскрасе. А там, спустя еще недолгое время, лес расступился, и открылось размашистое голубое пространство воды, отражающее ослепленное солнцем небо — озеро это было, оно, то самое. А из залихватски кудрявившейся, словно нынешняя жара была ей нипочем, зелени берегов выглядывали то стеной, то крышей, то частью фасада, то торцом и двух-, и трех-, и четырехэтажные дома, иные напоминающая своим обликом замок. Качались у причалов катера, лодки, яхты, два белоснежных быстроходных катера, держась рядом, тянули вдоль озера набегающие друг на друга усы. Секретный был объект, секретнейший, секретней некуда.

На базе отдыха В. уже ждали. База явилась взгляду хороводом двухэтажных особняков, вправленных в природу столь искусно, что, похоже, при строительстве не погибло ни одного дерева, ни одного кустика за пределами фундамента. Машина обогнула большую, ярко полыхающую цветами клумбу на круглой площадке, остановилась перед одним из особняков — на крыльце стояли трое: тщательно подстриженный молодой мужчина в ярко-зеленом смокинге, несмотря на жару, кудлатая и терпко накрашенная немолодая женщина, тоже, несмотря на жару, в деловом костюме и тоже ярко-зеленого цвета, а также, держась позади них, непонятного возраста таджик с испуганными глазами, сожженный годами предыдущей жизни у себя на родине до кофейного негритянского глянца, в серо-голубом, похожем на спецовку, застегнутом под горло костюме, — и только В. выступил из кондиционерного рая «Мерседеса» в ад раскаленного солнцем открытого пространства, все трое тотчас посыпались по лестнице вниз навстречу ему.

— Здравствуйте! Здравствуйте! Как мы рады! Чудесно, что вы сюда! Вам здесь понравится! — толкаясь словами, как локтями, заверещали ярко-зеленые смокинг с деловым костюмом.

В. ошарашенно попятился. Он не ожидал такой встречи.

— А вещи, вещи ваши? В багажнике? Достать? — по-прежнему мешая друг другу, разом спросили ярко-зеленые.

— Да вот все. Вот только, — смущенно показал В. на белый полиэтиленовый пакет у себя в руках. — Тенниска там. Постирать бы и погладить. Можно как-то?

— Ой, непременно! — кудлатая в деловом костюме полыхнула подобострастием. Метнулась к В., и он принужден был благоразумно отдать ей пакет — а то бы она вырвала тот у него из рук. — В прачечную, — оборотившись на миг мегерой-начальницей, кем, надо полагать, и была, переметнула она пакет таджику, с цирковой ловкостью успевшему подхватить пакет, прежде чем сила притяжения бросит его на землю.

«Мерседес» за спиной с кошачьей неслышностью тронулся с места, покатил, огибая клумбу, и, увеличив скорость, исчез, увозя обратно в город неприветливых охранников.

— Прошу! — угодливо простер руку смокинг в сторону особняка, занявшего в их хороводе наиболее периферическое расположение. — Апартаменты готовы. Ждут вас. Проходите, отдыхайте.

— Если что, какие желания — мы к вашим услугам, — снова вся подобострастие, ни следа мегеры-начальницы, проворковала кудлатая в деловом костюме. — Захотите поесть — там у вас и в апартаментах найдете, а желаете в ресторане — сообщите минут за двадцать, будет и в ресторане...

— Да-да, спасибо, — не очень-то понимая, что они ему говорят, кивал В. Он стремился как можно скорее отделаться от них, остаться один.

Что в конце концов, даже и невольное, произошло. Привет, новая жизнь, вот ты и началась, что-то вроде такого прозвучало в В., когда он, оставшись один,

стоял с закрытыми глазами, подперев спиной закрывшуюся за ним массивную дверь «апартаментов».

Апартаменты представляли собой двухэтажную квартиру с гостиной, столовой и кухней на первом этаже, двумя спальнями на втором, ванной и туалетом, а из кухни в довершение ко всему наличествовал выход на застекленную веранду, с которой, через высокую двустворчатую дверь, можно было сразу попасть в объятия освоенной человеком природы — отсыпанные красноватой гравийной крошкой пешеходные дорожки утягивались под лиственным-хвойный полог надежными Ариадниными нитями.

— Vita nova! — горькой, как полынь, латынью вырвалось у В. вслух то, что звучало внутри. — О, vita nova!

Иронией он боролся с тоской, душившей его с такой лютой силой, — недовосставало воздуха, казалось, что задохнешься. Что ему было делать с этой новой жизнью, как устраиваться в ней?

Звонок мобильного телефона в кармане прозвучал начальными тактами сороковой симфонии Моцарта. На разбитом мобильном у В. был обычный звонок, и он даже не сразу понял, что это его телефон, заглядывался было по сторонам в поисках источника звука, и лишь вибрация, мелко защекотавшая ногу, напомнила ему, что он теперь обладатель крутого айфона.

— На месте, мне доложили? — раздался в трубке голос директора по связям. Ему не достало терпения дождаться ответа В., требовалось сразу взять быка за рога. — Доехал благополучно? Бодигарды расспросами не докучали?

— Не докучали, — отозвался В., вспоминая, как пытался задать вопрос охранникам и напоролся на досадливо-суровые взгляды.

— А как там на месте? Впечатлился? — Директор по связям радостно-заговорщически захохотал — будто подмигнул. У него не было сомнений в эффекте, который произвела на В. база отдыха. — Ты там не тушуйся. Что надо проси, требуй — они там для того и сидят, чтобы все желания удовлетворять. Бильярдные есть, бассейн... пардон, впрочем, — тут же пресекся он. После чего продолжил: — Корты в лесу для большого тенниса. Гулять пойдешь — увидишь. Не гулял еще?

— Не гулял, — сказал В.

— Ну вот пойдешь. Сегодня, может, компании еще не составится, а в субботу-воскресенье непременно будет. Еще, чтоб по мячу постучать, в очереди стоять придется.

— Едва ли, — ответствовал В. — Никогда в жизни не держал ракетки в руках.

— Вот в эту субботу-воскресенье и возьмешь, — будто веля ему, повторно помянул дни выходных директор по связям.

В. тотчас вспомнил, что завтра пятница — день, который бородач назначил крайним сроком для обнаружения человека с фотографии. А после того... что после того? Лучше тебе сейчас этого не знать, сказал бородач. И вот он в безопасности, в спецзоне, под охраной колючей проволоки, а жена — в их квартире, за хлипкой дверью, запертой на хлипкий замок, как на юру, без всякой защиты, что им взбредет в голову сотворить с ней, когда заявятся туда и обнаружат, что он исчез? Электрический ветерок озноба пробежал у В. по темени. Надо же, из-за этой открывшейся ему в студии гуру картины он ни разу за все время не подумал об опасности, которой подвергается жена, оставаясь в доме. Пусть она теперь ему лишь бывшая жена, но как так могло получиться, что не подумал ни разу? Какой стыд!

— Позвоните, пожалуйста, моей жене... — торопливо начал он и осекся. Это было еще поганей — увиливать от разговора с нею, когда речь шла о грозящей ей опасности. — Нет, не надо, — дал он отбой. — Я сам.

— Вот правильно, — одобрил директор по связям.

— Но если она будет спрашивать, как позвонить мне, не давайте ей номера этого телефона.

Директор по связям шумно выдохнул в трубку.

— Ваши дела, — сказал он. — Не давать, так не дам.

Разговор закончился. В. пооглядывался, обживаясь взглядом в своем новом пристанище. Оказывается, как прошел на кухню, так и находился здесь, слепо стоя перед дверью на веранду. Ему требовался стол. И стол, естественно, наличествовал. Круглый, с пластиковой кремовой столешницей, весьма небольшой — для утреннего скромного завтрака. Но для его надобности не имело значения, каких он размеров. В. сел за стол, положил перед собой черно-блестящую пластину айфона, разобрался в устройстве запора, скреплявшего крышку с корпусом, отомкнул ее, извлек сим-карту, вставил сим-карту от прежнего своего телефона, ввел код, чтобы айфон вновь ожил, и, не позволив себе отложить звонок и на мгновение, как прыгая с обрыва, набрал номер жены.

Какой радости слышать его, когда отозвалась на звонок, какой покаянности, какой непритворной тревоги был исполнен ее голос.

— Ты где? Ты что? Почему у тебя телефон отключен? — вскричала она. И ни тени упрека в голосе, ни малейшего намека на упрек, лишь радость, покаяние, тревога за него.

Но куда было деться от картины в студии гуру, стоявшей перед глазами? Отпихивал ее от себя, отворачивался от нее — и тут же вновь видел перед собой. Если бы не так, вживе — будто подсматривал за женой! — открылось ему это знание, если бы словесно: сообщением, известием...

— Я звоню тебе, чтобы предупредить, — не отвечая на ее вопросы, сказал он. — Нужно, чтобы ты оставила квартиру. Если еще не дома — не возвращайся. Если уже дома — возьми что необходимо и уезжай. Договорись с кем-то из подруг, пусть кто-то тебя приютит.

— Куда мне уезжать, зачем, что ты говоришь?! — закричала она. — Ты где? Почему ты пропал? Ты хочешь, чтобы я сошла с ума?!

— Тебе нужно исчезнуть из дома, — вновь, не отвечая на ее вопросы, повторил В. — Завтра срок, к которому я должен найти человека с фотографии. Завтра появятся те двое, что приходили ко мне. А может быть, не двое, может быть, десять человек их будет. Меня нет, а ты есть. Это опасно — оставаться дома. Ты поняла?

Жена обернула сказанное им против него с виртуозностью жонглера.

— Опасно! — воскликнула она. — Опасно, а ты меня бросил! Как ты смел меня бросить?! Мало ли что тебе напривиделось! Вот возвращайся — и вместе поедem куда придумаем.

Она оправилась от его вчерашнего обвинения, ее растерянность и ошеломление прошли, все отрицать — к такому, видимо, она пришла решению, и сейчас упорно реализовывала его. В. едва удерживал себя, чтобы изо всей силы не хватить подарком директора по связям о стол, отправив айфон следом за собственным телефоном.

— Я тебе сообщил. Больше мне нечего добавить, — произнес он. — Делай что сказал.

Разъединяясь, В. слышал, как трубка требовательно продолжает звучать ее голосом, но что она говорит, разобрать было уже нельзя.

В дверь позвонили, когда он еще возился с телефоном, меняя прежнюю сим-карту на нынешнюю. Впрочем, «позвонили» — это было неточно. Что за нежный, деликатный звонок был установлен на входе, какой бесподобной вежливости и ласковости, — это не звонок протренькал, это протрепетали-пролепетали под ветерком еще полные свежей утренней росы лепестки розы.

Не без опаски, однако, отправлялся В к двери. Кому он мог здесь понадобиться?

На пороге за дверью стояла та кудлатая мегера-начальница в зеленом деловом костюме с шелковыми отворотами, что встречала его у центрального особняка базы. На ее старательно отремонтированном обильным макияжем, но все равно остававшемся нещадно помятым жизнью немолодом лице цвела улыбка такого благорасположения к В., словно он был ее потерявшимся в детстве и вот наконец обретенным младшим братом.

— А вот у меня к вам... Мне б надо... а можно мы к вам зайдем, не стоять чтоб тут? — не слишком складно, похоже на свою прическу — так же кудлато — начала она.

Что-то ей было нужно от него. В. внутри всего так и перекорежило. Оставьте меня, оставьте, оставьте, возопил он про себя.

— Да, заходите, — впуская ее, произнес он вслух.

Кудлатая, проскочив мимо него, не остановилась, а тотчас просквозила в гостиную, и В., закрыв дверь, не осталось ничего другого, как проследовать за ней. Картина, которую застал в гостиной, тотчас заставила его вспомнить утреннюю раблезианскую бабу на Запрудном и позавчерашнюю Угодницу в приемной директора по связям. Кудлатая стояла посередине гостиной на коленях, руки ее были простерты к нему жестом жадной мольбы:

— Осемени! — изверглось из кудлатой.

Некоторая привычка к бухающим перед ним на колени женщинам у В. уже успела возникнуть, но к подобным просьбам еще нет.

— Кого? Вас? — вырвалось у него с невольной бестактностью. — Вроде вам уже поздновато.

Но уязвленной кудлатая себя не почувствовала. Она лишь отчаянно замаха-ла руками:

— Не меня, нет. Дочь мою.

— И как вы представляете, я могу это сделать? — начиная приходить в себя, спросил В.

— А хоть как! Хоть как! — бурно отозвалась кудлатая. — Как получится! Никак понести не может. Никак! А уж за тридцатник полезло. Внушеньку-то как хочется! Или внучонка. Потетешкаться-то!

— Вы полагаете, оплодотворение может происходить бесконтактным путем, на расстоянии? — позволил себе подобие шутки В.

Кудлатая, опершись руками о пол, приохивая, принялась подниматься.

— А здесь она. Вот позову. Тут, за дверью. Стесняется. Сейчас я ее...

Боже, ужаснулся В. А не шути так, тут же осудил он себя.

— И что? — остановил он кудлатую, не дав ей броситься к двери. — Что, вы хотите, чтобы я с ней сделал? В постель с ней лег?

— А лучше б всего! — с радостной поспешностью согласилась кудлатая. — Чтобы наверняка. Главное, чтоб родила. Замуж уж не судьба, видно... так с каким мужиком как к сроку ни подгадывает — никак не тяжелеет. Никак, ну! У врачей обследовалась — врачи говорят, продуктивная, а никто осеменить не может! Никто!

В. чувствовал: ему не отделаться от кудлатой. Она была как репей. Отдерет ее от себя сейчас — проснется среди ночи, а она ему под бок подпихивает эту свою дочь. Достанет его не сегодня, так завтра.

— Ну, а она-то сама верит... — Он сбился, язык противился предстоящему слову «осеменить».

— Во что верит? — настороженно спросила кудлатая.

— Ну, что я... — В. снова не смог договорить.

Но кудлатая теперь поняла.

— Верит, еще как верит! — вскинулась она. — За дверью тут... дрожит вся!

— Зовите вашу дочь, — обреченно сказал В.

Дочь, влекомая за руку кудлатой, по-школьному тупила глаза и цвела розами во все лицо. За тридцать ей было уже очень хорошо, скорее ближе к «бабьему веку», чем к тридцати, похоже, сама кудлатая родила ее едва не в младенчестве. А впрочем, отнюдь не уродина, как можно было бы ожидать, что ей помешало устроить свою судьбу?

— Вы что, верите, я могу вам помочь? — спросил В., когда убежавшая глазами от его взгляда дочь кудлатой оказалась напротив него.

— А нет? — вскинула она глаза. Обдав В. таким страхом — он тотчас и без ее ответа все понял. Верила, верила. И сейчас испугалась не того, что не сможет, а того, что откажется помочь.

Но все же В. хотелось получить от нее ответ.

— Это я вас спрашиваю, — сказал он.

Губы у нее затряслись.

— Можете, так помогите. Другим помогаете... — Глаза ее снова прянули долу, пряча готовность ко всему в обмен на просимое.

И о, какие у нее были глаза! Никакой кротости, никакой смиренности, которые можно было бы предположить по пришибленному ее виду. Это были глаза откровенной шалавы, остающейся такою, несмотря даже на приближающийся «бабий век». Она была истинной дочерью своей матери, родившей ее в возрасте, когда сверстницы еще не забыли о куклах.

— Что же, раз верите... — Ставшим уже почти привычным движением В. воздел руки и возложил их на голову дочери кудлатой. — Раз верите, так все и будет.

— По вере вашей воздастся вам, — наставительно подала голос из-за плеча дочери кудлатая.

А ведь это из Евангелия, потрясенно осознал В. Не отдавая себе в том отчета, он произносил слова Христа!

— Ну да, — подтвердил В., с облегчением снимая руки с головы дочери кудлатой. — По вере.

17

Закрывая с чувством освобождения за кудлатой с ее шалавистой неюной дочерью двери, не знал В., что придется ему сегодня еще раз отбиваться от сходного требования, отбиваться — и вновь не отбиться.

Расположенный согласно сведениям пестрого проспекта, что В. обнаружил на журнальном столе в гостиной, в центральном особняке ресторан, готовый накрыть ему стол едва не в любое время дня и ночи, столько же прельщал, сколько и отвращал — фатальной неизбежностью угодить под созерцающие взгляды, а может быть, и неизбежностью разговоров, и запретительное чувство без особых усилий победило. Холодильник, как и обещала кудлатая, был полон съестного: всякими коробочками, скляночками, пакетами, — захоти он не выходить из своего обиталища, ему хватило бы еды на несколько дней. В. заварил чай, поужинал — творог таял во рту, сметана свежайшая, хлеб — на выбор несколько сортов. Все на базе, казалось, даже сам воздух был напоен деликатной заботой о комфортном и здоровом отдыхе топ-менеджера завода.

В. включил телевизор — и выключил, не дождавшись, когда засветится экран. Снова прошелся по всей квартире, поднялся на второй этаж, открыл в ванной воду, постоял, слушая звон ее струи о дно ванны, закрыл и спустился вниз.

На веранде, около дверей, ведущих на улицу, на бронзовом клюве суровой сказочной птицы — копии той, что в сауне гуру, — висели ключи. Прорези замков безропотно приняли их в себя, и так же безропотно поддались их повороту механизмы замков. В. открыл дверь и вышел на небольшое, под скворечниковой железной крышей крыльцо. Необработанный кондиционером горячий уличный воздух тотчас одел тело плотным, тугим корсетом. Ариаднины нити красновато-гравийных дорожек убегали в запечатанное для взгляда лесное пространство, обещая там обретение тайны, полной важного жизненного значения.

В. запер дверь, спустился по крыльцу, руки в карманы — руки в карманах создают ощущение внутренней свободы, — и направился к лесу. Походкой скорее дерганой и развинченной, чем хоть в малой степени целеустремленной, — никак не походкой независимого и свободного человека.

Углубившись в лес на пару десятков шагов, В. остановился и оглянулся. Оставленный с заднего хода особняк виднелся в лохматящемся ветвями проеме дорожки уже лишь частью канареечного цвета стены, и теперь, отсюда, хранилищем той самой, полной важного жизненного значения тайны казался он. Новый приступ грызущей тоски поднялся в В. и, расширяясь, закручиваясь, словно воронка, начал засасывать в себя; заори, замаши руками, выдираясь из этого круговорота, позови на помощь — кто услышит, кто поможет, как сумеет спасти? В. повернулся спиной к солнечному проему в зеленой гуще, вытащил руки из карманов и вдарил по шелковисто-шероховато хрустящей гравийной ленте с такой борзостью, словно за ним гнались и он уходил от погони.

Уйти, однако, далеко не пришлось. Сначала до слуха донеслись странные перемежающиеся равномерные звуки: один — как бы что-то легко, твердо и глухо лопалось, другой — что-то так же твердо, но увесисто шмякалось и шмякалось на некую резонирующую поверхность, — а там между деревьями забрезжил просвет, и В. понял, что это и есть помянутые директором по связям теннисные корты, а звуки, что слышит, — удары мяча. Только странно, почему они столь различны.

Кортов было два. Огороженные высокими металлическими сетками, со свежерасчерченными яркой белой краской, такого же красноватого цвета, как дорожка, полями, оба пустые, лишь в ближнем к В. метался, лупил о щит резво отскакивающий от поля желтый мяч упругий человек в белых шортах, белой тенниске, белой бейсболке на голове. Удар ракетки по мячу рождал звук, похожий на глухой хлопок, удар мяча о щит походил на смачный шлепок. Должно быть, теннисист, если и не был таким уж мастером, мог все же называться вполне ничего себе игроком — бил и бил по мячу, не теряя его, то приближался к щиту, то отходил едва не на середину поля, мяч послушно отскакивал туда, где он его уже ждал.

В. постоял, наблюдая издали, как облаченный в солнцезащитную одежду теннисист истязает себя, и двинулся по гравийной дорожке дальше. Дорожка, выведя к кортам, жалась к длинному борту короба, внутри которого теннисист вел диалог со стенкой. Сравнявшись с ним, В. вновь глянул в его сторону. И теннисист в этот миг, схватив, должно быть, периферическим зрением какое-то движение за кортом, тоже глянул в сторону В. Это был прежний начальник В. из заоблачной выси, глава департамента — юный Сулла. И юный Сулла также узнал В. Мяч отскочил от щита, ударился от земли — ракетка юного Суллы не устремилась к нему.

— Это вы! — воскликнул юный Сулла.

Ничего не оставалось В., как остановиться.

— Добрый вечер, — поклонился он, почувствовав, что сделал это с излишней почтительностью. Сознание того, что юный Сулла еще несколько дней на-

зад приходился ему начальником, да таким — истинно небожитель, было как родовая травма — не изжить.

— Рад видеть! Рад видеть! — заспешил к В. юный Сулла. Желтый шар мяча катился за его спиной по полю, докатился до сетки, делившей поле надвое, ткнулся в нее и замер. — Вы здесь! Здорово как! Составите мне компанию? А то никого нет, молочу сам с собой... ужас!

Это был совсем иной человек, чем тот, каким его знал В. по заводу. Никаких громоздких лат под легкой одеждой теннисиста, никакой давящей мерклости во взгляде, подобострастие и даже заискивание сквозили в его голосе. Если это и был Сулла, то поры своей бедности, совсем юный Сулла, мальчишка, подросток, еще и не помышляющий ни о каких проскрипциях, по одному поименованию в которых станут уничтожаться знатнейшие граждане Рима.

— Да я не умею в теннис, — сказал В. — Ни разу в жизни не держал ракетки в руках.

Поразительно: их разговор с директором по связям повторялся едва не буквально.

— Что ж такого, что не держали. Поучу вас. С удовольствием. Давайте-давайте! Воспользуйтесь ситуацией.

— Да я и не одет, — описал В. вокруг себя волнистую линию.

— А и ничего, не страшно. Я вам осторожно буду подавать, не придетсяособо бегать. — Сулла-подросток так и горел желанием угодить В. — Тут вот калитка, — дернулся он к углу, где сходились длинная и торцевая стороны короба, — я сейчас открою, заходите!

И В. уже было сломался, родовая травма была непреодолима, вильнул к калитке. Но звук отщелкнувшейся щеколды и бархатное пение петель прозвучали вдруг так оскорбительно, что все внутри В. словно взвилось. С какой стати ему брать в руки ракетку, когда это так нелепо: в штанах, в сандалиях вместо кедров.

— Нет, извините, я хочу прогуляться, — резко сказал он и быстро зашагал прочь, руки вынуты из карманов, чтобы помочь шагу их взмахом, чтобы скорее, скорее скрыться в спасительном лесу.

Спешащие шаги за собой он услышал, когда лес вокруг уже надежно сомкнул над ним ветви деревьев и В. уже не мчался на всех парах, и снова сунул руки в карманы, питая себя иллюзией свободы. Он повернулся — бывший его начальник, превратившийся в Суллу-подростка, был совсем близко, и по тому, как еще вскидывались его колени, широко взмахивали руки, было понятно, что он буквально мгновение назад перешел на шаг, а до того бежал.

— Стойте! — крикнул бывший его начальник, превратившийся в Суллу-подростка. И, не удержавшись, преодолел оставшееся между ними расстояние скорой трусцой. — Вы мне нужны, — выдохнул он, оказавшись около В. — Я в вас нуждаюсь. Мне нужно с вами поговорить. Я прошу вас. Пожалуйста.

Руки у В. извлеклись из карманов сами собой. Оставаться с руками в карманах, когда к тебе обращались с такими словами, — какую позу можно было придумать высокомернее? Хотя, говорили, юный Сулла принимал вызванных к нему на ковер, демонстративно шлифуя ногти пилкой, развалясь на кресле и нога на ногу.

— Да-да, конечно. Пожалуйста, Я к вашим услугам, — торопливо заприговаривал В., с ужасом предчувствуя, какого рода обращение предстоит сейчас выслушать. Только бы вот бывший начальник не пал перед ним на колени.

На колени бывший начальник не встал, напротив, интонация жалкой просительности жестко ошетибилась нотками, так знакомыми В. по совещаниям:

— Только вы должны мне пообещать, что никому, о чем я вам сейчас скажу... вы об этом не должны никому! Чтобы это лишь между нами!

— Разумеется, разумеется, — пообещал В. — Между нами.

— Нет, вы не поняли! Не «разумеется», а никому, никогда, ни в каких обстоятельствах! — Его бывшему начальнику было недостаточно простого обещания, ему требовалось от В. что-то вроде клятвы.

— Даже если станут пытаться, — сказал В.

Он произнес это без иронии, и его бывшему начальнику не осталось ничего иного, как посчитать это той самой клятвой.

— Видите ли... я... у меня... — начал он, взглядывая на В. и тотчас отводя от него глаза. Взглядывая вновь и вновь отводя. Страшно, страшно ему было открыться В.; собрался — и не получалось, решился — и не мог отважиться. — У нас с вами все же небольшая разница в возрасте... вы поймете... — пустился он уже совсем круговым путем — и воскликнул: — Нет! Не здесь! Не могу так. Пойдемте сядем. Немного тут. Недалеко.

— Да конечно же, — согласился В.

«Недалеко» бывшего начальника оказалось не фигурой речи — путь до места, где можно было сесть, не занял и двух минут. Через каких-то метров тридцать все так же уютно-шероховато шуршащая под ногами дорожка повернула, еще десяток метров — и глазам предстала беломраморная воздушно-ажурная чудесная беседка-ротонда. Все это время, как сделалось ясно лишь сейчас, дорожка незаметно-незаметно, но неуклонно поднималась вверх и привела их на площадку, с которой открывался такой вид, что и без всякой надобности хотелось зайти в беседку, опуститься на скамейку и предаться созерцанию. Склон холма, спускавшийся к озеру, был расчищен от кустарниковых зарослей, лишь редкие сосны, колоннами уходящие в небо, и озеро внизу было открыто взгляду всей своей просторной голубой чашей. Катера, что будоражили водную гладь, когда В. только приехал, стояли где-то на приколе, безмятежно гладкое полотно воды оживляло лишь зернышко лодки, весла, вскидываясь в воздух, взблескивали на стремящемся к горизонту солнце стеклянными каплями.

В. с бывшим начальником вошли в ротонду и сели на теплые деревянные скамьи.

— Видите ли, я к вам с просьбой, — глядя на озеро перед собой, выговорил его бывший начальник искусственно твердым голосом. — Но только между нами! — в один момент потеряв всякую твердость голоса, вскинулся он. Заискивающий Сулла-подросток вновь выметнулся из него.

— Да, между нами, — подтвердил В.

Губы Суллы-подростка сжимались, выворачивались наизнанку, показывая блестящую красную мякоть слизистой, его ломало, его корежило — он боролся с собой.

— Я знаю, вы это можете. Сотрудница из вашего отдела, ваша подчиненная... по телевизору она выступала... — сумел наконец начать он. — Я с нею разговаривал сегодня. Спрашивал у нее...

— Вызвали к себе? — не удержался В.

— А? — посмотрел на него Сулла-подросток. Вопрос В. достиг его слуха из другой вселенной. Но наконец он осознал вопрос: — Да, вызывал. И что?

— Нет, ничего. — В. удовлетворил свое любопытство. — И что она вам сообщила?

Нечаянный вопрос, которым он перебил своего бывшего начальника, вопреки опасению В., наоборот, помог тому. Сулла-подросток ощутил, что безразличен взрослому миру.

— Что с нею было, какая проблема, она мне не сообщила, — сказал он, глядя теперь в глаза В. — Но подтвердила все, что говорила по телевизору. Вы ей помогли. Можно сказать, мгновенно. Какие-то считанные часы — и все исчезло. Что у нее такое было? Следа не осталось!

— Вы в этом уверены? — спросил В. — Мало ли что девочка навообразила себе.

— С чего ей воображать? — перебил В. Сулла-подросток. — Нет, я ей верю. Незачем ей было выдумывать.

Вера, горевшая в глазах бывшего начальника, едва не обжигала. Это была вера подростка, который уповаet на могущество и всеислие взрослого мира, полностью вверяет ему себя и готов, подчиняясь его воле, на все: и жертвовать собой, и отнимать жизни других.

— Ладно, — проговорил В. — Хорошо. И что дальше?

На все, ко всему был готов Сулла-подросток, но и страшно было, все так же страшно — сделать первый шаг, как в пропасть ступить.

— Я ведь еще молодой! — вырвалось у него. — Я знаю, все у меня за спиной о том и талдычат: молодой, молодой, а на таком месте. Везунчик, выскочка, папенькин сынок... А я... я... я как старик! У меня с женщинами... я врачей облазил, чего только не предлагают... не получается, ничего не получается! Хоть какого возраста, даже с такими, в соку... иногда только — еле-еле, не пойми как... ничего, ничего!..

— Не встает? — решил В. помочь ему произнести то слово, вокруг которого его бывший начальник ходил кругами и никак не смел произнести.

— Ну, — глухо подтвердил тот.

Судорогой сострадания сотрясло В.: такой прыщавый, измученный безрезультатной борьбой с бесчисленными угрями жалкий подросток глянул на него воспаленными глазами. Как было сказать этому несчастному подростку, что взрослый мир не всеислен, что могущество взрослого мира — фикция, обман, как было отнять у него надежду?

— Все зависит от тебя самого, — неожиданно для себя перейдя на «ты», словно рядом с ним и в самом деле сидел несчастный прыщавый подросток, произнес В. — От твоей уверенности. Уверенность — от слова «вера». Веришь — и ты уверен. Всего-то лишь нужно: верить.

В жадности, с какой Сулла-подросток внимал его словам, была отчаянная готовность незамедлительно последовать любому повелению В.

— И что, все? — вырвалось из Суллы-подростка.

— Все, — подтвердил В.

Сулла-подросток смотрел на него взглядом, исполненным непонятной мольбы. Словно ждал от В. чего-то еще.

— Ты еще, она говорила, руки ей клал на голову, — запинаясь, выговорил он. Перейдя с В., как В. с ним, на «ты». Но, кажется, как и В., не отдавая себе в том отчета. Похоже, и не заметив того.

Руки на голову! В. подкинуло с места, он вскочил, подступил к Сулле-подростку. И, когда руки его оказались на темени бывшего начальника, тот с благодарной подростковой доверчивостью, полностью отдавая себя во власть В., ткнулся ему головой в живот.

В. выждал несколько мгновений и отстранил его от себя.

— Вот теперь совсем все, — сказал он. Стремительно шагнул из беседки и быстро, почти бегом полетел по коричневогравийной дорожке, не представляя, в какую сторону несут ноги: туда ли, куда шел до того, или обратно. Ему было важно оставить своего бывшего начальника. Уйти от него. Он чувствовал себя мошенником. Ему было стыдно за себя перед самим собой. Тем более перед Суллой-подростком.

18

Как странно, как неудобно ему спалось! Спал — и просыпался с чувством, словно не спал. Лежал, проснувшийся, в ночной зашторенной мгле под гундосое пение кондиционера, и такая свежесть была во всем теле — казалось, уже не заснуть. Казалось, что не заснуть, — и вновь просыпался, а значит, спал. И то ли что-то снилось, то ли вовсе не было никаких снов. Бывает ли так — чтобы снилась черная пустота? Вот так: полная темь перед глазами, и это — не отсутствие сновидения, а собственно сам сон?

День известил о своем явлении звонком в дверь. Тем самым — словно протрепетали полные свежей утренней росы лепестки розы.

Вчера этот звонок означал появление кудлатой с дочерью, и первая мысль, когда он вскочил с постели, была о них. Но на пороге стоял прокаленный солнцем отечества до африканского кофейного глянца таджик, которому кудлатая передала полиэтиленовый пакет с тенниской В.

— Доброе утро! Как спали? — с улыбкой несказанной радости произнес он на едва внятном русском, протягивая В. плечики с его постиранной и отутюженной тенниской. Он был в том же похожем на спецовку серо-голубом костюме, что вчера, и так жизнерадостно-бодр, что казалось, у него, как у какого-то андроида, и нет никакой человеческой потребности в сне.

В. поблагодарил таджика, попрощался — тот все стоял, сияя улыбкой, не смея двинуться с места, пока дверь полностью не закроется.

В ванной на століке около умывальника лежало несколько одноразовых бритв, из массивного толстостенного стакана торчали тюбики с кремами для бритья и после бритья, ярко-красно цвел в их компании запакованный в целлофан помазок. Готовясь к встрече, на базе позаботились не только о его желудке.

В. побрился, принял душ и, немного поколебавшись, не отправиться ли завтракать в ресторан, пришел к решению никуда не идти — холодильнику до исчерпания своих запасов было еще далеко. И лишь принявшись за завтрак, он осознал по-настоящему, что непонятно, как выбираться отсюда. «Мерседес» с охранниками, что привез его сюда накануне, должен был приехать сегодня за ним или это отнюдь не разумелось? Он не удосужился задуматься об этом раньше.

Его новый мобильный огласил кухню бессмертным Моцартом раньше, чем В. сумел обдумать свою ситуацию.

Никто, кроме директора по связям, по разумению В., не знал номера этого телефона, и, отвечая, он был уверен, что услышит его голос. Однако же это был не нынешний, это был его прежний начальник. И что существенно — совсем не вчерашний подросток ему звонил, о, совсем не он! Сулла, настоящий Сулла ему звонил, уже не юный даже, а Сулла возмужавший, зрелый — так звучал его голос.

— Едешь сегодня на работу? Или остаешься здесь на уик-энд? — спросил возмужавший Сулла. И это его обращение на «ты» было совсем не похоже на вчерашнее «ты» захлебывающегося отчаянием подростка. Это было «ты» Суллы, налившегося силой, который осознал свое могущество. Это был Сулла, который подпишет составленные им проскрипции, отнимающие имение и жизнь у самых достойных, с легкостью, с какой избавляются от докучливого комара, прищипывая его ладонью.

— Собирался поехать, — сказал В.

Ничего не успев добавить к этому, — Сулла возмужавший говорил уже снова:

— Тогда так. Машина за тобой сегодня приехать не может. Меня попросили, если поедешь, захватить тебя с собой. Через полчаса будешь готов?

Откуда был этот новый Сулла, что произошло за ночь?

— Буду готов через полчаса, — ответил В.

— Выходи через полчаса на улицу, подберу тебя, — предписал возмужавший Сулла.

Но когда В. сел в его «Ауди» и улицезрел своего бывшего начальника, он обнаружил, что получил по телефону лишь слабое представление о том, что являл собой вчерашний подросток. Презрительно-холодная властность была теперь оттиснута суровой печатью на лице его бывшего начальника, лежала отчетливым тавро на его осанке — как он сидел за рулем, какими движениями правил. Весь его облик был ступком безжалостной властной энергии — ежесекундной готовности попирать, сокрушать, уничтожать. Глубокой синевы тени обметали ему глаза, словно он всю ночь до изнеможения занимался тяжелым физическим трудом.

— Что с тобой случилось? — не удержался, спросил В. Язык просил «вы», но какое тут «вы», когда к тебе — «ты»?

Сулла возмужавший так резко вдавил педаль газа — будто всаживая шпоры в бока лошади, что rispetабельно-покладистая «Ауди», казалось, прыгнула вперед, вжав их в спинки сидений. Он глянул на В. Ликование победы пламенело в его взгляде.

— Двенадцать раз! — воскликнул он. — Всю ночь! Спал, может быть, часа два. Двенадцать раз, и подряд, подряд!

— Что двенадцать? Что подряд? — не поверил себе, правильно ли понял его, В.

— Что! То, — отозвался возмужавший Сулла. — О чем вчера говорили? «Будь уверен» — и на тебе! Она уже не может, а я еще и еще. Еще и еще!

Сулла возмужавший и в самом деле говорил о своей мужской силе! Вот с чем были связаны изменения в его облике, вот откуда были синяки под глазами. И что же, неужели причиной тому явилась их вчерашняя встреча?

— Видишь, все нормально, — пробормотал В., не зная, как еще откликнуться на сообщение бывшего начальника.

Но возмужавшему Сулле было мало такого отклика. Ликование победы рвалось из него раскупоренным шампанским.

— Тут одна есть, в обслуге работает, не первой свежести, но такая... формы, стать, глазами как брызнет! — переметывая взгляд с дороги на В. и обратно, продолжил он свои откровения. — Ты, наверно, мать ее видел, управляющей здесь, прическа у той клоками, не спутаешь ни с кем. В общем, выхожу вчера вечером из ресторана, и дочка эта, коза такая, бежит на меня. Как брызнула блядскими этими своими — у меня колом! А я ее и не касался! Всегда на нее облизывался, и она вроде всегда на меня стреляла... И двенадцать раз, двенадцать раз, всю ночь!

— Неужели считал? — по-прежнему не зная, как отвечать на это победное ликование, бросил В.

— Считал, — подтвердил возмужавший Сулла. — Моя тебе признательность. Невыразимо тебе благодарен. Но только... — Он правил машиной, будто вел легионы в наступление, а сейчас как дал им отмашку приготовиться к последнему решительному приказу. — Но только никому ничего! Никому ничего, я требую. Ни слова. Все между нами.

— Между нами, — согласно кивнул В.

До раскрашенных в цвета шлагбаума ворот посреди леса домчались во мгновение ока. А после ворот скорость, что развил возмужавший Сулла, стала уже чуть ли не сверхзвуковой, ему пришлось сосредоточиться на дороге, он замолчал, и В., получивший возможность отдыха, с облегчением откинулся затылком на подголовник, закрыл глаза.

Саднила, не отпускала мысль: если все происшедшее не случайность, если это и в самом деле связано с ним, В., то случайно ли бывшему начальнику попала на пути дочь кудлатой? Если не случайно, то, получается, нынешней ночью она понесла от возмужавшего Суллы?

Но кто ему мог дать ответ на этот вопрос? В. открыл глаза и, отрывая голову от подголовника, спросил:

— Ты предохранялся? — Хотя и знал, что ему ответит его бывший начальник.

Сулла, несмотря на сверхзвуковую скорость, стрельнул на В. взглядом:

— Еще чего! Удовольствие себе портить?

— А если у нее как раз дни, когда беременеют?

— Ее дело, — не отрываясь теперь от дороги, отвечивал возмужавший Сулла. — Она не возражала, так мне что же об этом думать.

— А если вдруг все же ребенок? — В. не мог так вот просто отцепиться от него.

— Ну, так уж сразу! — Пренебрежительность прозвучала в голосе возмужавшего Суллы. — Еще и доказать надо, от кого. А тебе что до этого? — Вот тут он повернул голову к В., ожидая его ответа, и мчащуюся по пустынной гудронке тяжелым снарядом машину тотчас повело в кювет.

— Смотри на дорогу! — крикнул В.

Возмужавший Сулла автоматически придавил тормоз, их бросило на ремнях вперед, и они оба немного не пробурили макушками лобовое стекло.

— Вот сейчас бы ни мне, ни тебе не было бы ни до чего дела, — сказал В.

— Не ссы! — выправляя машину, с кипящим азартом, как ведя легионы на приступ неприятельской крепости, возопил возмужавший Сулла. — Ништяк! Нам с тобой теперь ничего не страшно! Море по колено, и горы по пояс!

«Горы по пояс» — такое В. слышал впервые.

«Фольксваген» В. мирно стоял около заводууправления, там, где В. вчера его и оставил.

Возмужавший Сулла взлетел по крыльцу впереди В. и, уходя от него в отрыв, с верхней ступени бросил через плечо:

— Звони вечером, если буду нужен. Подвезу.

Мимо дежурного на вахте В. хотелось прошмыгнуть невидимым призраком, и странное дело — получилось: дежурный не обратил на него никакого внимания, словно В. отвел ему глаза.

Или отвел? Может быть, он мог, пожелав, и такое?

Директор по связям был уже в кабинете. Сидел за своим столом с заткнутым за ворот белоснежным жабо салфетки, с вилкой, с ножом в руках, повизгивал ими о фарфор тарелки, и запах, что растекался по кабинету, с непреложностью свидетельствовал о чем-то мясном, жареном и жирном.

— А? Каково? Видишь? — не отвечая на приветствие В., крикнул директор по связям. Воздел руку с вилкой, на которой приготовленным к жертвоприношению агнцем сидел отрезанный кусок мяса, и потряс ею. — Уписываю за обе щеки!

— Приятного аппетита, — пожелал В.

— Не понимаешь ничего?! — иерихонской трубой взревел директор по связям. — Сахар у меня нормальный! Без инсулина! Трескаю свинину, как молодой, и без инсулина!

— И что? — В. не понимал, что это значит.

— У меня сахар нормальный без всякого инсулина! Не кололся, а нормальный! Понятно теперь? — Счастливая улыбка, взбурлив, затопила лицо директора по связям полноводной рекой. Он сорвал с себя салфетку, швырнул на стол,

схватился за колеса, покатил, энергично работая руками, навстречу В. — Дай я тебя расцелую! Не могу, киплю весь! Без инсулина!

Директор по связям, не тормозя, накатил на В., поймать его за плечи пришлось В., для чего вынужден был наклониться, и директор по связям схватил В. в объятия, притянул к себе и мощно, взасос поцеловал в губы. Отвел от себя — и снова притянул, снова поцеловал.

— Да что вы... это уж слишком... и вообще... — прикладывая силу, чтобы вырваться из его рук, заприговаривал В. — Я же просто... это совпадение. Вы напрасно так, это безрассудно, вам следует быть осторожным с едой.

— А ты на что рядом? — громогласно спросил директор по связям. — Если что — подстрахуешь! Подстрахуешь?

— Если вы верите, — сказал В. — Я конечно.

— Я здесь специально сижу: тебя жду, — как отвечая на произнесенный вопрос В., пробурлил директор по связям. — Чтобы похвалиться перед тобой! Чтобы поблагодарить! Вот поблагодарил. — Он взялся за поручни колес и принялся разворачиваться. — Пойду доем. Не против?

— Не против, естественно, — ответил В.

— А ты и не имеешь права быть против. — Из гремющей бурными перекатами шумной реки лицо директора по связям сделалось суровым омшелым камнем. — Я твой начальник. Как я сказал, так и должно быть.

— Какое-то новое задание? — В. уже начал привыкать к манере директора по связям приступать к любому делу с иносказания.

— Новое! — Директор по связям хохотнул и покатил на свое место. Докатился, взял со стола брошенную салфетку, принялся прилаживать ее обратно к себе на грудь. Приладил и разомкнул суровые каменные уста вновь: — С главным бухгалтером знаком?

— Знаю главного бухгалтера. — Перед внутренним взором В. тотчас предстал мясистый писклявый человек в костюме, стоявшем целое состояние.

— Вот свяжись с ним, — распорядился директор по связям. — Там у него сегодня налоговая шебурашить будет, бумажки перебирать. Спроси, когда подойти. Посиди там. Просто посиди, вот как на переговорах вчера. Грешков-то у кого нет. Не надо же нам, чтобы нас, как за причинное место, за грешки наши взяли? Совсем не надо. Да ведь?

— Разумеется, — вынужден был ответить В.

— Ну вот. Давай, — благословил директор по связям. И, подняв с тарелки вилку с насаженным на нее жертвенным агнцем, отправил того в рот.

19

Часа два В. просидел в бухгалтерии, бессмысленно пялясь в монитор чужого компьютера на чужом столе и поглядывая на обосновавшихся за чужими компьютерами налоговиков, только в отличие от него шурующих в открывающихся им страницах документации с полной осмысленностью. Сидел, пялился и полагал, сидеть ему так и сидеть, может быть, и до конца дня, а то и не только сегодня. Однако эластично замаскировавшийся ляжку виброзвонок новый телефон разразился голосом барби-секретарши, и та передала ему просьбу директора по связям срочно вернуться на рабочее место. Срочно вернуться, повторял про себя В., с удовольствием выбираясь из-за стола и направляясь к выходу из бухгалтерии. Что бы это значило? Странно.

На межмаршевой площадке лестницы в компании все того же сотрудника своего сектора, с которым В. видел его здесь и раньше, стоял-курил коллега. Проскользнуть мимо него невидимым, как мимо дежурного на вахте, не удалось.

Коллега узрел его и, выставив руку с сигаретой подобием шлагбаума, незамедлительно заступил дорогу.

— Привет-привет! — произнес он. — Значит, решил по целительству ударить? Белым халатом закамуфлировать? Поможет, думаешь, камуфляж?

Следовало, наверно, молча отвести шлагбаум его руки и двигаться дальше, но память о том, как приходил к нему за помощью, пусть обрести ее и не удалось, была сильнее неприязни. В. остановился.

— Да ты сам-то веришь в эту ахиною с инопланетянами? — спросил он.

— А что же мне, верить, что ты Христос? — не убирая руки, спросил коллега.

— А я разве это утверждал?

— Вот-вот, Христос, тот тоже все околичностями говорил, и про себя в том числе, до сих пор эту шараду разгадывают.

— Хочешь сказать, он был инопланетянином? — Совсем не саркастично у В. это вышло, как хотелось, а тяжело, мрачно, почти с надрывом.

Коллега согнул шлагбаум в локте, сунул сигарету в рот, споро затянулся, и снова рука его превратилась в шлагбаум.

— Мне до него дела нет. Он когда был? Две тыщи лет назад. А ты — вот! Тебе сотрудничество предлагают, благополучную жизнь — лови шанс.

— Позволь. — В. тронул загораживающую ему путь руку коллеги. Тот, выжидательно глядя на В., не шелохнулся, и В. шагнул на его руку, повел в сторону. Соппротивление коллеги было чисто декоративным, особого усилия, чтобы сломить его, прилагать не пришлось.

— Смотри не пожалей! — крикнул коллега ему уже в спину. — Не будет тебе спокойной жизни. Бандюки голову не оторвут — разоблачим как врага земной цивилизации. Инопланетянам у нас тут не место. В зоопарк за решетку посадим. С табличкой на клетке. И детей смотреть на тебя водить станут, пальцем показывать!

Как если бы он вляпался со всего маха во что-то скользкое, липкое, заплесневелое — такое было чувство у В. Со всего маха, и руками, и лицом, и на губах — вкуч этой осклизло-засплесневелой гадости.

Отряхиваясь от нее подобно собаке, вылезшей из воды на берег, В. и вошел в приемную директора по связям. Барби-секретарша при его появлении вскочила со своего места, словно собираясь броситься к нему, но осеклась и, не издав ни звука, однако не отрывая от В. как бы встрепанного взгляда, опустила обратно.

— Что? — приостанавливаясь, спросил В.

Ничего, нет, ровным счетом, все так же молча — птичьим движением — подергала головой барби-секретарша. Встрепанный ее взгляд раскосматился, казалось, еще больше.

А ничего, так нечего так на меня смотреть, отозвался про себя В., открывая дверь в кабинет директора по связям и ступая в него. Ступил — и в тот же миг ему стало ясно, что выражал собой взгляд барби-секретарши. По кабинету с так хорошо уже знакомой В. бесцеремонной хозяйскостью прохаживались те двое из трехбуквенной аббревиатуры, что заявлялись к нему домой среди ночи после разъезда гостей — пасмурно-суровый младенческилицый и сизощекий со сжимающимися в нитку губами и шильчато-колющими глазами. Истинный же хозяин кабинета в его глубине за своим столом производил впечатление чужеродной личности, неизвестно как и на каком основании попавшей сюда. Казалось, он здесь только из милости, такое читалось во всей его позе.

— А вот и ты! — воскликнул директор по связям (совсем не с той громогласностью, что можно было бы ожидать), руки его заходили над колесами двумя мощными шатунами, и коляска одолела расстояние до двери, пронеслась со скоростью гоночного болида. — Нормально там? — спросил он, останавливаясь

возле В. Но не стал дожидаться его ответа. — Прервись, прервись, ничего! Побудут там без тебя. Побеседуй вот тут. Вы, знаю, знакомы. — Снова взметнул руки подобно шатунам, вильнул, огибая В., и направил себя в дверной проем, представляя кабинет в полное пользование своих хозяйствующих гостей.

— Ай-я-я-ай! — только за директором по связям закрылась дверь, укоризненно закачал головой младенческолицый. Пасмурно-суровое его лицо выразило горчайшее и ужас до чего непритворное сожаление. — Как же так? Жена разыскивает, волнуется, убивается, с ума, можно сказать, сходит, а он от нее бежит! Разве так можно?

— Что вам до моей жены? — угрюмо проговорил В. Он, как остановился, войдя, так все и стоял на том же месте.

— Что нам до вашей жены? — младенческолицый хотел изумиться, но на ходу передумал и вылепил на лице мину глубочайшего огорчения. — Как же иначе? Мы... ответственны за нее. Как и за вас. За вас обоих. Что это вообще такое: вам угрожают, а вы — будто мы к вам и не приходили, не обращаетесь к нам. А мы вам для чего телефоны свои оставляли? Чтобы в трудный час, в трудную минуту... не она должна нам была звонить, а вы!

— Давайте рассказывайте, — подал издали голос сизощекий. Отодвинул от стола для совещаний стул, сел и указал на стул напротив себя: — Садитесь. Кто на вас наезжал? Что за люди? Что хотели?

А в самом деле, как странно, думалось В., пока шел до указанного места, почему ему не пришло в голову обратиться к ним? Даже не представил себе это как вариант!

— А жена вам разве не рассказала? — спросил он, опустившись на стул.

Младенческолицый между тем проследовал за ним и, с грохотом двинув весь ряд стульев, сел рядом.

— Жена рассказала, — отозвался он, как огрызнулся. — Но нам желательно услышать вас. Из первых, так сказать, уст. Прежде чем прийти к какому-то заключению.

— И прежде чем реально что-то предпринимать, — позволил себе снова подать голос сизощекий.

А что же, а что же, прозвучало в В., пусть они. При их-то возможностях.

— Сегодня у меня крайний срок, — сказал он. — Такое мне выставлено условие. Я должен найти по фотографии человека...

И снова, уже в который раз, стало оживать в его памяти двухдневной давности происшествие, и снова он сидел, наслаждаясь тесным объятием воды, в ванной, снова, обмотавшись полотенцем, шаркал к двери на требовательный звонок, снова демонстрировал своим незванным гостям, как он сейчас ступит в воду, — и она, вместо того чтобы принять в себя, оттолкнет ногу, словно прозрачный твердый кристалл. А и другое, о чем не стал рассказывать своим нежеланным знакомцам из трехбуквенной аббревиатуры, оживало, расцветало попутно в памяти яркими ядовитыми цветами: поход к гуру в его свежееотремонтированный особняк, поход в подвал к коллеге, где тот обретался в качестве уфолога...

— Вот, собственно, все, — завершил он свой корявый рассказ, тотчас принимаясь гасить в себе разбуженные воспоминания. Хотелось немедленно загнать их так глубоко, чтобы от них остались торчать наружу одни макушки.

— И что это за человек, которого они просили вас найти? — с неожиданной живостью задал вопрос сизощекий.

— Понятия не имею, — ответил В.

— А где фотография? Фотографию дайте посмотреть! — с хищностью коршуна на зазевавшегося суслика, не давая опомниться, налетел на В. младенческолицый.

Не очень приятно было почувствовать себя этим сусликом. В. внутренне поежился.

— Нет фотографии. — Он зачем-то развел руками. словно этим жестом можно было придать своим словам убедительности.

— Куда же она делась? — Сизощекий всем видом выказал В. свое неверие ни его жестам, ни тем паче словам.

Пришлось объясняться. Сизощекий смотрел на В., как если бы В. был нашкодившим учеником, приведенным на выволочку к директору школы, а он тем самым директором, видящим шкоду насквозь и прозревающим любую ложь, которой шкода еще лишь собирается разразиться.

— Но куда же она не могла деться, — уронил сизощекий этим суровым прозорливым директором, когда нашкодивший ученик завершил свои объяснения. — Раз вы не видели ее после того, как держали в руках, значит, она где-то в квартире.

— Надо ехать ее искать! — тут как тут объявился со своим пониманием вещей младенческолицый.

— Надо ехать, — подтвердил сизощекий.

Странное дело, они проявляли больший интерес к фотографии, к тому, кто там изображен на ней, чем к той двоице, что заявлялась к нему.

Не хотелось, о, как не хотелось В., чтобы по его квартире шаталась эта парочка. Но вместе с тем — пусть порыщут. Может быть, у них собачий нюх, и обнаружат фотографию по запаху? Ко всему тому он все равно собирался сегодня заехать в квартиру, напихать в чемодан каких-то вещей, а при соглядатаях делать это или без них — все едино.

— Что ж, поехали, — согласился он. — Прямо сейчас?

— Не через век же, — осклабясь, выдал младенческолицый. Должно быть, ему помнилось это родом шутки.

В приемной у края стола барби-секретарши покорным кроликом сидел директор по связям и с тихой кротостью пил капучино из высокой толстостенной фаянсовой чашки, всей грубостью своего облика откровенно контрастировавшей с аристократичностью тех чашек, в которых подавался ему кофе в кабинет. Да-да, конечно, о чем разговор, понимающе откликнулся директор по связям на объяснения В., что должен сейчас отъехать с представителями трехбуквенной аббревиатуры по делам.

Не без замирания сердца открывал В. квартиру. Вдруг эта двоица из аббревиатуры в сговоре с женой, специально вытащили его сюда, и ему сейчас предстоит встреча, но нет: квартира встретила тишиной. Да и сизощекий с младенческолицым повели себя так, что мысль о возможном сговоре с женой тотчас отпала: едва вошли, тут же брызнули в разные стороны, стремительно обежали квартиру — и в самом деле напомнив собак-ищеек — и сошлись уже в комнате, где сидели с В. при прошлом их посещении квартиры.

— Давайте-давайте, припоминайте, когда вы держали в последний раз фотографию перед глазами, — стоя посреди комнаты с руками в карманах брюк, потребовал от В. сизощекий. — В комнате здесь? В прихожей? В ванной? Что делали при этом?

— Что при этом делал? — переспросил В. Смысл заданного вопроса не дошел до него. Он был оглушен. Он чувствовал себя пришедшим на пепелище. Это был его дом — и все это уже не было его домом. Следы поспешного бегства жены — разбросанная одежда, вываленная на стол многоцветной грудой косметика, извлеченные из потаенных мест и брошенные на полу сумки, полиэтиленовые пакеты разных размеров и мастей — как свидетельство их прежней, счастливой жизни — сообщали о том, что она все же вняла его увещанию и оставила квартиру.

— Ну? Когда, вам помнится, вы в последний раз видели фотографию? Где это было? — потормошил В. младенческолицый. — Где? Вспоминайте! Они ушли, вы дверь закрыли, и куда вы потом?

Ярко и отчетливо, словно некое голографическое изображение предстало перед глазами, В. увидел, как он, закрыв дверь за участковым с бородачом, направляется обратно в ванную, ступает в воду — и погружается в нее, и фотографии в руках у него уже нет, а только что еще была, точно была, в прихожей он ее не оставил.

— И куда же она могла исчезнуть? — нетерпеливо перехватил инициативу допроса сизощекий.

— Вы в ванной до того что делали? — бойко развил его вопрос младенческолицый. — Читали, говорите? Гоголя, да? И где у вас этот Гоголь был?

— В Гоголя своего вы фотографию положили, — совершил умозаключение сизощекий. Выдернул руки из карманов и провел указательным пальцем по верхней губе — с одной стороны от носа, с другой, словно разгладил несуществующие усы. — Где ваш Гоголь?

— Давайте сюда Гоголя! — не без восторга произнес младенческолицый. И от переизбытка чувств звучно хлопнул рукой об руку. После чего продемонстрировал знание классика: — А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!

Если не восторг, то нечто подобное изумленному восхищению испытывал и В. Теперь он ясно видел, как сунул полученную фотографию в томик Гоголя, полез с этим томиком в воду, обдав его еще веером брызг, и больше не раскрывал, а после поставил на место в книжном шкафу, где, надо думать, тот и стоял по сию пору. Сизощекий с младенческолицым были настоящие ищетки!

— Ну-ка, ну-ка! Дайте-дайте! — хищно потянулись оба к фотографии, когда В., открыв шкаф, извлек нужный том Гоголя, а из него и фотографию. Отобрали ее у В. и жадно впились в изображение.

— Вот ничего себе! — воскликнул потом младенческолицый, отстраняясь и выпуская из рук фотографию.

— Да уж, да уж.... — протянул сизощекий, и пальцы его тоже разжались — как если бы этот листок фотобумаги в один миг сделался неимоверно тяжел, — и фотография с сухим легким стуком легла на пол.

— Кто это? — Реакция их на фотографию была такова, что неизбежным образом заинтересовало наконец и В., кто же это изображен на ней.

Вместо ответа, однако, немного погодя получил вопрос он сам. И вопрос этот, не оставляя в том никаких сомнений, свидетельствовал, что вот теперь-то личности тех, кому понадобился человек с фотографии, их озаботили.

— Еще раз: кто к вам приходил? — спросил сизощекий. — Ваш участковый? И второй с ним кто?

— Вот второй-второй. Кто такой? — нажал младенческолицый.

— Откуда ж я знаю? — удивился В.

— Ну, обрисуйте, обрисуйте! — взвился младенческолицый.

Но у сизощекого уже родилось другое решение.

— Какой толк: обрисовывай, не обрисовывай, — осаживающе махнул он рукой. — Давай срочно участкового в разработку. Дальше увидим. — Шильчатые глаза его вонзились в В. — А вы оставайтесь здесь. Вещички собрать хотели? Вот собирайте. Ждите.

— Чего? — вырвалось у В.

— Чего-нибудь, — ответствовал младенческолицый. — Как мы сейчас вам скажем? Видите, как обстановка меняется. На глазах.

— Что мне здесь сидеть. Я на работу поеду, — сказал В. Ему вспомнилось, как он торчал в бухгалтерии, тупо пялясь в монитор с чужими, непонятными документами. — У меня там... обязанности.

— Да бога ради. Поезжайте. — Сизощекий вынул из него свои шила. — Обязанности надо справлять.

— Работа есть работа, работа есть всегда. Хватило б только пота... — пропел младенческолицый. Он был подкован не только в классике.

Никакого дела не было уже им до В.

Оставшись один, В. вернулся в комнату, где они только что были втроем, поднял с пола фотографию, взгляделся в гладко выбритое, с уплывающим к ушам вторым подбородком, бесцветно-невыразительное лицо изображенного на ней человека, впервые по-настоящему удивившись, что им так интересуются, и вдруг произошло странное, подобное тому, что в студии гуру: сквозь фотографию проступило другое лицо — его же, но не уплощенное навечно затвором фотоаппарата, а живое, в своем трехмерном объеме, со всей игрой мимических мышц: моргали веки, кривились, принимая в себя слегка потемневший от слюны кончик сигары, губы. Человек курил сигару, расположившись в шезлонге на просторной деревянной террасе, укрытой от солнца черепичным навесом плоской крыши, солнце косой узкой полосой лежало пока лишь на дальнем конце террасы, ему еще долго предстояло добираться до шезлонга. Человек был в холодящем, должно быть, тело золотисто-зеленом шелковом халате, схваченный небрежным узлом пояс распустился, полы халата на могучем животе разошлись, и в проем выглядывал бравый русоволосый лобок с топорщившимся под ним красноклювым воробушком. Нега и счастливая убагоготовленность читались во всей позе человека в шезлонге.

Открывшаяся картина была так отчетлива, так внятна в каждой своей детали, так реальна, что В. овеяло холодком потрясения. Но мало того: непостижимым образом таинственная оптика уменьшила взятый начально план, показав общий вид особняка с тенистой террасой, а там и озеро, на берегу которого, под тремя кучно растущими соснами, стоял особняк, и В. понял, что это за место. Это было то самое озеро, где он сейчас обитал сам. Только другой, противоположный его берег. Тот, который въяве он видел вчера издали.

20

Показалось ему или нет, когда грузил чемодан в багажник «Фольксвагена», что за редким дневным рядком машин на дворовой стоянке мелькнуло мясистое широкое лицо охранника с имперским орлом на груди? А впрочем, если и так. В. сейчас было все равно. Случившееся с ним четверть часа назад, когда взял в руки фотографию, заливало его холодным, ознобным огнем, он леденел, сгорал в нем, обугливался, обращался в прах. В. выгребал из гардероба вещи, напихивал чемодан, спускался по лестнице на улицу, — но он ли это был? Кто-то другой это был, его материальный двойник, он настоящий леденел, обугливался, обращаясь в прах, а праху какое дело до вещного мира?

В. сел за руль, тронулся, выехал на улицу, но нет, не на работу, как оповестил сизощекого с младенческолицым, он направлял машину. Никуда он ее не направлял — вот если совсем точно. Он даже не отдавал себе отчета, где едет, куда сворачивает. Просто жал на газ, просто рулил, и горела на светофоре стрелка свернуть направо — сворачивал направо, горела налево — сворачивал налево. Прямо-направо-налево-прямо — чтобы в конце концов упереться в тупик, дальше дороги нет, куда припоролись, господин инопланетянин?

В. сбросил газ, нажал на тормоз и огляделся. Дорога привела его не просто в тупик, а к храму. Увалистая, похожая на каменный сундук с куполами, двухэтажная белостенная церковь зияла выдвинутой вперед распахнутой дверью, словно раскрывшая ладонь в ожидании подаяния нищенка.

Сила, повлекшая В. выбраться из машины, была, казалось, вне его, а не в нем. Внутри в церкви оказалось совсем не так темно, как мнилось с залитой жарким полдненным солнцем улицы. Освещенные падавшим из окна где-то под потолком веселым рассеянным светом прохладные ступени вели вверх. Марш, другой — и В. оказался в просторном безлюдном притворе. Стояла пегая лаково-коричневая конторка, на ней такой же пегий деревянный ящичек, набитый разграфленными длинными листками бумаги, «За здоровье» и «За упокой» было написано на листках. Теснились шаткие стеллажи с рядами духовных книг, стойкой ресепшена широко разметнулся поблескивающий стеклом плоской витрины с иконами и крестами высокий прилавок, за которым, едва виднеясь макушкой головы в аккуратном белом платочке, бабочкой-капустницей сидела выцветшая чистая старушка, перекладывала из одного полотняного мешка в другой просфоры. «Что вам?» — с немым вопросом в выцветших глазах подняла она взгляд на В.

В. осознал: он не знает, что ему нужно. Вошел, поднялся... зачем? Хотя нет, понял он следом. Ему нужно здесь то же, за чем приходил к коллеге в его подвал. За чем к гуру жены в его особняк. Только если туда он приходил за конкретной помощью, то здесь он ни на что конкретное не рассчитывал. И туда он пришел своим выбором, сюда его привело.

— Кто-нибудь из священнослужителей есть? — спросил он.

— Батюшка-то? — отозвалась бабочка-капустница.

— Батюшка-батюшка, — подтвердил В.

Бабочка-капустница заволновалась в своем гнезде: привстала, поднялась в рост, оказавшись немногим выше прилавка, и вся потянулась куда-то за спину В. Она хотела услужить В., наилучшим образом разрешить его проблему, к которой, хотя и не ведала, что за проблема, вот так неожиданно оказалась причастна. В. невольно оглянулся. Притвор был пуст, воздух прозрачен.

— Отец настоятель в храме там. Посмотрите, кажется, еще не ушел, — разрешилось наконец ее волнение словами.

— Там, в храме... где? — В. удивился, куда его направляет заботливая капустница. Он полагал, что и без того в храме.

Пришлось просвещаться, что притвор — не храм, а собственно храм — это та центральная часть здания, где и проводятся службы, и оказалось, что вход в эту центральную часть как раз у него за спиной, с другой стороны лестницы, — вот почему капустница так заглядывала ему за спину.

— Креститься хотите? — с радостью соучастия, проникновенно заглянула капустница теперь ему в глаза.

— Да был когда-то в детстве крещен, — отозвался В. Нет же, не ради беседы с этой добросердечной капустницей влекло его сюда через полгорода.

— Ну вот поспешите, поспешите, а то закончилась служба, уйдет, — напутствовала его капустница.

Батюшка и в самом деле уходил. В. столкнулся с ним у самого входа в моленное пространство, и если бы не предупреждение капустницы, то упустил бы, не опознав в нем священника: батюшка был одет точно так, как сам В., в светлых летних брюках и легкой рубашке с коротким рукавом, только обильная седая борода и выдавала род его занятий. Он спешил и, мельком, без интереса глянув на В., собирался пронестись мимо, — В. заступил ему дорогу.

— Вы настоятель, я не ошибаюсь? — Некрасивым выкриком у него это вышло, лихорадочно, дерганно.

Батюшка, хотя на лице его и во всех движениях выразилось неудовольствие, остановился.

— Да-да, я, — откровенно против желания ответил он.

— Мне требуется поговорить с вами, — сказал В.

— Это срочно? — Не хотелось, нет, не хотелось отцу настоятельно останавливаться на всем бегу и разводить туры с незнакомым человеком. — Давайте позднее. Я часа через три вернусь, и перед службой, да? — Он ласково улыбнулся, ступил в сторону, собираясь уже бежать дальше, считая, что дело решено.

— Нет, мне нужно сейчас. — В. не мог откладывать разговора. Что там еще случится за три часа. — Я надеюсь, что ненадолго вас задержу.

— Слушаю вас, — словно вздохнув, произнес отец настоятель, делая шаг обратно к В. — Только в самом деле недолго.

Но как это все, чтобы не бестолково, с чего начать, какими словами, смятенным вихрем взвилось в В.

— Мне бы хотелось знать... — начал он. Нет, не то. — Видите ли, я... — При чем здесь «видите ли», возопил он про себя.

Священник нетерпеливо, однако с профессиональной выдержкой взирал на него. Надо полагать, косноязычие исповедников было ему вполне привычно. Только В. намеревался не исповедоваться.

— Вы, наверное, слышали об этом случае на Запрудном, — приступил В. к своему объяснению заново. Кажется, так было более верно. — Человек по воде... яко посуху. По телевизору еще все показывали.

— А, да-да, слышал, — священник оживился. — Прихожанка одна моя как раз там была, рассказывала. По телевизору тоже видел. И что?

— Мне нужно знать, как церковь относится ко всему этому, — поторопился ответить В. — Как вы конкретно?

— Никак, — священник равнодушно пожал плечами.

— Никак? — В. почувствовал, что вновь теряет обретенную было устойчивость и его сейчас опять понесет в косноязычие. — Почему же?

— А почему церковь должна к этому как-то особенно относиться? — На этот раз священник не пожимал плечами, но было ощущение, что пожал.

— Как же.... — Не ожидал, никак не ожидал В. подобного развития разговора. — Вы все же сталкиваетесь с такими вещами.

— Впервые в жизни, — с прежней короткостью отвечив священник. Но, видимо, потерянное лицо В. заставило его ощутить неловкость. — А почему это вас так волнует? — спросил он.

Дышащая холодной мглой бездонная пропасть зияла у ног В. зажмурился — и так, с крепко смеженными веками, ступил вперед.

— Да это я и есть тот, кто по воде, — сказал он, внезапно охрипнув.

Впервые за время, что они разговаривали, в глазах священника возник интерес.

— А, вон что, — проговорил он. — Понятно теперь. И вы этим обескуражены. Еще бы. Кто бы ни был.

— Я не обескуражен! — воскликнул В. — У меня вся жизнь рухнула. Жил и... нет жизни! Я теперь все равно как в пустыне.

— Странно было бы, если бы по-другому, — отозвался священник.

В. летел, летел в клубящуюся холодной мглой пропасть, и не было ей дна.

— И еще я, судя по всему, — все так же охрипшим голосом сказал он, — могу исцелять. И вижу прошлое. И удаленное на расстояние. Ни с того ни с сего все это... Вдруг. Что это все значит, может церковь мне объяснить?

Священник внимал ему, как если бы В. повествовал о чем-то если и не обыденном, происходящем сплошь и рядом, то все же отнюдь не сверхъестественном, и что-то снисходительное сквозило в том интересе, что было загорелся в его глазах, когда В. *открылся*. Словно В. открылся в какой-то несущественной болячке, в не стоящем особого внимания проступке.

— Но только не ждите от меня чего-то похожего на научное объяснение, — произнес священник. — Понимаете?

— Конечно, конечно, — ничего пока на самом деле не понимая, поспешно подтвердил В.

Объемный, кругло раздутый, траченный черный портфель вдруг оказался в руках у священника. Священник ступил в сторону и поставил портфель на пол — словно освобождая себя от груза, который будет препятствовать ему сейчас в его объяснениях.

— Такое вам послано испытание, — развел он перед собой руками и, сведя их, переплел пальцы. — Испытание такое. Кому что, а вам эти способности. Кому болезнь посылается, кому нищета, кому бездомье, кому слава. И слава, да, тоже тяжелое испытание, испытание славой — о, страшная вещь. Не позавидуешь, на самом деле...

— Но это все обычное, житейское, это много кому дается! — едва не в отчаянии перебил его В. — А это... это же... — Он не мог найти подходящего слова.

— А может, это через вас — в поучение миру, — не обратив внимания на его восклицание, продолжил священник. — Или, опять же, в испытание. Может быть, и так. Не нам, людям, судить, мы не знаем. Вы, простите, крещены?

Второй раз за последние пять минут В. пришлось сообщать о своем детском крещении. Где-то годика в два, во время какой-то тяжелой его болезни, когда уже казалось... — история, что за пору детства и отрочества излагалась ему при случае тысячу и один раз.

— Но в церковь, я понимаю, не ходите? — более утвердительно, чем вопрошительно, осведомился священник.

— Не хожу, — подтвердил В.

— А как вы можете быть уверены, что это все вам от Бога, а не от дьявола?

— Может так быть? — выскочило из В. Тут же, впрочем, он поспешил добавить: — Это имеет значение?

— Вы же хотите объяснения, — сказал священник.

— А как различить? — не в силах уловить, куда клонится их разговор, недоуменно спросил В.

Священник расцепил переплетенные пальцы и снова развел руками. Казалось, он хочет признаться в своей беспомощности. Однако разверзшаяся пауза разрешилась словами, которых В. не ждал, но которые, едва прозвучали, осознались им именно теми, что требовались:

— А вы крестным знамением себя осенять пробовали? Перекреститься, иначе.

— Нет, не пробовал, — признался В.

— Давайте попробуем? — предложил священник, кивком головы приглашая В. пройти туда, откуда вышел несколько минут назад сам. И, не дожидаясь согласия В., двинулся к арочному проему в стене.

В. бросился следом. Священник ступал быстрым широким шагом, В. догнал его чуть ли в центре храма.

— Попробуем? — оборачиваясь к В., с ободряющей улыбкой повторил священник. — Крестились когда-нибудь? Умеете?

В. молча пожал плечами. Голос у него теперь пропал совсем. Нет, не крестился, не умею, хотел он выразить своим безгласым ответом.

— Сейчас научимся, — продолжая все так же ободряюще улыбаться, проговорил священник. — Складываем таким образом три перста, — вытянул он перед собой руку, сложив щепотью большой, указательный и средний пальцы, — другие два подгибаем — и осеняем себя крестным знамением. — Давайте-давайте, — понукал он В., — повторяйте за мной.

В. сложил, подогнул, вознес вслед за священником сложенные щепотью пальцы ко лбу.

— И вот, в присутствии святых икон, — повел священник другой рукой, указывая на иконостас, — произносите: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь, — спотыкаясь, но старательно, внятно каждое слово повторил за священником В. Впервые в жизни перекрестившись. Чувствуя, как некрасиво, коряво у него это вышло.

— Вот и отлично. Вот и все. А уж дальше как воля Божья будет, — необыкновенно радуясь, словно бизнесмен, провернувший исключительно выгодную операцию, заспешил священник двинуться к выходу. И подтолкнул В. раскрытой ладонью в спину. — Идемте, идемте. Мне пора, некогда мне совсем. В больницу мне нужно. Соборовать человека, причастить. Вдруг не успею. Непричастенным уйдет — какой грех на мне!

За этими словами они вышли в притвор, достигли сиротски стоявшего на полу портфеля, и священник поднял его.

— Так и что же... — запинаясь, выговорил В., — и все?

— И все, и все, — весело отозвался священник. — Живите с этим. А там как воля Божья будет. Как кривые, хромые, горбатые живут? Вот так и вы.

— Нет, подождите... — В. еще не мог прийти в себя, что-то вроде головокружения было у него. — По-вашему, это нечто вроде уродства? Типа горба?

Священник не считал нужным ответить на его вопрос.

— Давайте через три часа подходите, — быстро, уже на ходу, подлетая к лестнице и запуская себя по ней вниз, проговорил священник, — В. ничего не оставалось, как следовать за ним. — Тогда и продолжим разговор. Исповедуетесь, службу отстоите, а завтра причаститесь.

В. не был готов ответить согласием. Но и сказать «нет» не был готов. Ни к чему он не был готов.

— Может быть, подвезти вас до больницы? — спасательным кругом явилась к нему мысль.

— Спасибо, сам за рулем, — стремя себя впереди В. к распахнутой в ослепительный солнечный жар двери внизу, отказался священник.

Красная «Мазда» был автомобиль у священника. Взяла она с места с тою же резвостью, с какой ее владелец сбежал по храмовой лестнице. Сидя в своем «Фольксвагене», В. смотрел, как «Мазда» развернулась на площадке перед увалистым сундуком церкви и понеслась из тупика в тесный простор городского лабиринта.

Нужды спешить у самого В. не было. И, проводив взглядом священника, он еще добрый десяток минут сидел у себя в «Фольксвагене» не трогаясь. Глядел на раскрытую нищенской ладонью распахнутую дверь церкви и, чем дольше смотрел, тем внятнее становилось в нем ощущение, что эта нищенка, зазвав к себе, подала ему с такой щедростью, на какую больше нигде было рассчитывать. Может быть, подумал он, включая наконец двигатель, и вообще неслучайно привела его дорога в этот тупик?

Такая мысль пришла ему в голову. И странно было бы, если бы не пришла.

21

Барби-секретарша, когда вошел в приемную, снова взглянула на него тем востроженным взглядом, который, знал он уже, означал, что за дверью кабинета его поджидает встреча с неприятностью. Но спрашивать на этот раз он ни о чем не стал. Она бы не открылась ему, как и утром.

Он ступил в кабинет — и тайна ее взгляда тотчас перестала быть тайной. За столом для совещаний сидела, угощаясь капучино из парадного фарфора, жена.

Директор по связям напротив нее, судя по всему, наполнял ее уши байками анекдотического свойства — их отражение лежало благопристойным оживлением на лице жены. При появлении В. это выражение благопристойного оживления застыло, словно одев лицо в маску, а директор по связям, бурно заработав руками, мигом развернул свое кресло к В. Правда, навстречу ему не покатил.

— Заждались! — бурлящей лавой обрушилось на В. — Где тебя носит? Весь запас кофе, что был, перевели! И не связаться! Безобразие! На выговор в приказе нарываешься?

Он заговорщически подмигнул В., послал ему тайное сообщение: не продал ни в чем, и о новом телефоне тоже ни слова. А уж выговор в приказе — чистейшая бутафория.

— Помилосердствуйте, — отвечал В. директору по связям такой же бутафорией.

Директор по связям хохотнул — он получал удовольствие от плетения не имеющих особого смысла, невинных интриг:

— Прощу на первый раз! — И взялся за колеса, тронул себя потихоньку навстречу В., откровенно метя мимо него в дверь. — Вы тут поговорите, я понимаю, вам есть о чем. А я развеюсь пока. Странный денек! А? — обдал он В. новой порцией лавы, прокатывая мимо него.

— У меня теперь каждый день странный, — разворачиваясь следом за ним — больше для того, чтобы избавить себя от взгляда жены, — сказал В.

— Терпи, казак, атаманом будешь! — возгласил директор по связям.

Он выкатился из кабинета, дверь за ним закрылась, абсурдно было стоять к жене спиной и дальше, — В. повернулся. Но вовсе не за столом, на прежнем своем месте, оказалась жена. Она была тут, рядом, подобравшись с кошачьей неслышностью. И только он повернулся — руки ее неистово обвили вокруг него, она не приникла — впаялась в него всем телом, губы ее иступленно впились в его губы. Милый, дорогой, любимый, бесценный мой, оторвавшись от его губ, с жаркой отчаянностью закричала шепотом она ему в ухо, мой родной, мой хороший, мой лучший в мире! Это обман, морок, это тебе примнилось, ничего не было, я верна тебе, милый мой, верна, верна! Он пытался снять ее руки с себя, — ничего у него не получалось. Казалось, у нее не две руки, их десять, двадцать, она обвивала его ими, как вьюн намертво обвивает своими многочисленными слабыми усиками облюбованную опору, и вот его уже не отодрать от жертвы, он намертво прикреплен к ней, — если только перерезать стебель, лишив живых соков.

Но все же он отодрал ее от себя. Отодрал — по-другому не сказать. Мертвой хваткой сжал ее руки в запястьях и отвел от себя. Опустит, ты что, мне больно! Как ты со мной... так нельзя! — лицо ее исказилось гримасой жалобного негодования. Отпусти, сейчас же, суставы мне вывихнешь, не смей!.. Отпущу, если обещаешь держаться от меня на расстоянии, сказал он. Обещаю, как поклялась она.

Он отпустил — и в тот же миг вновь был весь обвит ее усиками, спеленут их цепким, мертвым обхватом; и полушки не стоило клятвенное обещание жены.

— Ты мой, мой! Ты не бросишь меня! Я люблю тебя, люблю тебя! И ты любишь меня, и нечего фокусничать! — Твердая уверенность в своем праве говорить ему эти слова, обвивать, облепливать своими хватками, цепкими усиками была в ней. — Хочешь меня?! — словно была жарко охвачена неодолимой страстью, неожиданно спросила она В. в самое ухо. Ее быстрый влажно-горячий язык остро сунулся ему в ушную раковину, обежал по кругу и выскользнул наружу, обдав В. помимо воли ознобом желанья. — Давай! Давай прямо сейчас! Прямо здесь! Никто не войдет! Пока сами не позовем! Хочешь на столе? Я тебе дам на этом столе! Я тебе буду женой-любовницей! Я тебе докажу! Вот прямо здесь, вот сейчас! — И влекла его своими двумя (или тремя?) десятками рук к столу

для совещаний, изловчилась распустить ему брючный ремень, расстегнуть кнопку на поясе, дернула вниз молнию. Но, расстегнув молнию, она решила подготовить и себя, рука ее оставила его, чтобы заняться собственной одеждой, и озноб вожделения, окативший В., стремительно сменился морозной ясностью отрезвления. У нее осталось лишь две руки, и сейчас, когда от одной из них он был свободен, ему не составило труда вновь отстранить ее от себя.

— Ты что?! — яростным шепотом возопила она. — Ты отказываешь мне? Ты отказываешься от меня?! Мерзавец! Отказывать женщине! Жене! Любящей!

— Ты мне не жена больше, я тебе уже говорил! — преодолевая ее сопротивление и ведя к двери, так же шепотом проблажил он. — Ты мне не жена, я тебе не муж! Все, прими это и начинай новую жизнь. Все!

— Ты бросаешь детей?! — возопила она теперь. — Ты понимаешь, что ты бросаешь детей?! Я не дам тебе с ними видаться! Никогда! Ни при каких условиях!

Чудная, должно быть, была картина, когда он появился с женой в приемной. Она — фурия из древнегреческих мифов, он — с распахнутой ширинкой съезжающих на бедра брюк, козлоногий сатир, волочащий свою жертву в укромное место. Барби-секретарша вскочила на ноги и застыла, выкатив кукольные глаза, директор по связям, снова занявший позицию у дальнего торца ее стола, схватился за колеса и дернулся было навстречу В. с женой, но тут же остановился и тоже застыл подобно секретарше.

— Он сошел с ума! Он спятил! Ему нужна врачебная помощь! — крикнула жена, апеллируя к директору по связям.

Директор по связям неуверенно вновь было толкнул себя вперед и вновь остановился.

— Врача! Ему нужно врача! Его нужно в больницу! — не оставила своих попыток докричаться до директора по связям жена.

Все так же стискивая ее руки в своих, В. заставил жену дойти до двери приемной, открыл и, выставив жену наружу, подпер дверь собой. Он опасался, что жена станет рваться обратно. «Пожалеешь, ты пожалеешь, ты очень обо всем пожалеешь!» — звучал в ушах защемленный на полуслове дверью ее яростный шепот. Он постоял-постоял, прислушиваясь к звукам в коридоре, все было тихо, и В. оторвал себя от двери.

Устремленные на него взгляды барби-секретарши и директора по связям были полны бесстыдного любопытства.

— Что, — угрюмо выдавил из себя В., — семейных сцен не видели? У самих ничего подобного не случилось? — Он вжикнул молнией, застегнул пуговицу, застегнул ремень. Мне в бухгалтерию возвращаться? — обращаясь лишь к директору по связям, спросил он.

— Без необходимости! — Директор по связям так и взбурлил. Все же ему было радостно вернуться к понятным и по-настоящему интересным ему делам службы. — Поколупались-поколупались, как ты ушел, еще минут двадцать, подхватились — и фюйт! Ну будто ты их за собой увел. И никаких претензий. Ни малейших! Акт составили — чистейший кристалл. Через двадцать минут после тебя! А собирались на несколько дней с проверкой зарядиться. И какие угрозы были!

— Не уводил я никого, — буркнул В. — И в мыслях такого не было.

— А я разве утверждал, что увел? — Директор по связям заговорщически посмотрел на барби-секретаршу, словно призвал ее в свидетели. — Я сказал: «будто»!

— Вы, наверное, не отдавали себе отчета в своих мыслях, — послушно поддержала начальника барби-секретарша. — А желание такое было.

Безапелляционность ее замечания оказалась неприятна В.

— Да вы, я вижу, лучше меня знаете о моих желаниях.

— Ладно, ладно, — тоном доброго дядюшки, увещающего не в меру расшалившихся племянников, произнес директор по связям. — Как бы то ни было, все разрешилось наилучшим образом. — Многозначительная, исполненная сурового смысла пауза последовала за его итожащими словами. — А закажи-ка нам сюда из буфета обед, — посмотрел он на барби-секретаршу. От доброго, снисходительного дядюшки не осталось и следа. — Проголодались. Уж обеденное время заканчивается. Проголодался? — устремил он начальственно-покровительственный взгляд на В. — Пообедаем?

В. был не против. И в самом деле уже смерть как хотелось есть. А идти в общую столовую, где на тебя все будут пялиться, — невелико удовольствие.

— Пообедаем, — согласился он.

Барби-секретарша, мгновенно, только директор по связям обернулся начальником, из равноправного душевного собеседника сделавшая его верным цепным псом, уже тюкала нежными кроваво-красными пальчиками по кнопкам селекторного пульта, набирала нужный номер.

— Пойдем-пойдем, — позвал В. директор по связям.

Вкатившись впереди В., он, не останавливаясь, сразу промахнул кабинет до своего стола, но не расположился за ним, а подкатил к неприметной двери, что вела в комнату отдыха. И, там лишь остановившись, оглянулся на В., поманил его пальцем: сюда, ко мне! Дождался, когда В. приблизится, и растворил дверь:

— Давай заходи.

И тут, когда барби-секретарша вкатила к ним на сервировочном столике доставленный из топ-менеджерского буфета обед — обжигающую руки, курящуюся из отверстия для половника витою лентой горячего парка супницу, крутобокие толстостенные горшочки с жарким, грандиозного размера салатницу под прозрачной крышкой, доверху наполненную крабово-овощным салатом, в обрамлении стопок глубоких и мелких тарелок, завернутых в льняные салфетки столовых приборов, тонко позванивающих о кувшин с клюквенным морсом хрустальных стаканов, — когда расположились за обширным обеденно-журнальным столом на мягких циклопических креслах, когда оба рассолодели от еды и в желудок вслед поглощенным яствам взбадривающим морозным ожогом потекло фруктовое мороженое, В. неожиданно почувствовал, что его разрывает от потребности исповедаться. Ему нестерпимо захотелось открыться директору по связям в тайне своих отношений с этой двоицей из трехбуквенной аббревиатуры. Как если бы что-то чесалось внутри него, зудело и вытерпеть было невозможно. Рука у В. нырнула в карман брюк и извлекла наружу фотографию того неизвестного, за которым так яростно охотился бородатый. Фотография в кармане помялась, края завернулись, через одну из щек у мужчины прошел залом — словно шрам иссек его сытое, наеденное лицо.

— Вот, — перегнувшись через стол, протянул В. фотографию директору по связям. — Разыскивается некто. Очень хочется людям его найти.

Директор по связям взял фотографию, утвердил на ладони, поискал, то отводя ее от глаз, то приближая, наилучшее положение для созерцания и наконец сосредоточил взгляд на запечатленном лице. Когда же он поднял от фотографии взгляд на В. снова, это был взгляд человека, только что испытывавшего шок.

— И что? Почему? — спросил он.

— Что «почему»? — переспросил В.

— Да ты что, не знаешь, что ли, кто это? — изумление в голосе директора по связям перекрывалось почтением.

— Кто? — спросил В. без всякого энтузиазма. Ему не было дела, кто это на снимке. Ну, украл у кого-то деньги, и большие, что-то вроде такого говорил тог-

да бородач. Обещая, что в случае обнаружения человека с фотографии будет вознаграждение и ему, В.

Директору по связям все не верилось, что В. неизвестно, чью фотографию изломал в кармане.

— Не слышал, кто у нас губернатора должен сменить?

— А у нас старый губернатор уходит? — В. впервые слышал об этом. Незачем ему было знать это. — Срок закончился?

— Так уж хватит, насиделся, сколько можно! — Непонятно к кому относилось возмущение директора по связям — к губернатору ли, который слишком долго занимает свою должность, к В. ли, которому ничего не известно о грядущем событии столь чрезвычайной важности.

— И что же, должен на его место? — указал В. на фотографию в руке директора по связям.

— Никто другой! — воскликнул директор по связям. — Другой кандидатуры нет, вот только оттуда, — он с тем значением, когда имеются в виду самые ледяные вершины власти, ткнул пальцем вверх, — спускается соответствующая бумага нашим законодателям — они тот же миг голосуют, как следует. Вопрос решен, обсуждению не подлежит.

— Зачем же он прячется? — Недоумение В. было ярко оттенено досадой. Все же именно то, что этот будущий хозяин губернии лег на дно, как подводная лодка, послужило причиной его, В., злключения.

— Прячется-то? — Директор по связям наконец рассмотрел на лик будущего хозяина губернии и вернул фотографию В. — А не хочет отдавать кому должен. Сейчас-то еще, пока дело не решено, насест на него можно, а потом... потом не подступишься: охрана, спецсвязь, «мерс» бронированный. Проходимец, ох, проходимец! — Откровенные восхищение и зависть звучными колокольцами прозвенели в его голосе. — Хитер — как сто лис из басни. Загорает сейчас где-нибудь за тридевять земель на Сейшелах...

Что толкнуло В. в бок, кто потянул за язык? Его вдруг преисполнило неукротимым самодовольством от своего знания.

— А вот и нет! — вырвалось у него. — Не на Сейшелах.

— А где же? — недоверчиво спросил директор по связям.

И что было В. не остановиться, не укоротить язык, не перевести в шутку свое хвастовство? — нет, не остановился; самодовольство распирало его или тому причиной был отягощенный сытным обедом желудок?

— А вот там же, где база отдыха, на которой я нынче ночевал, — сказал он. — Только на другом берегу. Такой особнячок красного кирпича под тремя соснами. Вот там.

И отделил, довольный, от искрящегося колючим льдом цветного шарика целую ложку мороженого и с наслаждением отправил в рот.

— Откуда знаешь? — с тою же недоверчивостью спросил директор по связям.

— Увидел.

— Как увидел?

Самодовольство необъяснимо продолжало распиравать В. — словно то был не он, кто-то другой в нем; но кто другой? — он это был, он!

— У вас сахар в норме? — спросил он в ответ на вопрос директора по связям.

— В норме, тьфу-тьфу, — отозвался директор по связям. — Как раз перед тем, как твоей жене прийти, проверял. Иначе бы я так не лопал.

— Ну вот, — тоном разъяснения отвечал В.

Директор по связям несколько мгновений напряженно смотрел на него, потом его подвижное, выразительное лицо ожило, и он закивал с пониманием:

— Ага, ага! Вот так. Под тремя соснами?

Как сквозняком продуло у В. в голове, — он осознал: не следовало открываться директору по связям. Не следовало, не следовало! Но что теперь оставалось делать, куда деться? — и он подтвердил:

— Под тремя.

Фруктовое мороженое, нечего и говорить, было настоящим спасением после того обильного обеда, что лежал в желудке. Каждая ложка его приносила облегчение. Правда, лишь телу. На душе же сделалось так погано — невыразимо. Словно какую-то чудовищную гадость скормил душе.

22

Река машин, пожирая пространство, текла по асфальтовому руслу шоссе на зеленый простор из бетонной теснины города. Что за день пятница, последний рабочий день недели! Ради этого славного дня, в предвкушении двух других, когда ты сам хозяин своей жизни, ее полновластный собственник и распорядитель, можно и потомиться в пробках, наслушаться до одури новостей по радио, которые у всех станций одни, так что переходи со станции на другую — все равно что и не переходил. В., впрочем, ехал без радио. Включил было — и уже спустя минуту выключил. Диктор заговорил о нем. Что именно сообщал диктор — слух его не успел схватить. Услышал свое имя — и рука тут же ударила по красной кнопке. Он даже не успел отдать себе отчета, что делает.

В. ехал сегодня на базу отдыха заводского топ-менеджмента на своем «Фольксвагене». И без компании охранников. Ни «Мерседеса», ни охранников предоставить ему сегодня завод не мог. Пятница! И все «Мерседесы», и все охранники требовались сегодня более существенным персонам. Чему В. был только рад: воспоминание о вчерашней поездке с недоуменно-презрительными телохранителями до сих пор сидело в нем саднящей занозой. И еще вопрос, стал бы кто-нибудь из этих бодигардов, защищая его тело, рисковать своим.

В какой-то миг, когда изнывал в очередной пробке, В. показалось, что видит у себя сзади замызганно-замусоленный, будто с весны его ни разу не мыли, похожий на облезлого голодного волчару джип, не джип — джипяру, уже довольно давно. Сворачивал с улицы на улицу, перестраивался из ряда в ряд, а этот волчара как появился, так и не отлипал. Чтобы с такой буквальностью совпадали их маршрут и все перемещения на дороге?! Невероятно.

На светофоре джип встал за В. совсем впрытик. Словно не хотел дать никому другому ни малейшего шанса вклиниться между собой и «Фольксвагеном». В. отстегнул ремень, освобождаясь от его стесняющей движения упряжи, и развернулся назад.

За лобовым стеклом джипа, спрятав родного державного орла о двух головах под широченной майкой с одноглавым орлом США, восседал, без всякого стеснения глядел на него сквозь разделявшие их две прозрачные пластины охранник со стоянки. Ну, я это, выражало собой его мясистое бульдожье лицо. И что?

В. развернулся обратно, вновь защелкнул на себе ремень и, положив руки на руль, изготовился к зеленому свету. Значит, это был не обман зрения, не фантазия, ему не помнилось — там, еще около дома, — когда в человеке, мелькнувшем за рядом машин, он предположил охранника. Проследовал за его «Фольксвагеном» до завода, дождался там и снова тронулся следом за ним. Не таясь, открыто, ничуть не стремясь быть незамеченным, скорее наоборот: выставляя свое преследование напоказ.

И был он один? Или ехал вторым эшелоном, в отличие от охранника до времени не желая обнаруживать себя, кто-то еще?

Охранник был один. Это сделалось ясно уже за городом, когда настала пора покидать главную дорогу и сворачивать к озеру. По главной дороге тек поток, пусть по сравнению с ближним пригородом и поредевший, на ответвление свернули только В. и джип.

Расчерченные наискось красно-белыми полосами железные ворота выросли посреди разрезающей лес дороги декорацией хичкоковского фильма. Подавая хмуро-неприветливым привратным стражам в зеленом леопардовом камуфляже паспорт сверить его данные с теми, что они получили электронным распоряжением, В. глянул коротко в сторону джипа. Тот не доехал до ворот добрые два десятка метров, с этого расстояния мясисто-бульдोजье лицо охранника за лобовым стеклом казалось размытым белесым пятном, и какие чувства оно выражает, было не понять.

Удаляясь от ворот, В. видел в зеркале, как охранник в несколько резких, злых рывков развернулся, и джип, бешено ускоряясь, понесся в обратный путь. Затем ворота соединили створки и скрыли от него охранника. Невольно В. перевел дыхание. На ближайшие два дня эти шлагбаумные ворота были его крепостными вратами, его надежной защитой, а что там дальше — будет видно.

Второй раз он въезжал на территорию базы — всего лишь второй! — но вот человеческая сущность: въезжал с чувством возвращения домой.

Народу на базу, судя по количеству машин на стоянке, приехало уже порядком. Если и не весь топ-менеджмент, то изрядная его часть. Пятница! Преддверие двухдневного рая, гуляний по елисейским полям.

Не встретиться, ни с кем не встретиться, молил В., катя шумно стрекочущий по асфальту чемодан к своему особняку. Сознал прекрасно, невозможно ни с кем не пересечься за предстоящие два дня, но хотя бы сейчас вот, по приезде, переложить момент неизбежного общения на будущее...

Небо, однако, было к нему немилостиво. Впрочем, это оказался не Сулла и вообще никто из топ-менеджеров, это оказалась Угодница! Она летела откуда-то и куда-то в своих стремящихся выглядеть стрингами бахромающихся джинсовых шортах, цокали каблочки ее туфель, перекрывая стрекот его чемодана, и, увидев В., она бросилась к нему — вся сияние восторга и ликования.

— Ой, это вы! — воскликнула она. — Я так счастлива видеть вас! Я вам так благодарна! Я о вас все время думаю! Я все время хотела увидеть вас, все время хотела! Чтобы сказать вам, как я вам благодарна, как счастлива!

Что она здесь делала? В. даже подумалось, когда Угодница бросилась к нему, что причина ее появления здесь — он: послана сюда специально, чтобы следить за ним, передавать куда-то, неизвестно кому, каждое его слово.

— Зачем ты растрезвонила? — спросил он.

— О чем? — недоумение прозвучало в ее голосе.

— О том, — ответил В. — По телевизору.

Угодница поняла.

— Ой, я просто не могла молчать! Об этом должны были все узнать! Разве нет?

Так просто, так доверчиво она это сказала, что В. миг ей поверил: так и было. И отринул мысль, что она послана сюда шпионить за ним.

— Что же, — проговорил он. — Что сделано, то сделано... — И позволил себе поинтересоваться: — А здесь что? Какими судьбами?

Лицо ее вновь вспыхнуло счастливым ликованием.

— Только вы не осуждайте! — попросила она. Сконфуженная улыбка прошила ее счастливое ликование. — У меня роман.

— Вот как! — вырвалось у В. Он почувствовал, невольная ответная улыбка размягчает его скрученные каменными жгутами лицевые мышцы. — Зачем же осуждать. Нет, конечно.

С кем роман, он не стал спрашивать. Роман и роман, ее дело, имеет право. Но она открылась сама. Ей хотелось открыться ему. Именно ему. С Суллой у нее был роман. С нынешнего дня. И она приехала с ним сюда на уикенд.

— Ой, вы знаете, — сказала она, глядя на В. с прямодушной доверчивостью — словно он был ее лучшей подругой, которой она могла доверить самые тайные свои тайны, — он такой... совсем не похож на того, каким мы знаем его на работе. Совсем-совсем другой. Он такой славный...

— Уже и любишь? — Иронию, просочившуюся в произвольную улыбку, сдержать не удалось — пойдя сдерживающий себе дорогу сквозь снег весенний ручей.

Вызывающим движением Угодница отбросила со лба прядь волос.

— И что?

— Нет, ничего, — ответил В. — В теннис будет тебя учить играть.

— Да, обещал, — с прежним вызовом отозвалась Угодница. — Он сам отлично играет в теннис.

— Счастливо тебе подняться до его уровня, — пожелал В. Никакой двусмысленности его пожелание в себе не заключало, но, видимо, обида, причиненная Угоднице его нечаянной иронией, жгла ее еще слишком сильно.

— Я об этом и не мечтаю, — сказала она нелюбезно. — Мне другое нужно.

Рассказ Суллы о его ночном приключении с дочерью кудлатой, напрочь вылетевший из головы В., ожил в нем во всех подробностях.

— Что ж, пусть твои мечты осуществляются, — сказал он, берясь за ручку чемодана и собираясь двигаться дальше.

— Нет! — схватив за руку, остановила его Угодница. — Вы пожелайте! Пожелайте! Вот как в тот раз! — Повеление и мольба мешались в ее голосе.

«Желаю», — едва не отозвался автоматически В. — и осекся.

Что у нее были за мечты? Чего она так хотела? Что за плоды должна была в итоге собрать? Вероятность того, что его желания могут обретать реальную материальную сущность, сковывала В. страхом. Он не хотел взваливать на себя ответственность за будущую горечь плодов, если они окажутся такими.

— Да вдруг ты мечтаешь о том, что тебе будет не на пользу? — сказал он.

— Неужели я стану желать себе дурное? — удивилась она.

— Сейчас думаешь, что хорошее, а оно потом обернется дурным.

В тот же миг, как произнес это, с такою явственностью, как если бы вживе, ему предстала картина: Угодница в длинной просторной юбке, в какой никогда ее не видел, с животом, напоминающим огромное яйцо, Сулла в тесно облегающем его щегольском черном костюме — Сулла не просто зрелый, Сулла свирепый властитель, создатель безжалостных проскрипций, пресекающих чужую жизнь бесповоротно и без снисхождения, — Угодница, защищаясь, выставляла перед собой руки, а Сулла наотмашь, хлестко бил ее по щекам...

— Нет! — изошло из В. вскриком. Он потряс головой, зажмурил глаза, отделиваясь от увиденной голографической картины, а когда открыл их, Угодница стояла перед ним в шортах и без живота, Суллы же не было вообще. — Нет, — повторил В., выдавливая из себя остатки крика, — не желаю я тебе этого.

— Чего?! — еще удивленнее, чем до того, спросила она. — Вы же не знаете, что я имею в виду!

— Не желаю, — повторил В. — И себе не желаю. Не надо, не желаю. Пока. — Надавил, наклоняя, на ручку чемодана, чтобы тот встал на колеса, повернулся и, вновь громко застрекотав по асфальту, пошел к своему особняку.

Угодница — он так это и чувствовал спиной — смотрела ему вслед с горячей обидой. Но как он мог объяснить ей свой жестокосердый отказ? Она бы ему поверила? Когда он сам не верил себе. Разве что голографическая картина в

полной мере была тождественна интуиции, но когда интуиция была доказательством?

Никто больше до самого особняка ему не встретился, не встретился никто и в холле — словно, прибыв сюда, все попадали-нырнули в пластмассовую кондиционерную прохладу, как в воду с головой, и дышали оттуда через тростниковую трубочку. Последние шаги В. сделал почти бегом и, ввалившись в номер, некоторое время стоял под дверью, подпирая ее спиной, не в силах двинуться — будто уходил от погони и вот наконец ушел.

Внесенный на второй этаж и бесцеремонно развалившийся посередине выбранной В. для ночлега спальни толстобрюхий чемодан был уже разъявлен в готовности подвергнуться процедуре потрошения, В. уже и наклонился над ним заняться этой операцией — и распрямился. Да лежи ты, как бы прозвучало в нем, обращенное к чемодану. Никому, кроме него самого, не мешал этот его упрессованный в чемодан гардероб посередине комнаты, так не все ли равно, сколько проваливается он тут неразобранным. Нестерпимо хотелось позвонить детям. Хотелось сегодня весь день, но так и не представилось возможности — чтобы спокойно, чтобы никто и ничто не мешало, чтобы ни на что не отвлекаться. Забывал было об этом своем желании, однако время спустя оно возвращалось — лишь многократно усиленное. И, пока ехал сюда, преследуемый охранником в джипе, забылось снова. И вот, только оказался предоставлен самому себе, как кипятком обварило.

В. достал из кармана телефон, извлек из него сим-карту, вставил прежнюю, от разбитого мобильного, и набрал номер тещи. Даже если жена ей что-то сообщила, он надеялся — не сможет же теща не допустить его до общения с собственными детьми.

Теща, однако, не допустила его даже до разговора с собой. Трубка засигналила длинными гудками, предваряя соединение, три гудка, четыре — и осина жалящая очередь коротких гудков ударила в ухо: теща сбросила звонок. Увидела высветившийся на дисплее его номер — и сбросила. Впрочем, это могло быть случайностью, звонок сорвался, а не был сброшен, и В. тотчас же повторил вызов. И все произошло, как в первый раз: длинные гудки — и следом за тем короткие. С той лишь разницей, что на этот раз до коротких сигналов не пришлось слушать трех-четырёх длинных, а разъединение последовало почти мгновенно.

Теперь В. просидел с трубкой в руке, прежде чем позвонить вновь, наверное, минуту. И снова его звонок был сброшен. Нечего названивать, как бы сказала ему теща.

Засвечивать свой нынешний номер не хотелось ужасно. Но желание услышать голоса детей было необоримо. Как чувство жажды — невозможно противостоять.

В. опять поменял сим-карту. Уж этого-то номера теща не знала, уж на это-то звонок она должна была ответить.

Расчет его оказался верен. Теперь теща ответила.

— Добрый день, — поздоровался В. на ее недоверчивое аккуратное «Алле». Следовало, конечно, несмотря ни на что, произнести еще какие-то слова вежливости, да хотя бы для того, чтобы дополнительно не настраивать ее против себя, но язык у него ни на какие такие слова не повернулся. В. сразу попросил кого-нибудь из детей. Кто сейчас ближе.

— А оба далеко, — было ему ответом. — Они от тебя теперь всегда далеко. Никаких тебе отныне детей. Раз ты так с их матерью. Негодай!

Казалось, он увидел высосанное жизнью впало-желтое лицо тещи, матери-одиночки, вволю страдавшей от своего одиночества и не простившей его миру. Плеск близкой морской волны почудился ему, шум прибрежных дере-

вьев под налетевшим порывом жаркого соленого ветерка. А его сын и дочь... ведь где-то рядом были там, неподалеку!

— Я их отец, — сказал В. — Независимо от наших отношений с вашей дочерью. Отец! Позовите, пожалуйста. Обоих позовите!

Может быть, причиной тому был кондиционер, поставленный на излишне прохладный режим, но его познабливало. Страшно, страшно нужно было услышать ему голоса детей. словно последняя такая возможность была. Бред какой-то, абсурд, наваждение, — но не мог отделаться от этого чувства, отдирал его от себя, сбрасывал под ноги, растаптывал в прах... и мгновенно, как коростой, обрастал им снова.

— А не позову, — с горячей мстительностью ответила ему бывшая мать-одиночка.

И, не успев он раскрыть рта, в ухо ему с беспощадной свирепостью ударили частые рапирные выпады — все те же сигналы разъединения.

Бросить телефон на кровать рядом с собой было куда тяжелее, чем шваркнуть его изо всей силы о пол, как два дня назад мобильный о сосну. Но В. благополучно преодолел искушение.

Как его смял сон, В. не заметил. Лежал, смотрел в потолок, глуша в себе отчаяние, что услышать голосов детей, надеждой на что жил весь день, не получится, и вдруг обнаружил себя лежащим на кровати с ногами, на боку, свернувшимся в позе эмбриона, и проснулся, должно быть, оттого же, отчего и свернулся эмбрионом, — продрогнув.

Он взял телефон и посмотрел, что там со временем. Ого! С момента, когда разговаривал с Угодницей, прошло без малого два часа. В. поднялся с кровати, порывлся в чемодане, вытащил свитерок, напялил на себя и подошел к окну. Солнце наполовину зашло за верхушки ближнего леса, тень леса почти достигла середины лужайки. До темноты было не близко, но власть уже решительно и беспощадно взял вечер, безжалостно обещая впереди неизбежную ночь.

Разбирать чемодан не было никакого желания. Постояв над ним несколько мгновений, В. поддел его крышку ногой, крышка упругим парусом взлетела вверх, поколебалась в вертикальном положении и, решившись, с треском упала на чемодан.

Спустившись вниз, В. проследовал на кухню, открыл холодильник, подоставал оттуда что попало под руку и, поместив эту гору на поднос, отправился в гостиную. Вечер безвыборно обещал впереди ночь, но все же следовало до нее добраться, а если учесть его внеурочный сон, мог понадобиться и нырок далеко за полночь. Телевизор! Какое иное транспортное средство можно было придумать, чтобы добраться до ночи-заполночи.

В. включил телевизор и, еще располагался за журнальным столом перед подносом, услышал звучащий из него знакомый голос. Это был голос коллеги. И говорил коллега, естественно, о нем.

Экран засветился. Коллега стоял за тонконогой грибовидной трибункой, взявшись за нее двумя руками и откинувшись назад, что-то полетное было в его позе — казалось, он взмывал в воздух. Должно быть, это было некое ток-шоу, что за тема — Бог вещь, коллега, во всяком случае, говорил о нем.

— Это серьезно! Я вас прошу прислушаться: это серьезно! — рвался, взмывал он в воздух. — Заключение, и только заключение! За решетку! Превентивные меры, пока не поздно! Он не может жить среди нас! Это опасно для нашей цивилизации! Это нужно осознать всем и каждому: опасно! Ограждаем же мы себя решеткой от диких зверей в зоопарке! Не позволяем им ходить по тем же дорожкам, что сами! Это дикие звери, они живут по другим законам, чем мы!

С досадливым изнеможением В. переключил программу — и тут же поспешно вернулся к прежней, с коллегой за трибункой. Вдруг, когда уже нажимал на кнопку, ему почудилось, что размытое, не в фокусе лицо женщины в первом ряду зрителей — это жена.

Это была жена. В те секунды, что он отсутствовал на канале, ведущий — само воплощение галантерейного изыска в раме художественно уложенных волос — как раз укротил вулканическое извержение коллеги и бурно-вдохновенной походкой перекачевывал к первому ряду трибуны, оператор перефокусировал оптику, и сидевшие там явили себя городу и миру во всей отчетливости своих черт. Что делала его жена на этом шоу? Неужели шоу было посвящено его персоне? Ведущий с выставленным перед собой, словно царский скипетр, мохнатым микрофоном нацелился, похоже, на нее.

На нее, на нее, В. не ошибся. И ей явно доставляло удовольствие оказаться в центре внимания.

— Нет, я не знаю... зоопарк — это что-то уж слишком, — произнесла она с брезгливой гримаской, когда ведущий представил ее и поднес к ее губам микрофон. — И насчет инопланетянина... где эти доказательства? Я лично, мы двенадцать лет прожили, ничего инопланетного не замечала. Его нужно лечить. Его просто нужно лечить! Он болен, я вам это как жена говорю. Я жена, я вижу! — Воодушевление охватывало ее, высоким звонким пафосом наполнялся голос — она переживала за В., она страдала, она несла его болезнь как крест. — Разве может нормальный, здоровый человек ходить по воде? Нет, разумеется. Его нужно сейчас устроить в хорошую клинику. С квалифицированными врачами, хорошим средним медперсоналом. Я убеждена в этом: положить в клинику и как следует пролечить!

— А про родителей, про родителей?! — провопил галантерейный ведущий, с гимнастической ловкостью перебросив микрофон к своим губам. — Перед началом передачи, в гримерной, вы говорили мне о его родителях. Вы говорили, может быть, у него детская травма!

— Да, конечно, я не исключаю. — Жена уже была распята на кресте, вознесена на нем и, пересиливая страдание, вещала с его мученической высоты. — Они же, расходясь, его бросили. Разъехались по разным городам. Он даже не знает толком, где они сейчас, живы ли, его дед с бабкой воспитывали.

— Прекрасно, прекрасно! — снова провопил ведущий в микрофон. По всему было видно, что время, отпущенное жене В. быть телезвездой, исчерпано. — Вот мы сейчас попросим прокомментировать ваши заявления специалиста. Доктора наук, профессора. Врач! Где у нас врач?! — воскликнул он, поворачиваясь к жене В. спиной. — Вон у нас врач! — последовало победное восклицание с ленинским выбросом руки в сторону грибообразной трибуны в противоположном конце студии, и ведущий стукотом ураганного ветра помчал к ней. Не забывая при этом окормлять зрителя своим пастырским словом: — Вот мы сейчас врача и спросим! Профессора! Комментарий профессора, а?! Это вам не хухры-мухры!..

Ему, ему, В., было посвящено ток-шоу, без всякого сомнения. Интересно, почему не позвали его самого? Мельком В. подумалось: а пошел бы он? Ответить со всею решительностью, взвесив все «да» и «нет», не получилось: врачу, профессору, доктору наук уже включили микрофон, и он с готовностью принял эстафету у ведущего.

— Видите ли, — со вкусом произнес он, — я действительно могу считать себя высококвалифицированным специалистом: все-таки и доктор наук, и профессор, не одну, позвольте мне так пошутить, а много собак в своем деле съел. — Голос у него был густой, сочный и зычный бас, и сам он весь очень подходил этому голо-

су: крупный, бочкобрюхий, с резиново-подвижными чертами лица, взморщенный лоб — настоящие гармонные мехи. — С таким явлением, однако, которое мы сегодня обсуждаем, — тут обладатель иерихонской трубы словно бы приглушил ее звучание, как если бы хотел придать грядущему признанию извиняющий характер, — с таким явлением, повторю, сталкиваюсь впервые. — После чего голо-су его вернулась прежняя мощь, и вовсю задышала гармоника лба. — Может ли рассматриваемое явление быть признаком психического расстройства? Не исключено, скажу вам сразу и без обиняков. Неординарный, конечно, случай, согласен. Но ведь психические нарушения — это все, в известной мере, измененное сознание, человек становится другим, человек, можно сказать, уже не совсем человек... Инопланетянин! — широко повел он рукой в сторону коллеги, не понять — то ли пошутил так, то ли согласился с его утверждением. — Всего можно в такой ситуации ожидать. Интересный случай, очень интересный. Я бы с удовольствием им занялся. — Горячее плотоядие послышалось в его иерихонском голосе. Профессорские руки совершили непроизвольное движение — как бы он быстро помыл их под струей воды. — Тем более что, — кивнул он, — и жена нашего героя говорит: хотела бы, чтоб он пошел. Никак это нельзя считать нормальным, чтобы человек по воде... Никак. И, разумеется, поведение такого человека может быть непредсказуемым. Может стать и опасен для общества. Уйму примеров могу привести, как это случается. Так что в клетку не в клетку, в зоопарк не в зоопарк, а в клинику, конечно, стоит. Очень даже стоит. Полежит у нас, понаблюдаем за ним... Мы готовы.

В. было жарко, он горел. Сорок градусов, не меньше, — такая сейчас была у него температура. Хотя здесь, внизу, кондиционер веял так же свежо и ярко, как наверху. В. стянул с себя свитерок и отбросил в сторону. Он не мог оторваться от экрана. Невозможно было смотреть — и невозможно было выключить. О еде на подносе он забыл. Жена тянула руку, трясла ею, прося слова еще, — ведущий больше к ней не подходил. Дали слово человеку в генеральской форме, сидевшему, как и она, в первом ряду, но на противоположной трибуне. Генерал оказался из руководства той службы, что обозначалась трехбуквенной аббревиатурой и к которой принадлежали сизошекий с младенческилицем, он заверил, что общество может чувствовать себя спокойно, причин для паники нет, их организация держит руку на пульсе, ведут наблюдение, мониторят ситуацию, если что —отреагируют молниеносно.

— А сейчас сюрприз! — тоном иллюзиониста, как готовясь достать из рукава чей-то исчезнувший бумажник или часы, объявил ведущий.

Грянула музыка, пробил барабанный дробь, откинулся полог — в студию под свет прожекторов из полумрака закулисья, в черной рясе, с наперсным крестом поверх нее вышел священник — тот самый, с которым сегодня В. разговаривал в церкви. Почему он, тотчас возопило все в В. Странно было бы, если б устроители шоу, натащив столько всякого народа, не позвали служителя церкви. Но то, что это оказался именно священник, которому открывался сегодня в том, в чем никому больше... Как так получилось, что это оказался он, не кто другой? Невероятно, чтобы тут была случайность. Вероятно, охранник, если действительно следил за ним от самого дома, сообщил и о посещении им церкви, похожей на резной каменный сундук. Только вот кому? Получалось, что доклад охранника о его перемещениях по городу поступал не только бородачу?

— Нам стало известно, — ликующим голосом, расхаживая по студии между трибунами, провещал ведущий, — что сегодня в середине дня наш инопланетянин, — «инопланетянин» он выделил голосом, показывая, что это не его определение, он лишь его использует, — посетил храм, где настоятелем — отец... — тут он указал рукой на приглашенного священника, для которого, пока шел из

полумрака на свет, живо освободили одну из трибун. — Какого рода беседу вы имели, о чем он с вами разговаривал? — спросил ведущий, обращаясь к священнику.

Должно быть, на священника устроителями шоу возлагались особые надежды, он должен был, по их замыслу, придать разговору необычайную остроту, насыпать соли и перца. Священник, однако, оказался не по части пряности.

— Вы полагаете, я вам вот так должен взять и все выложить? — удивился он в ответ на вопрос ведущего. — Это, конечно, была не исповедь, но в любом случае — приватный разговор, почему я должен разглашать его? Он между нами двоими, и больше я ничего сказать не могу.

— Но какое впечатление он на вас произвел? Что вы можете сказать о его поведении? — Хватка у ведущего была бульдожья, сомкнув челюсти, разжимать их он не намеревался. — Это поведение нормального человека? Адекватное?

— А у вас будет адекватное поведение, если с вами произойдет такое? — спросил священник.

— А! — радостно вскричал ведущий. — Значит, вы считаете, что его поведение все же ненормально?

— То, что он не в себе, — это безусловно, — согласился священник.

Сеанс магии вполне удался: священник согласился со всем, что формулировал ведущий. Не его словами, имея в виду подчас совсем иное, но согласился! Изолировать, ограничить, лечить, все отчетливее звучало общим пожеланием несущегося к концу шоу.

И оно закончилось наконец.

Оно закончилось — и В. выключил телевизор. Хотя собирался переплыть на этом судне через весь вечер. Но с такой пробоиной как было на нем плыть. Ветчина, печенье, йогурт, сыр, орехи, хрустящая и скрипящая на зубах сухая вермишель из пакетика — он поглощал все подряд. Изолировать, ограничить, лечить — стучало в нем.

Держать внутри то количество еды, что запихнул в себя, было невозможно. В. дотасил себя до туалета и, согнувшись над унитазом, засунул в рот четыре пальца.

Когда он, умывшись и почистив зубы, вернулся в гостиную, за окном стояла благословенная темнота. Настоящая, плотная, ночная. Ему даже удалось занырнуть за полночь.

23

Благословенна ночная темнота, отправляющая сознание в непроницаемую для него мглу космоса, зовущегося сном, но благословенна и утренняя пора! Вот ты вынырываешь из этого космоса, где провел время сонного забвения, — свет бьет в глаза, заставляя жмуриться, и что произошло с тобой за эти часы, пока ты не осознавал себя, какая таинственная сила владела тобой, распоряжалась твоей волей? Ты был как попавшая в аварию разбитая машина, но что за чудо? — в тебе нет и следа того вчерашнего! Словно неведомый умелый жестянщик вволю поработал киянкой, слесарь заменил пришедшие в негодность детали мотора — ты свеж, ты бодр, ты полон сил, встретиться тебе на пути Голиаф, ты подобно Давиду не спасуешь и перед Голиафом.

Именно таким, будто и не было вчерашнего панического обжорства, чувствовал себя В., проснувшись. Даже что-то похожее на снисходительную насмешку над собой вчерашним стояло внутри. А двинуть сейчас в ресторан, что же, нечего затворничать, даже и надо пойти, прозвучало в нем. Нечего прятаться, пусть смотрят.

Между тем час уже был не ранний. Если совершать Давидовы подвиги, следовало поторопиться.

Легкая утренняя зарядка на веранде с видом на монолитно зеленеющий в жарком безветрии лес, ритуал бритья (собственной бритвой!), а после контрастный душ — все вместе заняло чуть более получаса. И где бы во время перемещений по своему двухэтажному пристанищу ни оказывался, нигде его не морозило, не кидало в жар — везде веющие искусственным ветерком кондиционеры были настроены как должно. Ворох вещей в чемодане ставил перед выбором — во что облачиться. Впрочем, проведя в спрессованном виде ночь, все умялось, было в заламах и требовало глажки, — выбор свелся к обнаружению одежды, сумевшей сохраниться в своей приглядности лучше прочей. В. определился в симпатиях, рассовал по карманам бумажник, документы, телефон, расческу, посмотрел на себя в зеркало в прихожей и, показав отражению язык, открыл входную дверь. Он был готов к схватке с Голиафом.

Пространство до центрального корпуса, к которому третьего дня его доставил «Мерседес» с сопровождающими охранниками, В. преодолел, никого не повстречав. Но за стеклянными дверями, услужливо распахнувшими автоматические створки, только В. поднялся на крыльцо и приблизился к ним, его ждал, склонившись в позе приветствия, с застывшей жизнерадостной улыбкой глянцево-кофейный таджик в своем напоминающем спецовку серо-голубом костюме, застегнутом под горло.

— Доброе утро! Как почивали? — произнес он, когда В. переступил порог.

Это же надо: русская его речь была едва понятна, однако он был обучен таким словам, как «почивали»!

— Слава Богу! — отозвался В. Скорее всего, отвечать таджику не полагалось, но как можно было не ответить? — Доброе утро.

— Доброе утро, доброе утро! Слава Богу! — не переменяя позы и продолжая сверкать улыбкой, проговорил таджик. Похоже, он просто повторял слова, не отдавая себе отчета в их смысле.

Во всяком случае, на вопрос, где ресторан, чтобы позавтракать, он уже не смог ответить, только произнес с той же улыбкой и по-прежнему сгибаясь в поклоне:

— Где ресторан? Где ресторан?

Впрочем, из глубин холла уже спешил на выручку молодой человек с тщательно выделанной прической, что встречал вчера В. вместе с кудлатой. Все тот же ярко-зеленый смокинг, переливаясь шелком лацканов, с лакейской форсис-тостью облегал его впечатляющее спортивное тело.

— Доброе утро! Доброе утро! — подлетел он к В., тесня таджика. — Какие вопросы? Что желаете? Завтракать? Пойдемте, я вас провожу. С большим удовольствием.

В эту обрушившуюся на него словесную лавину В. едва сумел просунуть свое ответное «Доброе утро» и еще на вопрос о завтраке «да».

— Пожалуйста, располагайтесь, завтрак у нас — шведский стол, — прола-вирав по нескольким коридорам, привел его ярко-зеленый смокинг в полу-подвальный зальчик на несколько столов и с барной стойкой. — Можете не спешить, никаких ограничений во времени. — И, уже покидая В., сообщил: — Еда в ресторане платная, но вам платить не надо. У вас все заплачено.

В. не удивился сообщению ярко-зеленого. Набитый снедью холодильник подготовил его к этому.

— Спасибо за информацию, — поблагодарил он. — Постараюсь не объе-даться.

Ярко-зеленый хмыкнул, дернулся в намерении ответить на шутку В. достойным образом, но ничего не придумал и, придав лицу выражение глубокомысленности, удалился.

В ресторане народ наличествовал. В. узнал финансового директора, он был, видимо, с семьей — жена и двое детей, мальчик и девочка, того же примерно возраста, что у самого В.; сидели вместе глава одного из департаментов и начальник крупнейшего цеха; кормился в одиночестве, с жадностью орудуя ножом и вилкой, заняв собой два места, главный бухгалтер, и здесь не изменивший своей привычке ходить в костюме стоимостью с «Бугатти»; а пара за самым дальним столом — это были Сулла с Угодницей. Все, только В. появился на пороге, тотчас оторвались от еды и воззрились на него общим остро-пронизывающим взглядом, — он так и почувствовал себя наколотым на него, словно на невидимую пику. Миг, однако же, это длилось. Сулла будто взметнулся со своего места и с тяжелой властительностью прошагал к В.

— Заждались! — воскликнул он. Бравурная энергия рвалась из него. Хотя его сунутая для пожатия рука обдала В. унылой вялостью. — Заждались-заждались! Давай к нам за стол. — Наклонился к В. и прошептал ему на ухо быстрым ликующим шепотом: — Десять раз! Не как с той, но десять! — Отстранился от В. и вернул голосу прежнюю силу: — А? Недурно тоже, скажи?! Пойдем, пойдем, пусть все видят: к нам!

Вчерашние утренние тени под глазами сделались у него еще свирепее. Лицо Угодницы было немногим лучше. Ее достало лишь на самый условный макияж, и вся ее ночная утомленность предательски глядела наружу. Однако в улыбке, с которой она поднялась навстречу В., сквозило такое счастье — он задохнулся. Это было удушье стыда: казалось, он подсмотрел за нею в замочную скважину, увидев той, какой не имел права видеть.

— Как я рада вам, как рада, как рада! — сказала она.

Спасибо вам за все, спасибо, спасибо, считывал он то, что стояло за словами, которые она произносила. А то, что вы вчера отказались мне пожелать того, чего я хочу, ну что же, ну что же... я все равно счастлива!

— Дай-то Бог, — ответил он — на эти слова, что она говорила ему, не произнося.

— А Бог тут при чем? — непонимающе спросил Сулла.

— Бог всегда при чем, — взяла В. под защиту Угодница.

— Тогда Бог велит тебе поухаживать за человеком, — тоном, каким на совещаниях подытоживал чье-нибудь неудачное выступление, уронил Сулла. — Давай нагребь ему живо, — распорядился он.

— Сам, сам. Я сам, — рванулся было В. к дышащему изобилием шведскому столу, — Сулла схватил его за руку, и теперь рука была не вялой, это теперь жала его в своих тисках рука легионера.

— Поухаживает-поухаживает, — протянул он, подталкивая В. к свободному столу. — Поухаживать за мужчиной — святое женское дело.

— Нет, я с удовольствием, в самом деле! — сияюще провещала Угодница.

Она улетела нагружать для В. тарелки едой, а они с Суллой сели, и Сулла, придвинувшись к В., понизив голос, проговорил с интимностью:

— А ты что же, один? Без бабы?

— Один, — вынужден был подтвердить В.

— Что же ты один! — Сулла не огорчился, казалось, он взвился от огорчения. — Целых два дня без бабы пастись тут будешь? Надо было сказать, прихватила бы с собой для тебя подружку, — кивнул он в сторону суетящейся у шведского стола Угодницы.

— Без нужды, — коротко отозвался В.

Сулле понадобилось некоторое время, чтобы переварить его ответ.

— Но делать-то что собираешься? — исторглось из него потом. — С тоски же один взвоешь. Давай присоединяйся к нам. На катере сейчас пойдем после

завтрака. Собственный катер у нас тут на базе. Я заказал, ждет нас, покатаемся. Что?

— Согласен, — принял предложение В.

Голиаф выглядел более чем миролюбиво, с ним вовсе не требовалось бороться, с ним можно было вполне по-дружески сосуществовать.

Угодница появилась около стола, неся в каждой руке по тарелке таких размеров, что их вернее должно было бы назвать блюдами. И на каждой было навалено горой.

— Ой, ну ничего, ничего, — увещевающе улыбнулась Угодница в ответ на его потрясенное восклицание, — сколько съедите, столько и съедите. На что шведский стол, чтобы не поесть от души.

— За шведским столом, моя милая, — в один момент преисполняясь своим обычным презрительно-холодным высокомерием, проговорил Сулла, — от души ест только плебс, запомни это.

В. старательно не глядел на Угодницу. Но и не глядя, он видел, что лицо ей мертво окостенило судорогой унижения. Бедная, бедная, бедная, с жалостью прозвучало в нем.

— Я, наверно, плебей, — сказал он, обращаясь к Сулле. — Люблю за шведским столом от души...

Расфокусированный абрис Угодницы на периферии зрения пришел в движение. Угодница что-то взяла вилкой со своей тарелки, отправила в рот, подняла стакан, отпила. Сулла дернулся, постучал о край столешницы ребром ладони и звучно хлопнул затем всей ладонью.

— Ладно, пока у нас демократия... вроде бы! — произнес он — будто подытожил.

Как, однако, В. ни силился очистить принесенные Угодницей тарелки (блюда!), он сдался много раньше, чем был намерен.

— Вперед за наслаждениями! — изрек Сулла, поднимаясь из-за стола. И приобнял поднявшуюся следом Угодницу, похлопал ее по бедру. — Не куксись, моя милая, расслабься! Лови миг, наслаждайся жизнью! Все прах и тлен, одно наслаждение переживет годы.

Твердостью Моисеевых скрижалей отдавало исповедание Суллы.

Финансовый директор с женой и детьми, глава одного из департаментов в компании начальника крупнейшего цеха, главный бухгалтер в костюме стоимостью с «Бугатти» — никто из них за время, что В. провел за завтраком, не поднялся и не ушел. И сейчас, когда он с Суллой и Угодницей двинулся к выходу из ресторана, все как один воззрились на него точно как тогда, когда он объявился на пороге.

— На водные процедуры? — решившись развязать возникшее в ресторане общее тягостное молчание, поинтересовался, обращаясь к Сулле, финансовый директор. Он, видимо, был осведомлен о его планах.

— Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья, — пионерской речевкой с удовольствием превосходства отозвался, проходя мимо, Сулла.

И на том общересторанное общение было исчерпано.

Обещание Суллы оказалось не красным словом: катер их ждал. Вдоль береговой линии базы над озером была, оказывается, устроена настоящая набережная, с гранитным парапетом, гранитными лестницами к воде, один ее конец увенчивался небольшим причалом с пришвартованными к нему лодками и двумя ослепляющими своим ярко-белым обликом катерами. Около того, что крупнее, стоял, потряхивал в нетерпении ляжкой, человек в черно-белой морской фуражке с якорем и таком же белоснежном, как сам катер, кителе. Но только он заметил приближающееся к нему общество, все его нетерпение отлетело от него, нога замерла, а на лице обозначилась улыбка приветствия.

— Готов, кэп? — спросил Сулла, подавая ему руку. — А то мы уже бьем копытом.

— Готов на все сто, — одновременно отвечая на пожатие и поспешно указывая на катер внизу, с откровенным подобострастием отозвался кэп. Он знал положенное ему место и высказывать недовольство основательным, судя по всему, опозданием своих пассажиров не смел.

— Тогда вперед, — повелительным жестом, как направляя в бой легионы, выбросил перед собой руку Сулла.

Мотор зарокотал в глубине лакового снежного тела катера уютным ласковым баском. Катер медленно подался от причала, словно не решаясь расстаться с ним, словно преодолевая тоску разлуки, и решился, бросился в самостоятельную жизнь: прибавил густоты и силы своему баску, с бешеным азартом рванул вперед, присев на корму, хлопаяще засвистел водой, взбив ее кипящими седыми усами. Только что давивший каменным недвижением, как прессом, горячий воздух разодрался в клочья, обратившись ураганным ветром, сорванные с защитного носового стекла его завихрения заполоскали волосы на голове, в лицо остро покалывающими иглами полетели водяные брызги. Восторг и упоение скорости овладели В. против всякого его желания. Голиаф, еще мгновение назад возвышавшийся закрывавшей солнце горой, уменьшился в размерах, сделался карликом, злобным гномом, не способным причинить никакого зла, его бронзовые доспехи, его меч, его шлем — все было лишь шутовским, карнавальным нарядом, склеенным крахмальным клеем из папье-маше.

Катер пересек озеро, развернулся, осыпав лицо колкой водяной сечкой, которую тут же снял хлесткий порыв бокового ветра, и по плавной кривой их кэп (или как его следовало называть?) вывел катер на прямую вдоль озера, держа его в каких-то двух десятках метров от берега. Словно предлагал (а может быть, и в самом деле предлагал) полюбоваться архитектурой толпящихся на нем особняков, видом то и дело возникающих набережных, причальных бухточек в гроздьях лодок, катеров, яхт.

Три сосны, стоящие на всхолмье подобно трем былинным богатырям, и раскидистый дом из красного кирпича под ними предстали глазу совершенно неожиданно, хотя В. и ждал их появления. Неожиданно — потому что так близко от берега резал озерное полотно катер, с такой калейдоскопической быстротой один береговой вид сменялся другим. Вот их еще не было мгновение назад — и вот возникли, а вот уже и нет этих сосен, смешались с остальным лесом, и только красный кирпич стен был еще виден некоторое время сквозь зелень, но там исчез за языками леса и он.

Сулла, еще лишь рассаживались, безоговорочно устроился рядом с кэпом и сейчас, когда врезали вдоль озера, перенял у того штурвал, явно уже не впервые берясь за него, ему требовалось поделиться своим экстазом, и он оглянулся назад, на В. с Угодницей, воскликнул, перекрикивая рев мотора:

— А?! Что?! Ничего?

— Замечательно! Чудесно! — мгновенно подавшись к нему, вся радость ни с чем не сравнимого удовольствия, отозвалась Угодница.

В. дождался, когда на них снова глянет затылок Суллы, наклонился к ней и проговорил в самое ухо, так, чтобы Сулла наверняка не услышал — хотя в этом и не было необходимости: стоявший шум не позволил бы:

— Беги от него, беги как можно скорей!

Угодница отстранилась от В.

— Вы что, не желаете мне счастья?

— Наоборот.

— Тогда как же вы можете советовать мне такое?

О, каким беспощадным негодованием горело ее лицо, с какой страстью она готова была бороться за свое счастье, на пути которого, так неожиданно, становился В.

Что ему было добавить к тому, что сказал? Сослаться на примнившуюся картину? Когда он и сам не слишком верил в ее реальность? Интуиции своей он верил, вот чему. Но почему должна была верить его интуиции она?

— Как хочешь, — расписался в своем бессилии В., откидываясь на спинку сиденья. — Как знаешь. — Через некоторое время непонятно почему добавилось: — Каждый отвечает за свою жизнь сам.

— Вот именно, — не замедлила с ответом Угодница. Уже умиротворенно, но с вызовом.

— Какие планы? — спросил Сулла у В. Ответа, впрочем, ему не требовалось. — Что-то меня в сон потянуло от водных процедур, — отсылая к словам финансового директора в ресторане, продолжил он, — надо бы подремать. — При этом так, чтобы не видела Угодница, подмигнул В. — Не прочь подремать? — повернулся он следом к ней.

— Ой, я за, — с готовностью отозвалась она, тут же зевнув.

— Спасибо за прогулку, — поблагодарил В. — Мне надобности дремать нет. Я выспался. Пойду, может быть, кто-нибудь мне компанию в бильярд составит.

— Тут еще велосипеды есть. Можно взять, покататься. Поинтересуйтесь, — проявила заботу Угодница.

— Поинтересуйся-поинтересуйся, — поддержал Сулла. — А после обеда мы с тобой в теннис. Не против в теннис?

— Да наверное, — как чувствовал, так и ответил В.

Сулла с Угодницей ушли в свои апартаменты, и он вновь остался в неприкаанном одиночестве. Что было делать, чем занять себя? Совсем ему не хотелось никакого бильярда. Да и велосипедной забавы. Голиаф, превратившийся во время прогулки на катере в мелкого гномика, исчез совсем, вызывая на бой — не откликнется: откуда ему взяться?

Ноги между тем вели В. коричневогравийными дорожками — с одной на другую, с одной на другую, — и через некоторую пору он вышел к той белораморной беседке-ротонде, в которой Сулла признался ему в своей беде. В. задержался на пороге, постоял, словно предстояло пересечь некую границу, и ступил внутрь. Озеро, просторно раскинувшись на созданном для него природой ложе, могуче и бесстрастно лежало внизу, подставляя себя человеческому взгляду с бесстыдством просуществовавшего века и тысячелетия Божьего творения, которому нет никакого дела ни до этих появившихся недавно на его берегах строений, ни вообще до человека. Исполненный величия и силы был вид.

Сороковая симфония Моцарта заиграла в кармане.

В. опасался, что это жена, которой теща могла сообщить засвеченный вчера перед нею номер, но это был директор по связям. В. совсем забыл, что чей звонок ждать вероятнее всего — это его, и сейчас, услышав голос директора по связям, почувствовал радостное облегчение.

— Что это ты такой довольный жизнью? — среагировал директор по связям на его радостное приветствие с досадливой подозрительностью.

— Счастлив вас слышать, — сказал В.

Что было правдой, разве что несколько преувеличенной.

— Счастлив. Чего это вдруг, — пробурчал директор по связям. — Как там тебе обитается? Нормально? Там хорошее место, хорошее. Не своя бы дача, не вылезал оттуда. А так, раз своя, приходится на ней куковать. Имущество обременяет, правильно коммунисты говорили.

— Это, по сути, и Христос говорил, — вырвалось у В. — неожиданно для него самого.

— Ну, Христос... — вновь с прозвучавшей досадой в голосе протянул директор по связям. — Христос чего-чего только не наговорил. Два тысячелетия никак уразуметь не можем. А ты-то вчера телевизор смотрел, слышал, что о тебе говорят? — круто переменял он разговор.

— Слышал, — коротко отозвался В.

— И что?

— Что «и что»? — В. счел за лучшее сделать вид, будто не понимает, чего от него хочет директор по связям.

— Сам что обо всем этом думаешь?

— А ничего не думаю, — постаравшись явить голосом саму безмятежность, ответил В.

И это тоже было полной правдой. Разве что была искусственной безмятежность, которую так старательно продемонстрировал. Но он и в самом деле не думал о том, что вчера услышал по телевизору. Все из него вымылось за ночь, утекло неизвестно куда — и следа не оставило. Голиаф, ты напрасно прячешься, притворяешься невидимым — мне все равно, Голиаф, мне нет дела до тебя, Голиаф, я тебя не боюсь, Голиаф, я готов к схватке с тобой, Голиаф, и к тому, чтобы одолеть тебя!.. Ведя разговор с директором по связям, В. медленно обошел беседку по кругу, остановился там, откуда озеро было видно полнее всего, облокотился о перила и стоял, созерцал распахнувшийся вид заново, ощущая в себе те свежесть и бодрость, с которыми проснулся.

— Ничего он не думает, — словно передразнил директор по связям. — Что-то вокруг тебя накаляться стало. Нужно нам это? Нисколько. Слава славе рознь. Дурная нам не нужна. А вон что на тебя вчера вывалили, ого!

— Да мало ли что вывалили, — сказал В. — Пусть. Брань на воротах не виснет.

— Не виснет?! — О, каким раскаленным сделался голос директора по связям — В. пришлось отдернуть трубку от уха, чтобы не опалиться. — Еще как виснет! Имидж, знаешь такое слово? Вот! Нам не такой твой имидж нужен! Сугубо положительный, вот какой! И никакой иной.

— Да что же мне, — сумел наконец вернуть трубку к уху В., — лезть теперь тоже под камеры и объяснять: не инопланетянин я?

— А вот обсудим, обсудим, — сурово пообещал директор по связям. — Не исключено, что и лезть. Очень может быть. А как же. Клин клином! Да! — вспомнил он. — А этот-то, самый активный, мне сообщили, он наш, с завода?

— Наш, с завода, — подтвердил В., понимая, о ком директор по связям: о коллеге.

— Серьезный тип, — уронил директор по связям. — Решил какую-то свою игру на тебе поиметь. Схватил это? И так просто, как нашего заводского, не прижмешь. По-крупному на тебя поставил, будет за свой интерес грызться. А ты говоришь: не лезть!

На этот раз В. решил, что благоразумнее будет промолчать.

Он не ошибся: директор по связям, потрепав его еще немного в зубах и не получая ответа, скоро выдохся.

— Ты где там? — смолкнув, спросил он через паузу.

В. подумал, директор по связям хочет понять, не отсоединился ли он.

— Здесь я, — сказал В.

Но директора по связям интересовало совсем другое.

— Я имею в виду, где ты сейчас территориально. В апартаментах у себя, в гостях у кого-то, на пляже загораешь?

— В беседке я, — сообщил ему В. (ах, почему не выдумал! Почему не назвал другого места? А впрочем, что смыслу). — Круглая здесь такая беседка есть, ротонда, из белого мрамора, знаете?

— Знаю-знаю, — спешаще отозвался директор по связям. — Один там, что ли? Или с кем-то?

Странные директор по связям задавал вопросы. Но все же В. ответил, не было у него причины таиться:

— Один.

— А и будь там, не уходи, — повелел директор по связям. — Подойдут к тебе через минуту.

— Кто подойдет? — недоуменно спросил В. — Зачем?

— Подойдут-подойдут, — успокаивающе проговорил директор по связям, словно В. тревожился, точно ли подойдут. И попрощался, не дав В. задать нового вопроса: — Пока, будь здоров.

Что же, что же, вычищая из себя неприятный осадок от разговора, сказал себе В., ничего нового, ровным счетом: кудлатая с дочкой, Сулла, Угодница... сейчас кто-то еще с чем-то подобным. Кто-то из здешних субботне-воскресных обитателей базы, так он решил. И, как стоял, разговаривая по телефону, так в ожидании обещанного директором по связям визитера и остался стоять — облокотившись о перила, все так же глядя на вольно раскатавшееся среди подпаленно-зеленых берегов плоское полотно озера, иззубренное сейчас лишь несколькими медлительными весельными лодками.

Шаги на дорожке за спиной он услышал, когда они были уже совсем рядом. И то был не один человек — так шуршал (звук накладывался на звук) гравий. В. распрямился, повернулся — и обомлел. В беседку входили сизощекий с младенческолицым. Сизощекий впереди, младенческолицый чуть за ним, но шаг у обоих был одинаково бодр и решителен, будто они прямо сейчас же, незамедлительно были намерены в том же темпе приступить к отправлению вмененных им службой обязанностей. Должно быть, лицо В. слишком живо выразило то смятение, которое он испытал при их виде, потому что суровая нитка губ сизощекого тут же измеилась довольной ухмылкой, и уста у него разверзлись:

— Не ожидал?

— Думал, что спрятался, да? — подхватил младенческолицый с такой же ухмылкой.

— Вы от меня бежали, не я от вас, — выговорил В. Не без труда далась ему эта его речь.

— Ладно-ладно, — пресек его попытку ответного нападения младенческолицый, — будем сейчас считаться! Мы при исполнении и докладывать о своих действиях никому не обязаны.

— А вот ты обязан, — изошло из сизощекого.

— Что я обязан? — удивился В. Он все еще не мог прийти в себя, ему казалось, эти двое не вполне реальны и так же, как неожиданно появились, могут в любой миг исчезнуть.

— Докладывать о себе обязан, — бросился развивать постулат сизощекого младенческолицый — такое у них было распределение ролей: сизощекий постулировал, младенческолицый уточнял детали. — Раз ты под нашей защитой.

— Он в нас нуждается, а мы за ним гоняйся, — позволил себе сизощекий отщипнуть кусочек от роли младенческолицевого.

Как поднатуживаются и поднимают груз, что еще мгновение назад был неподъемен, В. совершил над собой усилие — и сознанию вернулась способность понимать и анализировать, и даже, явив себя на свет из каких-то темных дальних подвалов, ретиво зафункционировало благоразумие.

— Хотелось бы прежде всего узнать, что случилось, — сказал он. — Ведь что-то случилось? А иначе бы вас здесь не было.

Сизощекий с младенческолицым переглянулись. И молчаливо пришли к общему решению.

— Присядем, — указал сизощекий В. на скамейку, что шла по периметру ротонды. — Нужно поговорить.

И сел первым, показывая В. пример.

Младенческолицый, однако, даже когда В. опустил на скамейку, остался стоять. Словно на всякий случай перекрывая ему путь к выходу.

— Что же вы, — неожиданно возвращаясь к уважительному обращению, как в самом начале их знакомства, спокойно, даже с такой особо веской медлительностью приступил сизощекий к разговору, — не известили нас, что знаете, где наш, — тут у него вышла небольшая заминка в поисках слова, однако же колебания его продолжались недолго, он нашел слово: — где наш друг находится.

— Ну, вот на фотографии который, — разъяснил младенческолицый. — Из-за которого весь шум-бор.

— Почему вы считаете, что я знаю? — выразил удивление В. Что-то им было известно о его вчерашнем хвастовстве перед директором по связям, без сомнения. Вопрос заключался лишь в том, что именно?

— В красном особнячке под тремя соснами, да? — не стал ввязываться в пустые пререкания сизощекий. И, полуобернувшись к озеру, махнул рукой на противоположный берег. — Километра не будет.

Они знали все, бессмысленно было отнекиваться. Вот как обернулось его вчерашнее самоупоенное бахвальство, вот какой плод принесло! Не от кого больше было знать им об этом, как от директора по связям.

— Предположим, у нас с вами и не было никакого договора, чтоб извещать, — сказал В. — У нас с вами речь шла совсем о другом человеке. Который этого с фотографии как раз искал. С бородой. Вы его нашли? И тех, кто за ним? Ответьте мне. Уж раз я под вашей защитой, — позволил он себе иронию.

Но сизощекий с младенческолицым оставили его иронию без внимания.

— Вот о том и разговор, — с суровостью уронил сизощекий.

— Из-за этого мы и здесь, — разъясняющее добавил младенческолицый.

Пауза, разверзшаяся в их и без того спотыкающейся на каждом шагу беседе, была похожа на пропасть. Вот та сторона и эта, и перебраться с одной на другую можно, лишь обратившись птицей. Но сизощекий, похоже бескрылым себя не считал. Он только, неожиданно, может быть, и для себя самого, вновь соскочил на «ты»:

— Откроешь своему бородатому, или кто там за него будет, где этот, с фотографии, обитает. Все, больше ничего. Разрешаем.

— Разрешаете? — переспросил В. — Здорово. Почему это вы можете разрешать, не разрешать? С какой стати?

— Тебе все знать надо? — всунулся младенческолицый.

— Разумеется.

Сизощекий вскинул руки, выставил их между В. и младенческолицым, развел в стороны, как если бы В. с младенческолицым были бойцами на ринге, он рефери и вот приказывал им разойтись.

— Тебя просили выяснить — ты выяснил, — сказал он затем, обращаясь к В. — Откроешь, где обитает, и всех делов. Больше от тебя ничего не требуется.

Объяснение директора по связям, зачем людям, которых представлял бородач, понадобился обитатель краснокирпичного особняка под тремя соснами, жгло В. чувством невозможности участвовать в этом деле.

— Нет, — ответил он сизощекому, — не буду я никому ничего открывать.

— Как это не будешь? — Сизощекий, казалось, не понял, что такое произнес В.

— Греха на душу брать не хочу. — Какие-то не его, не из обычного его лексикона были слова, но только ими В. мог выразить то, что полагал нужным.

— Греха! — воскликнул младенческолицый. И даже обратил взгляд к небу, словно желая усилить свое восклицание. — Ты знаешь, сколько на нем грехов? Это богоугодное дело — открыть, где он.

От тирады младенческолицего так и дохнуло ароматом откровенного рэкета, казалось, сам воздух вокруг наполнился его зловонием, и сизощекий поспешно ринулся замазывать совершенную напарником ошибку:

— В общем, нужно открыть. Нужно, и все. Что мы тут рассусоливаем.

— Вот вы и откройте, — предложил В. — Раз вы тоже все знаете. А я — извините.

По тому, какими изумленными взглядами обменялись сизощекий с младенческолицым, можно было заключить, что они сочли его предложение невероятной, из ряда вон выходящей наглостью.

— Думаешь, что советуешь? — выскочило из младенческолицего. — Мы при исполнении. Представляем официальную организацию. Как это мы можем? Общаться со всякими... для нас это исключено.

— Исключено, — подытожил сизощекий. — От нас никакая информация исходить не должна.

— Не должна — значит, не говорите, — сказал В.

Новая пауза означала всего лишь перегруппировку сил. Сизощекий с младенческолицым были готовы и к такому развитию беседы. И снова, как это обычно у них, первым на позицию выкатил сизощекий.

— Счастья ты своего не понимаешь, — как обрушивая на В. огневой артиллерийский удар, проговорил он. — Счастье тебе привалило, а ты отказываешься.

— Отказываешься, отказываешься! — живой пехотинской силой вступил на пропаханную артподготовкой землю младенческолицый. — Что тебе толку от твоих умений? Намного тебе на заводе зарплатишку увеличили? Знаем-знаем, на сколько. Слезы! Это тебе кажется, что намного. А слезы на самом деле!

— Меня устраивает, — не удержался В.

— А лимон тебя не устраивает? — с живостью отозвался младенческолицый. — С Вашингтоном в овале. Лимон! Разом, на руки, беги клади в банк.

— Это откуда же он возьмется, лимон? — словно бы прогибаясь под его напором, спросил В.

— От него, — указал кивком головы сизощекий, недвусмысленно имея в виду того, в краснокирпичном особняке под тремя соснами.

— Поработают с ним как следует, — с готовностью ступил на указанную дорожку младенческолицый. — У него само собой из карманов посыплется. Много посыплется. Ой, много!

— И на всех хватит, да? — поинтересовался В.

— Хватит-хватит, — подтвердил младенческолицый. — На всех хватит. А это мурло что жалеть? Был бы человек, а то шваль, не стыдно руку к экспроприации приложить.

Пожалуй, достаточно, решил В. Все тягостнее становилось ему тянуть этот разговор, отцеживая по крупницам сведения, которые и без того были очевидны.

— Да нет, — сказал В. — Не буду я никому ничего открывать... может быть, это моя выдумка — про три сосны?

Нитку губ у сизощекого передернуло.

— Не выдумка, — сказал он. — Установлено. — После чего добавил: — Полтора лимона. — Шильчатые его глаза прокалывали В. насквозь. В. так и чувствовал, как кончики шил торчат у него из затылка наружу.

— Нет, — твердо сказал он. — И за два, и за десять.

— Да ведь они же, если ты им не скажешь, — перебил его, ступив к скамейке, младенческолицый, — церемониться с тобой не будут. Для них твоя жизнь полушки не стоит!

Прав, прав он был, В. это чувствовал кожей.

— А вы на что, раз вы меня защищаете? — Как предательски, как подло, как гнусно охрип голос!

— А вот не справимся со своей задачей, — выдал незамедлительно сизощекий.

— Им же известно, где ты, они за тобой проследили, — не задержался со своим комментарием и младенческолицый. — А проехать сюда что, не смогут, думаешь? Вашингтоны любые шлагбаумы открывают.

Даже то, что охранник со стоянки проводил его на своем джипе-волчаре до самых шлагбаумных ворот, знали сизощекий с младенческолицым.

— Вот пусть они сначала приедут, — выдавил из себя В. неворочающимся языком.

Сизощекий поднялся со скамейки.

— Жив останешься — сам не обрадуешься.

— Плачет, плачет по тебе желтый дом, правильно по телевизору вчера говорили, — добавил младенческолицый.

Один за другим они оставили ротонду, весело зашуршал у них под ногами гравий дорожки, а там не стало слышно и шороха гравия.

Но В. чувствовал, что он не один в беседке. Голиаф, во всем своем боевом снаряжении, блестя медью лат, плотно надвинутого на лоб шлема, поигрывая тяжелым, неподъемным мечом, стоял рядом во весь исполинский рост и только ждал звука боевого рога, чтобы ринуться на В.

24

Что это было, интуиция? Или что-то иное? Но вдруг, совершенно неожиданно — уже совсем было заставил себя отправиться в ресторан обедать, снова явиться под обстрел любопытствующих взглядов, даже переоделся для этого — его словно пронзило: срочно нужно убираться отсюда. Немедля, сейчас же, сию минуту. И было это так повелевающе, так непрекращаемо, что он тут же бросился к чемодану, распахнул, покидал в него все, что было извлечено утром, сгромыхал по лестнице вниз и, чтобы не встретиться с кем-нибудь в холле, вывалился на улицу через веранду.

Одной встречи, впрочем, избежать не удалось. Кудлатая в своем зеленом костюме, сверкающем шелком лацканов, вышагивала, широко размахивая в стороны ноги, будто утверждая каждым шагом счастливое право топтать эту землю избранных, В. хотел пропорхнуть мимо нее незаметным воробушком, — но мало ли что он хотел.

— Вы что, уезжаете? — вся вспыхнувшее подобострастие, остановила его кудлатая. — Вам здесь не нравится? Вы скажите! Мы исправим!

— Нет, не уезжаю, — ответил В., и в противоречие с его ответом рука поспешно сунулась в карман, извлекла верандные ключи. — Вот найдите ко мне, повесьте, а то чуть не увез.

— Так пожалуйста, так ладно, — принимая ключи, тупо отозвалась кудлатая. — А говорите, что не уезжаете.

— Не уезжаю, — подтвердил В. — Тут мной, возможно, будут интересоваться, отвечайте: отправился на тот берег. На лодке ли, на катере, один ли, с кем-то — не имеете понятия. Знаете только: отправился.

— Откуда я знаю? — еще тупее спросила кудлатая.

— От меня. Я сказал. Вы меня видели — и я сказал.

— Ну да, — раболепно согласилась кудлатая.

— Только про чемодан не говорите. Чемодана вы у меня не видели. Понятно?

— Понятно, понятно, — усердно закивала кудлатая. — Так и отвечу. Видела — пошли на озеро, еще мне сказали, на ту сторону собрались.

— Спасибо, — поблагодарил ее В. и с прежней стремительностью ударил к автомобильной стоянке.

Он был уверен в кудлатой, что она, если придется, скажет все так, как он попросил. Именно в ней можно было быть уверенным на все сто.

Машина «скорой помощи» вкатил на территорию базы, как раз когда он собирался выезжать со стоянки. И была это не обычная «скорая» — легковой фургон с носилками посередине салона, а фургон-грузовичок, написано же на боках фургона было «Специальная медицинская помощь». Что, без сомнения, расшифровывалось как «психиатрическая».

С ногами на педалях сцепления и газа, с рукой на рычаге переключения скоростей, В. стоял в ряду других неподвижных машин, смотрел, как фургон медленно, словно ощупываясь, катит по дороге в глубь базы, и ясно, отчетливо осознал, от чего сбегал: от этого фургона. Без сомнения, это приехали за ним. Дюжие ребята-санитары, каждый из которых по крепости мышц не уступает библейскому Голиафу.

Приближаясь к шлагбаумным воротам, В. нащупал лежавшую под сиденьем монтировку, и подтянул ее поближе, чтобы в случае необходимости она тут же могла оказаться в руке. Что это за необходимость, он представлял себе весьма смутно, как и то, что будет делать с монтировкой, но близость монтировки придавала уверенности перед встречей с охранниками на воротах. Охранникам мог быть отдан приказ не пропускать его машину, а может быть, и задержать его, — паранойя, стараясь насмешливо, твердил себе В., все ближе и ближе подкатывая к красно-белым косым полосам, и однако же не оставляла его эта паранойя.

Ворота распахнулись перед ним с легкостью, которой не ожидал. И охранники еще что-то сказали ему — позубоскалили, — но что сказали, он не понял и вместо ответа потряс головой, как бы выражая некое согласие. Нет, никаких указаний задержать его им не поступало.

Им не поступало, но те, в фургоне, имели такое указание и, нигде не обнаружив В., не полагаясь на ложные сведения кудлатой, естественным образом должны были проверить наличие его машины на стоянке. А обнаружив ее исчезновение, так же естественно пуститься за ним в погоню, — едва ли в фургоне сидели одни санитары. И, миновав лесной пост, всю дорогу В. гнал, нещадно нарушая скоростной режим, будто уходил не от возможной, а от совершенно реальной погони.

Он сбросил скорость, лишь въехав в город, когда река шоссе разделилась на множество улиц, текущих каждая по своему руслу, и определи тут, по какому из них он направился. Но еще и по другой причине он сбросил скорость, а там, покрутив по улицам, и остановился. У него было чувство, он должен исполнить здесь, в этом оглушенном зноем обезлюдевшем субботнем городе, некую миссию. Да, вот именно так в нем прозвучало: миссию. Не только же ради спасения от страшного фургона бежал он с этой ВИП-базы. Что-то он должен был сделать, раз удалось благополучно и так ловко оставить ее. Но что? В. не мог выскрести из себя ответа. Казалось, нужно предпринять еще одно усилие, самое ничтожное — и все получится, но нет, ничего не получалось.

В. выключил двигатель и вышел из машины. И лишь вышел, тут же увидел, что остановился точно напротив того дома, в подвале которого — уфологиче-

ский офис коллеги. Случайность? Но В. сейчас не верил в случайность происходящего с ним.

Он заблокировал машину и направился к офису коллеги. Он не знал, зачем это делает. Но раз оказался здесь, он должен был попасть и вовнутрь. Он даже был уверен, что коллега, несмотря на то что весь город эмигрировал на природу, там, у себя в подвале.

Еще он был уверен в том, что кодовый замок на двери или открыт, или не работает, и он беспрепятственно попадет в офис.

Замок был сломан, и у В. не возникло никаких сложностей с проникновением вовнутрь. Он лишь постарался не греметь, чтобы не вызвать переполоха раньше времени. Что конкретно означало это «раньше времени», он не отдавал себе отчета. Но знал: застать врасплох.

Что ему и удалось. А не подкрадись тихой сапой, мягким кошачьим шагом — и не удалось бы услышать того, что услышал. Интервью, опять интервью телевидению давал коллега, сидя за своим столом в позе усталого оракула со сложенными перед собой руками. Свет тысячеваттных телевизионных ламп шпарил ему в лицо, ослепляя коллегу, и, не услышав, как В. вошел, он еще и не увидел его. Оставьте, оставьте, оставьте, словно уже в тысячный раз повторяя это, говорил коллега интервьюеру поодаль. Если даже будет и с перехлестом, что из того? Не в пустое же назиданье дана нам вековая мудрость: лес рубят — щепки летят. Когда речь идет о спасении, пусть и полетят. А речь идет о спасении. О выживании. Да-да, о выживании человечества как вида! Отличать чуждых нам существ труда не составляет. Никакого труда! Подлинная человеческая особь — это человек, который у мира не просит, а берет. Он хозяин жизни, а не ходатай перед ней. Он ею распоряжается, а не она им. Берет у мира что ему требуется, не полагаясь на чью-то доброту и помощь. Жалость, сострадание — это все слова не из его лексикона. Это лексикон тех, других, которые разлагают человечество, через которых оно загнивает, обращается в труху. Таких нужно отделять без всякой рефлексии — и в резервации, и чтобы не смели оттуда... пусть там пулеметные вышки, ток по проволоке... Ну, а кто без вины попадет в те самые щепки — ничего не поделаешь: пострадал во имя высшего блага! И как, вы говорите, будет называться партия, которую вы организуете, почтительно вставился в предложенную ему паузу интервьюер. Партия, которую мы организуем, с веской значительностью отозвался коллега, будет называться «Партия людей». Вот именно так, без экивоков. Отраден факт, что ее уже готовы финансировать несколько весьма состоятельных бизнесменов, все настоящие, достойнейшие люди...

Оператор от камеры и человек рядом с ним уже не раз и не два взглядывали на В., сначала в их взглядах сквозило недоумение: кто такой? — но потом и один, и другой опознали его, и теперь они оглядывались с любопытством и страстью, которые нарастали от мгновения к мгновению. Они, видел В., готовы уже были развернуть камеру на него. Вот только лампы были настроены освещать коллегу.

В. сделал несколько шагов вперед и вступил в облако искусственного солнечного света.

— Партия нелюдей, с ударением на первом слоге, так называется то, что ты организуешь, — сказал он. И увидел, как камера, оставив коллегу, в тот же миг развернулась на него. — Зачем вы бесконечно даете ему эфир? — посмотрел он на интервьюера. — Вам несут бред, и вы этот бред распространяете. Я не инопланетянин или, в крайнем случае, такой же инопланетянин, как он сам. Как все мы. Вам это не ясно?

— Заткнись! Заткнись! Заткнись! — звучно хлопнул ладонями по столу и вскочил коллега. Неожиданное появление В. ввергло его в ступор, благодаря этому В. и удалось произнести свою речь, и вот коллега пришел в себя. — Вы-

ключи камеру! — заорал он затем, тыча пальцем в оператора. — Немедленно! Я приказываю! Интервью мной оплачено, и чтобы еще за мои деньги... Выключи камеру! Выключи!

Горевший на лбу камеры красный огонек, увидел В., послушно погас. О, волшебное слово «деньги», не сравниться с ним по силе воздействия и Архимедову рычагу!

— Да, собственно, достаточно. Это то, что я и хотел сказать, — снова посмотрел на интервьюера В. — И должен был, — вполне неожиданно для самого себя добавил он.

— Нет, подождите, подождите! — вскочил со своего места, побежал к В. интервьюер. Парнишка с пухлым румяным лицом, как два наливных яблочка были у него юные щеки. — Еще минут пятнадцать, и мы с вами... Мы закончим, и с вами интервью! О чем угодно говорите, обо всем, что придет в голову!..

Но В. уже разворачивался, уже не слушал его, уже уходил... парнишка настиг В., — В. молча отстранил парнишку и проследовал к двери. Интервьюер был намерен выскочить следом, — противоборствуя с ним, В. дернул ручку на себя. Дверь захлопнулась, замок защелкнулся.

В. поднимался по ступеням — железная дверь сотрясалась под рывками изнутри, но тщетно: замок на ней все-таки был сломан, и его заклинило от удара.

Машина за время его отсутствия даже не успела нагреться, в ней еще сохранялась прохлада от работы кондиционера. Не задерживаясь ни на мгновение, В. перехватил себя портупеей ремня и тронулся.

Он знал, набирая скорость, куда лежит его путь дальше. Путь его лежал снова за город. Но совсем в другую сторону: к приятелю школьной поры, что привел тогда на устроенный женой сбор младенческолицега застенчивого незнакомца. У приятеля был садовый домик, доставшийся ему от родителей, можно было бы предположить, что по какой-то причине он остался в городе и сначала следует навестить его по городскому адресу, но В. знал точно, что в городе приятеля нет.

На садовом участке у него В. бывал еще в школьную пору, когда там хозяйствовали родители, а сам приятель всячески отлынивал от огородно-садовых работ, и дорога была В. известна во всех своих развилках и поворотах. Ну вот, свидимся еще разок на посошок, прозвучало в В., когда последний поворот был пройден и за круглящимся полем сгорающей низкорослой пшеницы в живых, крепкозеленых зарослях фруктовых деревьев взгляду предстали серые шиферные и красные черепичные макушки крыш садового поселения.

Приятель был там, где его В. и рассчитывал увидеть. Сидел на чурбачке в тени около сарая и шкурил наждачной бумагой, доводя до бархатной гладкости, фигурно вырезанную доску. Он так и не полюбил огородно-садовые работы, он любил столярничать, чему и посвящал здесь свое время.

— Не ожидал? — откровенно наслаждаясь его перевернутым лицом, произнес В., когда расстояние между ними сделалось достаточным, чтобы не повышать голоса. — Долг платежом красен: я ведь тоже не ожидал, что ты ко мне с этим застенчивым типом явишься.

С того вечера он не имел с приятелем никаких контактов, не звонил ему, и тот не звонил тоже.

— Прости, — слабым голосом, тупя глаза, отозвался приятель, — но я не мог отказаться. Они так умеют... Конечно, я не хотел.

— Лучше уж тогда было вообще не приходить.

— Как?! — вскинул на него глаза приятель. — Они, наверное, телефон прослушивали, все знали... мы с тобой уже договорились — что я после этого должен был выдумать?

— Смертельно заболеть, — сказал В. — Слечь с температурой сорок. Они бы тебя с постели подняли?

— Почти так, — отозвался приятель. — Приехали ко мне, с двух сторон, не вырваться, и пошел-пошел...

Жена приятеля, должно быть, увидев В. из окна, бежала к ним от дома. Должно быть, на защиту мужа. Скалка, выбеленная мукой, была у нее в руках. Скалка!

— Что? — развернувшись к ней, проговорил В. — Что ты испугалась? Здравствуй.

— Здравствуй, — останавливаясь поодаль, скалка в руке на взлете, ответила жена приятеля. — Что ты приехал?

— А ты что со скалкой? — спросил В.

Жена приятеля стрельнула на скалку взглядом, но не опустила руки.

— А то, что мы должны, если ты появишься, сообщить о тебе.

— Да, это так, — подтвердил приятель.

— И для этого нужно бежать ко мне со скалкой?

— Что ты приехал, что ты приехал?! — закричала жена приятеля. — Одни неприятности от тебя! Хочешь укрыться у нас, чтоб спрятали тебя? Не спрячем! Мы о тебе сообщить должны!

— Почему ты считаешь, что я хочу у вас укрыться? — удивился В. — Откуда ты это взяла?

— Потому что звонили. Те. Оттуда, — снова пряча глаза, объяснил за жену приятель. — Сказали, что можешь приехать, просить укрыть. И велели сообщить им об этом.

Вон как! В. даже не приходило в голову, что те могут додуматься до такого. Не поймав его бреднем на базе, решили ловить большой сетью.

— Да нет, — успокаивающе бросил он приятелю, — не беспокойтесь, я к вам совсем с другим. Собственно, к тебе, — он взялся за доску в руках приятеля и подергал ее. — Слышишь? К тебе. Ты уйди, — посмотрел он на жену приятеля. — Ну, или, в крайнем случае, отойди.

Бокон, боком, мелкими шажками та отодвинулась ненамного и замерла. Похоже, сдвинуть ее еще на пару шагов можно было лишь чем-то вроде лебедки. Если перед тем удастся накинуть на нее трос. Ладно, пусть хоть так, решил В.

— Ты вот что, — сказал он сумевшему поднять на него глаза приятелю, и о, какая собачья вина стояла в них, как нехорошо, как скверно было ему! — ты не мучайся. Я к тебе, собственно, за этим лишь и приехал, чтобы сказать: не мучайся. Кто знает, может, больше не увидимся. Вот чтоб ты знал мое отношение. Не ты бы, так кто-то другой. Не все равно кто. Друг любимый на меня... — «Наточит нож за голенище», — эти слова В. не стал договаривать. — Ты мучаешься, я вижу. Не мучайся. Я на тебя не держу сердца. Обидно мне, естественно, да уж что тут... не мучайся. Можно, конечно, было бы и позвонить... но телефонный разговор — это все же не то.

Оглушенным, удивленным, обрадованным взглядом смотрел на него приятель.

— Почему ты говоришь «не увидимся»? — спросил он, поднимаясь со своего чурбака и прислоня к тому доску. Каким аккуратным движением прислонил он доску! Каким нежным! — Что ты имеешь в виду — «не увидимся»? Почему?

Тревога? Нет, не тревога звучала в его голосе. Беспокойство за В.? Нет, и не беспокойство. Облегчение — вот что, скрытое облегчение, что В. каким-то образом избавит его от своего присутствия в их жизни.

— Не знаю, что я имею в виду, — сказал В. — Так мне кажется. Прощай, — не делая паузы, как на лету завершил он разговор. Глянул на жену приятеля, в страстном желании разобрать каждое произносимое ими слово обратившейся в

одно мучительно напряженное ухо, притиснувшей от этого напряжения к груди скалку и густо испачкавшей себя в муке: — Прощай. — Повернулся и быстро, все быстрее, быстрее ударил обратно к калитке.

— Подожди! Подожди же! — услышал он за спиной. Остановился, оглянулся — приятель, не сумев затормозить, наскочил на него, едва не свалив. — Ты знаешь, — забарабанил приятель, — мы можем не сразу позвонить о тебе. Ну, что ты здесь был. Выждать сколько-то. Чтобы ты успел уехать.

В. покивал:

— Да, это будет хорошо. Выжди.

— Сколько? — поспешно поинтересовался приятель.

В. прикинул, сколько ему ехать до развилки, после которой можно чувствовать себя колобком, ушедшим и от бабушки-дедушки, и от прочих зверей.

— Минут бы двадцать, — сказал он.

— Нет, двадцать минут — это много, — затряс головой приятель. — Тут же соседи. Видели тебя, наверно... Минут десять.

— Хорошо, минут десять, — согласился В.

Минут пять выждет приятель, не больше, вспоминая его барабанную речь, осознал В., когда уже был в машине. Но что можно было тут сделать? Только ужать двадцать минут до пяти, и он мчал, сначала по пылящему проселку, потом по разбитому асфальту до намеченной развилки так, словно участвовал в гонках.

Из церкви выходил народ. Судя по всему, закончилась вечерняя служба, следовало поторопиться. В. торопливо преодолел расстояние от своего «Фольксвагена» до распахнутых в полный раствор дверей. Выходившие из храма, обернувшись и вздымая глаза на крест над входом, осеняли себя крестным знамением, и он счел необходимым вслед за ними, вспоминая вчерашнее поучение священника, как складывать пальцы, сделать то же самое.

На свечном ящике в притворе сидела та же капустаница, что вчера, она узнала В., и ее тотчас преисполнило усердным желанием помочь ему.

— Отца настоятеля видеть? — с пламенной кротостью поинтересовалась она у В. без всякого обращения с его стороны.

— Да-да, его, — благодарно отозвался В.

— Поспешите, поспешите, уйдет, — захолопотала капустаница. — В алтаре, должно быть, сейчас, вы там у дальних дверей постойте, подождите, когда выйдет.

В. метнулся к арочному входу, влетел в храм. Человек пять, не больше, оставалось уже внутри. Двое ходили от иконы к иконе, крестясь и прикладываясь к ним, один стоял на коленях перед серебряным ковчежцем с мощами святых, еще двое топтались в углу у алтаря, около этих дальних дверей. Похоже, им, как и В., нужен был священник, и следовало занимать очередь.

Появившийся из алтаря настоятель был уже в обычной светской одежде, снова, как в прошлое появление здесь В., неотличим от прочих людей, только седеющая обильная борода, каких в мирской жизни никто обычно не носит, и свидетельствовала о священстве.

— Батюшка! Батюшка! Не обессудьте! Помощь ваша нужна! — тут же бросились к священнику те двое, как правильно определил В., что поджидали его.

Четверть часа, не меньше, пришлось ждать В., пока священник освободится. А когда освободился и ступил к В.: «Что-то случилось?» — у В. вырвалось: «Что же вы меня предали!» — совсем не то, что намеревался сказать.

— Как я вас предал? — с недоумением и обидой воскликнул священник.

— Вчера. На телевидении. — В. говорил и сам изумлялся тому, что говорит. Не было, не было в нем мгновение назад этой мысли, не собирался об этом! Словно ради этого сюда и пришел.

— Что же это я вчера такое на телевидении? — удивился священник.

— Не защитили меня. Несли про меня Бог весть что... Не вы, не вы! — потопился В. исправить свою оплошность. — Они там несли — а вы не опровергли.

Взгляд священника ушел в себя.

— Не опроверг. Вы правы. Почему-то не получилось, — с покаянностью произнес священник затем. — Правы, правы. Простите меня.

— Я что, — вырвалось у В. — Вон, — показал он рукой под купол.

— Конечно, конечно, — кивая, со смирением согласился священник.

И разом В. почувствовал, что способен говорить о том, из-за чего оказался здесь.

— Я бы хотел исповедоваться, собороваться и причаститься, — сказал он.

Соборование, исповедь, причастие — ему было известно, что это делается с умирающим человеком, было известно — и никогда не присутствовало в сознании; но когда уходил от приятеля школьных лет с его садового участка, уже знал, зачем едет сюда.

Священник смотрел на него настороженно и словно бы опасливо.

— Вы что, смертельно больны?

— Да нет, — сказал В.

— Как же я буду вас соборовать, когда вы здоровы. Над здоровым человеком таинства соборования не совершается.

— Но если человек в опасности? Если ему грозит опасность? Такая, знаете... — В. споткнулся. Язык отказывался произнести нужное определение.

Но священник понял и так.

— А даже если смертельная опасность, — как продолжил он. — Соборование — не страховка от несчастных случаев.

— Но как же, — пробормотал В. Он помнил: соборование, исповедь, причастие. — Как же, как же...

— Вот плохо, что вы не были сейчас на службе, — с суровой наставительностью проговорил священник. — Я же вас звал. Сегодня бы исповедались, завтра на литургии причастились... — Он словно споткнулся. Словно какая-то иная, свежая мысль пришла ему в голову. — А впрочем, вот что, — сказал священник. — Приходите завтра с утра до службы, и я тоже приду пораньше. Исповедуетесь, потом отстоите службу и причаститесь. Давайте так.

В. неуверенно пожал плечами, покачал головой.

— Не знаю... Может быть, у меня не получится прийти. — Он высказывал опасение, но внутри была твердая убежденность, что не придет. — А можете меня сегодня исповедовать и причастить? — осенило его. — Пусть без соборования. — Священник смотрел на него с готовностью произнести твердое «нет», и В. прибег к последнему аргументу. Который, надеялся, не придется извлекать из тех глубин, которые столь неожиданно, столь оглушающее открывались ему и в которые он боялся заглядывать, так — чуть-чуть, не вполглаза даже, а слегка приразжмуривая глаз и тут же смыкая его вновь. — А если это не я вас прошу? Не соборуйте. Но причастить... причастите.

«Нет», готовое истечь с языка священника, умерло, так и не сойдя с него. Тихое потрясение стояло во взгляде священника.

— Вам так кажется? — спросил он затем В.

— Так же, как все, что со мной происходит, — сказал В.

Священник постоял около него еще некоторое время молча и коснулся плеча.

— Ждите меня здесь. Я должен пойти подготовиться.

Он исчез за алтарной дверью. В. огляделся. В арочном проеме входа в сопровождении согбенно-кривоплечего бородатого мужчины, в котором В. непо-

нятным образом тотчас определил ночного сторожа, возникла капустаница, они постояли-постояли там парной тенью, глядя на В., и исчезли. В. стоял во всем подкупольном пространстве совершенно один. Сейчас он впервые в жизни должен был исповедаться. Жизнь, что прожил, вихрилась в нем толчеей не связанных друг с другом эпизодов — у него было ощущение поднимаемого то ли с речного, то ли с озерного дна невидимым течением ила, забивающего легкие, туманящего зрение, стискивающего сердце.

Священник появился из алтаря в рясе и сбегавшей через грудь и живот к голеням расшитой золотом широкой ленте епитрахили. Взял от боковой стены складень аналая, расставил, выложил на него большой серебряный крест, толстый том Евангелия в серебряной пластине переплета. В. шагнул было к священнику, но тот повернулся к нему спиной и, осенив себя крестом, принялся молиться. «Отче наш, иже еси...» — удалось В. разобрать начальные слова единственной из молитв, которая была ему знакома. «Назовите ваше имя», — обернувшись к нему, попросил священник. В. торопливо назвал, вновь подавшись к аналою, но и сейчас рано еще было начать исповедь: священник продолжил читать молитвы. Казалось, им не будет конца. «Это и есть исповедь?» — уже недоумевал В.

— Приступим? — неожиданно повернулся к нему священник. В. обварило морозным ознобом, и начавший было оседать придонный ил прожитой жизни опять взметнуло в нем вихревым облаком.

Сколько все потом длилось, В. не понял. Время споткнулось и стояло всю пору, что они беседовали с отцом настоятелем, и стояло, когда священник, воздев над В. конец епитрахили, возложил ее на его склоненную голову, произнес над ним какие-то слова, тупо и твердо четыре раза нажав на макушку в разных местах, что, должно быть, обозначало крест, а следом ушел в алтарь и вернулся с сосудом, похожим на кубок. И вот лишь когда В., широко раскрыв рот, потянулся к вынырнувшей из сосуда золотой ложечке, получив с нее плоть и кровь, получив еще немного спустя от священника и кусок небольшого хлеба в странных остроугольных щербинах, фарфоровую плошку с щедро налитой в нее красноватой жидкостью, когда он сжевал хлеб и опорожнил плошку, в которой оказалось разбавленное вино, лишь после этого споткнувшееся время будто скакнуло и двинулось дальше. «Поздравляю вас с причастием», — сказал священник. Что следовало ответить? Благодарю? Спасибо? Очень признателен? Нелепые все какие слова, они были слишком мелки, слишком малы, чтобы быть соравны тому, что произошло сейчас, и В. промышчал что-то нечленораздельное, сам не понимая что.

Когда он вышел в притвор, капустаница с согбенно-кривоплечим, определенным В. как ночной сторож, стояли около прилавка свечного ящика в позе торжественной встречи, а при его приближении капустаница неожиданно упала на колени и поклонилась ему в ноги, натурально ударив лбом о бетонный пол.

— Вы что! — бросился к ней В. и принялся поднимать. — Вы что это?! С какой стати!

— Я не вам, я страданию вашему. — Слабые локоточки капустаницы сопротивлялись В., отказывались подчиняться его рукам, выскальзывали из них. — Не вам, не вам!

— Да перестаньте, какое страдание... — пробормотал В. Стыдно ему было, неловко, конфузно.

— Страданию вашему! — повторила капустаница, упорно противясь его усилиям поднять ее.

— Впервые вижу, чтобы батюшка кого-то таким образом исповедовал и причащал, — тоже кланяясь и крестясь, только не ваяясь на колени, подал голос тот, которого В. определил как сторожа. — Я уж с ним сколько лет. А впервые...

— Страданию вашему... — пролепетала с пола капустаница. — Дай вам Бог сил!

— И вам! — нашелся теперь В., как ответить ей. — И вам! — поклонился он возможному сторожу.

И врзал из притвора на лестницу, кубарем покатился по ней, словно за ним гнались. Но кому было гнаться за ним? Это он убегал от себя самого, отразившегося в капустнице. Этот он, отразившийся в капустнице, пугал его, страшил, обессиливал. В. еще не был готов к встрече с ним. Хотя, чувствовал он, встреча была неизбежна. Неминуема, неотвратима, фатальна.

25

Показалось ему или нет, что охранники на шлагбаумных воротах посмотрели на него с особым значением? Похоже, что не показалось. Впрочем, это было не важно. Он возвращался независимо от того, ожидали его там расставленные силки или нет. Велик подсолнечный мир, а не выроешь себе нору в лесу, не станешь жить в ней подобно зверю, а выроешь да станешь — на что тебе такая жизнь, что в ней смыслу, зачем она тебе, что с ней делать? Что предуготовлено, то пусть и будет с таким чувством возвращался В. на озерную базу отдыха для высшего менеджмента завода.

На стоянке вдоль рядов разогретых дневным солнцем до печного жара машин прохаживался, заложив за спину руки, глянцево-кофейный таджик в своем похожем на спецовку серо-голубом костюме. И когда В., запарковавшись, выбрался из кондиционированного рая в битумный ад, он уже стоял рядом, и лицо его сияло в жизнерадостно-бодрой улыбке.

— Добрый вечер! С приездом! Слава Богу! — кланяясь, приветствовал он В.

Ни разу до того В. не видел его здесь. Таджик был выставлен на стоянке специально, чтобы сообщить кому следовало о его приезде? Ну да если и так.

— «Слава Богу» при чем тут? — не удержался он, однако, хотя и знал, что таджик не поймет его.

— При чем тут! При чем тут! — снова просиял таджик. И, не переставая сиять, спросил: — Багаж? Чемодан? Пожалуйста! Помогаю.

Он несясь впереди В., катя чемодан и время от времени радостно оглядываясь, В. шел следом и думал, что попадать в руки психиатров все же не хочется, уж лучше тот бородач, может быть, удастся как-то потянуть с ними время, а той порой этот обитатель краснокирпичного особняка будет назначен, кем его собираются назначить, и проблема рассосется сама собой. Территория базы в отличие от утренней поры была, можно сказать, оживленной. Проехал, развеивая полами длинной расстегнутой рубахи, подросток на велосипеде. Около главного корпуса с высокой лестницей катались на самокатах дошкольных лет мальчик с девочкой. Одно окно на втором этаже распахнулось с громким хрустом, и в нем, тесня друг друга, выставилась пара: он с голым торсом и она в наскоро наброшенном зеленом халатике, который еще оправляла на плечах. И все: и эта пара, и подросток на велосипеде, и даже дошкольного возраста самокатчики — смотрели на него не как то бывает обычно — взглянули и оставили взглядом, — а с той жгучей пристальностью, что подразумевает некое тайное знание о предмете взгляда и желание узнать еще больше.

Из особняка, в котором располагались апартаменты В., в теннисном костюме, в бейсбольной кепке, с ракеткой в руках выходил финансовый директор. Оказывается, они жили тут на базе под одной крышей.

— Что же, обратно? — останавливаясь, спросил финансовый директор, возвращаясь на В. с той же жгучей пристальностью.

Он встал в дверях, загородив собою проход, и В. естественным образом тоже вынужден был остановиться.

— Почему вы считаете, что я обратно? — вопросом ответил В. — Может быть, я никуда не уезжал, а это у меня просто еще один чемодан?

— Да уж, да уж! — не освобождая прохода, сказал финансовый директор. — Вас так искали — нигде! Знаете, кто вас искал?

— Знаю, — кивнул В. Хотя так и просилось уточнить.

Финансового директора, впрочем, разрывало от желания поделиться с В. тайным знанием.

— Такие бугаи из психбольницы приезжали! — обрисовал он руками, какие богатыри разыскивали тут В. — Официальное распоряжение у них вас замести.

В. передернуло от его уличной фени.

— Не было у них никакого официального, — сказал он. И попросил, указывая на дверь за спиной финансового директора: — Позвольте.

— О, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, — отступая в сторону, изобразил финансовый директор воплощенную галантность. — Иду, кстати, играть с вашим другом. Не хотите подойти поболеть за него?

«Мой друг?» — удивился про себя В. Следом он понял, что финансовый директор имеет в виду Суллу.

— Может быть. Не исключено, — чтобы окончательно освободиться от финансового директора, пообещал В., ступая мимо него в освобожденный дверной проем.

Таджик, подкатив чемодан к апартаментам В., отпустил ручку и, выжидательно глядя на него, замер с окоченевшей на лице жизнерадостной улыбкой. Достав кошелек, В. хотел дать ему на чай, — таджик, переменившись в лице, испуганно зажестикублировал:

— Нет! Нет! Не надо!

И стоял, не уходил, вновь просяив улыбкой, ждал, пока дверь за В. закроется.

Интересно, закрывая дверь, думал В., кому он будет сообщать о его приезде: прямо сизоощекому с младенческолицым или кому-то здесь, на базе? Едва ли...

Трепетанье полных свежей утренней росы лепестков розы, которое производил дверной звонок, раздалось, когда В. был в душе. Впрочем, уже вытирался, выключив воду, а лейся вода — не услышал бы звонка. Неужели же Голиаф пожаловал к нему так скоро? В. огорчился. Он был настроен поблаженствовать в одиночестве, подготовиться к встрече. Поэтому он не поспешил к двери, напротив; ему хотелось пусть не прикинуться отсутствующим, но потянуть время, подольше не подходить к двери, не открывать ее. Даже такая мысль просквозила надеждой: может быть, позвонят-позвонят — и надоест, уйдут.

Нет, однако: он вытерся, вышел из ванной, оделся — добрых пять минут прошло, — а лепестки розы все лепетали и лепетали. В. решительно прошагал к двери и распахнул ее. На пороге, все продолжая держать руку на кнопке звонка, стояла кудлатая.

— Это вы! — вырвалось у В.

— Войти бы, — произнесла кудлатая. Голос у нее был приглушенный и боязливый, и еще она втягивала голову в плечи, словно боялась кого-то и хотела спрятаться.

— Конечно же, — посторонился В., впуская ее.

Кудлатая не вошла — вскочила. В. выглянул в коридор — коридор зиял пустотой и звенел тишиной, никого там не было.

— Что случилось? — спросил он. Впрочем, догадываясь, что.

Догадка его оказалась верна. Таджик доложил ей о его возвращении, а она сейчас, в свою очередь, должна была сообщить об этом дальше. Не могла не сообщить, обязана была, иначе потеряет место, а где она найдет другое такое?

— Зачем вы вернулись-то? — плаксиво приговаривала кудлатая. — Машина эта за вами приехала — я им все, как вы просили: на тот берег, а как, на чем — не видела. Потом те двое, что еще утром к вам приезжали. Дали телефоны и приказали, если вы вдруг появитесь, тут же им позвонить. — Вот, — протянула она В. зажатые в потной ладони две белые картонки, похожие на визитки. Точно такие же, как получил сам В.: лишь имя с отчеством, без фамилии, и те же, знакомые телефоны — номера их тогда поселились в памяти В. мгновенно, с одного взгляда.

— Что же... спасибо, — протянул он картонки с телефонами обратно кудлатой. — Вам нужно звонить? Звоните.

— А-а... вы? — заикаясь и запинаясь, протянула кудлатая. — Вам, может, того... опять... уехать?

— Вы звоните, звоните, — не отвечая на ее вопрос, сказал В. — Вы меня известили — и все. Звоните.

— Но я должна. Я не могу не позвонить. Иначе я... и что тогда? — как подывая, взмолилась кудлатая.

— Да звоните же, звоните! — прикрикнул на нее В. Она еще хотела вытребовать у него и сочувствие!

Беря со стола выложенный из кармана на время душа щедрый подарок директора по связям, чтобы сунуть его обратно, к паспорту, ненужным ключам от квартиры и расческе, В. вдруг сообразил, что за весь сегодняшний день, после того утреннего звонка директора по связям, телефон больше ни разу не прозвонил. А должен бы был звонить, непременно должен. Директор по связям, которого, несомненно, известили об исчезновении В. с базы, и позвонил бы.

В. шоркнул по клавишам пальцами оживить дисплей, но тот не загорелся. В. предпринял еще одну попытку — безрезультатно. Неизвестно когда, неизвестно как подарок директора по связям отключился.

Телефон взорвался сороковой симфонией Моцарта, только пин-код был принят и система загрузилась. В. смотрел на высвечивающийся номер — это был один из тех, с напоминающих визитки картонок, которые ему только что показывала кудлатая. Симфония смолкла, В. прошелся по журналу звонков — огого: да ему сегодня обзвонились! Хотя домогались его всего с трех номеров: два были эти, с картонок, третий — директора по связям. Директор по связям, тот предпринял четыре попытки, а с этих двух номеров — набирали и набирали, бесчисленное число раз, вот только что снова. Разве что звонившему сейчас довелось услышать не голос автомата, сообщающий о недоступности абонента, а длинные гудки, извещающие о том, что аппарат исправен и работает, но вот его владелец отвечать на звонок по какой-то причине не желает.

Нет, не желаю, как бы произнес В. — с таким нервным, но саркастическим смешком, с отчетливой досадой — и отключил подарок директора по связям — теперь уже вполне осознанно.

Новый лепет роз у входной двери не заставил ждать себя слишком долго. Но когда В. открыл дверь, ему вновь пришлось пережить потрясение. Встреча, к которой он готовился, опять откладывалась. Глазам его предстала Угодница. И вид у нее был — это при разнице их облика и возраста! — точь-в-точь, что у кудлатой: та же виноватость и безнадежность, и так же втягивала в плечи голову, словно боялась кого-то и хотела умалиться до полного исчезновения.

— Можно к вам зайти? Позвольте? — оглядываясь, нет ли у нее за спиной кого она боится, проговорила Угодница.

Не задавая вопросов, В. впустил ее и закрыл дверь. Все, все повторялось, как с кудлатой. И даже разговор, предчувствовал он, должен повториться.

— Зачем вы приехали? — спросила Угодница. Страх и преданность были неразделимо смешаны в ее голосе. О, как она боялась прийти к нему — душа уходила в пятки! — но и не могла не прийти.

— Рассказывай, рассказывай, — ободрил ее В.

— Он позвонил, — как ступая с неимоверной высоты обрыва в разверзшуюся под ней пропасть, сказала Угодница.

— Он — кто? — В. не понял.

— Ну, он... с кем я. Он, — пряча глаза, объяснила Угодница. Она чувствовала себя предательницей по отношению к Сулле, и его анонимность помогала ей затушевать в себе это чувство.

— А-а! — протянул В., мгновенно все прозревая. — Это к вам на корт финансовый директор пришел и объявил, что видел меня?

— Да, да, точно. — Угодница обрадовалась, что избавлена от объяснения лишних подробностей, она бы вообще предпочла, чтобы В. догадался обо всем сам и ей бы не пришлось больше добавлять ни слова.

Но некоторых сведений В. от нее все же ждал.

— Кому он позвонил, знаешь?

— Он? Кому? — Угоднице казалось, что, оттягивая ответ, она так защищает Суллу, не предает его, а просто поддается напору обстоятельств.

— Тем двоим, которые приезжали, когда меня здесь не обнаружилось, так? — решил В. помочь Угоднице.

— Им, им, — снова обрадовавшись, подтвердила Угодница. — Им сказали, что мы с вами в ресторане сидели... и они к нам... они требовали, они так настоятельно требовали сообщить им, не позвонить было исключено!

— Исключено. Ну да. — В. все так же старался, чтобы на его вопросы о Сулле она могла отвечать со всею возможной короткостью. — Просто сообщил им, что я приехал, и все?

— И все, — отозвалась Угодница.

— Что же, спасибо, — поблагодарил ее В.

Ожидая около двери, когда В. откроет ее, она — уже совсем с другим лицом, чем пришла, уже вся та, кобылка, — проговорила, блестя глазами и будто невидимо постукивая копытцем, — не удержалась, так и рвалось из нее:

— Но он, вы знаете, должен был позвонить. Он не мог по-другому. Он на такой должности...

Надо же, это же надо! И тут все повторялось, как с кудлатой: он еще должен был посочувствовать ему, посострадать!

— А что сказали ему они, ты знаешь? — не открывая двери, спросил В. Угодницу. И раньше ему хотелось задать ей этот вопрос, нестерпимо хотелось, — да утерпел. Жалко ее было, и жалость перемогла. Но что же сдерживать себя, не спрашивать после этого предложения посочувствовать Сулле!

Что сотворилось с Угодницей от его вопроса! Куда во мгновение ока делась звонкая кобылка. Ей было что ответить ему, она опасалась этого его вопроса, полагала, что он уже минул ее, — но нет, не минул, оказывается.

— Что они ему сказали? — понукал ее В.

Что было делать, она была ему признательна — она не чувствовала себя вправе не ответить.

— Они поблагодарили его.

— Что? — недоуменно переспросил В.

— Поблагодарили его, — повторила Угодница.

Вон что она скрывала, вон чего совестила: их благодарности ему! В. засмеялся.

— Пусть тебе, милая, будет утешением, что он не единственный, заслуживший их благодарность. Спасибо тебе, — открыл он ей наконец дверь.

Оставшись один, В. вернулся в гостиную, окинул ее взглядом, словно это было так важно — запечатлеть в себе ее мертво-меблированный образ, созданный равнодушной рукой безымянного дизайнера, прошел в столовую, оглядел ее, поднялся наверх, заглянул в обе спальни, в ванную и снова спустился вниз. Чемодан, торча вытянутой ручкой, стоял посередине прихожей все на том же месте, куда его поставил таджик. В. взялся за ручку, чтобы отвезти чемодан в гостиную, и отпустил, лишь вбил ручку вниз. На самом деле ему было все равно, где стоит чемодан. Он ждал Голиафа. В каком облике должен был Голиаф явиться на этот раз?

В. решил, что следует поесть. Он прошел на кухню, открыл холодильник. Взгляд пошарил по полкам. Еды было еще достаточно, можно выбирать — не одно, так другое. Но, странное дело, есть, оказывается, не хотелось. Он даже чувствовал непонятное отвращение к еде.

В. захлопнул холодильник и вышел на веранду. Снял со своего места на клюве сказочной бронзовой птицы ключи, отомкнул замки и выступил из искусственной кондиционированной прохлады на крыльцо — в жар открытого воздуха, тотчас сжавший тело тесным раскаленным объятием.

Газон между особняками и лесом был усеян серебристыми зонтиками водяных фонтанчиков — солнце садилось, капли уже не могли сфокусировать его лучи, как линза, обжигая траву, и кто-то, отвечавший на базе за поддержание природы вокруг в целительном для глаза виде, с тщанием справлял свои обязанности. Гравий знакомо убегающей в лес дорожки хрупал под ногами с таким кротким уютным звуком, что, казалось, дорожка соскучилась по подошвам твоих туфель и теперь сообщает на каждый шаг, как она рада, как довольна, как рада...

Две матронистого вида дамы, надо думать, чьи-то супруги, одна держа под согнутую руку другую, выступили из играющей тенями лесной сени на свет и, увидев В., остолбенело воззрились на него, чтобы в конце концов, через непродолжительный промежуток времени, остолбенеть вполне натурально. И так они стояли, замкнувшись на нем взглядом подобно компасной стрелке на магните, пока он молча не прошагал мимо них.

Уже когда В. зашел в лес, на дорожке впереди возник на велосипеде тот самый подросток в расстегнутой длиннополой рубашке, которого он видел, направляясь в сопровождении таджика со стоянки к своему особняку. Только теперь велосипедист был в компании велосипедистки — такого же подростка, как сам, — и если у него была длиннополая рубашка, то у нее длинные распущенные рыжие волосы, ехали медленно друг подле друга, упоенно токовали, ничего не замечая вокруг себя. В. соступил на траву, давая им проехать. Длиннополый, подъезжая, взглянул на него, короткая реплика спутнице — и взгляд длинноволосой сделался ошалелым. Руль у нее в руках завихлялся, велосипед завилял. Она бы упала, если бы успевший подскочить В. не подхватил ее.

— Не трогайте меня! Не прикасайтесь! Оставьте меня! — тотчас забилась в его руках, завопила юная велосипедистка. — Оставьте! Оставьте!

В. отпустил ее, она встала ногами на дорожку и тут же оттолкнулась от нее, нажала что было мочи на педаль, на другую, понеслась прочь, наращивая скорость. Чего наслушалась она о В., чтобы так испугаться?

Послышавшиеся удары мяча о ракетку — словно через равные промежутки времени лопались с твердо-глухим звуком некие гигантские семена — заставили В. снова соступить с дорожки. Он не хотел больше сталкиваться ни с Угодницей, ни с финансовым директором, ни тем более с Суллой.

Продираясь сквозь кустарниковые заросли, В. углублялся в лес все дальше, дальше, стук мяча перестал доноситься до слуха, и вдруг сквозь лиственно-хвойную ажурную темно-зеленую вязь просквозило беломраморное свечение. И тотчас В. стала ясна неосознаваемая до этого мига, но влекаящая к себе с силой магнита, притягивающего железо, конечная цель казавшегося бессмысленным променада. Туда он шел, в ротонду. Где было и встречать Голиафа, как не там.

Ротонда, как обычно, была пуста. В. ступил в нее, пересек — божье творение озера тусклым металлическим зеркалом в теряющей детали резьбы черно-зеленой оправе вечерних берегов лежало внизу и словно бы манило к себе, звало испытать свою воду его ступнями. Ни одна лодка не выщербливала водного зеркала, ни один катер не морщил его тусклого металла, ни одна яхта не оживляла белым треугольником паруса. Казалось, озеро замерло в ожидании, изготовило себя к событию, что должно произойти на его лоне, и не желает до того знать никакой человеческой суеты, никаких человеческих страстей и алканий. В. повернулся спиной к озеру и опустился на идущую по периметру ротонды разогретую дневным жаром деревянную скамью. Лицом к входу, прямо напротив него.

Сколько он так просидел? Может быть, десять минут, а может быть, час — В. не мог бы сказать. День, во всяком случае, еще не угас. Хрупающий звук множества спешащих по гравийной дорожке шагов достиг слуха В. раньше, чем он увидел тех, кто производил этот звук. Впрочем, «множества» — это было бесстыдное преувеличение слуха: четверо их всего было — немало, конечно, но не толпа. Стаю возглавлял бородач, остальные незнакомые. Но тоже все молодые, и с тем же яростным воодушевлением в глазах, что горело в мглисто-ледяных глазах бородача.

— Ты что, чмо, — врываясь в ротонду, севшим медленным голосом процедил бородач, — заставляешь бегать за собой? Сказали, ты в психушке ждешь — тебя там не ночевало. Сюда к тебе, семь верст киселя хлебать, перетягаться пришлось. Тебя жить не учили? А ну, поучи его, — кинул он взгляд на одного из своей своры, мигом рассыпавшейся по всей ротонде.

Удар в печень под ребра был такой, что все внутренности прыгнули к горлу и воздух встал колом — ни выдохнуть, ни вдохнуть. Инстинктивно руки В. согнулись в локтях, защищая тело от новых ударов, но следующий был нанесен в лицо. В носу хряснуло, стало горячо, из обеих ноздрей обильно потекло — на губы, заливаясь в рот, на подбородок, закапало на пол.

Должно быть, бивший получил команду остановиться, потому что новых ударов не последовало.

— Что? — донесся до В. медленно-лютый голос бородач. Из невероятной дали донесся, Бог знает откуда. — Начал что-то соображать? Нет — придется продолжить учебу.

В., зажимая нос платком, закидывая голову назад, слепо помахал рукой: довольно, довольно! Говорить он еще не мог — воздух лишь начал жидкой струйкой проникать в легкие, и рот был полон крови. Когда же наконец, сплюнув перед собой на пол и отдышавшись, он смог заговорить, то из него изошло:

— Что вам от меня нужно?

Безобразно тяжело было выдавить из себя эти слова, носоглотка хлюпала и клекотала — сломан был нос, никаких сомнений!

— Дурака не валяй, — услышал В. голос, который не принадлежал бородачу и явно не мог принадлежать никому из его братии. Доброжелательность и добросердечие были в этом голосе, сочувственная теплота. В. повел вокруг себя полузрячим взглядом — о, новое лицо появилось в ротонде! И разительно же отличался этот человек от братии бородача. Он был и не юн — основательно в

возрасте, — и даже как бы с патиной интеллигентности в облике, которую усиливали тонкой оправы золотые очки, грузное его тело обтекало тонкой выделки бело-зеленоватый льняной костюм, в котором, казалось, должно было быть прохладно и в такое пекло. Вот только крупные платиновые перстни на пальцах свидетельствовали о его родстве со сворой бородача. — Адрес. Где? — своим доброжелательным сочувственным голосом спросил человек с перстнями. — Говори. Давай.

В. проглотил кровь, что накопилась во рту. Промокнул нос платком еще раз. Несомненно, этот с перстнями был не просто в родстве со сворой бородача, а ее полновластным хозяином.

— Что твои пацаны так себя ведут, — сказал В. — Бьют ниже пояса. Нос мне ломали.

— А не залупайся, — с благодушным порицанием отвечал человек с перстнями. — Скажи — и все, какие к тебе претензии. Они славные ребята. К лучшему в городе хирургу тебя отвезут. В карман ему сунут — починят тебе нос, лучше прежнего будет. Что нос. Пустяк какой. Жизнь — вот ценность.

Его братки увещевали кулаками, он словом. В дивном же образе явился В. Голиаф! Как схватиться с ним, обойдясь без Давидовой хитрости?

Но до того, как вступить с ним в схватку, Давиду хотелось получить от Голиафа ответы на некоторые вопросы.

— А где же эти, что сообщили вам, где меня искать? — спросил В. человека с перстнями.

— Кто сообщил? — Откровенной фальшью было недоумение человека с перстнями.

— Те, кто сообщил, — подчеркнуто повторил В., показывая, что не согласен принимать правила его игры.

Человек с перстнями, стоя над В. и пристально глядя на него, повел плечами, как если бы ему неожиданно стало невыносимо жарко в его прохладном костюме.

— Тебе не все равно? — проговорил он затем. Доброжелательности и теплоты в его голосе не было.

— Не все равно, — сказал В.

— Ну, так пусть тебе будет все равно. — Сокрушительнее, чем у бородача, звучал голос человека в перстнях, с беспощадной свирепой лютостью.

— Так ведь и они знают, где он, тот, кто вам нужен.

Сизощекий с младенческолицым в это мгновение будто материализовались в ротонде и с горячим негодованием обушились на В., опровергая его, но что ему было до того, — разве же он сказал неправду?

— Откуда они знают? — после короткого молчания уронил человек в перстнях.

— По своим каналам. — И это тоже было полной правдой.

На этот раз молчание человека в перстнях длилось намного дольше. Голиаф оценивал возможность опасности, исходящей от добычи. И решил, что от этой добычи опасность невелика.

— Ну, они не скажут, а ты должен. — Голиаф шагнул навстречу Давиду; устрещающе сверкали доспехи, сиял смертельными жалами лезвий вознесенный над головой меч.

Невозможно было уклоняться от схватки дальше.

— Должен, да? — произнес В. — Хорошо. Спустимся к озеру.

— Это чего вдруг? — позволил себе подать голос бородач. — Зачем?

— Надо, — коротко отозвался В.

— Ладно, раз надо, — дозволяющее глянул человек в перстнях на бородача. Первый удар меча был отбит, от второго В. надеялся уклониться.

Было, впрочем, мгновение, когда уже подходили к воде, ему показалось — задуманному не получиться: братки шли рядом, окружая его, как конвой, не ступить свободно ни влево, ни вправо. Но удивительно! Стоило подойти вплотную к воде, их всех словно отмело от нее, и В. оказался с ее тусклой зеркальной гладью один на один. Он оглянулся на стаю — их как бы отжимало от воды, они могли ступить ближе к ее урезу и не ступали.

— Ну?! — процедил бородач, предпринимая попытку приблизиться к В., но, словно передумав, тут же отступая на прежнее место. — Дальше что?

В. не счел нужным ответить ему. Они подошли к озеру за причалом, где берегу возвращалась его естественная земляная природа, сделай простой, обычный шаг по мягко пружинящему укатанному песку — и вот она, вода, В. и сделал этот шаг. И второй, и третий, и следующий... все убыстряя и убыстряя свое движение.

— Куда?! — рванулся за ним бородач. — Стой! — И вся стая рванулась тоже, взбив в воздух гулкие фонтаны брызг.

Но они проваливались в воду и вынуждены были идти по дну, преодолевая растущее сопротивление, а дно уходило вниз, и все круче, круче, они оставались один за другим — кто зайдя до паха, кто по пояс, — а В. шел по поверхности, не испытывая никакого сопротивления, и удалялся от берега все дальше, дальше.

— Взять его! — Куда в один миг делась патина интеллигентности человека в перстнях. Звериным рыком изошел из него этот приказ.

— Стой! Падла, стой! — проорал бородач. Это он зашел по пояс и сейчас рванул к берегу, стащил с себя рубаху, брюки, скинул сандалии и снова рванул в воду — только уже вплавь.

Другие следом за ним тоже выбирались на берег, раздевались и так же следом бросались в воду — плыть, догоняя В.

Двое были неплохими пловцами. Они достигли В. и попытались схватить его за ноги. Он не отбежал и не уворачивался. Ему было любопытно: что они могут сделать с ним из воды? Сначала одному, затем и другому удалось схватить его за щиколотки, они повисли на нем, раздирая ноги в стороны, и В. пришлось поспешить со своим освобождением: он наклонился, заломил на сомкнувшейся пальцы палец одному, другому, и они с воплем отпустили его.

Остальные повернули к берегу, не доплыв до В.

В. сделал еще несколько десятков шагов к середине озера, остановился и огляделся. Солнце, видимо, опустилось за горизонт — золотая чеканка вокруг облаков исчезла, берега стремительно затушевывали детали своих панорам, через какое-то время делается темно, наступит ночь... и что тогда?

Но, задавшись этим вопросом, В. тут же отстранил его от себя. Он был готов испытать предназначенную ему чашу до дна. Заглянуть туда и увидеть — что там. В чем В. был абсолютно уверен, так в том, что огнестрельного оружия против него не употребят — иначе бы они уже это сделали. Он им требовался живым, и непременно. Пусть со сломанным носом, но с членораздельной речью.

Необыкновенно спокойна была вода вокруг. Какой виделась сверху, из ротонды — будто гладко отполированное зеркало, — такой оставалась и тут, вблизи: ни морщинки, ни ряби, никакого шевеления — одна шелковая лоснистая гладь, куда ни глянь. Он шел посередине озера, все дальше и дальше уходя от застроенных, цивилизованных берегов туда, где роскошествовала нетронутая человеком природа, все меньше и меньше береговых звуков долетало до него, все глуше и глуше делались они.

Но издалека, знал В., за ним наблюдают, иначе бы он уже погрузился в воду. Он ждал, когда это произойдет, думал о том, как неудобно будет плыть в одежде, но пока вода продолжала держать его.

Едва различимый, дальний звук двигателя за спиной, показавшийся сначала в этой тишине обманом слуха, донесся до В., когда вокруг уже никаких других звуков не осталось. Он остановился и прислушался. Это точно был звук двигателя. Звук нарастал и нарастал, превратившись из готовой каждый миг прерываться тоненькой ниточки в прочную суровую нить, и светлое пятнышко вдали на превратившейся в блеклую стальную пластину, переставшей лосниться воде отчетливо обозначилось как катер. И еще одно такое же пятнышко, только еще невыявленной формы, виднелось за ним.

Неужели это была погоня? В. дернулся было к берегу, но тут же остановился. Не успел бы он добежать до берега. А если бы и добежал... Странное покаянное чувство овладело им. Он уже дважды выскальзывал из рук братков, руководимых человеком в перстнях, но за этим ли привело его сюда, для этого ли? В. протер платком губы, подбородок, словно мог стереть запекшуюся на них кровь, потрогал сломанный нос. Прикасаюсь к нему было болезненно, но настоящей боли, как вначале, не чувствовалось. Будто некая анестезия купировала боль.

Глядя, как растут в размерах светлые пятнышки (и второе тоже обрело уже очертания катера), В. неожиданно вспомнил, как все началось. Тогда было озеро — и озеро сейчас, только тогдашнее озеро в сравнении с этим — крошка, детеныш. Облое же чудище выросло из того детеныша.

На бешеной скорости, давая, похоже, все возможные восемьдесят километров в час, первый катер неся на В. и, кажется, не собиравшись сворачивать. В. отскочил в сторону, когда между ним и катером оставался какой-нибудь десяток метров. Катер проскочил мимо, осыпав веером брызг из-под винта, вздыбленная буруном вода ударила в ступни, бросила В. вверх, он потерял равновесие, попытался, балансируя, удержаться на ногах и не удержался, упал. Вторая волна от винта пробежала под ним, перекатив его с боку на спину. Когда В. вскочил на ноги, катер уже развернулся и, заново набирая скорость, снова мчал на него. И все повторилось, только на этот раз В. удалось удержаться на ногах, и еще, отскакивая, разглядел через стекло сизощекого с младенческолицым. Он интересовался, где они, и они явились!

На третьем заходе, подходя к В., катер сбросил скорость и, поравнявшись с ним, остановился.

— Давай! — помахал рукой сизощекий, подзывая В. — Давай к нам. Поспеш. А то сейчас пацаны, — кивнул он, — подойдут — порвут на части. Натурально порвут. Давай!

— Давай-давай! — присоединился младенческолицый. — Под нашу охрану.

В. глянул в сторону второго катера. Тот был уже в нескольких десятках метров, несколько секунд — и оказался совсем близко. В. лихорадочно прикидывал, куда метнуться, если катер направится на него, но катер, опуская вздыбленный нос, скинул скорость и пошел медленным ходом, держа В. в стороне от своего курса. Внутри в нем было полно — вся свора в полном составе, и те двое, которым он, может быть, сломал пальцы, не было лишь человека в перстнях.

— Давай к нам, давай! — снова позвал младенческолицый. — Пока не поздно!

Цветущие счастливыми улыбками лица их с сизощеким неприкрыто обещали подвох, но какой? В. было не под силу разгадать.

Один из братков между тем поднялся, в руках у него был какой-то ком, не помещавшийся полностью в пальцах и свисавший из них подобием небольшого мешка. «Лассо?» — с неуверенностью подумалось В. И в тот же миг он удостове-

рился, что его невероятная догадка верна: руки братка метнулись в сторону В., и то, что свисало из них подобием мешка, разворачиваясь, полетело на него стремительно тающим головастиком.

Ковбой, однако, из братка был неважный: прошелестев в воздухе, лассо упало в воду, недолетев до В. Фонтан яростного мата ударил из катера.

Мгновение В. стоял в ошеломлении, не понимая, что делать. Его намеревались поймать, как мустанга! Как животное! Замедливший ход катер братков поравнялся с катером сизошекого—младенческолицего, расстояние в шесть, семь метров было между ними, а посередине он, В., брось сейчас лассо вновь — не промахнешься.

Это метатель и хотел, с бешеной торопливостью сворачивая лассо — накидывая петлю на петлю.

В. побежал. Вырвался из капкана между катерами, свернул, чтобы держать катера в поле зрения, побежал поперек озера — дальше, дальше и от тех, и от других. Катера, однако, взревев моторами, тронулись с места, развернулись и пошли на него. И, как ни быстро он бежал, они были быстрее, стремительно настигали его, В. видел — метатель лассо стоял, держась за стекло, в полной готовности бросить свой аркан вновь.

Когда катера почти настигли его, В. резко изменил направление движения. Но бессмыслен был его маневр, напрасен. Катера погасили скорость, развернулись — и вот снова мчались за ним, и снова настигали, собираясь взять в коробочку.

И все же он повторил свой маневр. И еще раз. Но уже, почувствовал он, дыхание его начало сбиваться, ноги уже отказывались бежать с той скоростью, с которой он желал. А там он увидел, что пропустил момент для рывка в сторону, не успеть, несущийся катер сомнет его, и, резко остановившись, так же резко рванул навстречу катерам в надежде проскочить между ними, пока они гасят скорость.

Но только наполовину оказался верен его расчет. Катера не успели погасить скорость, а метателю, несмотря на то что не успели, на этот раз выпал фарт. Тенью промелькнув перед глазами, петля хлестко обметнула В. шею, заставив остановиться, а там, чтобы не удушила, побежать, держась за лассо, вслед за останавливающимся катером. Новый фонтан мата ударил из катера братков, только теперь исполненный яростной радости, и, повскакав со своих мест, вся свора, мешая друг другу, принялась выбирать лассо, чтобы, натянув его, подтащить В. к себе.

Просчитались, однако же, и они. Все же он был не мустанг, у которого нет рук. Своре не хватило мгновения выбрать лассо. В. расширил петлю и сбросил с шеи.

Сбросил и, развернувшись, все под тот же сокрушительный мат братков побежал снова. Бежал — а деревянные ноги отказывались бежать. И все внутри отказывалось бежать. Что смыслу было в его попытках уйти от них! Сейчас все начнется сначала — чтобы в конце концов закончиться этим ужасом и позором, который он только что пережил. Неужели для этого ужаса и позора вела его и привела сюда та сила, присутствие которой он ощущал в себе день ото дня все с большей определенностью, и с такой явственностью сегодня весь день?

Стон вырвался из В., и он остановился. У него больше не был сил длить эти позор и ужас. «Или, Или! Лама савахфани? — Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?» — всплыли вдруг в нем никогда им не ученные слова из однажды лишь, небрежно и кусками читанной книги, и, будто отзываясь на них, слыша за спиной гул приближающихся катеров, он возопил в полный голос:

— Господи! Помогите же! Господи! Не могу больше, Господи!..

В следующее мгновение он обнаружил, что не слышит гула моторов, полная, абсолютная, глубокая и словно бы радостная тишина стоит вокруг него,

обернулся с удивлением — катеров не было, как не было и самого озера. Потрясенный, он почему-то догадался посмотреть вниз — озеро с его берегами, катера на нем, тянущие за собой седые усы бурунов, были там, внизу, и сидящие в них сизощекий с младенческолицым, бородач со своей сворой с удивлением крутили по сторонам головами, удивляясь его исчезновению и не догадываясь взглянуть вверх. Свободен! Свободен! — пропело все в В., и из него вырвалось: — Да-да, я этого и хотел!

Он не знал, к кому обращался, да и обращался ли? Но тотчас он почувствовал, что его стало словно бы поднимать еще выше, выше, озеро стремительно уменьшилось и исчезло, словно он поднялся над землей на невероятную высоту. Но земля ли то была под ним? — нет, земли не было вообще, свежий, полный упругой ясности свет заливал все вокруг, но это был не солнечный свет, у него не было источника, и он был так же тверд, как прозрачен, по нему можно было идти, как видеть сквозь него.

В. ступил на него — ступив одновременно в него — и пошел. Он не знал, куда он идет, не знал, почему избрал этот путь, но знал, что ему нужно идти туда, в том направлении. Чувство дома оевало его, как свежим ласковым утренним ветерком, чувство возвращения, чувство радости от близящейся встречи, с кем он был разлучен так долго — всю свою земную жизнь.

2010—2012 гг.

Дмитрий Мельников

Деда Глеба

* * *

Мне приснился сон — тень стоит у дома,
и как будто тень эта мне знакома,
до утра стоит у кривой калитки,
словно деда Глеба принёс пожитки,
но войти не хочет, боится сына,
в голове — титановая пластина,
вышитый кисет, портсигар трофейный
и идёт от деда душок елейный,
сладкий дух такой, как бывает в церкви,
и глаза у деда совсем померкли, —
он стоит в багровой рассветной славе,
он глядит на дом в ледяной оправе,
на знакомый двор, на кусты рябины,
просит передать дорогому сыну,
чтобы тот простил его ради Бога,
с горя пил он беленькой слишком много,
вот и умер, стало быть, от болезни,
дед мой умолкает и тонет в бездне,
но во тьме горят, предвещая Царство,
там где время сходится и пространство,
в точке одиночества и тоски
дедовы медали, как огоньки.

* * *

Я хожу вдоль тёмного берега, у пылающей купины,
право слово, я тоже дерево, но растущее из стены,
я пророс пятистенки века, я поднялся выше конька,
в моих жилах не кровь, не млеко, но северная река.

Я хожу по дюнам Паланги, где сосны невдалеке,
и треска, словно сбитый ангел, предо мной лежит на песке,
раскрывая красные жабры, икряные надув бока,
пока жив я, Господи, как бы — я для Тебя — треска,

Об авторе | Дмитрий Петрович Мельников (родился в 1967 в Ташкенте) — поэт. В 1985 поступил в Ташкентский медицинский институт, в 1989 — на филфак Ташкентского государственного университета. В 1994, окончив факультет, переселился в Москву. Автор двух книг стихотворений: «Иди со мной» (2001) и «Родная речь» (2006). Работал литературным редактором, верстальщиком, художником-дизайнером. Предыдущие публикации в «Знамени»: № 12, 2005 — «Родная речь» и № 4, 2012 — «С точки зрения дыма». В настоящее время — дизайнер-полиграфист. Живет в Москве.

и я хотел бы дышать двояко, и поднявшись на плавники,
выходить из водного мрака в мир ледяной шуги,
и я хотел бы остаться здесь, но мне нужно идти, идти,
потому что время болезнь, и Земля — не конец пути.

* * *

Мы больше ночь, чем день, мы больше ночь,
мы в тёмной сердцевине мироздания.
К исчезнувшему племени *ороч*
склоняется полярное сиянье,
но отогреть не может ни черты,
ни взгляда, ни улыбки, ни дыханья,
лишь в области полярной мерзлоты
мы впереди планеты всей, молчанье
нам свойственней, чем ропот или смех.
Молчание объединяет всех.
Тоска, как туго скрученная нить,
в черёд сквозь сердце каждое продета,
и можно ни о чём не говорить,
и так понятно, что не будет лета,
лишь изредка сосед берёт варган,
и звук течёт под купол снеговой,
и кровь идёт из дёсен по утрам,
напоминая мне, что я живой.

* * *

Когда писатель в жёлтом сюртуке,
нетленный, как сушёные акриды,
из гроба говорит своей ноге:
«Приди ко мне, забудь свои обиды!»,

тогда беглянка, промелькнув в окне,
растеряна, бледна, простоволоса,
от ужаса впадает при луне
в свои сомнамбулические грёзы

и по карнизу медленно идёт
сквозь дождь, подобный золотому слитку,
и Гоголь, повернувшись на живот,
кусает в исступлении обивку.

* * *

Тусклый свет горит в глубине мальпоста,
сотню лет стоящего без движенья,
голос мизерабельной чёрной оспы
поздравляет мёртвую с днем рожденья,

и стоят вокруг записной красоты
плачущие гекторы и аяксы
с полными стаканами чёрной водки,
с рюмками дымящейся белой ваксы.

На пути из садика до аптеки
в памяти моей, ледяной и детской,

проступает грязь на февральском снеге,
словно смерть на коже Комиссаржевской*.

* * *

По пути из Киева, из гостей,
только в поле выйдешь —
на краю оврага стоит еврей,
говорит на идиш,
чтобы не стреляли его за так,
дали помолиться,
предлагает немцам часы, пиджак,
леденцы с лакрицей,
но спешат солдаты к грузовикам,
и в лучах Авроры
на круги глубоких расстрельных ям
сходят мародёры,
подползёшь к днепровской святой воде
кровушкой умыться,
вывернешь карманы — а в них везде
леденцы с лакрицей.

* * *

Свет молчит — и я молчу,
человек, сосуд скудельный,
убегает по лучу
в синий-синий лес отдельный.

Там к нему приходит крот,
там душа его живёт,
превращаясь не спеша
в белого опарыша.

Корни сорока деревьев
его держат на весу,
человек-сорокоднев
превращается в росу,

превращается в ничто,
не дождавшись новой плоти,
его старое пальто
догнивает в огороде —

лучший плотник был в округе
сорок лет тому назад,
и на крыльях синей мухи
слёзы радости блестят.

[.....]

* В.Ф. Комиссаржевская умерла в Ташкенте от оспы во время своих гастролей 10 февраля (23 февраля по новому стилю) 1910 года.

Елена Комарова

Синий чайник

рассказ

Было здорово проснуться от его звонка и босиком, прилипая пятками к полу, бежать к телефону.

— Кать, ну как у вас вчера?

Весь этот рассказ о защите у меня был уже давно для него приготовлен. О том, как пришла заранее, и на кафедре еще никого не было, кроме одного дедочка, который пригласил пить чай с сушками. Он все время острил, а потом попросил меня рассказать о дипломе. Я ему рассказывала, как детям у себя в детской библиотеке, мне все казалось, что он не поймет. Он кивал и улыбался. Когда пришли остальные студенты и преподаватели, он быстро надел модный пиджак, распрямился и оказался ядовитым завкафедрой.

Олег слушал и смеялся, а я смеялась оттого, что ему весело и я хорошо придумала слово «дедочек».

Он даже не спросил, как можно было проучиться столько лет и не знать своего завкафедрой в лицо.

— В общем, все хорошо. Пять. Свобода.

— Я за вас очень рад, Кать. А когда вы на дачу?

Я ждала этого вопроса, потому что мы уже договорились, что он приедет к нам в Алабино за реквизитом. Он начинал снимать новый фильм, и ему нужны были вещи 50-х годов.

— Мам, давай сегодня на дачу переедем, в Москве уже такая духотища.

Мама с подозрением посмотрела на меня, потому что на даче, обычно на третий день пребывания, мне требовалось что-то взять в московской квартире, и я быстро уезжала.

— Вы же хотели еще встретиться все после окончания?

— Потом встретимся сто раз.

В среду мы переехали. Я с остервенением мыла окна и сметала зимних мух на пол.

— Мам, давай занавески постираем?

— Чем они тебе мешают?

— Ну, мешают.

Дом был готов. А я была вся белая после зимы и все время ходила в гольфах. Надо было начинать загорать. Я часами сидела у пруда и смотрела в книгу.

— Ляль, а у тебя нет каких-нибудь старых вещей, елочных игрушек?

Об авторе | Елена Комарова родилась в Москве в 1966 году. Окончила филологический факультет МГУ им. Ломоносова и Высшую школу гуманитарной психотерапии. Вела детскую литературную студию, преподавала литературу. В «Знамени» была опубликована повесть «Уроки игры на баяне» (№ 4, 2011).

— Заходи.

Подружка Ляля была принципиальная противница загара, ходила всегда в чем-то свободном и широком, лепила на даче чайники и вазы, которые обжигала в московской мастерской. Сейчас у Ляли работал Иван с большими усами. Он старательно вынимал гнилые доски из ее дома.

По дороге назад я помогла везти тачку бабе Пане, о которой я знала только, что у нее есть больной внук. Он стоит целый день на дороге и долго смотрит всем в спину.

— Баба Пань, а у вас нет каких-нибудь старых вещей? Тут одному человеку надо.

— А он не опасный, не ворюга?

— Да вы что! У него уже три фильма вышло.

— Ну, приходите тогда, только не поздно чтоб.

— Мам, а это у нас какие цветы?

— Астильба, ты что, не знаешь?

— А тут у нас что?

— Петрушка. И каждый год петрушка вот тут.

Вечером я садилась на велосипед и ехала в Селятино звонить. Автомат иногда глотал деньги, и все сильно по нему стучали кулаком.

— Олег, ну вы к нам когда приедете?

— Наверное, на днях, точно не могу сказать, а может, и завтра. У вас тут собаки так лают в трубку. Поезд в 10.00 будет в Алабине. Ваш дом я найду, вы мне объясняли.

— Мам, тут Олег Николаевич, может, заедет завтра, а может, не заедет. Он сам не знает.

— Учти, он сильно боится, что здесь его примут за жениха.

Утром я встала рано. Расстелила белую скатерть, поставила на плиту огромную кастрюлю — мыть голову. Еще мне казалось, что в каждой вазе должен быть букет. Он войдет в зал и спросит: «Правда, это вы сделали?» — «Правда».

Я села на велосипед и поехала к реке за цветами, волосы сохли по дороге. А вот тут я покажу ему теплицы. У речки стояли рваные теплицы, и от ветра они издавали звук хлопающих крыльев. Я так и скажу: «Они как будто крыльями машут!». А про Тарковского ничего не скажу. Он не любит. А потом я покажу ему замок в Петровском. «Это или Баженов, или Казаков», — скажу очень небрежно. Но главной моей заначкой была история про князя Мещерского, который, как я смутно помнила, женился в восемьдесят лет и погиб, когда его лошадь попала под лед. (На князя я возлагала большие надежды.) «А когда мой папа был в Париже, то одна дама попросила что-то передать другой даме, и когда он вернулся в Москву и пришел к ней передать сверток, то увидел у нее на стене фотографию этого дворца — это была сама княгиня Мещерская, дочь того князя». Главное было небрежно произнести «Париж» и выдержать паузу перед княгиней Мещерской.

10.20. Мы с мамой сидим на террасе и пьем кофе, а я краем глаза кошу на зеленую калитку, которая все не открывается. Мне очень не хочется, чтобы мама это видела.

— У Ляли Иван будет скоро дом поднимать.

— Ну, пусть поднимает.

В общем, он не приехал.

Я выдержала и вечером ему не позвонила. Утром было то же самое — кастрюля с кипятком, цветы и зеленая калитка, которая не открылась. Я пять раз тайком проверяла, открыта она или нет.

День провела у пруда, немного обгорела. Вечером я позвонила и веселым голосом спросила:

— Ну, вы когда к нам приедете?

— Завтра.

— Я вас встречу на станции, ладно?

В 10.20 из московского поезда вышла только женщина с тележкой, и две девушки пошли к военной части. Я так и осталась стоять. Идти назад я не могла. Следующий поезд только после перерыва в 13.30.

Я стояла, пока он не вышел из поезда на Москву.

— Я случайно проехал Алабино и вышел на следующей, в Селятино. И тут вот поезд. А вы что, так бы и стояли?

Я не ответила. Все. Мы идем домой!

— Сейчас будет сильно лаять собака. А здесь жила англичанка Зинаида Робертровна, она специально приехала в Россию после революции. Видите, какой балкончик? А к Ляле пойдём?

А вот и наша зеленая калитка. Он осторожно толкнул ее.

— Мама! Олег Николаевич приехал.

Мама стояла около дуба, в дупле которого жили какие-то мошки, поэтому от дуба сильно пахло кислотой. Мама стояла и серьезно смотрела на нас.

— Проходите в дом.

В доме было прохладно и немного темно. Везде букеты. Я, кажется, перестаралась. На террасе мы пили чай с маминым ежевичным вареньем. Я громко размешивала сахар, и кто-то сильно жужжал за моей спиной.

— Какие интересные рога на стене. Немецкие?

— Да, к нам каждую зиму залезают и их утаскивают. А они тяжелые, и каждый раз их бросают на одном и том же месте. Соседка звонит и говорит: «Татьяна Михайловна, приезжайте, опять ваши рога лежат!». В этом году не лазили.

— Хотите, я вам сад покажу?

Мы пошли к яблоням.

— Вот это полу-антоновка, полу- еще кто-то. Одна ветка сладкая, а другая — кислая. Это — астильба, там огород — петрушка, укроп. Вот сарай.

Он долго рассматривал сарай. И, наконец, нашел большой синий чайник.

— Я его возьму, с вашего разрешения.

— Да, конечно, берите.

— Что это за домик?

— Баня, она не работает.

— Можно зайти?

На маленьком окне была паутина. На подоконнике несколько сухих бабочек.

— А это у вас тюолка — жучок, — сказал он. — Видите, как она ест дерево?

На бревнах были дырочки, а вокруг светлая древесная пыль.

— И вам надо по-настоящему все протопить и потом положить побольше еловых веток. Тюкалка их не любит.

Тут я вспомнила:

— Мы еще на втором этаже не были.

И мы пошли в дом. Наверху везде были открыты окна. Нестеровский отрок Варфоломей на репродукции тихо стоял со своим стадом.

— А это что под окном? Какой-то кокон?

— Это гнездо шершней. В прошлом году залетел один, покружил, покружил, а потом все стали летать, жужжать и строить. Жить тут стало опасно. Мама позвала Толика, он агроном. Он посмотрел и сказал, что надо уайтспиритом, и что он завтра придет. А он не пришел, его жена не пустила, потому что опасно. Мы так с ними и остались. А мама говорит, ладно, хорошо, что не пришел, все-таки жизнь. И мы спустились вниз. А в этом году мы уже без шершней.

— После перерыва мне надо сразу уехать. Мы сейчас к Ляле пойдем?

У Ляли по участку ходила баба Маня с миской малины и бегала длинная такса Алик.

— Поднимемся на чердак, — сказала Ляля.

На чердаке были елочные игрушки. Олег медленно вынул белочку из ваты и долго держал ее в руке.

— Лялька, Лялька, ты где? Куда тебя еще эта Катька повела? — кричала баба Маня. — Кто это еще с вами? Какой-то мужчина? Лялька! Спускайтесь! Иван дом поднимает. Ты что, не слышишь?

Олег дышал на шар, а потом попросил его и белочку.

— После фильма я вам обязательно верну, у меня все записано.

Ляля проводила нас до калитки, и мы пошли уже к бабе Пανε.

— Может, не надо? Неудобно как-то, — сказал он.

— Все удобно, удобно. Я же с ней давно знакома.

Мы постучались в дверь, никто не ответил. Я толкнула ее и увидела, что баба Паня сидит на кровати в длинных светло-зеленых панталонах. Олег попятился назад.

— Входите.

Баба Паня была уже в юбке и платке, а над ней висел только гобелен «Венеция», больше в комнате ничего не было.

— Я же говорил, что не надо заходить.

Мы шли к реке. У него в руке был синий чайник, крышка слегка позвякивала.

— А вы загорели.

— Да? А я не заметила. Спасибо. А это теплицы. Слышите, какой звук?

Про крылья я ничего не сказала, забыла.

— А скоро наш дворец. Или Баженов, или Казаков. Архитекторы спорят.

— Вот этот?

— Да!

— Я думал, настоящий дворец.

— А князю Мещерскому было восемьдесят, когда он женился, и его лошадь попала под лед.

Я скомканно рассказала заготовку.

— А мы успеваем? В 13.30 поезд, кажется?

Мы шли по платформе.

— Хотите конфету?

— Хочу.

Я развернула липкий фантик, и она упала на асфальт.

— Ничего страшного, — я подняла ее, подула и положила в рот.

Поезд пришел вовремя. Олег махнул мне из окна крышкой чайника. Я пошла к Ляле.

— Ну как наш дворец?

— Не очень.

— После перерыва сразу?

— Сразу.

Мы сидели на лавочке около дома, который действительно держался на одной доске. Иван ел суп, подтыкая гущу коркой черного хлеба. А у меня впереди были июль и август. Долгие-долгие, как мне тогда казалось.

Сергей Тимофеев

Маршевые роты

* * *

Лётчики, объятые пламенем,
Мечтали упасть к ногам балерины Улановой.
Пытались дотянуть до её белых балеток,
А вокруг всё жгло и рвалось этим летом.

И когда, не выдержав курс, они бились о воду и здания,
Не выполнив этого самого искреннего задания,
У них ломались фюзеляжи и трескались крылья,
Как будто от внутреннего горячего избытка.

А королева прохлады, балерина Уланова
Отправлялась на гастроли в Куйбышев и Ульянов.
Иногда она видела какие-то вспышки на севере,
Но люди из её окружения в них почти что не верили.

Так что же ей было делать? Она кружилась на месте,
Ровным циркулем страсти, воронкою внутренней песни.
А лётчики в самом конце выключали свои шлемофоны
И просто слушали, как протяжно визжат элероны.

Прежним курсом

Старые немецкие подводные лодки периода Первой мировой,
Скрежеща и взывая, прорываются сквозь толщу вод Балтийского моря.
Их торпеды начинены тяжёлым песком, и они всегда готовы к залпу.
Их капитаны в вечно мокрой форме, кашляя, отдают отрывистые приказы.
Они не вернулись в свои порты, и их империя оказалась ржавой бумагой.
Портрет кайзера разговаривает сам с собой в кают-компании, и его уже никто
Не слышит. Матросы пишут письма, играют в карты, рассказывают анекдоты о
Гувернантках и извозчиках, пока крупновская сталь покорёженных корпусов
Несёт их мимо курортов и островов, рыбацких шхун, маяков и моллов. Они
плывут,

Об авторе | Сергей Эдуардович Тимофеев родился в 1970 году в Риге. Окончил филологический факультет Латвийского государственного университета. Работает редактором русской версии сайта о современном искусстве Arterritory.com. Автор семи книг стихотворений, участник текст-группы «Орбита», которая занимается мультимедийными поэтическими экспериментами. Шорт-лист премии Андрея Белого (2002) в номинации «Поэзия». Лауреат «Русской премии» (2010) и премии Союза писателей Латвии (2005). Предыдущая публикация в «Знамени» — № 7, 2002. Живет в Риге.

Они всегда плывут, неотделимые от моря, его соли и равнодушия. И винты, Вспарывающие глубоководную ночь, никогда не остановятся, пока они Не достигнут цели — не запеленгуют и не встретят залпом саму Мать-тѣму, Глубину глубин, чёрное облако со рваными краями, впервые замеченное Около сотни лет назад примерно в этих широтах.

* * *

дорогой Миха,
все мы — французские лѣтчики
и везѣм почту
на задумчивых бипланах
с трёхцветными окружностями
по крыльям.
видишь, как мы взлетаем
под ярко-розовым небом
и как кружится песок
под шасси,
словно пустынный волк,
всѣ ещё пытающийся
нас поймать.
и вот резкий подъѣм,
и настѣет время
для забавных песенок,
которые мы выучили на окраинах
наших городов
в просторных лѣтчицких школах
и маленьких парках при них.
мы напеваем сквозь зубы,
но слышим друг друга,
и вот уже целый хор по рации
скандирует про какую-нибудь Мари
с золотыми волосами
или рыцаря Жюля,
гонявшегося за драконами.
штурман глядит на карту,
отмечая наш путь
и в оловянном китайском термосе
бултыхается отличный кофе.
ровно и весело
накручивается небо
на заботливые винты
наших самолѣтов.
а за спиной — только письма,
белые бумажки с описаниями
чьей-то разлуки,
которая больше
не существует.

Очередная сводка погоды

Старые сапоги не могут съесть новую кашу.
Генералы конфедератов скромно стоят у стола.
У этого небоскрѣба смешное имя.
Золотая запонка долго падает из твоего рукава.

Во всякой вспышке есть что-то кошачье.
И эти картонные ящики не забудь.
Низко-низко шепчет трава последние ставки.
Лето 2010 падает во все шторы мира.

Марна, 1914

Пропотевшая пыль французской пехоты
Утоптана в марлю на Марне, в каски
С петушиными гребешками пожарных.
Вспышки ломаются как адский телеграф.
Крепкая дрянь из на поясе фляжки
Не может переменить частоты участи.
Они идут в атаку, как шевелясь на нитках,
И каждый осколок шьёт им историю.
«марианна, марианна, в шкафу под
моим бельем ещё старые письма не
от тебя, не читай, выброси, вдруг ты
не захочешь даже венки кинуть на нашу
общую дырень, в которой завалило нас,
двадцать пятую маршевую роту, у бошей
больше консервов и шрапнель не кончается,
а нам остаётся дёргать затворами как кадыками
от обиды жуткой этой обиды мамочка...»

Невесёлая вдова

Первый ночной клуб в нашем городе открылся
в бывшей протестантской церкви
(Церкви Реформаторов), где до этого
размещалась студия звукозаписи «Мелодия».
Мы приехали туда снимать выступление
поп-звезды в серебряном пиджаке
с какой-то смешной фамилией
то ли Солдатики, то ли Куколкин.
За нами увязался наш общий приятель,
безработный художник Валера, который
сказал так: «Там же наверняка будет какая-то
миллионерша. Окружу её, стану альфонсом,
нос в табаке и на краски подбросит». В основном
там сидели мужички с усами и сединой или
лысынами и ярко раскрашенные девицы, была
только одна дама лет за сорок, с крупным золотым
ожерельем на полной шее. С ней сидели ещё двое
мужчин, которые косились на окружающих девиц
помоложе, но столик с дамой не покидали, а та
явно скучала, опустошая один за другим бокалы
с шампанским. Валера хорохорился, сейчас,
мол, подойду, приглашу танцевать. Демонстративно
поглядывал в её сторону. Тут к нашему столику
подошёл тоже усатый и лысоватый менеджер
заведения. «Ребята, охолоните! — сказал он. —
Это вдова криминального авторитета Такого-то.
Пара бойцов всегда её прикрывают и заодно

присматривают, чтобы не слишком распускала пёрышки. Честь вдовы надо блюсти. Так что не нарывайтесь!» Валера загрустил над своей водкой с апельсиновым соком. Через месяц он занялся вывозом металлолома с заваленных всякой раздолбанной всячиной заводских дворов... Историки указывают на традицию сожжения вдов славянских князей в дохристианскую эпоху. Эта же вдова медленно тлела, запивая жжение первым привезённым в город французским шампанским польского производства.

Здесь начинается лес

Лес начинается после города.
Стоят мусорные контейнеры
с предупреждениями
«Берегите лес!»
Следует сбрасывать туда мусор,
когдаходишь в лес,
всю эту дребедень из карманов,
и затем бодрым шагом двигаться
по тропинке,
проникая в пространство
без магистралей,
с тёмными кустами
и сухими ветками.
Здесь скрываются насильники
и тени партизан.
Здесь ты обещаешь себе
говорить меньше
и говоришь меньше.
Ты шагаешь монотонно,
радуясь равномерному кислороду
в лёгких, радуясь тому, что
вещи не жмут, и нет особых
долгов, и тому, что паспорт с тобой,
удостоверение личности,
водительские права.
Кто ты, известно тебе,
и это приятно забыть,
шагая в сгущающуюся темноту,
теряя направление, бодро
сходя с курса.

Встреча

Два скучных циничных очкарика
Из разных стран
Встретились на большом фестивале,
Посидели вместе в баре,
Прогулялись по площади,
Потом дошли до гостиницы,
Купили в лавке по соседству
Две бутылки бренди,

Поднялись в номер одного из них,
Долго пили и говорили,
А потом открыли окно и стали
Бросать вниз подушки, полотенца
И покрывала, опускавшиеся
На аккуратно подстриженные кустики,
Как маскировочная материя, предохраняющая
От града, хулиганов или артналёта. При этом
Они махали руками и звали подняться наверх
Всех проходящих внизу девушек.
Но ни одна не решилась... За ночь
Все покрывала и подушки растащили бомжи,
Которые долго потом между собой обсуждали,
Что в город всё ещё приезжают романтики,
Что есть ещё люди с размахом,
И это даже позволяет смотреть
В будущее с оптимизмом.

Мог бы

Ты мог бы быть кем угодно,
немецким танкистом в крошечном аду
Курской дуги, посылающим снаряд за снарядом
в гущу русской пехоты. Сталинским асом,
поджигающим очередной хейнкель 111
над рабочими предместьями Ленинграда.
Японским подводником, индийским
кавалеристом, американским разведчиком,
лидером городского Сопротивления и
«лесным братом» в курземских лесах.
Все они — отчасти и ты. Ну, разве что
хотелось бы верить, что не членом
расстрельной команды, не охранником
в лагере, не знатоком спецсредств
на допросах.

* * *

Мы прилетим за тобой на пяти вертолётах,
Прилетим на девяти. Когда тебе будет казаться, что...
Когда ты будешь думать, что...
И вдруг посмотришь в небо,
А мы снижаемся, и видим тебя,
И каждый знает, что делать —
Теперь точно всё будет хорошо,
Этот ветер — от наших винтов,
Мы снижаемся, нас много,
Мы видим тебя, мы уже здесь

Рига

Маргарита Меклина

Вместе со всеми

рассказ

1

Пишет Наиля: «Сегодня перечитала вот это», — и прикрепляет к электронному сообщению, подтверждающему, что придет на празднование дня рождения, наспех составленный документ. Это «краткое жизнеописание» они сочинили все вместе три года назад по просьбе муллы, который использовал его в своем выступлении после молитвы. Молодится Наиля, носит растянутые светшотки с психоделическими загогулинами, вечером ходит на тренажеры, утром спозаранку встает, общаясь по работе с сотрудниками из Южной Кореи, которые, по ее словам, «ни хрена не знают и безответственны, всему надо учить». Когда голоного-вертлявая, по-детски диатезная Диля сует гостям в нос задачку, которую она никак не может решить, тетя Наиля вздыхает: «А кто же нам помогал, когда мы в школе учились?». Альбина, мать Дили, встречает: «Мне папа решал! Мне всегда папа решал, без него не было бы у меня ни пятерок по математике, ни четверок по физике, ни зачетов по химии...». Внимательно смотрит в напряженное лицо Наили и продолжает: «Не было бы без него ни пятерок за домашние, безупречные, без единой помарочки и подтирочки, чертежи на белоснежной бумаге, ни двоек за контрольные по тому же предмету, когда учитель догадывался, по моему мазюканию, мерзким графитовым тучкам и оставленным на ватмане дактилоскопическим линиям, что за меня чертит кто-то другой». И опять повторяет жестоко: «А это все папа чертил», и глядит прямо в блестящие глаза своей тети (нос с горбинкой тоже блестит), наслаждаясь ее подбранностью от подвоха, от этого «папы». Никто, кроме них, не замечает этих деликатных деталей. Нюансы! Дуновения позапрошлого воздуха! Что-то тайное и непрогнозируемое, связующее Альбину с Наилей, но что?

Салават.

Салават связывает Альбину с Наилей.

Старший Наилин брат, который ее, кудрявую, как баран, девочку с блестящими глазами и волосами, и на каток водил, и на музыку, и в бассейн, а потом еще заботливые, заказные письма с Севера слал, куда его распределили после окончания института. «Потому что татарин и всегда у Салаватки была эта та-

Об авторе | Маргарита Меклина родилась в Ленинграде. Лауреат Премии Андрея Белого за книгу «Сражение при Петербурге», лауреат «Русской Премии» за книгу «Моя преступная связь с искусством», лауреат премии «Вольный Стрелок» за книгу «Год на право переписки» (в опубликованном варианте — «РОРЗ»), написанную совместно с Аркадием Драгомощенко. Как прозаик публиковалась в журналах «Зеркало», «Новый берег», «Новая юность», «Урал», «Интерпоэзия». В «Знамени» печатается впервые.

тарская рожа блином, вот декан и заметил, и послал его куда макар телят не гонял!» — объясняла жена Салавата и мать Альбины Юлия Прочерковна.

А «Прочерковна» потому, что в свидетельстве о рождении у нее вместо отца прочерк стоял. Разумеется, называли ее так за глаза — это она сама всем в глаза правду-матку рубила. Только не простонародно выражалась, конечно; объясняла культурно: «Я просто констатирую факты». И подчеркивала, четко артикулируя: «Констатирую факты!». А когда Альбинушка-школьница в сочинении написала, что это излюбленная фраза ее родной, дорогой мамы, Юлия Прочерковна увидела пропущенную «н» в «констатирую» и начала ее укорять: «Ну ничего не соображает, видно, татарская кровь, сидела бы сейчас в кишлаке, если бы я не вышла за Салаватку!! Это же русское слово, а ты в меня — русская, вот и пиши правильно, как все нормальные дети!». Держала тетрадку двумя пальцами за уголок, так что нутро ее почти вываливалось, еле-еле удерживаемое парой хлипеньких скрепок, а Альбина тем временем хлюпала носом.

Да, татаркой быть стыдно, недаром у Альбины в классном журнале вместо национальности — пустое место («И отец твой — пустое место, перхотная пакость, пигмей»); все их татарские родственники — «монголо-татарское иго», «чертовы чингисханы», «свора», «орда» — только и думают, как бы русским гадость подстроить, но она-то при чем, ведь она совершенно не похожа на «страшенного Салавата». В голове у нее звучали слова: «И лицом, и душой — вся в меня, а не в этого сивого мерина! Даром что водку не хлещет — а что еще с него взять?».

Салават, папа Альбины, совсем не умел обращаться с детьми. Мама приводила столько примеров:

«Отправишь его с тобой на санках кататься — придешь вся в синяках, обшварканная о ледяной наст; оставишь вас одних в комнате — и он начнет тебя кувыркать и голову об угол табуретки тебе разобьет; поедет на дачу, сам на крыше покуривает вместо того, чтобы сбрасывать снег, прохлаждается с сигареткой за ухом, не ударяя палец о палец, а ты в резиновых сапогах внизу в сугробе гробишь себя, зарабатываешь себе дыры в легких из-за его поганого времяпрепровождения...»

Мать четко выговаривает слова. Они длинные, выразительные, вычитанные в далекой юности из сложных книг. Взрослая Альбина, в отличие от Альбины-ребенка, знает, что вычурные слова и многозначительные, цветистые фразы почитаются психопатами, которые, укрываясь за кустами этой развесистой клюквы, не знают, что и сказать. Своих чувств, своих дум у них нет.

Салават огрызается, обращаясь к Юлии Прочерковне: «Ерунду говоришь! Язык во рту, что ли, полощешь?». Потом говорит примиряюще: «Эх, Юленька, не выйдет из тебя доброй старушки!».

«Заткнись, оленевод!» — бросает ему Юлия Прочерковна и уходит в их общую спальню. Салават смешно морщит нос, как бы говоря смотрящей на него Альбине «Ну что тут поделаешь!», и они идут печь блины.

2

Салават, высоколобый, невысокий, спортивный и спорый, умеет все: и дрова рубить, и печь растопить, раздобывая ее то сухим сучком, то газеткой, и капусту сечкой сечь и ее в кадках солить, и варенье из выращенных на даче ягод варить, и банки для этих солений-варений готовить, и лестницу к яблоне представлять, чтобы урожай собирать, и по этой же лестнице вниз в погреб лезть и потом поднимать наверх, на веревке, ведра с подмерзшей, проросшей картошкой, и так и скакать вверх и вниз, то под землю, то к небу; и кладку для фундамента делать, и покрывать качели сначала эмалевой краской, «чтоб не заржавело», а

потом серебристой, шершавой, чтобы и дочка могла так же, как он, вверх и вниз, и испещрять речь словами «олифа», «рашпиль» и «рубероид», и стихи сочинять вроде «в темноте я шел один / кто-то выколол мне глаз другой», и играть в бадминтон мечтательно трепещущим в небе воланчиком, и учить Альбину нырять в ласковом глубоком море, когда они поехали к бабушке в Крым, и мастерить мебель, в том числе книжные полки, на которых стоят любимая «Повесть о детстве» и роман о керченском пионере-герое Володе Дубинине, скрывающемся в катакомбах (Альбина сама хотела б там жить!), и прокладывать бетонную дорожку по слякоти из дачного дома до ее «домика», ее детской забавы, где она наряжала в бумажные платья бумажных же кукол на подставках-пеньках и их кавалеров, и печь слоеные пирожки, когда мама недужит, и стирать замоченное в тазу белье, детское и свое, и мастику класть на паркет.

Он мастак, Салават! Кто без Салавата накроет на стол? Кто заварит прессованный татар-чай с молоком, «душу семьи»? Кто для Альбины замерит рулеткой размеры ее чемодана и скажет, пустят ли ее со всем барахлищем, с этим бегемотным баулищем в самолет?

Это для Юлии Прочерковны он «никудышный пигмей» и порой — для Альбины, когда она подпадает под злобное волшебство своей мамы и верит ее таким загогулистым, таким замысловатым словам! А другие видят в нем мастеровитого мастера цеха на стекольном заводе, заботливого отца и мужа во всегда выглаженной, от утюга волглой рубашке, с которым «Юлька как в замке, как в сказке живет». Только он чуть неуверен в себе, с этим в разговоре зажат, с той застенчив, замкнут в гостях; говорит «надо быть выше этого», когда разлапистый культурист прогоняет Альбину с турника на детской площадке, потому что хочет подвесить там своего малыша.

Взрослая Альбина прочла, что нерешительные, подверженные колебаниям люди часто выбирают себе в партнеры садистов. А потом у них вырабатывается «стокгольмский синдром», когда они отождествляют себя с тем, кто над ними стоит, таким образом пытаясь защититься от излишних нападков. Наверное, потому Салават терял голову и в выпускном классе поддерживал безрассудства Юлии Прочерковны вроде невыпускания Альбины из дома зимой кроме как в школу, «чтоб не простудилась», а на самом-то деле, чтобы оградить от встреч с парнями, «у которых только одно на уме».

Взрослая Альбина узнала, что главная цель мучителя — закрыть жертве доступ к другим, чтобы полностью ею завладеть. И верно: ведь Юлия Прочерковна и Салавата не выпускала одного на улицу, «чтобы не заглядывался на груди и муди», — возможно, она сама подверглась какому-то сексуальному насилию в детстве...

Вот они все сидят на своих стульях, а только что бродили по короткой, мокрой траве, трогали буквы на плитках, стирали с них пыль, несколько раз поправляли зеленый пластмассовый конус с цветами, поглубже ввинчивая его в эту першащую в горле траву, чтоб не валился, представляли, как Салават там лежит с подложенными под правую щеку горстями земли, смотрели на прибавившихся рядом с ним новых жильцов, верней, нежилцов, тоже всех с этой прочной пластмассой, с этими копеечными, временными рамками с фотографиями, оставленными на могилах в ожидании «вечного» надгробного камня, с этими почти офисными этикетками с напечатанными на них никому не нужными днями рождения и номерами участков земли.

Три года прошло — а Юлия Прочерковна не изменилась. Так же носит прямые, как она сама, юбки, желательно длинные, чтобы закрыть как можно большую часть крепких ног с широкими крестьянскими щиколотками; так же выбирает трикотажные кофты с накладными карманами, приходящимися пря-

мо на бесформенную большую грудь. Только не так возбужденно горят глаза, куда-то пропала обычно окружающая ее аура нетерпимости и дикобразных поднятых игл, которую Альбина ощущала, еще только ступив на порог квартиры родителей, куда-то исчезли взвинченная энергия и запал, когда слова вырывались из нее, как из вздувшейся консервной банки. Исчез «вечный источник раздражения», ушел «маломощный мужик», «сделал ручкой и испарился — а мне тут пахать!».

Но вдруг опять сверкнули глаза, опять забились на виске жилка, опять нервно задрожали задубелые пальцы, теребящие вилку в салфетке, готовые кинуться в бой. Исчезли открытость и простодушность лица, которые можно легко представить у женщин с картин Казимира Малевича, и вместо них на кажущемся безобидным, белом овале прорисовались мелкие, острые, как ее редкие зубы, гадливость и гнев.

Неужели ошиблась Альбина, неужели что-то еще кроме супруга возбуждает в Юлии Прочерковне такие выпуклые, выродившиеся, настоянные на многолетней ненависти мысли? Но нет, не ошиблась.

Они все сидят за столом на неустойчивых стульях и собираются выпить. Никто не решается первым произнести речь. Но вот Юлия Прочерковна порывается что-то сказать, и все притихают, держат в руках рюмки с прозрачным горько-соленым напитком, готовые все вместе выпить за ушедшего Салавата.

Юлия Прочерковна говорит: «И с того света надо мной издевается, ну что за мужик! Вон опять прислали счет за телефон и ему приписали какие-то разговоры. А я же все уже уплатила и ни с кем по телефону не тараторю, сразу трубку кидаю, если кто позвонит».

Гости, так и не выпив, ставят рюмки на стол. Нет, это еще не речь Юлии Прочерковны. Речь будет потом. Вот она торчит у нее из кармана, написанная круглыми крупными буквами — безупречные завитушки, уверенный твердый нажим. Все ждут, не дотрагиваясь до купленных Юлией Прочерковной в местной, советского типа «Кулинарии» салатиков. Альбина украдкой взглядывает на ее руки, которые продолжают мучить-мусолить то обернутую салфеткой вилку, то нож: разбитые артритом, страшные, крючковатые пальцы добротной, сочной, не пожилой еще женщины вызывают в душе какое-то бередящее чувство; такими не сможешь резать свеклу, огурцы, баклажаны, яйца, редиску — все эти ингредиенты есть в угощениях, которые Юлия Прочерковна подвигает поближе к гостям, прося начать есть.

3

«Начинайте, начинайте, чего сидите-то, давайте я всем наложу!» — бодро говорит Юлия Прочерковна, а Салават с красноватым, добродушным лицом смотрит на нее с чайного столика. Такое у него выражение, что кажется, если смог — подошел бы, услужливо помог этим крючковатым пальцам справиться с ложкой, этим румяным, чуть обвисшим щекам и безжалостным к еде челюстям — двигаться еще проворней и злей, перетирая в пух и прах вареные овощи.

Его портрет принесла сегодня Наиля, прослышавшая от Альбины, что у Юлии Прочерковны ни одного портрета Салавата в комнатах нет. Что и мертвого она его ненавидит и избегает, не упускает случая, чтобы указать на ошибки. Сидит-сидит, и как вспомнит что-то из восьмидесятых годов, как «Салаватка разбрасывал везде острые пилы и ржавые гвозди и чуть не угробил ребенка». Или как, когда они с маленькой Альбиной жили еще в глухом магаданском поселке, Салават плохо привязал спасательную веревку, и, добираясь домой из детсада, в кромешной северной тьме, дезориентированные пургой и ледяной крошкой,

Юлия Прочерковна с младенцем на руках потерялись, стояли и держали растерянно в руках оборвавшийся хвостатый конец, пока «этот мерзавец не прибежал, сам в шапке-ушанке, унтах, а нам даже не купил полушубков приличных, выкинул босых и раздетых на снег».

Наиля принесла портрет Салавата, чтобы помянуть его в день рождения, и сегодня же унесет. Она единственная, кто отказался от водки — у нее в рюмке налита вода. Отодвигает от себя вилку и нож; начинает ложкой накладывать пищу в тарелку. Альбина вспоминает, что, в соответствии с татарским обычаем, нож с вилкой на стол не кладут, потому что ими можно невзначай истыкать тело покойника. «Какое истыкать, — думает она про себя, — когда усопший и так все время как по битым стеклам ходил, живя с такой беспомощной, но беспощадной мегерой, даром что после Севера работал на стекольном заводе».

Нехотя все начинают жевать свекольный салат, потом маринованные баклажаны, салат с редиской с яйцом, копченую белую рыбу с рисом под майонезом, селедку под шубой, салат оливье.

«А икорку, икорку, худышка-мормышка, налегай на икру», — истерично-румяная, с обновленной завивкой и омоложенным питательным кремом лицом, Юлия Прочерковна направляет Диляру. Несмотря на массажи, кожа под глазами набрякла; блеску и легкость глаз тянет на дно какой-то груз, но не грусть. Это тяжесть, скорее всего, от излишков еды и эгоистических мыслей, а не скорбь от потери второй половины — про себя, «констатируя факты», отмечает Альбина. Диля скованно отодвигается от стола, Юлия Прочерковна наставляет «Ешь, ешь!». Диля отпихивает тарелку и приподнимает скатерть, чтобы исчезнуть. После смерти деда она почти не видит бабулю. Хотя Юлия Прочерковна успела внушить ей, что «у деда все из рук валится», Диляра ночами разговаривает с ним в своей комнате, спрашивает, как он там живет. «Сегодня занята омолаживанием и налаживанием жизненно важных функций всего организма, завтра — готовкой, в среду разгрузочный день и можно Дилярочку ко мне привести», — Юлия Прочерковна заявляет Альбине, но по средам у Диля занятия по татарскому языку. Хотя она учится в русской школе, Альбина решила привить ей «родной язык», подсознательно отомстив ненавидящей «татарву» Юлии Прочерковне.

Альбина работает сейчас над переходом с аутентичной ступени сознания на трансцендентную. Аутентичная ступень связана, в понимании Альбины, с самостью, с созданием неповторимых вещей, с независимостью от устоявшихся авторитетов и мнений. Люди, находящиеся на аутентичной ступени, равнодушны к какой-либо критике. Раньше Юлия Прочерковна надувалась гневом, краснела, с силой одергивала на ней пальто, как будто хотела сбить с ног, с панталыку; поправляла совсем не сбившийся хлястик; подтягивала колготки до самых ушей, чуть ли не до рези в паху; просила «сдвинуть ноги, когда стоишь, чтобы не было этого дистрофичного выкоса», и тогда Альбина переживала, вечерами долго разглядывала в зеркале свое удивленное, продолговатое лицо с маслинами глаз; начесывала свои волнистые волосы, чтобы создался объем; поглаживала длинную шею с чуть выпирающим, решительным кадыком в распахнутом вороте ловкой рубашки, волновалась, красива ли, противоречила матери, плакала, когда была помладше, а когда стала постарше, начала огрызаться и сама нападать.

Сейчас же Альбина сидит за столом совершенно спокойная. Она пропускает мимо ушей замечание матери о том, что у нее не наглажены брюки (ну а что делать, когда дешевый, тонкий материал вываливается из стиральной машины вместе со сцепившейся рукавами кучей белья, скрученный в трубочку, ведь либо ребенком заниматься, либо собой!), что у нее прошлогодняя стрижка, что у нее на руке «отвратительно огромные мужские часы» (Альбина во всех вещах предпочитает функциональность), что она вырастит из Диляры «стоеросовую осину,

тупую дубину», если та не будет видаться с бабушкой. Взрослая Альбина знает, что все слова, какими сейчас Юлия Прочерковна обзывает ее и Диляру, и все слова, которыми обзывала она Салавата, на самом деле относятся к самой Юлии Прочерковне, ведь та просто проецирует свое собственное бессилие на других.

Это она бесчувственна — психопаты обычно бесчувственны.

Это она не умеет одеться, то выбирая какие-то белые шляпы и белые матерчатые туфли с белыми же носками, как будто отдыхающая курортная дама на променаде, с плетеной кошелкой из джута, то переключаясь на серый драп, который и новый-то выглядит побитым пылью и молью, и напоминая в этом прямого покроя костюме Екатерину Фурцеву, министра культуры советских времен.

Это у нее фригидность и половые проблемы — их, скорей всего, никогда не было у всегда подтянутого, чисто выбритого и чисто пахнущего Салавата, который только в последние годы превратился в набрякший, осевший мешок.

Это она ничего не умеет: даже кашку не может правильно Диле сварить, даже кошку не в состоянии к горшку приучить, даже салаты забыла, как делать. Да вот и тренажер для себя и отдельный — для этой самой уже упомянутой кошки, чтобы она была всегда в форме и с удовольствием скакала и прыгала и благодарила хозяйку за прекрасно налаженный быт — попросила установить Альбиного мужа Олега. Раньше было: «Салаватка, давай!», «Салаватка, сюда!». Теперь не слезает с телефона: «Скорей шли Олега, надо лампу повесить». «Скорей шли Олега, птички электронные петь перестали, фонтанчик чем-то забился». «Скорей шли Олега, дверь на балконе скрипит». «Скорей шли Олега, пусть тренажер забирает, на нем сами скачите, не могли подсказать, что ли, что кошке моей не понравится, она уже два раза скovyрнула с него и теперь ни ко мне, ни к нему — ни на шаг». Альбина Олега шлет, но, поскольку она теперь стоит на аутентичной ступени, на свинцовые мерзости матери в ее адрес ей наплевать.

4

Гости подбираются к бутербродам с лососем, с прозрачным намеком разглядывают этикетку на бутылке «Пшеничной», баюкают в рюмках прозрачный напиток, ожидая, что вот наконец-то Юлия Прочерковна встанет, достанет из кармана подспорье — бумажку с записанным выступлением с вкраплением сложных слов и сентиментальных стихов — и заговорит. Прочтет речь про то, как Салават жил, про то, как его теперь нет, а вот они зачем-то остались. Про то, как умер, наверно, пропустит, ведь все знают, что это Юлия Прочерковна его в тот день довела. И так ходил как по ниточке, задыхался, за сердце держался, присаживался на диван, а она только покрикивала: «Салаватка, держи, Салаватка, снимай же с огня, Салаватка-дурак, у тебя ребенок описамши, а ты и в ус свой проклятый не дуешь». Держат рюмки в руках, готовые в любой момент подхватить тост.

Украдкой, а иногда и прямоком, поглядывают на безмятежную Юлию Прочерковну. Наконец та встает. Все замирают. У Наили слезы наворачиваются на глаза. «Смотрю телевизор — а там везде Салават у меня вместо диктора, вместо актеров», — говорила она сегодня Альбине, когда только пришла, когда переобувалась в коридоре в принесенные с собой лохматые белые тапочки. «Ведь старший брат, мы на него всегда снизу вверх...». Тетя Наили смотрит с ожиданием на Юлию Прочерковну, дав себе клятву, что до конца жизни будет заботиться о жене любимого брата, во всем ей помогать. «Не все я одобряю, конечно, но это выбор моего брата и я должна его уважать», — сказала она, уже в лохматках, Альбине.

Наили смотрит на встающую Юлию Прочерковну и старается не зарыдать от ожидающихся от нее теплых, обволакивающих душу слов в адрес безвременно ушедшего мужа. В этот момент тетя даже готова забыть, что insult у брата

случился после большого скандала, устроенного в доме Юлией Прочерковной, когда она нашла на его «старом, рваном, вонючем ботинке» (ее слова) чей-то волос, немедленно нарисовав в воображении картину разврата, проституции, свального секса в подсобке, набитой бракованным, некондиционным стеклом.

Наила с рюмкой в руке и слезами в глазах смотрит на медленно встающую из-за стола Юлию Прочерковну. Юлия Прочерковна встает, отодвигает стул и направляется к кухне, где долго копается в пакетиках с чаем. Гости молча ставят неотпитую водку на стол.

Все съедено. Больше есть нечего.

На столе пустые тарелки. Только перед Салаватом, вернее, перед его увеличенной фотографией лежит бутерброд. Чуть-чуть вроде бы приуменьшилось в рюмке, но покойный ведь и при жизни никогда не пил, с чего бы ему сейчас становиться пьянчугой? Альбина думает: «Ни за что сюда не придет. Душа отлетела и теперь занимается всем, чем угодно. Может быть, строит модели легких парусников, воздушных шхун, призрачных кораблей, которые супруга сломала, объяснив, парой решительных жестов и хрустов, что есть дела поважней, например, замена газовых баллонов на даче... Теперь, умерев, сможет наконец встретиться «со всей своей татарвой», сходить в гости к родителям, которые якобы не любили Юлию Прочерковну за ее рукопашную, нараспашную русскость... Давно уже в далеких сферах витает, подальше от карги жены, от капризных дочки и внучки... Хрен вам, накоси-выкуси, ожидают тут папу — а папа теперь далеко, вырвался наконец из этих проклятых, пахнущих тиной и спинулиной тисков!»

5

Бутерброды закончились. Юлия Прочерковна несет с кухни пирожные. Гости их вежливо хвалят. Юлия Прочерковна опять идет на кухню и возвращается с шоколадными конфетами в глянцевої щеголеватой коробке. «Ну садись, мам, посиди», — просит Альбина. Юлия Прочерковна приносит с кухни апельсиновый сок. «Садитесь, садитесь, чего скакать в таком возрасте», — это Олег говорит. Юлия Прочерковна приносит с кухни клюквенный сок, объясняет: «Апельсиновый для Диляры, а это для всех». Гости уже принялись за пирожные, но Юлия Прочерковна прерывает: «Конфеты с ликером, берите, берите, а Диларе нельзя, и кофе ей не давайте, а то возбудится и ночью будет по дому бродить, всех перебудит». Альбина надавливает языком на сладкий овальный гробик; из него что-то льется и щиплет язык. Второй сладкий гробик засохший, видно, засахарился наполнявший его алкоголь. Торжественно, будто под невидимые аплодисменты, сопровождающие выход знаменитого актера на сцену, Юлия Прочерковна выносит из кухни роскошный торт, на котором написано — «С днем рождения». Даже пригнулась чуть-чуть под его весом, широко ставит ноги в лапчатой матерчатой обуви. Ведь сегодня день рождения Салавата. Ему бы исполнилось шестьдесят пять.

Диляра, довольная, вылезает из-под стола. «Олежка, разрежь», — командует Юлия Прочерковна. «Уж извините, хотела “Хлопца кучерявого” спечь, но так и не вышло», — Юлия Прочерковна демонстрирует всем свои руки. Альбине опять становится не по себе. «Альбинка, хочешь рецепт? Не знаешь, что за “Хлопец” такой? Ну ты даешь!» Юлия Прочерковна опять проходит на кухню, долго роется в шкафчике и достает оттуда банку с клубничным вареньем. «А это, кажется, еще Салаватка варил, не знаю, куда и девать, если не доешьте здесь, с собой заберите!» И только под конец, когда места на столе уже нет, она приносит тарелку с блинами. Их в память Салавата Альбина спекла: так, как он научил.

«Выпьем за покойного», — предлагает Олег.

Он желает, чтобы поскорей все закончилось, но в то же самое время изо всех сил старается следовать правилам.

Все готовится многозначительно помолчать, но Юлия Прочерковна прерывает наступившую тишину: «Ешьте, ешьте, не отвлекайтесь». Олег прячет глаза, убирает под стул прежде вытянутые ноги в удобных, на липучках, кроссовках. На нем все удобное: неснашиваемая суконная жилетка с десятком разномастных карманов, туристские брюки, которые одним мановением молнии превращаются в шорты, а на ремне, в котором он сам проделал раскаленным шилом аккуратно вычисленную нужную дырку, целый арсенал необходимых в хозяйстве вещей: фотоаппарат с отдельным комплектом батареек и флешек на смену, складной ножик с напильничком, штопором и множеством лезвий, мобильник с закачанной туда картой местных дорог.

Альбина смотрит на мужа, а сама думает, что ее задача теперь — подготовиться к трансцендентной ступени. Так она решила, прочитав исследование под названием «Перемены ума: холографическая парадигма и эволюция сознания человека», написанное ученой женщиной с внешностью гулящей ведьмы. Трансцендентная ступень отличается от аутентичной тем, что на ней полностью растворяется «я» и пропадает страх смерти. Это одна из последних ступеней сознания; за ней идет лишь «унификационная», на которой стоял Магомет и какие-нибудь скрывающиеся в пещерах отшельники, а затем «послесмертная», которой уже достиг Салават, витая сейчас далеко-далеко, слушая музыку сфер.

Не уверенная в том, действительно ли она иногда видит отца, когда заходит в Дилияину комнату и спугивает чью-то сидящую на стуле в задумчивой позе густую, темную тень, Альбина написала автору книги — неуловимой, как летящая в небе метла, женщине с золотистыми волосами и чуть косившим, янтарного отблеска, глазом, заглядывающим в запредельные области. То, что та сочинила в ответ, Альбина пока прочитать не смогла. Она подолгу оставляла письма нераспечатанными (когда их еще посылали в конвертах), а теперь — распечатанными на принтере, но непрочитанными; вот как термины за какие-то десять лет поменялись, вот как время летит!

Оно плотно спрессовано, в одной точке — настоящее, прошлое, будущее; а в кармане — сложенный вчетверо прямоугольник бумаги. Вот именно так, думает Альбина, можно описать время: несколько слоев бумаги в одном. Пока остальные жуют, она вытягивает из кармана листок и с опаской выхватывает одно предложение: *«Не могу не согласиться с тобой, что люди, имеющие доступ к “другим плоскостям”, часто испытывают непреодолимые затруднения, пытаясь найти общий язык с теми, у кого этого доступа нет».*

Надо же как... Ведьма каким-то образом заключила, что у Альбины есть этот доступ. А может, и есть. И теперь она разглядывает тех, у кого его нет. Например, у Юлии Прочерковны, скорее всего, реактивная ступень сознания, присущая многим бандитам и уголовникам. Увидела то, что захотелось, — и сразу поди и подай. У Олега, оглядывает Альбина своего правильного, прагматичного мужа, покрытого сетью мелких ранок от бритвы и ранних морщин, «достижительная» степень сознания, недаром он так рьяно трудится в своей компании по установке кондиционеров в автомобили; на прошлой неделе столько просидел в холодном офисе на дырчатом стуле из твердой фанеры, что аж всю спину продуло и мышцы свело, и еще в окно солнце светило, мешало глазам, а он все сидел и высчитывал, сколько кондиционеров установил и как же их продолжать устанавливать с каждым разом все больше и больше... У Наили...

6

Наиля в это время ест глазами Юлию Прочерковну, которая наконец-то достает из кармана написанную круглыми крупными буквами речь. Что она скажет о брате? Неужели она все-таки любила его? И ее непомерная ревность была отзвуком этой любви, а не паранойей выжившей из ума идиотки? Наиля абсолютно трезва, несмотря на то что, не удержавшись и нарушив обычаи, выпила уже четыре рюмки «Пшеничной». Она трезва по отношению к жизни и знает, что в речи Юлии Прочерковны не будет никакого слюноотделения и сантиментов. Она знает, что Юлия Прочерковна не испытывает никакой вины или сомнений, но все-таки надеется, что та соблюдет все приличия при собравшихся и не ляпнет какой-нибудь ерунды, как она сболтнула в прошлый раз на дне рождения Салавата, когда он еще был жив, упомянув, что он «родился рахитом и рахитичным помрет», несмотря на тот факт, что Юлия Прочерковна, выше его на пол-ладони и поэтому «жертвующая ради него женственными каблуками», не забывая о своей роли преданной, верной жены, закармливает его чуть ли не с ложечки жареной рыбой.

Наиля только не ведает, что в кармане у Юлии Прочерковны совсем не речь. Юлия Прочерковна опять встает и начинает читать:

«Ко всем, кого это может касаться.

Я теперь одна. Я вдова. Средств не хватает на полноценные продукты и витамины, жизненно важные для организма. На электричество, горячую воду тоже нужны немалые средства. Пенсия мизерная. Проверьте, пожалуйста, что там с телефоном, почему вдруг надо платить за две линии, по второй линии ведь уже некому говорить, да и по первой не мастерица. Мне давно никто не звонит».

«Правильно я написала? — вопрошает Юлия Прочерковна. — А то какая-то катавасия с отчислениями получилась, ну после того, как...» — она кивает головой на портрет. Потом подходит к каждому члену семьи с этой бумажкой и просит: «Ну вот, прочитайте, проконсультируйте, если знаки препинания по-другому надо расставить».

Альбина принимается поправлять запятые. Наиля резко отодвигает стул, забирает портрет брата и исчезает в прихожей, где, как видит Альбина в отражающее часть коридора трюмо, судорожно пытается снять свои лохматые тапочки, балансирует на одной ноге, но ухватиться за вешалку с висящими там комиссарскими кожаными куртками и пальто Юлии Прочерковны, видимо, брезгует. Альбина вдруг явственно чувствует, что отец здесь. Вот он появился. И другие это тоже почувствовали, потому что неожиданно все замолчали, только ничего не понимающая, негибкая Наиля, руководящая своими удаленными, но недалекими, по ее словам, южнокорейскими программистами, продолжает шуршать в прихожей пакетами. Хлопает дверь.

Салават соскребает недоеденную пищу с тарелок, заглядывает под стол к давно заснувшей там Диле, пытается прочистить фонтанчик, и вдруг в затихшей комнате раздается пение птиц. Откуда-то из-за пыльного тренажера появляется кошка. Альбина так явственно ощущает присутствие папы, что слышит, как он обращается к Юлии Прочерковне: «Юленька, ну как ты? Помочь?», видит, как она кидает на него ненавидящий взгляд и пинает его в бок со словами: «Опять ты, сивый мерин, в своем репертуаре паяца и садиста». Пока Юлия Прочерковна, снимая матерчатый тапок, массирует шишковатый, далеко отступивший от других палец ноги, Альбина хочет кинуться к отцу и обнять, но не может, не знает, за что ухватиться, как схватить и затрясти эту неуловимую тень, как изметелить ее кулаками: «Салаватка, дурак, что же ты, ненормальный, пришел сюда и после смерти, что же ты сотворил со своей посмертной ступенью,

что же ты, вместо того чтобы бегать по гордым горам и пить в божественных высотах небесный кумыс, вернулся в свой собственный земной ад!»

«Папа, ну что же ты, папочка, — Альбина захлебывается, укоряет, прогоняет отсюда, — даже и в смерти не получил ты успокоения, опять явился сюда, уходи, уходи».

Альбина его умоляет и даже забывает на время, что при переходе на трансцендентную стадию самое главное — это спокойствие и слияние с Абсолютом, когда это желание слияния с Абсолютом будет так сильно, что не страшна будет и сама смерть.

«Да я же говорю — идиотство, и так и не кончается, тянется, полнейшее идиотство», — подытоживает Юлия Прочерковна, поднимает с пола сложенный вчетверо, видимо, оброненный ею листок бумаги и убирает его в просторный нагрудный карман.

22 апреля 2012

Айгерим Тажи
неспящий в тибете

* * *

На ладан не дыши — дышать здесь нечем.
Зря говорят, что сельский воздух лечит.
Саднящий в носоглотке дым костра
меняет очертания. Вглядишься же.
Буреют в куче скошенные астры.
Садовник выкорчёвывает липу,
которая ни разу не цвела.

* * *

Земля, накануне зимы околевавшая,
холодным покойником на прикасания отвечает.
За чашкой тёплого чая
сонные люди разговором неспешным
вышедших поминают.
За окнами тихо ступают мёртвые
по старым следам из скрипучего снега,
греются в сердце странного города,
жмурят промёрзшие веки.

* * *

Дёрнется кто-то в ветвях, испугавшись кашля,
и сорвёт покрывало с кроны. Статуя дерева.
Брызнет морозной солью, вопьётся в кожу.
Кто ты, неизвестный скульптор в белом плаще?
Кто ты, зашивший чёрные раны на зимней реке
после вечернего потепленья?
Тихо на берег другой по свежему шву,
перебирая ногами метры прозрачных недр.
Листья впаяны в карамельную глубину,
и внутри всё стеклянно, лишь дёрнется нерв
и расколет слой.
Птица выпорхнет из-под ног, улетит домой.

Об авторе | Айгерим Тажи родилась в Актобе (бывшем Актюбинске) 15 ноября 1981. Автор книги стихов «БОГ-О-СЛОВ» (Алма-Ата, 2003, издательство «Мусагет»). Лауреат литконкурса «Ступени» (Москва), финалист литературной премии «Дебют»-2011 (Москва). Участница Форумов молодых писателей России (2010—2011). Стихи переводились на английский, французский, армянский языки. Публиковалась в «Дружбе народов», «Аманате», «Урале», «Новой Юности», «Аполлинарии», «Воздухе». Участница литературного фестиваля в Казахстане, проведенного 20—24 ноября 2012 года Фондом СЭИП (семинар поэзии журнала «Знамя»). Живет в Алматы.

* * *

Руки тянутся. Прячешься в глубине.
Глаза непомнящие, руки невидящие, крылья мокрые,
Под твоими дверями сплю, под твоими окнами.
Прихожу, заметая следы, петляя улицами,
А за мной, как в нелепом фильме, весь город рушится.

* * *

Тёплое запаха —
Сырость, суставы ржавые.
Музыка жалобная
Тише, чем шире шаг.
Медленная, траурная,
Она прислонится к дереву,
Сядет на лавку, вторгнется
В пёстрый ландшафт.

* * *

В сердце музыка жёвана-пережёвана.
Запах старости. Патина. Вкус крыжовника.
В голове шелестят голоса, и шорохи.
Скрип полов. Ставни наглухо заколочены.
Водоёмы забытые заболочены.
Силуэты ушедших в воде мерещатся.
И беззвучно ко дну приглашает лестница.
За спиною торопит живая очередь.

* * *

Кажется, больше места
Стало — ты будешь рад.
Старый лимон на лето
Вынесли в сад.
В комнате слишком душно.
Тихие голоса
Резко прервёт кукушка —
Белое брюшко,
Пластмассовые глаза.

* * *

На краю облака стоишь,
под которым
небо рушится, обваливая линию горизонта.
В глубине резкости уходит океан
в тонкую щель.
Из щели слышится свист.
В кадре размытая комната.
Клоун смеётся из-за кулис.

* * *

у моря большие лёгкие
и огромный рот
сегодня на ужин съест не того
а завтра этого пожует
на берегу почерневший моряк
раскладывает сокровища у ног
рыба к рыбе

с морским ежом
играет чужой щенок

* * *

Можно долго выбирать красивого краба
в аквариуме прибрежного ресторана,
чтобы бодрым казался, глаза на месте и клешни.
Официант, его зовут Джимми, хороший выбор,
а пить что желаете — спрашивает.
Неважно, но чтобы повар его приготовил заживо,
сделав частью курортной романтики в луковом кружеве
и накормил фантастическим ужином.

* * *

В коробке из-под немецкого шоколада
мать прячет бирки, зубы, первые волосы
сына, живущего где-то в пределах города,
звонящего в день рожденья уставшим голосом.
Когда приходит этот, уже мужчина,
с руками в венах, с букетом цветов дешёвых,
она наливает чашку до половины,
чтобы он поскорей ушёл.

* * *

на козырьке подъезда
осколки бычки меловые контуры человека
кошка с коротким хвостом на части рвёт воробья
хор машин — музыка двадцать первого века
дама выбегает вслед за валетом
голова в перьях красное на губах

* * *

вначале потоп а потом пилот
люди ищут выход в сотах многоэтажек
крест антенны ловит небо передаёт
ангел сидит на спутнике крыльями машет

* * *

завтра плюс двадцать гроза возможно землетрясение
рыбки выбросились на кафель ещё с утра
их смели веником смыли в трубу течением
в аквариум запустили премудрого пескаря
а он через стекло так смотрит
что становится очень жутко
душа выходит из пяток
и подступает к желудку
люди бегут из карточных зданий
выносят детей бутерброды спички
в банке пескарь шевелит усами
и смотрит на всех по-бычьему

* * *

дом-ковчег парусами раздулись простыни
в стенах пары звереют плодятся к осени
толстый голубь уснул в двух шагах от пропасти
пара взмахов до ястреба жизнь до лавров
капитан с электронной папироскою

покоряет моря по подсказке лоцмана
переходит на уровень получает бонусы
крутит с яростью беспроводной штурвал
маяком свет на кухне за свежей порцией
кофеина плыть долго но сильный — справится
у жены древнеримская переносица
она смотрит в окно и от вида морщится
он подходит и щиплет её за задницу

* * *

Где у рыбы хвост,
А где голова?
Откуда гнить,
Если всё отрезано.
Но гниёт
Рыба,
У которой огромный распухший живот.
В нём Иона живёт.
Сети вьёт, шьёт паруса,
Надвинув шапочку на глаза.

* * *

Когда рассказчик уснёт на горе из книг,
Все потянутся к выходу, вначале скованно,
Через три ступеньки вниз. Убыстренные шаги.
Поворот к забору, вверх и на другую сторону,
Где дышать прерывисто с открытым ртом,
Обхватив ладонями бока штормящие.
Собака с оборванным поводком
Появится рядом, умчится с мячиком.

* * *

Кто-то умер.
Да здравствуют все.
У красавицы месяц в косе,
Солнышко в рукаве и кощеева жизнь.
В башне сиднем сидит, оттачивает харизму.
Ждёт прекрасного юношу, держит в окне белый флаг.
Но внизу лишь дурак, да и то не глядит, дурак.
В пять утра во дворе с серым волком на поводке
Курит, плюёт под ноги, уходит, крикнув «к ноге!»

* * *

неспящий в тибете похож на таких же как здесь
луны циферблат растекается на небосклоне
спускается с гор поседевший на треть незнакомец
в руках несёт старые книги в них новая весть
и мимо проходит не глядя как будто ослеп
ногами ступает по лужам роняет страницы
на ветке засохшей кричит тонконогая птица
он входит в туман и за ним закрывается лес

Алматы

Владимир Новохатко

Белые вороны Политиздата

(записки завреда)

В 1960—1980-е годы Политиздат выпускал книги серии «Пламенные революционеры», которые рассказывали о жизни и деятельности революционеров всех времен и народов — от Спартака до утопистов и коммунистов.

Учреждая эту серию, высокое партийное начальство рассчитывало отвлечь внимание писателей от современной злободневной тематики, увести их в отдаленное прошлое, приобщить читателей к революционной идеологии.

Но все эти надежды опрокинула живая литературно-издательская практика.

Дело в том, что вскоре после XX съезда КПСС, развенчавшего обожествление Сталина, стало кристаллизироваться новое молодое поколение, все критичнее и критичнее относившееся к политическому режиму. Эти люди получили впоследствии имя «шестидесятники». К этому поколению принадлежали и мы, сотрудники редакции серии. Я был заведующим редакцией. Коллектив сложился не сразу, много времени ушло, чтобы собрать редакторов, придерживающихся общих взглядов на историю и современность: Аллу Пастухову, Ларису Родкину и Галину Щербакову. Все мы взяли курс на привлечение в авторы шестидесятников. Большую помощь в проверке исторических реалий нам оказывали младшие редакторы Анна Мочалова, Нина Чунакова, Галина Жарикова и Елена Бурковская.

Не сбылись надежды кураторов еще и по другим причинам.

Чтобы приохотить массового читателя к книгам серии, было решено избрать литературной формой не сухие научные биографии, а эмоционально насыщенные романы и повести, способные вызвать живой интерес к героям. Именно это и сыграло роковую для основателей роль в крахе их замыслов. Язык художественного повествования радикально отличается от языка политических трактатов, он имеет ненавистный для партийных начальников второй план, так называемый подтекст, который не так просто искоренить. А второй план дает писателю большие возможности для выражения собственной точки зрения на исторические события, которая часто контрастирует с официозной историографией и проецирует события прошлого на современность.

Поскольку главной целью романиста является создание яркого, психологически убедительного образа героя, а также выявление его нравственного облика в соотношении с конкретикой эпохи — события и люди этой эпохи получают наглядную нравственную оценку (что очень не нравилось впоследствии учредителям серии, разделявшим ленинскую оценку морали как буржуазного пережитка).

Нравственная доминанта отчетливо осознавалась многими нашими авторами.

Об авторе | Новохатко Владимир Григорьевич — участник Великой Отечественной войны, прошел с войсками Второго Украинского фронта пол-Европы, войну закончил в австрийском городке Баден-Бадене в звании «солдат-шофер». После войны закончил Ростовское мореходное училище и плавал на Черном, Каспийском и Азовском морях до 1953 года, затем поступил на факультет журналистики МГУ. Работал в литературных отделах журналов «Физкультура и спорт», «Смена», в «Литературной газете», потом редактором публицистики в Политиздате и заведующим редакцией серии «Пламенные революционеры», по уходе оттуда — заведующим отделом прозы в журнале «Знамя». Полный вариант мемуаров можно прочитать в Живом Журнале В. Новохатко <https://www.livejournal.com/login.bml?ret=1>

Так, Натан Эйдельман писал в заявке на книгу об Иване Пущине: «Для художественной биографии этого яркого представителя первого российского революционного поколения первостепенное значение, понятно, представляет проникновение во внутренний мир “Большого Жанно” (так шутливо называл Пущина Пушкин. — В.Н.), объяснение того сильного, доброго, высокого влияния, которое его личность имела на окружающих. Ведь именно Пущина величайший поэт назвал “мой первый друг, мой друг бесценный”. Именно Пущин был как бы негласным старостой декабристской каторжной общины, а после — любимейшим собеседником, советчиком, арбитром почти всех героев 14 декабря, куда бы их ни забросила судьбина. Даже по мнению многих современников, не разделявших идеалов Пущина, он был одним из самых лучших, нравственных людей».

Прорисовка нравственного портрета героя являлась главной задачей всех *талантливых* авторов с критическим мышлением.

Мы привлекли к сотрудничеству Василия Аксенова, Александра Борщаговского, Владимира Войновича, Анатолия Гладилина, Якова Гордина, Юрия Давыдова, Игоря Ефимова, Камилу Икрамова, Владимира Корнилова, Анатолия Левандовского, Александра Лебедева, Александра Нежного, Булата Окуджаву, Раису Орлову, Владимира Савченко, Льва Славина, Юрия Трифонова, Натана Эйдельмана и многих других, в том числе и зарубежных, писателей.

Отменное литературное качество и историческая правдивость вскоре завоевали внимание огромной массы читателей. Лучшие книги мгновенно раскупались, хотя мы издавали их тиражом в 300 000 экземпляров, а затем довольно быстро допечатывали их еще раз таким же тиражом. Лучшую книгу всей серии — роман Юрия Трифонова «Нетерпение» — мы издали суммарным тиражом 900 000 экземпляров.

Стоит сказать, что в той сотне книг, которую мы выпустили, было много очень официозных — это являлось платой за самую возможность проталкивать в печать отличные книги. Проталкивание это было чрезвычайно тяжелым, трудоемким и длительным делом. Расскажу, опираясь на дневниковые записи тех лет, о том, как проходили через издательские препоны некоторые рукописи.

Особенно трудным был путь и рукописи, и книги Булата Окуджавы о декабристе Пестеле.

Автор доверил повествование вымышленному мелкому чиновнику Авросимову (недаром он назвал журнальную публикацию романа «Бедный Авросимов», у нас книга вышла под заглавием «Глоток свободы»), похождениям которого, в том числе в публичном доме, он уделил едва ли не большее внимание, чем Пестелю. Мы не раз просили Булата Шалвовича дать больше места Пестелю, он с неохотой что-то добавлял, но это не уменьшало нашей тревоги за судьбу рукописи.

Дневниковая запись:

«Надо бы добавить хоть немного Пестеля: об организации общества декабристов, об их планах, о равнодушии к ним народа. В таком виде, как сейчас, главная редакция будет против издания. И тогда что? Настаивать на обсуждении в редсовете? Вряд ли сие будет удачно — там Марков (первый секретарь Союза писателей СССР. — В.Н.), Сартаков и иже с ними. Союзников, в лучшем случае, половина. И то, конечно, хлеб!»

...Зашел в редакцию, Алла (Пастухова. — В.Н.) препирается с Гладилиным по рукописи. Гладилин, выслушав наш разговор с Аллой об Окуджаве, сказал, что у нас есть союзник — Баруздин: он главный редактор “Дружбы народов” (где был опубликован роман Окуджавы о Пестеле. — В.Н.), секретарь правления СП РСФСР и на весьма хорошем счету у начальства. Как его использовать? Надо подумать. Да, Окуджава написал не то, что имел в виду в заявке на книгу. Это скорее роман, в котором одно из действующих лиц — Пестель. Он — одна из пружин романа, но не главная».

Следующая запись:

«Только что меня вызывал Тропкин (главный редактор издательства. — В.Н.) У него были все три его заместителя.

— Я пригласил вас по такому поводу: надо связаться с Марковым и спросить его мнение — насколько подходит Окуджава для нас как автор. Дело в том, что, как говорят, он протестовал против исключения Солженицына из Союза писателей.

Я стал лихорадочно соображать — как быть, что сказать, что не было бы во вред Булату и чтобы самому не попасть впросак.

— В “Молодой гвардии”, — продолжил Тропкин, — с ним поступили следующим образом: пригласили к руководству и спросили: “Вы что, придерживаетесь прежних позиций по поводу Солженицына?” Он сказал, что да. Тогда ему сказали, что они не могут считать его своим автором. Мы издательство ЦК партии и должны тщательно оценивать лицо наших авторов. Я как-то разговаривал в свое время с Рюриковым (в 1955—1963 гг. — замзавотделом культуры ЦК КПСС. — В.Н.), он мне твердо сказал, что Окуджава — очень партийный писатель, хорошо вел себя за рубежом. А теперь вот новые сведения. Михалков в Агитпропе ЦК сказал, что Окуджава протестовал против исключения Солженицына.

— А откуда он это взял? — спросил я. — Я не слышал, чтобы кто-то из писателей протестовал против исключения Солженицына.

— Вот говорят, что протестовали. Было какое-то письмо 33-х, которое, будто бы, подписал и он. Вы свяжитесь с Марковым и узнайте у него, как он смотрит на это дело. А если у него будет отличное от Михалкова мнение, то мы свяжемся с Агитпропом.

— Хорошо, я в понедельник позвоню Маркову и спрошу его об отношении к Окуджава.

С тем я и убыл из кабинета.

Как быть? Не хочу я влезать в эту паскудную историю ни в каком виде. Но ведь все равно рукопись Булата не пройдет у нас в нынешнем варианте, а переделывать ее он не хочет, да и не имеет смысла: это законченная вещь. Не хочется звонить Маркову... Почему бы Тропкину не сделать это самому? Сам он звонить не хочет почему-то. И я не буду, скажу, что Марков в творческом отпуске и надо подождать его возвращения. Если Тропкину не терпится, пусть звонит сам в Агитпроп и проводит соответствующую работу сам же.

Самое смешное, что роман не годится для нас своими литературными особенностями — тем, что основное действующее лицо в нем не Пестель, а вымышленный герой, Авросимов. Впрочем, Алла права — можно было бы попробовать его пропихнуть. И хотя шансов нет никаких — все-таки совесть будет чиста. Ведь почти год держим, дожидаясь неизвестно чего.

Хорошо, что роман опубликован в журнале!»

Запись следующего дня: «Значит, сказать Тропкину, что Маркова нет в Москве. А может, сказать еще, что не следует спешить с этим делом? Вот задачки задает Булат! Прав он был, когда пришел в первый раз и сказал, что эта рукопись не для нас. “Может, это странное для автора заявление, — сказал он, — но эта рукопись не для вашего издательства”. Как в воду глядел...

Главное — бесперспективное все это дело! Ну отобьем мы эту атаку — что от этого переменится? Ведь все равно рукопись не пройдет: мало Пестеля. Для книги как таковой — вполне достаточно. Для нашей серии — мало. В этом весь гвоздь... Поэтому и сражаться не за что.

Но ведь это разные вещи: отклонить по литературным мотивам или по политическим! Для редакции лучше было бы — по политическим: она тут ни при чем (отказ от издания рукописи подписывает директор издательства. — В.Н.) раз; повесть как таковая не пострадает, а возвысится — два (больше будет шума среди читающей публики). А для меня лично? И так и иначе — противно... Противно быть причастным к травле писателя хоть в какой-то мере; хоть я на деле помогаю Булату как могу, но как литературный чиновник выполняю распоряжения начальства (пока что, правда, не выполняю)».

Не помню, звонил ли я Маркову, но мы с Пастуховой решили пустить рукопись в плавание.

Пастухова (привлекшая в авторы много известных прозаиков) заручилась поддержкой маститого историка, написавшего одобрительный отзыв о рукописи. А я по-

звонил Константину Симонову, которого хорошо знал (в свое время я написал очерк о нем после нескольких бесед), рассказал откровенно о наших опасениях, попросил его о рецензии, после чего он решительно сказал: «Хорошо. Присылайте рукопись».

Как говорится, добрые дела не остаются безнаказанными... Когда Окуджаву прочитал вот эти строки из симоновской рецензии: «Новое произведение Окуджавы, на мой взгляд, незаурядное явление в нашей прозе. Это сочинение не только в высокой мере талантливое, но и глубокое по замыслу и по своему проникновению в психологию героя... Мне кажется, что публикация рецензируемого романа будет серьезным вкладом в нашу советскую историко-художественную литературу», он разительно переменился в отношении наших замечаний по рукописи. Так, когда мы говорили ему, что в романе мало Пестеля, он теперь отвечал: «А вы разжуйте, и будет достаточно».

Исчерпав свои редакционные резервы, мы с редактором подписали рукопись и отнесли ее в главную редакцию. Оттуда неожиданно быстро рукопись вернули: в нынешнем виде она не может быть подписана в набор — мало Пестеля, много Авросимова, красочного описания обитательниц публичного дома. Точка...

Пришла пора размышлений на извечную тему: что делать? Не сразу пришла идея, но когда пришла, я позвонил Окуджаве и пригласил его к себе домой, благо, что наши дома стояли почти рядом (тогда мы жили неподалеку от метро «Речной вокзал»). Он пришел, и я с большим трудом уговорил его написать жалобу на меня в ЦК КПСС. Может возникнуть вопрос: почему на меня, а не на виновников запрета из главной редакции? Я резонно посчитал, что, если жалоба будет переведена на главную редакцию, там тут же решат (и будут правы), что жалобу инспирировал я, и мне не простят такой провокации.

В полной мере оценить опасность моего поведения могут только люди, жившие в зрелом возрасте в те времена. Те, кто видел лютую жестокость режима по отношению к инакомыслящим, а тем более к инакодействующим. Был ли страх? Конечно, был, да еще какой... Я прекрасно понимал, что, буде известно о моем поступке начальству, меня не просто выгонят на улицу, а выгонят с «волчьим билетом». Это означало невозможность устроиться на работу ни редактором, ни журналистом (в 50-е годы я окончил факультет журналистики МГУ), можно было бы работать только кочегаром в жэковской котельной, чтобы как-то кормить семью.

Трудно сказать, что двигало нас к инакодействию. Быть может, крепнущее год от года чувство человеческого достоинства, не мирящееся с попранием человеческой личности. Немаловажно и то, что мне повезло с женой: она безоговорочно поддерживала все мои гражданские и творческие поступки. Надежный тыл — великое дело в жизни...

Работа с Булатом Шалвовичем у нас дома закипела: я за письменным столом писал очередную фразу и зачитывал ее, а он соглашался с ней или предлагал свой вариант.

Жалоба пошла в ЦК, а оттуда, как всегда водилось в нашем отечестве, была направлена в главную редакцию. И колесо завертелось — на что мы и рассчитывали.

При создании редакции был сформирован так называемый писательский совет под председательством Маркова, он должен был помогать редакции в подборе авторов и обсуждать иногда те или другие рукописи. Тропкин был согласен на обсуждение советом рукописи Окуджавы.

Заседание совета в конце концов состоялось, и его члены единодушно рекомендовали издать роман Окуджавы (естественно, на этом заседании был и Окуджавин). Решающим моментом стала позиция Маркова. Осторожный председатель сказал, что хотя он рукописи не читал (и явно врал, потому что ему первому мы отослали ее ксерокопию), но единодушная рекомендация членов совета публиковать роман склоняет его к такому же решению. Для руководства издательства высказывание Маркова, члена ЦК КПСС, было весьма авторитетно, было решено книгу издавать с учетом некоторых несущественных замечаний, высказанных на совете, с которыми Окуджавин согласился.

При работе с автором возникали и трудности.

Из дневника:

«Разозлил меня на днях Окуджава. Начали мы смотреть замечания, а он глядит этак через плечо и только пальцем тычет туда, где надо исправить. Я правлю карандашом, он говорит: “Нет, не так! У вас есть резинка?” Я беру резинку, протягиваю ее ему, а он встает и начинает ходить — не желает унижаться до такой мелкой работы, как правка собственного текста...

А потом пришел Кирилл (художник Кирилл Соколов, оформлявший книгу), Окуджава высказал ему неудовольствие однотонностью и однотемностью иллюстраций. Кирилл с обидой говорит, что это его заставили так сделать. Я сказал, что да, это я навязал Соколову такое решение, потому что иначе нельзя — тащить в картинки девочек из бардака значит обречь и иллюстрации, и рукопись на провал.

Я два дня ругался — ну как не понимают, сукины дети, что все висит на соплях, что начальству только дай крючок, за который можно зацепиться — и все пропало!

А вообще-то погано быть редактором в таком издательстве... Чтобы быть честным перед собой, надо быть готовым к лишениям. А это ох как непросто!».

Вскоре роман издали, и начались новые злоключения с ним.

Дневник:

«Главное сейчас — возня вокруг книги Окуджавы. Вчера нам с Тропкиным сделали втык в ЦК — сказали, что выпуск ее — серьезный просчет редакции, что мы должны были руководствоваться политическим чутьем, что в этой книге нет высокого идейного уровня. Было сказано, что это — разговор к слову (обсуждали наш план на 73-й год), что более обстоятельный разговор еще предстоит. Словом, тучи собралась, скоро грянет гром. Сейчас книга находится на рецензии у Нечкиной (академик-историк, специалист по декабризму. — В.Н.). Тропкин уверен в ее теплом отношении к книге, я сильно сомневаюсь в этом. Да и не в рецензии будет дело — Булата исключат вскорости из партии за то, что отказался печатно протестовать против публикации его произведений на Западе. Сам Булат не видит смысла в том, чтобы мы защищали книгу — она разошлась, можно, мол, сказать, что ее выпуск был ошибкой. Я ему возразил, что дело не в его книге, а в том, что зарежут последующие — Войновича, Трифонова и пр.».

Запись в дневнике:

«В следующий четверг будут обсуждать на партбюро писательской организации Окуджаву. Полагаю, итоги этого заседания в решающей степени скажутся на моей службе в нашей фирме. Поглядим».

Запись в дневнике:

«Я договорился вчера с Тропкиным, что организую нажим на Маркова, с тем чтобы тот позвонил Яковлеву (работнику отдела пропаганды ЦК. — В.Н.) и защитил книжку. Но после сообщения Булата об исключении из партии понимаю, что Марков вряд ли будет защищать книгу. Но я все-таки в понедельник съезжу к Маркову, попробую уломать его.

Говорить ли Тропкину насчет исключения Булата из партии? Надо сказать — лучше пусть он узнает об этом от меня, чем от ребят из котельной (В своем кругу мы называли ЦК КПСС “центральной котельной”. — В.Н.).

Как вообще держаться сейчас в ЦК и в издательстве? Вася Пискунов (секретарь партбюро издательства. — В.Н.) сегодня спросил меня, считаю ли я выпуск этой книги ошибкой редакции. Я ответил, что она отвечает задачам серии.

В ЦК нам всыпят, конечно, за книгу, что бы мы там с Тропкиным ни доказывали. Ну и хрен с ними! Галя (моя жена. — В.Н.) вчера верно сказала, что пусть лучше выгонят, чем каяться».

Запись в дневнике:

«Новая неделя — новые заботы... Главный сегодня рассказал о том, что Мелентьев (зампредседателя Комитета по печати СССР. — В.Н.) копает под Окуджаву — “нет Пестеля”, “роман об Авросимове”; боюсь, как бы он ни поднял визг. А у него большие связи в главной котельной».

Злоключения продолжались и далее:

«Ну ж был вчера денек! Вымотал он меня до бесчувствия... Перед обедом позвонила Иглина из Союзкниги и спросила: «В.Г., почему дали распоряжение изъять из продажи Окуджаву?» — «Кто дал такое распоряжение?» — «Директор Москниги (или управляющий — черт его знает!) Поливановский». — «А ему кто дал такое указание?» — «Не знаю, я думала, это от вас исходит». — «Мы таких указаний не давали, это какая-то самостоятельность».

Я сразу к директору (им стал Тропкин). Тот начал выяснять — кто дал команду. Оказывается, команду дал зампреда Комитета по печати РСФСР Родионов, которому другой зам — Грудинин — передал неудовольствие по поводу «Глотка свободы» начальника Главлита (так именовалась тогда цензура. — В.Н.) Романова. Тропкин позвонил Романову (все эти разговоры велись по правительственной связи. — В.Н.), тот сказал, что, по его мнению, Политиздату не следовало бы выпускать такую книгу, но что он лично не имеет никаких претензий к политическому содержанию книги.

Директор позвонил Родионову и сказал ему, что чем раньше и скорее тот даст отбой, тем будет лучше для него. Родионов тотчас дал отбой.

А книгу Окуджавы читатели моментально смели с прилавков.

Есть еще одна запись, не относящаяся к серии «ПР», но говорящая об атмосфере вокруг Булата Шалвовича:

«Сегодня ходил к Окуджаве, он вчера звонил, когда мы с женой были в гостях (говорил с моей дочерью), просил позвонить и условиться о встрече.

Булат решил написать письмо, в среду оно будет опубликовано в «Литературке». «Жрать нечего, отовсюду все повыбрасывали», — сказал он. Ну, насчет «жрать» он преувеличивает — сам же говорил, что года на два денег хватит (имеется в виду гонорар за «Глоток свободы». — В.Н.), да еще второй роман журнал опубликовал.

Потом сказал точнее: «Устал я от всего этого. Да и кому нужно это донкихотство!» Быть может, он и прав: не тот это случай, когда нужно стоять.

Рассказывал о том, как его разозлили старики на парткомиссии райкома, вопрошавшие о том, зачем он подписывал письма по поводу Даниэля, Синявского и Солженицына. Отвечал он находчиво и остроумно, старики не находили продолжения разговора. Насчет Даниэля и Синявского он сказал: «Наше государство настолько могучее, большое, что могло бы не судить литераторов как уголовников». — «Но ведь печать осудила их как антисоветчиков!» — «Печать осуждала и Ахматову таким же образом, а потом выяснилось, что все это липа!» — «Но ведь они преступники, их суд осудил!» — «А я письмо подписывал до суда; кто же может назвать преступниками людей до решения суда?» — «Но все равно было видно, что это преступники!» — «Я знаю преступников более опасных и бесчеловечных, однако они гуляют на свободе. Я могу назвать вам фамилию и адрес бывшего следователя по особым делам, который избивал мою мать, заслуженную революционерку. Он получает пенсию, весь в заслугах, живет отменно».

«Я это им придумал на ходу». — «Этого следователя на самом деле нет?» — спросил я. — «Я не знаю, где он, но мою мать действительно избивали на допросах. И я знаю несколько таких следователей, живущих ныне в почете и довольстве. Есть молодые люди, которые собирают сведения о них и знают, где они живут и что сделали».

Булат процитировал по памяти свое письмо в «Литгазету», я сказал, что оно хорошо составлено, что я желаю ему скорейшего окончания нервотрепки, чтоб можно было бы писать спокойно.

Видно, ему надоела возня вокруг этого письма, да и перспектива безрадостная... Он боится, наверное, как бы его не исключили из Союза писателей, тем самым закрыв путь к публикациям. Год, два продержится, а там? Он не граф Лев Толстой... Я сказал ему, что мне трудно судить — как лучше действовать в подобных обстоятельствах, но, по-моему, он действует правильно».

Спустя несколько лет Окуджава сказал, что он очень благодарен нам за свое приобщение к жанру исторического романа.

Так же тяжело проходил и роман Юрия Трифонова «Нетерпение» о народовольце Желябове.

Атака началась с названия романа. Зам. главного, курирующий нашу редакцию, начал с такой остроты: “Ему что — не терпится в туалет?” Главная редакция категорически настаивала на перемене названия — они считали (и не без оснований!), что это революционное нетерпение простирается за пределы XIX века, то бишь намекает на революцию 17-го года. Стоило больших трудов, с помощью оголтелой демагогии, отстоять название.

Запись из дневника:

«Сегодня предстоит разговор с замом главного о правке Трифонова — он, конечно, не удовлетворится тем, как мы учли его замечания, хотя Трифонов по своей инициативе убрал самый крамольный абзац из “Клио-72” (небольшие вставки от музыки истории, комментирующие с позиций 1972 года отраженные в романе события. — В.Н.) — об истине. “Почему ты снял этот абзац?” — спросил я его. — “Думаю, он не пройдет”, — ответил он, и я охотно поддакнул, хотя потом несколько раз пытался его восстановить, но так и не восстановил. Струсили оба — и он, и я. Уж очень в лоб эта “истина”. А может, он и прав — эта фраза может зацепить внимание начальства и полетят все “Клио-72”, как на этом настаивает зам. главного. Очень рискованная фраза! А без нее роман многое теряет. Убрать два-три слова — и звучащие вещи уже не то, не та глубина».

Речь в той фразе шла о невозможности понять ход социальной жизни — так мне помнится этот эпизод, который я не записал в дневнике. Из трех абзацев об истине удалось отстоять после долгих препирательств лишь один:

«Клио-72.

Ничего, кроме событий, фактов, имен, названий, лет, минут, часов, дней, десятилетий, столетий, тысячелетий, бесконечно исчезающих в потоке, наблюдаемом мною, Клио, в потоке, не ведающем горя, лишенном страсти, текущем не медленно и не быстро, не бессмысленно, но и без всякой цели, в потоке, затопляющем все».

Зам. главного даже этот абзац не хотел оставлять ни в какую: «Он отрицает марксистский тезис о познаваемости хода истории, о коммунистической цели всего человечества!». Не помню уж, что говорил в защиту этого абзаца, но его удалось отстоять. А книга очень потеряла от того, что сняли другие абзацы...

Цитата из дневника:

«Тропкин взял читать Трифонова. Когда я сообщил Трифонову об этом, он сказал: “Очень неприятное известие”. Что-то Тропкин, конечно, выбросит из романа. Да, жаль, что я не просунул рукопись до его возвращения из отпуска... Я очень хвалил Трифонова в редакционном заключении — если бы не это, он не стал бы, скорее всего, читать “Нетерпение”. “Раз вы так хвалите эту работу, я прочитаю ее — я люблю хорошо написанные вещи на исторические темы”. Да, золотой трамвайный закон, отмеченный Ильей Зверевым — “не высовывайся!”...»

Рукопись читал и инструктор сектора издательств Агитпропа ЦК, и так сказал, среди прочего: «Больше всего бойся подтекста! Это мина замедленного действия, которую ты подводишь под себя».

Роман трижды издавался в 1970-е годы. А начинался он так: «К концу 70-х годов современникам казалось почти очевидным, что Россия больна. Спорили лишь о том: какова болезнь и чем ее лечить?... Одни находили причину темной российской хвори в оскудении национального духа, другие — в ослаблении державной власти, третьи, наоборот, в чрезмерном ее усилении... Были и такие, что требовали до конца разрушить этот поганый строй, а что делать дальше, будет видно...»

Понять, что происходит, современникам не удавалось: не замечая причин, они со страхом и изумлением наблюдали следствия. Лишь десятилетия спустя эта пора душевной смуты, разочарования и всеобщего недовольства будет определена как **назревание революционной ситуации**».

Только тупой читатель не мог увидеть, как соотносятся 70-е годы XIX века и 70-е годы века XX.

Трифонов прямо писал о пагубности попыток подталкивать ход истории. Вот как им описан разговор героя романа Желябова с другим народовольцем (рассказ ведется от лица этого персонажа): «История движется ужасно тихо, надо ее подтал-

кивать (говорит Желябов. — В.Н.). Иначе вырождение нации наступит раньше, чем либералы опомнятся и возьмутся за дело”. — “А конституция?” — спросил я. “И конституция пригодится”. — “Что же ты предпочитаешь: веровать в конституцию или подталкивать историю?” Он, помолчав, ответил: “Я теперь больше надеюсь на подталкивание!” Вот вам перемена: человек начал с того, что хотел учиться у народа, а пришел к тому, чтобы учить историю».

Одна из ведущих тем «Нетерпения» — тема «крови». Один из соратников Желябова, Митя Желтоновский, так относится к этой теме: «Убийство Гейкинга его ошеломило. Подкараулить, заколоть беззащитного человека на улице — да за что же? Только за то, что носит мундир жандармского офицера?.. В том-то и ужас: убийство и кровь становятся обыкновенностью, бытом русского вольнодумца... Митя понял: баста, тут я остановлюсь».

Тема «крови» была и очень личной для Юрия Валентиновича: в 1937 году расстреляли его отца, известного революционера Валентина Трифонова, как врага народа. Надо отдать должное изобретательности палачей: их жертвы именовались не врагами партии, не врагами режима, а врагами **народа**, то есть всех людей страны. Вот куда переадресовывалась мнимая вина репрессированных... В моем домашнем архиве есть листок с тезисами Трифонова для оформлявшего книгу гравюрами художника Кирилла Соколова. Один из тезисов такой: «Обреченность пути, основанного на терроре и крови».

В своем романе Трифонов отрицает плодотворность «подталкивания истории», революционного решения социальных проблем, настаивая на реформаторстве.

Подписав, наконец, рукопись «Нетерпения» в набор, главный редактор сказал мне: «За этот роман вы будете отвечать перед ЦК партии своей головой» (я был редактором романа).

Страничка дневника:

«Трифонова цензура подписала в печать. Старченко (зав. производственным отделом. — В.Н.) обещает напечатать его во второй половине мая. В мае же закончит публикацию “Нетерпения” “Новый мир”. Хорошо бы все-таки напечатать у нас в апреле! Мало ли какая блажь придет в голову начальству после новомировской публикации. Ладно, надеюсь, что за месяц-полтора никаких происшествий не будет. Написана книга лихо, придратесь к чему-либо не так-то просто. Но береженого бог бережет. Лучше побыстрее выйти и — плыви, галера! Я уже договорился со Старченко, что мы половину тиража Красильщикова пустим после печатания Трифонова».

Как и всякий очень большой писатель, Трифонов не только досконально разобрался в прошлом и настоящем, но и интуитивно предвидел будущее — перемены, какие пережили мы с вами, дорогие читатели, в конце XX века и которые, быть может, нам еще предстоит пережить.

Вот еще одна запись:

«Трифонов, даря свое вышедшее в свет “Нетерпение”, написал, обращаясь к Наталье Ильиной и ее мужу, Александру Реформатскому:

Дорогая Натали, дорогой Сан Саныч!
Сочинение сие не читайте на ночь.
Будут мучить вас во сне мрачные видения:
Бомбы, бесы, упыри, духи, привидения.
Чтоб счастливо избежать всех напастей этих,
Я вам лучше расскажу в двух словах сюжетик.
Он, по чести говоря, небогатый, грешен:
Будет царь в конце убит, а злодей повешен.
В этом горестном конце виноваты оба,
Каждый сам себя довел, собственно, до гроба.
А в Пахре цветут сады, дни стоят чудесны.
Нетерпения плоды нам теперь известны.
Ах, из этого всего вывод есть хороший:
Торопиться надлежит лишь при ловле блошек».

В нашей работе были два цензорских барьера: первый (и самый поганящий рукопись) — чтение в главной редакции и второй — собственно цензура (тоже рукопись не украшающий). И тут, и там надо было изображать ревностного партийного редактора на словах, а на деле гнуть свою линию.

Вот как проходила главную редакцию рукопись Валерия Осипова о Георгии Плеханове. Надо заметить, что я испытывал давнее почтение к Плеханову — еще в университете тема моей дипломной работы была такой: «Плеханов и эстетика русского модернизма».

Я прочитал много его работ, и они радикально сказались на моем отношении к тогдашней официальной идеологии — оно стало резко критическим. Поэтому я особо старательно продвигал рукопись Осипова.

В ту пору нам дали нового куратора от главной редакции (назовем его Сомовым, поскольку я не хочу приводить его действительную фамилию — он сильно болен). Это был очень усердный, я бы даже сказал — иступленный враг всякой крамолы, очень дороживший новой должностью и поэтому чрезвычайно трусливый. Любимый человек не прост: при всем при этом Сомов был большим поклонником Цветаевой, Мандельштама и Пастернака. Впервые он проявил свою старательность именно на рукописи о Плеханове.

Дневниковая запись:

«Родкина дала мне страницу из рукописи с замечаниями Сомова. Там цитировался фрагмент речи Плеханова на праздновании 25-летия его революционной деятельности (юбилей пришелся на 1901 год): “Двадцать пять лет назад на Казанской площади было много людей, и многих из них постигло очень тяжкое наказание, совсем несообразное с теми элементарными гражданскими действиями, которые они совершили”. Следующие предложения Сомов снял: “И так всегда бывает в России. Поэтому молодые русские революционеры должны помнить слова — “печален будет мой конец” (как поучительна история! — В.Н.)».

Поразмыслив над этим демаршем Сомова, я решил сходить к нему: было желание уличить его в излишнем цензорском усердии. Придя к нему, я протянул ему листок: «Я не понимаю — зачем ты снял это?» — «Сейчас, сейчас... Я прочитаю». — «Я просто удивляюсь — что тебя тут смущает... Что “печален конец”? Так это так и было у большинства революционеров: тюрьма, каторга, виселицы, болезни. Почему ты это снимаешь?» — «А потому, что снял — и все! — вдруг злобно выкрикнул Сомов. — Я так считаю нужным, это мое право!» — «Ну, это странный разговор... — растерянно сказал я, обескураженный этим неожиданным наглым ответом. — Должна же быть какая-то логика, какие-то резоны...» — «А никаких резонов! — резко отчеканил Сомов, глядя на меня в упор. — Почему я должен все время вас уговаривать, возиться с вами? Я считаю нужным снять это — и весь разговор! А вы должны выполнять мое указание». — Внутри меня стало что-то накаляться, разгораться, но я еще был в плену начального тона разговора, спокойно-делового, что ли. — «Без второй фразы вся эта речь теряет смысл. Конец речи будет просто непонятен». — «Непонятен? — злобно повторил Сомов. — Ну что ж, тогда я сниму и вторую половину речи!» — он схватил карандаш и начал обводить нижнюю часть страницы рамкой, готовясь вычеркнуть ее.

Разговор после этой его фразы я помню несколько хуже, потому что после нее все поплыло у меня перед глазами от бешенства, и я тут же стал машинально удерживать себя: «Спокойней, спокойней, — говорил я себе. — Не перехлестывай через край!»

«Что это за разговор? — глухим от ярости голосом сказал я, глядя Сомову в глаза. — Почему ты позволяешь себе так говорить? “Я так хочу” — это не аргумент! А я скажу: я так не хочу!» — «А я не подпишу рукопись!» — яростно крикнул Сомов. — «Ну и не подписывай! — что-то во мне перевалило через край, растаяла сдерживающая меня инерция осторожности (ведь с ним еще работать и работать!). Стало свободно: пошел он к чертовой матери, наглец! — Это твое дело — не подписывать».

«Осипов не хочет дорабатывать рукопись, а вы его не заставляете! Раздули объем — зачем ему дали двадцать пять листов? Тут и четырнадцать достаточно!» — «Можно и на пяти остановиться по твоей логике! Осипов — квалифицированный

писатель, он удачно решил тему, по нашему мнению. Ты считаешь иначе — и на здоровье, считай! Это твоё личное дело — считать так или иначе. Ты только не делай из своих впечатлений административных выводов!» — «А я говорю, что рукопись затянута. Какая это литература — он пересказывает целые научные работы! Какое это имеет отношение к художественной прозе?» — «Самое прямое! Это роман о мыслителе, и в нём вполне могут быть куски, отражающие духовную жизнь Плеханова. На наш взгляд, это сделано Осиповым удачно. Тебе это не нравится. Ну и что из этого? Мне не нравится “Жан Кристоф” Ромена Роллана, по-моему, это ужасно скучная вещь. Но я бы не стал, будучи редактором этой книги, кромсать её на том основании, что мне скучно её читать. Тебе некоторые места в рукописи кажутся скучными, другим они кажутся удачными, например, рецензентам, которым ты сам отдал рукопись на рецензирование. Ты непрофессионально оцениваешь рукопись». — «А я считаю, что ты непрофессионально её оцениваешь! — с яростью, буквально брызгая слюной, выкрикнул Сомов. — Вы уперлись и не хотите доработать рукопись. И автора соответствующим образом настраиваете! Вы не хотите учесть мои замечания». — «Мы учли большинство твоих замечаний. А остальные не считаем нужным учитывать. Я в издательстве работаю двадцать лет, но не помню ни одного случая, когда бы автор учёл все замечания редактора, завреда или главного редактора. Во-первых, не все наши мнения — истина в последней инстанции. Во-вторых, если бы даже все твои замечания были правильными, то всё равно маловероятно, чтобы они были реализованы, потому что у автора есть свой потолок и свои стены. Я не считаю, кроме того, что текст рукописи местами скучен». — «Ну хорошо, обсудим рукопись на исторической секции». — «При главной редакции существует писательский совет, он создан специально для того, чтобы решать проблемы нашей редакции. В том числе и для того, чтобы обсуждать сложные рукописи». — «А я настаиваю на исторической секции!» — «Но там нет ни одного писателя!» — «Ничего, пригласим учёных, пусть обсуждают». — «Ну, пусть обсуждают... А я буду настаивать на обсуждении в писательском совете».

И тут Сомов чего-то испугался — то ли моей решимости идти наперекор ему, то ли ещё чего-то, хрен его знает, но он явно сбавил тон. А я, почувствовав это, как-то скис, а может, не хотел вконец разругаться с ним.

«Я вам добрый совет даю — сократите эти огромные пересказы его статей, и книга станет динамичней, интересней. А иначе я не смогу вести речь о присуждении ей диплома по итогам квартала». — «Плевал я на эти дипломы! Для меня важнее, чтобы книга понравилась читателю, была ему полезной». — «Володя, для нас с тобой важнее всего, чтобы мы друг к другу хорошо относились (!!!)» — вдруг миролюбиво и совсем уже мягким тоном сказал Сомов. «Ну да, конечно...» — ошалело промямлил я после долгой паузы. — «Я готов подписать рукопись... Давайте завтра, я подпишу».

Мы ещё чего-то поговорили вяло о многословии Осипова, я сказал, что это нужно принимать или не принимать, но оно имеет право на жизнь, как, к примеру, многословие Диккенса. С тем я и ушёл от Сомова.

Только потом я сообразил, что Сомова напугала перспектива обсуждения рукописи на писательском совете, где он, конечно же, будет бит. Отсюда и его неожиданное миролюбие.

Я не сказал о выходе первой книги серии. Это был роман Алексея Шеметова «Вальдшнепы над тюрьмой» об одном из пионеров марксизма в России Федосееве. Название романа перекликается с судьбой самого автора: он немало просидел там же по 58-й статье УК («враг народа»), потерял здоровье. В Москве ему жить запретили, он обосновался в Тарусе. Когда я навестил его в Тарусе с целью предложить написать вторую книгу, он сначала отказался, поведав о чрезвычайно тяжелых личных проблемах. Я стал настаивать. Потерять его как автора было жаль — человек он очень талантливый. В конечном итоге он написал для нас очень хороший роман о Радищеве.

Мы, конечно, жаловались авторам на начальственные и цензурные козни и получали от них горячую душевную поддержку. Сергей Львов, автор отличной книги о Кампанелле в нашей серии, говорил, что для творческого человека нет никаких оп-

равданий ничегонеделанию. Будучи неизлечимо больным, он писал нам из больницы: «Болезнь — не оправдание: слепым был Гомер, хромым — Байрон, Пушкин страдал от аневризмы аорты, Чехов болел чахоткой, горбатым был Борисов-Мусатов, прокаженным — бразильский скульптор Алежадиньо... Ссылки на цензуру нелепы: прибегать к ним может лишь человек, в истории культуры несведущий. От Древнего Египта, Вавилона, Ассирии и Древней Греции и до наших дней — литература и искусство всегда и везде существовали в условиях цензуры — прямой или косвенной, предварительной или последующей, “правой” или “левой”, религиозной или светской. Никакая цензура не могла помешать писателю и художнику от Эзопа до Барохи, от Радищева до Булгакова сказать то, что он хотел сказать, что он имел сказать, что почитал должным сказать».

Состязание цензуры и искусства — вечное состязание брони и снаряда. Против любой брони можно придумать снаряд. Против любого снаряда — броню. Так будь же — писатель и художник — снарядом. И не думай о броне. О себе она подумает сама».

Но были случаи, когда мы не могли пробить «броню».

Камил Икрамов, издав у нас роман об Амангельды Иманове, заключил договор на роман об Акмале Икрамове, своем отце, расстрелянном в 1937 году (сам Камил много лет был в лагере как сын «врага народа»). В заявке он написал, что будет освещать деятельность отца в период от революции 1917 до создания в 1925 году коммунистической партии Узбекистана, не касаясь событий 30-х годов: и он, и мы понимали, что в наше время это непроходимо. Когда же мы прочитали представленную рукопись, то увидели, что большая ее часть посвящена тому, как Сталин расправился с Акмалем Икрамовым.

— Камил, — сказал я ему, — ты прекрасно понимаешь, что издать это сейчас невозможно. Чего ты от нас хочешь?

— Я понимаю, что издать невозможно. Но моя совесть не позволяет мне держать рукопись в ящике стола. Это было бы предательством перед памятью об отце.

Я написал Камилу официальное письмо, в котором просил привести рукопись в соответствие с заявкой. И хотя договоренность формально нарушил Икрамов, это было самое горькое письмо в моей жизни: мой отец был сослан, после зверских пыток, в 1937 году в лагерь на Колыме на золотые прииски.

Судьба затайлива: в конце 80-х годов, когда я работал заведующим отделом прозы журнала «Знамя», Камил принес ту самую рукопись об отце и мы опубликовали ее в двух номерах. Первый номер мы вручили ему в редакции, второй вышел после его смерти.

Иногда случались удивительные вещи. В рукописи Анатолия Гладилина о Робеспьере одной главе был предпослан эпиграф — фраза, приписываемая французскому революционеру, Вернио: «Революция, как Сатурн, пожирает собственных детей». Сатурн XX века Сталин казнил **всех** руководителей Октябрьской революции. Оставить такой эпиграф было для нас хулиганским поступком. Честно сказать, мы думали, что отделаемся поротой задницей, розгами главной редакции, которая несомненно снимет этот эпиграф. Но он без зацепок прошел и главную редакцию, и цензуру! Если использовать фразу из одной широко известной миниатюры Альтова — «Все поражены!».

Василий Аксенов, работая над романом о Красине, попросил у нас продления срока представления рукописи. Я написал на его заявлении, что ходатайствую перед главной редакцией о продлении срока, и отдал его в секретариат.

Дневниковая запись:

«Сегодня звонок Тропкина: “В.Г., вот тут заявление Аксенова о пролонгации договора. Он же из этих... которые подписали письмо”. — “Николай Васильевич, я, когда был в ЦК, специально говорил об этом с Водолагиным и Севруком, они сказали, что есть договоренность с директором издательства о том, что будем судить по рукописям — если они будут написаны с партийных позиций, то издадим, а если нет — то отклоним”. — “Нет, это не совсем верно. Тогда была одна ситуация, теперь другая. Тогда не было повода отвергнуть их сотрудничество, решили

дожидаться рукописей. А теперь есть возможность такая”. — “Н.В., я считаю, по совокупности обстоятельств, этого делать не следует. Во-первых, есть уверенность, что Аксенов напишет хорошую книгу. Во-вторых, если мы расторгнем договор, то это произведет очень неблагоприятное впечатление на писателей, трудно будет кого-нибудь привлечь к нам, особенно молодых. Я считаю, что мне платят деньги за то, чтобы редакция выпускала больше хороших книжек, из этого и исхожу. Вы же знаете, как трудно привлекать писателей — это соображение и заставляет меня принять решение о продлении договора”. — “В.Г., есть более важные обстоятельства... Конечно, это правильно, что надо лучше работать, и с вас будут спрашивать за работу. Но вы еще и коммунист, и наша первая обязанность — следовать линии партии. У нас за отклонение от линии партии наказывают более жестоко, чем за то, что вы не справитесь с работой. Мы, издатели, обыкновенно горим на мелочах... Вот решим, не посоветовавшись, продлить Аксенову договор — и сразу скажут: ага, раз продлил Политиздат договор, значит, полная реабилитация! А как мы можем сами давать такую реабилитацию?” — “Н.В., но ведь был же разговор об этом в ЦК! И была договоренность — судить по рукописям”. — “В.Г., не надо быть догматиком! Сейчас одни обстоятельства, тогда были другие. Надо оценивать ситуацию конкретно. Нас могут не понять — скажут: как вы могли реабилитировать Аксенова?” — “Но ведь мы же продлили договор с Войновичем, почему же не продлить Аксенову? Скажут писатели — где же логика?” — “А что, Войнович тоже подпisał письмо?” — “Да, ведь в ЦК шла речь о них двоих”. — “А я не знал об этом... И давно ему продлили договор?” — “Я не помню числа, недавно (не рискнул сказать, что это было всего четыре дня тому назад). Н.В., ведь этих писателей везде печатают, у Войновича буквально на днях пошла пьеса в театре”. — “Нет, это не так. Их не печатают”. — “А по моим сведениям — печатают”. На этом Тропкин прервал разговор, видимо, позвонили по “вертушке”.

В это время вошла Пастухова. Я ей: “Не хочет Тропкин продлевать Аксенову, Вот, говорил с ним, когда ты вошла”. — “Но ведь Аксенова печатают в “Советском писателе”, в “Молодой гвардии” и в “Художественной литературе”.

Я позвонил Тропкину: “Хочу сказать, что Аксенова печатают (перечислил где)”. — “Да? Ну что же, мы можем на это сослаться... Я тоже считаю, что нам не следует терять таких талантливых авторов. Но надо в таких случаях советоваться”, — и повесил трубку.

Прошло полчаса, звонок от главного: “В.Г., дали добро”. — “Ну вот и хорошо! — едва сдерживая радость, воскликнул я. — Значит, продлили?” — “Да, дали добро”.

Аксенов, издав роман о Красине, заключил с нами еще один договор — о Лумумбе, деятеле африканского национально-освободительного движения. Но известные всем «крутые» его поступки — участие в подготовке альманаха «Метрополь» и прочее — привели писателя к эмиграции на Запад.

Стараясь оградить редакцию от финансовых потерь, он вернул аванс. Память очень прихотлива: я слабо помню наш прощальный разговор, но в зрительной памяти отчетливо отложилась картина — Василий Павлович сидит за редакционным столом и старательно пересчитывает трехрублевки.

Расстались мы с чувством взаимной дружбы.

Другой автор, получивший аванс под книгу о Камо, поступил по-иному. Стоит отметить, что мы дружили с ним смолоду, вместе работали в журнале «Смена», он вел раздел поэзии, я — прозы. Это не помешало ему обойтись со мной по-свински: он поехал якобы с кратким визитом в Париж и остался там до конца жизни; аванс не вернул, мало того — получил деньги за меховую шубу жены в ломбарде и был таков.

Его аванс у меня постепенно вычли из зарплаты, не говоря уже о начальственной нахлобучке.

Хочу сказать о сотрудничестве с Игорем Губерманом, автором знаменитых «газетиков». Он написал нам два романа, но его имя на обложках не значилось.

Первый роман вышел под именем Марка Поповского. Поповский ходил к директору издательства с просьбой поставить на книге имя соавтора — Губермана. Директор не затруднил себя поисками приличного отказа, а прямо сказал, что на

обложке достаточно и одного еврея. Впоследствии Губерман в книге «Пожилые записки» (М.: Эксмо, 2002) утверждал, что эта книга написана им полностью.

Не имевший возможности получить какую-нибудь творческую работу, Губерман написал для нас еще один, отличный, роман, вышедший под именем его тещи Лидии Лебединской. Этот роман об Огареве вышел двумя изданиями, что делалось в отношении лучших книг (суммарный тираж 600 000 экземпляров).

Весь роман пронизан откровенным, страстным неприятием самовластья. Вот, к примеру, цитата из статьи одного из авторов герценовского «Колокола», обращенная к правительству: «Что же оно делает? Некогда ему, что ли? Или важное занятие формой военных и штатских мундиров до такой степени поглотило государственную мысль, что ни на какое дело не хватает времени? Или правительство довольствуется собственными слезами умиления, чувствуя себя не таким, как правительство Незабвенного, и далее ничего не хочет делать? Или сквозь шум праздников и охотничьих труб псарей оно не умеет различить клик народный?» Подтекст многих обличительных тирад простирается далеко-далеко за пределы самовластья Незабвенного, сиречь Хрущева или Брежнева, и далее, далее... Было бы хорошо переиздать эту книгу сейчас.

Наблюдая сегодняшнюю истерию по поводу табака и алкоголя, я вспомнил о такой же истерии во время горбачевской борьбы с пьянством. Эта кампания оказалась самым нелепым образом и на наших книгах. Вот как это обернулось, к примеру, для книги Владимира Гусева «Легенда о синем гусаре» о Михаиле Луние. Известно влечение гусар к дружеским кутежам. После одного из них Лунин, на пари, проскакал на лошади совершенно голым по улицам Петербурга (представляю, как бы это прокомментировали нынешние думские и церковные блюстители морали!).

В романе описывалась такая вечеринка с каноническим грогом. И вот на стадии подписной корректуры, когда в типографии уже были изготовлены печатные формы и нельзя уже было что-то существенно изменить, цензорша, невероятно придирчивая дама, забила тревогу: в романе пьют алкоголь! Она не стала обращаться, как это было положено, в редакцию (в свое время я ее жестоко разыграл), а позвонила главному редактору с заявлением, что она не подпишет в печать книгу. Главный велел нам заменить грог... молоком!! Представляю изумление читателей, которые видели в широко известном фильме «Гусарская баллада» ЧТО и КАК пьют гусары. Как писал Козьма Прутков: «Усердие превозмогает и рассудок».

Читатель наверняка заинтригован тем, как мне удалось разыграть всевластного советского цензора. Пойду навстречу этому любопытству.

В шестидесятые годы полет космонавтов отмечался выпуском в Политиздате брошюры-молнии об этом событии. Занималась этим каждая редакция в порядке очередности, в данном случае редакция публицистики, в которой я тогда работал. Был октябрь 1964 года. Брошюру делали в невероятной спешке, чтобы выпустить ее в течение суток. Ночь и полдня прошли аврально. А в середине дня по издательству поползли слухи о том, что НАВЕРХУ происходят какие-то радикальные события. Один из завредов посоветовал мне по-дружески снять разговор Хрущева с космонавтами по радио. Ситуация была аховая: никаких точных сведений о происходящем я не имел, снимать разговор было чревато — а вдруг это просто слухи?

И тут меня осенило: я пошел посоветоваться с заведующим редакцией советской истории Котеленцем, который до Политиздата был секретарем Сталинградского обкома КПСС и поэтому имел большие связи в ЦК, отчего получал более точную информацию обо всем происходящем наверху.

— Анатолий Иванович, мне советуют снять разговор Хрущева с космонавтами, но я решил не снимать.

— А я бы на твоём месте снял, — сказал он многозначительно. И я тотчас же понял, что, как говорят в Одессе, ТАКИ ДА.

В своей редакции я вычеркнул злополучный разговор, сочинил какую-то казенную галиматью, чтобы закрыть образовавшуюся брешь, и понес корректуру к цензорше. По пути я вспоминал о том, сколько крови она нам испортила, как мы бесильно поносили ее в своем кругу, вынужденно выполняя ранящие нас цензорские

требования, как мы проклинали это ведомство (много позже я узнал, что цензура входила в структуру комитета госбезопасности). Войдя в кабинет, я вежливо попросил «залитовать» исправления в тексте. Она поглядела на правку и подняла на меня бесцветные, белесые глаза.

— Почему вы это снимаете?

— А мне не нравится этот болтун! — сказал я с наглым торжеством.

Глаза ее налились диким ужасом, лицо побелело. Мы довольно долго смотрели друг на друга: она с ошеломлением, а я с наслаждением. Наконец она придушенно прошептала:

— Зайдите ко мне через десять минут.

Я понял, что она будет докладывать своему начальству о неслыханном святотатстве работника Политиздата, оскорбившего партийного вожда.

Через десять минут я получил «залитованную» корректуру и окончательно убедился в том, что все сделал правильно: ее подпись красноречиво свидетельствовала, что наверху что-то свершилось, ей сообщили об этом начальники.

Хочу процитировать еще одну запись, которая рассказывает о 50-летию зама главного (назовем его Женя, а главного — Саша, так как не хочу огорчать их детей), на котором главный, Саша, произнес такой тост:

«Мы боимся рукописей, это наша профессиональная болезнь. Вдруг чего там пройдет и нас потянут на ковер... Когда Женя сидит вместо меня — я спокоен, все будет в порядке. Он надежный человек. Я вспоминаю, как работал под его началом, и он мне говорил: “Саша, что ж ты пропускаешь такие вещи! Завреду надо соображать получше. Сними вот эти и эти вещи!” И я снимал. Теперь я ему говорю: что же ты пропускаешь эти вещи! Он или снимает, или говорит, что ничего опасного там нет, и я знаю — раз Женя говорит, значит, ничего страшного нет, можно пускать. Женя, я тебе завидую! Тебе осталось десять лет до шестидесяти, когда можно настаивать на своем, когда можно не бояться, а если прижмут — хлопнуть дверью и уйти на пенсию! Тебе меньше осталось до этого прекрасного времени, чем мне!»

Продолжение редакционных будней:

«Был сегодня с утра Юра Давыдов — главный бодает, собака, его заявку на книгу о Лопатине. Он отдал заявку в другую редакцию, чтобы ее заведующий сказал, что предлагаемая книга не в их профиле!»

Юра хочет, чтобы я позвонил главному и протолкнул заявку, я сказал, что позвоню, но это вряд ли будет успешным — “он относится к тебе резко отрицательно как к автору с подтекстом”. Юра был разобижен, хотел забрать оставленную мне заявку, я ему сказал, чтоб не дурил, я попытаюсь переубедить главного. Я рассказал Юре, как новый главный был раздражен романом Трифонова у нас, как упрекал меня в легкомысленности, как говорил, что, будь он в свое время в издательстве, он не пустил бы роман Окуджавы. Договорились с Юрой, что я на этой неделе поеду к Трифонову с допросом — будет ли он, как собирался, писать о Лопатине или нет».

Заявку мы, в конце концов, пробили, и Давыдов написал одну из лучших книг не только нашей серии, но вообще в исторической романистике — «Две связки писем».

Еще о редакционных буднях из дневника:

«Вчера было собрание по поводу “резервов улучшения работы”. В докладе Тропкин обрушился на меня за выпуск с серьезными недостатками романа Алексева о Сальвадоре Альенде, чилийском революционере: “Не показана роль ЦРУ в чилийских событиях, получается так, что все сделали чилийские генералы. Мы выступили в роли невольных пособников американского империализма. Альенде подражает одному буржуазному президенту, когда отказывается улететь на самолете из страны. Если это и было так — зачем все это тащить в книгу?” Потом он сказал, что мы дегероизируем Альенде, когда пишем о его “скорбном лице” и “двойном подбородке”.

Когда Тропкин разглагольствовал насчет двойного подбородка, зал возмущенно заговорил: что мол, такого? Тропкин не понял, отчего шум, наклонился к президиуму: “Я оговорился?” — “Это реакция зала на ваши слова”.

Как некстати Тропкин зацепился за пустое место! Вот уж за что были абсолютно спокойны — за книгу Алексеева: правоверный бетон! А некстати потому, что нашему куратору из главной редакции пошли отличные рукописи: Давыдов, Левандовский и Щеголихин. Уж он теперь начнет их кромсать! Особенно жалко Давыдовского Лопатина: блестящая, глубокая вещь. Я читал ее — то восхищался мыслями, то пускал слезу: какая судьба, какая жизнь. И как Юра написал!! Он прав: это главная книга его жизни. В каком виде дойдет она до читателя? Надо у Юры попросить рукопись — он рукописи не хранит(!)».

Мы выпустили прекрасную книгу ленинградского писателя Игоря Ефимова об английском революционере XVII века Лилберне. Но вместо похвал очень скоро получили жесткий выговор, потому что Ефимов уехал в США.

Дневник:

«Звонил главный, позвал для разговора. Я малость промахнулся: оказывается, он не знал, что Ефимов уехал за рубеж, а я был убежден, что из-за этого-то сыр-бор и разгорелся. Сперва главный меня отругал, что я позвонил о Ефимове Пастуховой: “Я же тебя просил прошлый раз, чтобы ты ей ничего не говорил. На ...ты ей позвонил?! Ведь она начнет сейчас трезвонить по всей Москве!” — “Не будет она трезвонить... А сказал я ей затем, чтоб думала над подбором авторов, — решил я продемонстрировать свою ретивость. — Пусть призадумается”. — “Я читал радиоперехват, натолкнулся на статью Ефимова, не подумал даже, что это наш. Он в 20-м номере «Континента» напечатал статью «Кому выгодна нищета народа». А во врезке я прочитал, что он автор таких-то книг, смотрю — «Свергнуть всякое иго»! (Одно название чего стóит! — В.Н.) ...мать, думаю! Он пишет, что нищета народа выгодна партократии. Почему выгодна? — Да хотя бы потому, что позволяет держать в узде партийный аппарат, который управляет народом, держит его в повиновении на местах. У всех почти ничего нет, а этому вот партработнику буфет закрытый, поликлиника отдельная. Вот он и привязан накрепко к кормушке и будет исполнять все, что от него потребуют. Ты понял, какую прямую мысль он проводит? — Нищета выгодна партократии, и поэтому она никогда не кончится! Если человек будет жить хорошо, всего у него будет в достатке — он начнет думать, размышлять. Он тогда не будет стремиться в аппарат — зачем ему там быть, если он сможет получить необходимое и без аппарата? Ты понимаешь, как эта статья может разозлить Старую площадь? (Местонахождение ЦК КПСС. — В.Н.). Как ты думаешь, КГБ знает об этой статье, о Ефимове?” — “О Ефимове и статье, как ты понимаешь, знают, но они могут не знать, что такая-то книга вышла там-то. Он же уехал, как им не знать”. — “Как уехал?! Уехал?!” — “Уехал и, по слухам, преподает историю теологии в каком-то американском университете”. — “Что же ты мне раньше не сказал?!” — выкрикнул злобно главный. “Да все это слухи — а может, это все вранье? Чего же мне тебя слухами пичкать?” — “Ты мне и слухи все рассказывай, раз они наших авторов касаются!” — яростно сказал главный. — Все рассказывай! Нам надо Тропкина проинформировать об этом, чтоб он впросак не попал, если с ним будут говорить о Ефимове”.

Предстоит еще разговор с Тропкиным... Да, не было бы только оргвыводов со Старой площади. Я-то к этому отношусь спокойнее, чем наше начальство, которое может меня и вытурить. Сколько можно, скажут, глядеть, как вы плодите ряды беглых...»

У нас, как и во всех книжных редакциях Москвы (про периферию я не знаю), существовал обычай «обмывать» вышедшую книгу. «Обмываний» было — несть числа (мы выпустили больше ста книг), но одно запомнилось отчетливее других.

Раиса Орлова, автор романа о Джоне Брауне, пригласила нас с женой к себе домой. В застолье участвовали муж Орловой Лев Копелев, Виктор Некрасов и Владимир Корнилов. Запомнилось же именно это «обмывание» потому, что присланные известно кем молодчики выбили оконные стекла (квартира была на первом этаже). С этого началось все возраставшее давление на супружескую чету, вынудившее ее в конце концов эмигрировать в ФРГ.

Были и другие поводы для застолья, тем более что сотрудников редакции и многих авторов тесно связывали духовное и душевное родство, а также весьма критические взгляды на современность и историю. В этом смысле наша редакция была «белой вороной» в Политиздате. (Единственный человек, с которым у меня были

доверительные отношения вне редакции, был завредакцией литературы по международным вопросам Карл Николаевич Сванидзе, с которым мы частенько гуляли в обеденный перерыв в сквере на Миусской площади, беседуя обо всем. Как-то он сказал мне, что по своим убеждениям социал-демократ плехановского толка. В те времена это признание дорогого стоило. Жаловался он и на неодолимую строптивость своего юного сына Николая, никак не поддающегося родительским увещаниям.) У нас часто бывали «посиделки» с авторами, на которых непревзойденными мастерами юмора и сатиры были Валерий Осипов, Камил Икрамов и Евгений Добровольский. Когда Камил был в ударе, мы буквально сползали от хохота на пол.

В 1978 году мы отмечали в редакции 10-летие серии. Пришли не только молодые писатели, но и пожилые: Лев Славин с женой, Магдалена Дальцева. Сказать честно — мы крепко выпили. И по поговорке «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», решив спеть что-нибудь хором, грянули «Так за царя, за родину святую...». Запевал обладатель чистого тенора Евгений Добровольский, а хор человек в двадцать, выявив недюжинную историческую память, громоподобно катил по пустому вечернему коридору: «Мы грянем громкое ура-а-а!». Редакцию спасло от разгона то, что на этажах никого, кроме уборщиц, не было, а наша уборщица не донесла начальству о могучем пении.

Особо тесное сотрудничество у нас было с Натаном Яковлевичем Эйдельманом. Это был прекрасный исторический писатель, глубокий знаток и популяризатор отечественной истории в самых разных жанрах. Приход его в редакцию всегда был праздником, потому что помимо феноменальной эрудиции он притягивал всех распахнутой для общения душой, своим человеческим обаянием. Он также обладал редкой способностью ставить собеседника на одну доску с собой, кем бы ни был этот собеседник. Я не буду анализировать его творчество — о нем написана тьма статей. «Грешен» в одном: очень долго и настойчиво я уговаривал его отойти от жанра беллетризованной *биографии* и написать *повесть*. От встречи к встрече я, как дятел, долбил: повесть, повесть, повесть... Наверное, чтобы отвязаться от меня, он написал сюжетную прозаическую вещь — добротную повесть о декабристе Сергее Муравьеве-Апостоле. Был доволен не только я, но и — главное — читатели. Эта книга положила начало длительной и острой дискуссии в литературной печати по давней проблеме о соотношении документа и вымысла в исторической романистике. Язвительную статью о книге Эйдельмана написал литературовед Зильберштейн.

Есть и еще один сюжет на эту тему. Нынешний читатель не знает о тяжелой тогдашней повинности *всех служащих* — изучать нудную и лживую политграмоту. Для интеллигенции это было изучение истории КПСС и так называемого научного коммунизма. Везде слушатели смотрели на ведущего мутными сонными глазами и их лица выражали один вопрос: когда же кончится эта дребедень? Изучать тошнотворные «науки» нам решительно не хотелось, но райком партии твердо настаивал на проведении политзанятий. Тогда мы изобрели такой маневр: сказали, что будем изучать революционное движение декабристов как отвечающее нашей профессиональной деятельности. Райком с натугой разрешил. Мы попросили Натана Яковлевича быть руководителем нашего семинара, он охотно согласился. Какое-то время он замечательно, в лицах и с выразительными подробностями, рассказывал нам о декабристах, а исчерпав эту тему, перешел вообще на историю России первой половины XIX века. Прослышав о лекциях Эйдельмана, к нам потянулись со своими стульями сотрудники других редакций, а когда комната не стала вмещать тех, кто очень хотел услышать блестящего лектора, с разрешения партбюро «занятия» перенесли в актовый зал. Вскоре он тоже не вместил желающих, потому что о замечательных выступлениях Эйдельмана знала вся творческая интеллигенция Москвы, на них буквально ломились.

Вот что вышло из райкомовской настойчивости...

Мы сотрудничали с ведущими литературными критиками того времени: Игорем Виноградовым, В. Кардиным, Валентином Оскоцким, Станиславом Рассадным, Бенедиктом Сарновым, Феликсом Световым и многими другими. Они помогали редакторам верно оценить достоинства и недостатки рукописи. А поскольку мы были

с ними откровенны и они отлично понимали характер нашей деятельности, их рецензии направляли начальственное внимание в нужное редакции русло.

Мы благодарны судьбе за то, что она свела нас с выдающимся редактором и критиком Анной Самойловной Берзер (она принесла Твардовскому рукопись Солженицына «Один день Ивана Денисовича», когда работала в «Новом мире» сотрудником отдела прозы). Щедро делясь с нами своим огромным редакторским опытом и часто рецензируя рукописи, она безусловно повысила нашу издательскую культуру.

Нам очень и очень помогали выстоять положительные, нередко восторженные статьи и обзоры критиков наших книг во множестве газет и журналов. Вот, например, цитата из статьи А. Бочарова в восьмом номере «Нового мира» за 1981 год: «Можно признать, что богом литературы конца 50-х — начала 60-х годов была документальность, достоверность, гордое овечкинское, дельное направление: литература ДЕЛОМ пыталась помочь своему народу. Проза Е. Дороша, В. Конецкого, Г. Троепольского, почин серии “Пламенные революционеры” — вот некоторые из этих вех». Подобные оценки были нашим надежным щитом от наскоков всяких «доброжелателей», которые всегда роились около ярких литературных явлений.

Но самый мощный удар мы получили не от литературных «доброжелателей», писавших доносы, а от главного редактора газеты «Правда» Афанасьева.

Однажды меня пригласил к себе Тропкин и сказал: «В.Г., садитесь, я вам дам почитать письмо Афанасьева». Я прочитал и похолодел: пришел конец нашей серии...

В письме говорилось, что «в последние годы редакция не всегда выбирала правильный политический критерий в подборе авторов, снизила принципиальную требовательность, что привело к серьезным политическим огрехам.

В 1971 г. вышла в свет книга Б. Окуджавы “Глоток свободы”. Вскоре она была переиздана под тем же названием в издательстве НТС “Посев”; факт не случайный, ибо книга Б. Окуджавы политически двусмысленна и содержит оскорбительные для советского строя намеки, В 1971 была издана книга В. Аксенова о большевике Л. Красине, в 1974 г. ее переиздали, хотя книга не содержит ничего нового. Зато книжка В. Аксенова удостоена снисходительной похвалы в антисоветской печати, а именно за то, что он “осмелился пустить в священные жилы Ленина электрическую кровь”. В 1970 г. вышла книга А. Гладилина о Робеспьере, а в 1974 г. — о народовольце И. Мышкине. Все названные литераторы хорошо известны советской общественности и широкому кругу читателей как лица, склонные к политическому фрондерству, далекие от активной общественной деятельности, сочинения которых изобиловали грубейшими идейными ошибками.

...Однако привлечение названных авторов, к сожалению, не может быть признано случайной ошибкой, от которой, как известно, никто не застрахован. В 1972 г. вышла книга писателя В. Войновича о Вере Фигнер. В 1973 г. эта ничем не примечательная, слабая книга была переиздана. В том же году В. Войнович был исключен из Союза писателей за сочинение грязных пасквилей, порочащих наш народ и строй, а ныне активно участвует в антисоветской деятельности, в частности, в пресловутом журнале “Континент”. В 1973 г. была выпущена книга писателя В. Корнилова о рабочем-революционере Викторе Обнорском. В следующем году В. Корнилов передал свои клеветнические сочинения за рубеж, а в 1975 году опубликовал грязный пасквиль “Без рук, без ног” в том же “Континенте”; теперь там же появились его стихи откровенно антисоветского содержания.

В 1975 г. была издана книга Р. Орловой о Джоне Брауне. Р. Орлова давно известна в литературных кругах как деятельница весьма сомнительного свойства. Она супруга исключенного из Союза писателей Л. Копелева, известного своими антисоветскими сочинениями, которые публикуются в буржуазной печати. Кроме того Р. Орлова — теща (мать жены) известного диссидента П. Литвинова, уехавшего в 1974 году на Запад и развившего там бурную деятельность враждебного Советскому государству характера. В апреле 1976 года А. Гладилин уехал с израильской визой, а еще раньше в № 7 “Континента” появилась его грязная “повесть” о Москве и москвичах. До этого же его слабые и политически аморальные сочинения вышли в “Политиздате” полумиллионным тиражом.

Наконец, в 1976 г. ряд книг серии подвергся серьезной критике за идеологические промахи, сурово критиковались, в частности, книга Ю. Трифонова “Нетерпение” и книга Ю. Давыдова.

В подборе названных авторов прослеживается очевидная тенденция редакции (зав. редакцией тов. Новохатко В.Г.) привлечь к делу создания так называемых “левых” литераторов с сомнительной политической биографией. <...> Думается, нездоровые настроения редакции должны стать предметом партийного рассмотрения и прежде всего в самом Политиздате. О принятых мерах просьба сообщить “Правде”.

«Что скажете?» — спросил Тропкин после того, как я прочитал письмо. Я едва выдал из себя: «Когда мы приглашали этих авторов, они были на хорошем счету», — «Идите и готовьте справку о привлечении авторов. Мы создадим комиссию партбюро и на основе вашей справки составим ответ Афанасьеву».

В конечном итоге партбюро строго указало нам на грубые ошибки в подборе авторов, редакция уцелела.

Читая год за годом поступающие к нам рукописи, мы пришли к поразившему нас открытию: *ни один* из революционеров за всю историю человечества не достиг поставленной цели — создать справедливое общество.

Перечитывая в те годы «Бесов» Достоевского, я понял фундаментальную мысль этого романа: зло жизни проистекает не из несовершенства общественного устройства, а из несовершенства человека. Революционеры начинали, что называется, не с того конца, и часто действовали не убеждением, а насилием, террором. Бисмарк говорил о Марксе: «Этот бухгалтер дорого обойдется» — и был совершенно прав. В конечном итоге Сатурн пожрал своих детей... Полагаю, что как раз историческое и социальное бесплодие большинства революционеров и подчас жестокие методы их действий порождали у многих-многих наших читателей неприятие *такого* образа усовершенствования жизни, неприятие их нравственного облика.

Думается, именно это читательское прозрение может объяснить чрезвычайную популярность серии в те годы. Миллионы и миллионы наших книг моментально сметались с прилавков, мы не могли даже удовлетворить просьбы книготорговцев об увеличении тиражей лучших книг. Конечно же, они оказали существенное влияние на сознание огромной массы читателей в те годы. Вот как оценивал уже в наше время роман Якова Гордина «Три войны Бенито Хуареса» один читатель: «Прекрасная книга. Книга об интеллигенте во власти, об извечном конфликте интеллигента и власти, о том, что власть развращает. О том, что революции деструктивны и в конечном счете не дают никакого выигрыша в сравнении с поступательными эволюционными реформами». Конечно же, в те времена, когда книга только что вышла, никакой читатель не рискнул бы написать такое в издательство, но подумать еще как бы мог!

Подобная серия не могла выходить ни в одном другом издательстве — ее бы обязательно прикрыли через год-другой. Как это ни покажется странным, нас спасала «крыша» — мы работали в издательстве ЦК партии, что ограждало нас от воплей разных правоверных критиков в прессе, не рисковавших лягнуть ТАКОЕ издательство. Мы отбивались только от оголтелых доносчиков, как Бушин.

Беда пришла из недр самого издательства. Пока у его руля были весьма пожилые люди, не понимающие толком языка художественной прозы с ее вторым планом, мы делали свое дело. Когда же им на смену пришли молодые, начитанные и поднаторевшие в цензорском ремесле, они с места в карьер повели атаку на нас, не подписывая в набор неудобные им рукописи. Мне запомнилось, как главный редактор, философ по образованию, сказал мне по поводу одной острой рукописи: «Да, я трус! Я не подпишу это в нынешнем виде». Набирая обороты, члены главной редакции стали угрожать нам разгоном редакции. Мы обратились за помощью к нашим авторам, которые написали письмо Александру Николаевичу Яковлеву, ведавшему тогда идеологическими вопросами в ЦК КПСС. В нем, в частности, они писали: «С годами сложился опытный работоспособный коллектив редакции — люди, уверенно делающие и сложное дело тщательной проверки документов, реалий, и не совсем привычное для Политиздата дело редактирования художественной прозы. Сло-

жился и многочисленный писательский, пополняющийся всякий год актив, многие десятки литераторов, приобретших вкус к этой области творчества.

Сегодня наши усилия могли бы обрести особый размах и значительность. Возможность реалистически взглянуть на историю, писать о ней правду, не избегая глубоких общественных и личностных противоречий, неизбежно повысит читательский интерес к книгам...

Мы дождались, наконец, самой возможности этих благодетельных перемен, но именно теперь, словно в насмешку над долгими усилиями литераторов, руководство Политиздата намерено ликвидировать серию «Пламенные революционеры».

Письмо подписали Александр Борщаговский, Чингиз Гусейнов, Юрий Давыдов, Камил Икрамов, Лидия Либединская, Еремей Парнов, Владимир Савченко, Алексей Шеметов, Натан Эйдельман.

Симпатизирующая серии известная переводчица художественных произведений Лиляна Лунгина созвонилась со своим бывшим однокашником А.С. Черняевым, помощником М.С. Горбачева, с просьбой помочь редакции.

Впоследствии я дважды встречался с Яковлевым, и он заверил меня, что писательское письмо не дошло до него. Видимо, его помощники сочли факт наезда на редакцию эпизодом, не заслуживающим внимания такого занятого человека, как их шеф.

Главная редакция закусив удила обрушилась разными методами устрашения на редакцию. Работу в таких условиях я считал бессмысленным занятием и ушел в журнал «Знамя». А редакцию разогнали.

Все мы, сотрудники редакции, благодарны судьбе за то, что она свела нас со многими замечательными людьми, авторами серии, обогатившими нас духовно и душевно. Спасибо вам, жившие и живущие! Спасибо и милым самоотверженным женщинам, редакторам и младшим редакторам, взвалившим на себя очень тяжкую ношу работы с авторами и борьбы с разными начальниками. После разгона редакции они ни на шаг не отступили от объективной оценки своей деятельности. Чего не скажешь о некоторых авторах, в том числе о видных нынешних литературных начальниках, стыдящихся своего участия в серии. Один из них, выступая на телевидении с большой передачей о жанре исторического романа, постыдился сказать даже о таких шедеврах жанра, как «Нетерпение» и «Две связки писем». Зря стыдитесь: для своего времени это было второе по популярности литературно-издательское явление (первым был «Новый мир»). В редакции знали о такой юмористической, но и горькой байке: «Работа редактора похожа на практику врача-венеролога — если не поможешь, значит, ты негодяй, а если поможешь, то при встрече с тобой перейдут на другую сторону улицы». Не стеснялись говорить о своем участии в серии Аксенов, Войнович, Гладилин, Нежный, Савченко и другие прозаики. Что уж говорить о давно ушедших — Трифонове, Давыдове, Эйдельмане, Славине, которые принесли своим участием в серии славу не только ей, но и себе.

Серия завоевала известность и любовь читателей благодаря нашим авторам, поэтому в заключение хочу дать слово одному из них, Вольфу Долгому. Недавно он сказал мне: «Серия была глотком свободы. Выход в Историю давал возможность сказать нечто главное о текущем времени и о себе».

Так оно и было.

Анна Кузнецова (Гольдина)

Отчего люди не летают?

«Отчего люди не летают?» — спрашивала самая знаменитая после Катюши, которая выходила на берег крутой и «песню заводила», Катерина, «луч света в темном царстве». Но свой миг полета она все-таки ощутила, падая в Волгу с крутого откоса. Как и я... Мне тоже судьба дала это счастливое перед падением мгновение, и... я полетела! От одного только телефонного звонка...

1975 год. Вдруг однажды... — сколько сказок с этого начинается! И эта была — про классическую золушку-замарашку, которой прислали приглашение на королевский бал. Телефонный звонок, в трубке незнакомый мужской голос и странное в своей неожиданности предложение: с вами хотел бы познакомиться Борис Иванович Равенских. Вы не возражаете? Еще бы возражать!

Легенда советского театра, обладатель всех мыслимых и немыслимых премий, наград, ленинских, сталинских, всяких, потом узнала, он сам насчитывал их девять! — только постановкой «Свадьбы с приданным» вошел в историю отечественной культуры, а еще была гениальная «Власть тьмы» с Виталием Дорониным и Игорем Ильинским, от нее восторгом захлебнулся Париж на гастролях Малого театра в конце 60-х. Знаменитый «Царь Федор Иоаннович», его же постановка, с 73-го года и более тридцати лет до недавнего времени Малый открывал им свои сезоны, премьеры Федора играл Иннокентий Смоктуновский.

Немыслимо, но меня зовет Равенских, небожитель, ученик и ассистент Мейерхольда... Источник множества ходящих по Москве баек, историй, анекдотов... Гром среди ясного неба в моей недавно обретенной комнате в столичной коммуналке. Звонок — кому?! Провинциалке, приехавшей из Нижнего Новгорода, тогда называвшегося Горьким, побеждать столицу. Я так до сих пор не знаю: кто уж ему про меня сказал? Но я полетела...

Вот мы гуляем с ним по аллеям переделкинского санатория, он расспрашивает меня про мою еще не слишком долгую и достаточно незатейливую жизнь, я отвечаю: Горький, университет, филолог... была завучем в театральном училище, преподавала историю театра... сейчас завлит в областном театре... муж... дочь... А он дотошен: не пьешь? Не куришь? И время от времени повторяет: это мне годится... это тоже годится. Иногда останавливается, молчит, а я стою рядом, жду, когда он ко мне... вернется. Разговор идет какой-то странный, я пока не понимаю, зачем ему все это надо. Но и внезапно сама обрываю расспросы: Борис Иванович, да у меня нет недостатков. Один только: я еврейка по национальности.

Равенских как вкопанный останавливается у клумбы и произносит: «Кошмар! У нас же режимный театр! А я тебя хотел взять руководителем литературного отде-

Об авторе | Анна Адольфовна Кузнецова (Гольдина) родилась в г. Арзамасе в 1932 году. Окончила историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. С 1972 года живет в Москве. Работала завлитом в разных московских театрах, в течение двадцати лет была спецкором газеты «Советская культура». А. Кузнецова — театральная обозреватель «Литературной газеты», руководитель мастер-класса по театральной публицистике в Институте журналистики и литературного творчества.

«Отчего люди не летают?» — часть автобиографической книги (другие фрагменты публиковались в журнале «Нева» — №12 за 2012 год и нижегородском альманахе «Земляки» за 2012 год, выпуск 13).

ла. И пишешься — еврейка?» — «И пишушь: еврейка!» — «Я тебя все равно к себе возьму. Ну, может, только — не начальником». — «Нет, Борис Иванович, у меня характер такой, я могу быть только начальником».

Не знаю уж, что привлекло ко мне внимание Бориса Ивановича. Не исключено, что и легкий оттенок сумасшествия, который я чуть ли не на равных в нем поддерживала. А может, по-женски я ему понравилась. В отношениях сотрудников, начальника с подчиненными, тем более художника — лидера с артистами ли и со всеми другими коллегами, тем более главного режиссера и его ближайшего помощника, завлита, люди должны безоговорочно доверяться друг другу. И нравиться. Я даже уверена, что найти режиссеру литературного помощника, так же как завлиту своего режиссера сродни поискам супруга. А то и того тяжелее. Тогда вступают в силу тайные, подкорковые импульсы. В первую же нашу встречу я почувствовала, а женщины в этом редко ошибаются, что я понравилась ему. Теперь уже можно об этом сказать, столько лет прошло, 35... 40... наверное, мы были обречены на нашу встречу, сколько бы времени она ни длилась.

Потом я узнала, что уже в то время и его судьба и моя вместе с ним были предрены. Сам он, народный артист Советского Союза, висел на волоске. Конфликт его с корифеями Малого — Царевым, Гоголевой, Соломиным, Быстрицкой — достиг апогея. Напоследок ему разрешили взять помощника, какого он захочет. Так в театре появилась я. Уже через несколько дней после нашей встречи — представляю, какие могущественные силы он пустил в ход — я была назначена на должность руководителя литературного отдела Академического... Государственного... всегда Императорского Малого театра. Ясное понимание ситуации пришло позже, хотя и с самого начала я понимала, чувствовала, не может быть мой век там долгов, не для меня этот кусок, подавлюсь.

Но отказаться от соблазна войти в Малый через служебный подъезд, вблизи увидеть Царева... Ильинского... Гоголеву, Шатрову, Нифонтову... Анненкова, Соломиных, сразу двух, общаться с ними, работать, узнать самой, как оно бывает на театральном Олимпе, где не люди — боги! — я не могла.

Не перестаю удивляться, как щедра жизнь на выдумки, случайности, шансы, уверена, каждому предоставляемые, только сумей ими воспользоваться. И еще знаю, ленивым они не достаются! Неазартным. Неавантюрным. Со мной именно так и происходило. Казалось бы, живи себе в Горьком, в «шикарной» по тем временам двухкомнатной панельной «хрущевке», дарованной «за так» советской властью, расти учеников-артистов, среди них оказались и Саша Панкратов-Черный, и Марик Варшавер, и Витя Смирнов, и чуть не все нынешние руководители и ведущие актеры нижегородских театров. Пиши заметки, печатайся в областной комсомольской газете «Ленинская смена». Ан нет, тебе всего этого мало и... тошно: всю жизнь читать одни и те же собственные лекции? Ездить на одной маршрутке на одну и ту же работу? Жить с одним мужем? Пишу как есть, как было. Стараюсь с собой быть честной.

С мужем, с Кузнецовым, было сложнее всего.

Наверное, брак не предполагает безумной любви, ему, браку, тогда труднее выдерживать контраст неизбежно наступающих перемен, разочарований, усталости. Брак по любви, несмотря на разум, все равно хочет вечной яркости, первозданности чувств и страсти. Так, по крайней мере, было у нас. Наш брак близился к двадцатилетнему юбилею, но так до него и не дожил. В его, Кузнецова, стихах — вся биография наших чувств, отношений, общей жизни, независимо от того, были ли мы порознь в других супружествах, вместе ли в браке или в официальном разводе. Все равно мы всегда были вместе с 49-го, с общего университета, до его смерти в 2007-м, почти 60 лет...

Это из его стихов...

В мире моем
Под развесистой тенью аорты
В мраморе ты,
И даже не в мраморе,

Он не бывает теплым,
В нем голубые жилки
Не бьются
Кокетливо,
И он не косит глаза.
Когда мне хочется
Сделать подлость,
Я подхожу к тебе
И обливаю тебя помоями...
А из арбузных корок
И луковой шелухи,
Что стекают с тебя
Вместе с водой,
Делаю красивейшие стихи...

Ну, мыслимо ли было выдержать, поддерживать подобное напряжение чувств?! А мы к нему привыкли, к другому приспособиться не могли... не хотели. Любимец города, популярный телевизионный ведущий, обожаемый женщинами, кумир всех компаний и застолий, гуляка, преферансист, он уже стал привыкать к застольям и выпивкам. Я решила, что переезд в Москву, новые трудности и горизонты спасут нашу семью. Не тут-то было. Мой Малый театр был последним сокрушительным ударом. Карьерный успех жены оказался для него, долгое время в Москве бывшего безработным, тяжким испытанием. Теперь он стал пить один. И часами тупо смотреть в телевизор.

Московская двадцатиметровая комната в коммуналке с бабой Дуней, стряпавшей на общей кухне одну капусту, и шоферюгой Валькой, которая увезла к себе от жены своего начальника, и они оба пили не просыхая, у больницы МПС прямо возле канала Москва — Волга, моя плата за переезд в Москву — его не хотел Кузнецов, но переехал вместе со мной — стала для него местом заточения. Ну что можно было поделать?! Еще и еще вспоминаю прошлое. Как можно было бы по-другому? И сейчас — не знаю.

Я-то ведь была в поднебесье. Я летела. Как у Шагала — красная корова, голубой козленок и двое маленьких чудачков-человечков рядом, вместе. Только моя рука была теперь не в кузнецовской ладони. Борис Иванович Равенских был еще в большей степени, чем Кузнецов, нетерпим и эгоцентричен, абсолютно неспособен ни с чем и ни с кем считаться, кроме самого себя, что прежде всего и вызывало отторжение большинства. Но не у меня, ненормальной. Для меня это стало лишь дополнительным поводом к рабскому служению. Ему. Мужчине. Гению.

Почему-то в массовом сознании всегда самое интересное — с кем спала? Могут успокоить ревнителей нравственности: спала с кем положено, по супружескому долгу, по советской регистрации... Но разве это самое важное? Мозги, сердце мои оказались переполнены другим. А стереотипы срабатывали по своим правилам. Сплетники оживились. Конечно же, взял на работу понятно почему...

Таким ярким неординарным личностям, как Кузнецов и Равенских, было, конечно же, тесно рядом. Не уместались! Меня не хватало на них двоих.

Он звонил мне по ночам в Волгоград, где я оказалась по осени на гастролях с моим скромным театром в качестве руководителя — и директор, и главный режиссер были больны, «сукины дети» актеры довели, потом-то я узнала, что все, что происходило в террариумах единомышленников малых братьев, было невинными забавами, детскими играми по сравнению с «академиками».

— Когда приедешь?

— Как же я брошу театр?! Я же — директор!

— Ты дура, а не директор. Не вздумай сказать Цареву, что была директором, а то он решит, что ты пришла его подсиживать.

Как правило, после него звонил Кузнецов из «коммуналки», будто стоваривались, уже по звонку, а потом по заплетающемуся языку я могла измерить, сколько он выпил. Читал стихи, говорил про любовь и как он жить без меня не может.

Спектакль про Мой Малый Театр был запущен, шел по своим сюжетным, стилевым законам, и его было не остановить. Конечно же, по жанру это была фантазмагория.

Вот они, действующие лица моей драмы. Как и положено во всякой пьесе, по степени значимости, по важности роли, первый — Царев. Царь Михаил Иванович Царев. Редкое единение фамилии с характером, судьбой, человеческой сутью. Воистину, говорящая фамилия! Он и красив был... царственно. Будто веками отбиралась, совершенствовалась человеческая порода. Понимаю, почему Мейерхольд именно в нем увидел, тогда молодом красавце Армане, предмет пылкой любви несчастной «дамы с камелиями». Актерский дуэт Царева и Зинаиды Райх, по общему признанию, был удивительно красив. А потом в историю театра вошел его Чацкий, которого по канонам 40—50-х годов должен был играть непременно актер-красавец. Романтический красавец, герой-любовник, в наборе театральных амплуа это всегда было самое дефицитное. Природа редко награждает мужчин одновременно и красотой, и ростом, и статью, и благородством осанки, манер. А еще умом и коварством.

На редкость красиво Царев старился. Маттиас Клаузен в «Перед заходом солнца», герцог в «Заговоре Фьеско», Король Лир, Фамусов...

О роли руководителя, среди им сыгранных, зрители могли не знать, но ведь он многие годы был директором своего театра, а еще после Александры Александровны Яблочкиной как бы унаследовал высокий общественный пост председателя Всероссийского театрального общества (кому и зачем понадобилось переименовать известное и всем необходимое ВТО в СТД (Союз театральных деятелей)? Где вместе с вывеской постепенно отказались и от благотворительных функций, и от просветительских). Нет, не допустил бы такого Царев, именно он настаивал на том, чтобы общество было братством, где он, кстати, никогда принципиально не получал зарплаты в отличие от последующих руководителей. Для него это была общественная работа. Служение. Оказание помощи коллегам. Я почему-то уверена, что, будь он жив, ни за что бы не допустил столь бедственного нынешнего положения, особенно стариков-актеров.

Царев лично участвовал во множестве комитетов, советов, комиссий. Ведь все премии, звания, награды в течение нескольких десятилетий, присуждаемые от имени государства, так или иначе проходили через его руки. Когда-то любимец Сталина, друг Молотова, он и при всех последующих коммунистических правителях держался на плаву.

Надо было видеть, как он царственно появлялся в любых начальственных кабинетах, как независимо от ранга и чина собеседника заставлял слушать свой всегда тихий, чуть дребезжащий голос, как цепко и зорко вбирали все в себя его чуть косящие глаза. И все его просьбы всегда выполнялись. Недаром при нем в пору всеобщих советских дефицитов у артистов Малого театра никогда не было проблем с квартирами, дачами, машинами, все они получали прибавки к зарплате и всяческие возможные при распределительном социализме льготы и привилегии.

Ровно в десять утра, точно, хоть сверяй часы, появлялся он в своем кабинете в Малом театре, чаще всего в черном бархатном пиджаке и белоснежной крахмальной сорочке, так же как в три, после тоже обязательной ежедневной репетиции, входил в кабинет председателя ВТО на шестом этаже знаменитого, как по заказу сгоревшего в 90-е, когда особенно яростно делили землю и недвижимость в центре, Дома актера на улице Горького...

Вершил дела. Живая легенда XX века. Тот век безвозвратно кончился. Оба его кабинета были похожи: ковры, канделябры, хрусталь, старинная мебель. То, что ему соответствовало. Красавец, в черном бархате, с выразительным скульптурным профилем и тщательно причесанной седой головой, самым видом своим в торжественном интерьере он вызывал трепет у посетителей, являл картину стабильности и все-

гдашней правоты. Пунктуальный до педантичности, никогда ничего не забывающий и не пропускающий. Спорить с ним было невозможно, это почти никому не приходило в голову. Кроме Равенских. Перед сдачей чуть ли не единственного в истории Малого театра поставленного Царевым как режиссером очередного «Горя от ума», где сам он играл уже не Чацкого, а Фамусова (Чацким был Виталий Соломин, другие в команде: Софья — Нелли Корниенко, Молчалин — Борис Клюев, Лиза — Евгения Глушенко, Скалозуб — Роман Филиппов), Равенских полночи проговорил по телефону с Игорем Владимировичем Ильинским: кто же ему теперь скажет правду? Бабочкина нет. Шатрова не сможет. Только мы с вами и остались.

Передо мной чудом сохранившийся протокол заседания художественного совета от 29 ноября 1975 года, принимавшего — тогда это было обязательной процедурой — спектакль Царева «Горе от ума». И выступление Ильинского: «Всем хочется консолидации... Но она может быть только на почве художественной дружбы... Фамусова играет мастер, но играет каждое слово, настаивает на каждом слове... Каждое слово, фраза звучат отдельно. Это груз на спектакле... В Румынии ко мне подошел человек и спросил: какая разница и что общего между МХАТом и Малым? Я сказал, и те и другие настаивают. Надо облегчать, в режиссуре должна быть общая легкость. Такая актерская манера — от старого театра. И Молчалин — резонер, бубнит весь спектакль. Виталий Соломин — талантливый актер, но здесь он — саморежиссер, его сцены — отдельные показы, а образа Чацкого, единого, пылкого в споре нет. Нет сквозной линии. Словоговорение — не сквозная линия; конец второго акта — убожество, мизансцены после отъезда гостей беспомощны, неужели не нашлось в труппе сценически выглядящей на семнадцать лет актрисы на Софью?! Режиссура спектакля волнует.

Какая консолидация? Если не говорить правду. Мы знаем, Михал Иванович рвется к художественному руководству. Такое художественное руководство меня бы не устроило...»

Позволю себе некий комментарий. Конечно же, во всем, что происходило тогда в театре, прорывалось главное, чем жил коллектив, что пронизывало любые творческие разговоры и обсуждения: шла борьба за власть, и расклад сил, позиции противостоящих сторон всегда просвечивали, были ясны. По-разному и сейчас можно оценивать происходящее в театре, в любой борьбе всегда трудно бывает определять правых и виноватых, тем более тогда, в запале войны. Одно бесспорно. Высочайший уровень художественных оценок и суждений, с каким я — увы! — перестая встречаться в последнее время. Та борьба была на уровне великих. Елена Митрофановна Шатрова поддержала Ильинского: «Хорошо, что появилось «Горе от ума»... но текст приземлен, снята поэзия. Фамусов обличал Москву в своем монологе сильнее Чацкого, сорвал аплодисменты... с Чацким нет настоящего общения. Люблю Соломина, но здесь он опустился, а не поднялся над собой... Нет характеров, столкновений в спектакле. Режиссура слабовата»...

Позиция Михаила Ивановича Жарова была ясна, как у царя Федора — «всех согласить, все сгладить»: «Разучились устраивать праздники... Хороший спектакль! Хорошее прочтение. Хорошее оформление. Первый акт идет блестяще. Царев блестяще подает текст. Качалов играл Чацкого в семьдесят лет. Соломин поначалу очень хорош. Но должен быть масштабнее в своем рисунке и молодости. Иногда резонерствует. Нет страсти».

Вслед за ним выступающим был Юрий Мефодьевич Соломин: «Горжусь братом. Надо исходить из того, что сделано. Все исполнители одинаковы в мышлении. Не нарушена мысль Грибоедова. Хорошо, что у нас есть такое «Горе от ума». Еще нужен «Ревизор», чтобы было социально и современно... Не надо антагонизма при обсуждении».

Вот тут Равенских не выдержал, выскочил на середину царевского кабинета, оборвал выступающего и, по-петушину наскაკивая на него, заорал: а вы — адъютант его превосходительства!

Даже я пыталась чего-то «вякнуть», чтобы вернуть в обсуждение лишь критерии профессии. Мне казалось, что я помогу режиссуре Царева, если подскажу ему,

что нужна более тщательная проработка сюжета, с сюжетом стоит быть внимательнее, тогда актеры будут проходить через события, а не декламировать...

Равенских, главному режиссеру — а именно за пост художественного лидера и шла борьба не на жизнь, а на смерть, — предстояло подводить итоги. Конечно же, он был великий режиссер и блестящий профессионал. По любому поводу замечания ученика Мейерхольда (и сразу же вспоминалось, что тот-то был непосредственным учеником Станиславского и любимым его актером, Треплева играл в чеховской «Чайке»), то есть слова Равенских всегда были безошибочно точны. Мы порой легкомысленно забываем, что только прямой связью поколений, от великого к великому, можно сохранить великий русский театр.

Я сейчас приведу некоторые отрывки из выступления Бориса Ивановича на том худсовете, и каждый сам сможет убедиться, как тонок и глубок он был: «Окружение Чацкого нельзя делать глупым. Обнаженность мешает. Молчалин сейчас более глубокое и тонкое явление, чем в спектакле. Я вижу, а Чацкий не видит, что он глуп — это неинтересно. Нужно ли это общество так прямолинейно разоблачать? Тогда теряется Чацкий. Хорошо отношусь к Соломину, актеру: мы боимся пафоса и лжи, но обнаруживаем «рассудка нищету». Цареву надо не читать роль, а существовать, пока идет игра текста. Корниенко — неудача, ее можно как актрису погубить. Вспомните, как искал Станиславский сцену клеветы — не надо цитировать фамилию, но это другое искусство...

Попасть в точку с «Горем от ума» трудно, масса тем, мыслей... Соломин приехал влюбленный. Есть ли это? Пока нет. Есть упрощение Чацкого, мысль до примитива... Мысль спектакля, о чем? Соломин должен все время от Софьи накапливать материал для последнего монолога. За что Чацкий любит Софью? Софья должна поражать Чацкого, при чем тут крепостница? Поэт и любовь... От великого она уходит к холоду! Нужна пронзительность ума Чацкого. Слухи, откуда они произошли? — здесь срыв, провал... Монолог Чацкого должен быть глубже. Не все должно быть главным у Соломина: пронзительность, не крик нужны. Нужно развитие в образе Фамусова. Спектакль надо совершенствовать. Текст удивительный. Принимается спектакль из-за Грибоедова. Как вылечить Юдину от штампа? Гоголевой надо быть глубже и серьезней. Не надо фразы выделять, Елена Николаевна»...

Ну не все актеры выдерживали подобный уровень требований, не все им соответствовали. Гораздо легче было, как фамусовской Москве с Марьей Алексеевной во главе, назвать Чацкого, то бишь Равенских, сумасшедшим и объявить ему войну. А в искусстве интриги и ведения боев без правил почти все участники сражения были сильнее его, необыкновенно талантливого и одним этим уже беззащитного.

Роскошный кабинет Царева в Малом со звенящей бусами неизменной секретаршей Аделью Яковлевной и крошечная захламленная комнатка Равенских на другом конце здания, среди актерских гримборных — фасад и тыл, правый и левый фланги государственного... академического...

В комнате Равенских — язык не поворачивается назвать ее кабинетом, два стола буквой «Т», дотрагиваться до бумаг, заваливших столы, он не давал; на том, что подлиннее, годами накапливались пьесы, присланные и оставшиеся неотвеченными, а то и непочитанными письма, деловые бумаги. Все, что я смогла сделать, прикрыла газетами, называла «гробик», хотя то, что ему надо было, находил безошибочно, запускал вглубь руку и доставал требуемый приказ №... Министерства культуры... Книг я здесь не видела. Вроде бы он их и не читал. Умного учить — только портить...

Телевизора тоже не было, только старенькое радио, он иногда его слушал. Холодильник. Рядом на полу — электроплитка. Жена, актриса Галина Кирюшина, с иконописным лицом, худая, выше его ростом, каждый день привозила обед из дому в кастрюльках, разогревала, кормила его. К трапезе никто не допускался, мне позволялось... Но я должна была сидеть рядом молча, если, пользуясь его доступностью, порой не выдерживала, пыталась завести какой-нибудь неотложный разговор, получала в ответ: «Дольше прождешь!» Еще в кабинете было старенькое пианино. И иногда, когда ему привозили из дома дочек, Шурочку и Галочку, младшая Галочка

играла какую-нибудь нехитрую детскую пьесу Гедике, а он, подперев кулаком подбородок, внимательно слушал... Но и однажды сказал: увидь на улице, что Галю переехал трамвай, я остановлюсь... постою... посмотрю... и пойду репетировать... Это про обожаемую им младшую. Такой уж он был. Чудак! Гений!

Дома-то он бывал редко. В комнате его стояла узкая односпальная кровать. Рядом стул, на нем висел парадный пиджак с лауреатскими значками. Возвращался из театра ночами, утром, когда просыпался, дети уже были в школе. Что Галина Александровна курит, не знал, она тщательно от него скрывала, однажды она сказала мне: Шура из пальто выросла, скажите ему, что деньги нужны на новое. А он давал мне поручение купить что-нибудь дочкам на день их рождения. Однажды я выбрала в «Детском мире» кукольный театр с набором на несколько сказок. Потом позже прочитала в Шуриных воспоминаниях, как она была тронута отцовским подарком. Отвозила этот кукольный театр в Рузу, где они отдыхали на новогодние каникулы, тоже я. Но семья обожала его. Кирюшина среди других участников юбилейного (помоему, 100-го) представления спектакля «Русские люди» на вывешенной за кулисами афише, такая здесь существовала традиция, написала мужу-режиссеру: «Обожаю! Преклоняюсь! Молюсь!» А Шура на предложенную в школе свободную тему сочинения «Мой любимый герой» писала о папе. Я ей помогала.

Надо было видеть их рядом — Царева и Равенских: накрахмаленного, отутюженного, торжественного красавца-директора и коротенького, коренастенького, эдакий грибок-боровичок, курного главного режиссера в вытянутой трикотажной рубашке, без галстука, в туфлях на два размера больше и на босу ногу, — чтобы не ошибиться в прогнозе: их конфликт неизбежен.

Конечно же, непредсказуемый гений-режиссер был там случайный пришелец и не жилец. Царев умел ловко дирижировать всем происходящим в коллективе, сам оставаясь в тени и как бы не принимая участия в интриге: сидит, бывало, на партийном собрании в президиуме, скорбно закрыв лицо рукой, а ораторы, один за другим, вряд ли без его ведома «мочат» главного режиссера.

Особенно яростной была Гоголева: «Коммунистическая партия призывает нас говорить правду, — вещала она на партийном собрании 2 апреля 76-го года. — Смело и открыто говорить о недостатках. Театру нужно другое художественное руководство. Соответствует ли режиссерский почерк Равенских Малому театру? Нет, не соответствует. Он показал своими спектаклями несостоятельность (!) В следующий пятилетке мы должны вернуть театр к его традициям. Приблизить к задачам, сформулированным XXV съездом КПСС. Почему Ильинский, Равенских не ходят на партийные занятия?».

В 70-е это были самые серьезные из всех возможных обличений. Гражданская казнь на площади.

В хоре «ненавистников» слышала и Руфину Нифонтову: «Почему меня наказывают за нарушения дисциплины, а Бориса Иваныча — нет? С меня снимали зарплату, а Равенских опаздывает на репетиции, вовремя не выпускает спектакли, уехал с гастролей в Новосибирске — надо снимать с зарплаты. Почему вы, Борис Иваныч, ни разу не отказались от премии?? А Быстрицкая предлагала выход из положения: «Вы нас воспитываете, Борис Иваныч, а мы будем вас, руководителя».

И лишь немногие — решались вслух поддерживать Равенских. Однажды Юрий Каюров осмелился: «Борис Иванович не нуждается в защите. Он большой художник. Но так же нельзя. Надо уважать режиссера».

Его голос потонул в хоре критиков. Слышала, как пытался воззвать к актерскому разуму и обычно скромный, замечательный не на собраниях, а в спектаклях, в кино — Алексей Эйбоженко: «Собрания такого толка не от рассудка, а от эмоций... Убить можно ватой в нос. От каждой победы должно рождаться добро. Каждый должен помнить: я менее важен, чем Малый театр. Почерк Равенских кого-то гневит, но искусство многогранно. Меня ранит ревизия «Русских людей», но и в «Перед заходом солнца» Леонида Хейфица приятно играть. Царя Федора — Смоктуновского называют гастрольным актером, но это — высочайший класс актерства. Почему мы не признаем лидера в нашем деле? Надо объединяться во имя золоченой сцены. Да,

все равны, здесь нет гастролеров, есть коллектив, но все удовлетворены быть не могут, будут жертвы. И всегда будут лидеры. Надо же вести себя достойно».

А Равенских унижался, оправдывался: «Нахожусь под обстрелом — один. Хотелось бы вдвоем, втроем, впятером... Чем больше, тем лучше. Тяжелый хлеб — главного режиссера... Но ведь и сам актер должен работать. Ошибки возможны, но стараюсь быть объективным... Права и обязанности администрации надо уточнять. Они не беспределельны. Согласен на снижение зарплаты, лишение премии, но не на творческий позор. Бессовестность на сцене нетерпима. Порой срываюсь от бессилия... простите. Не надо, Юрий Мефодьевич, ставить под сомнение честность других. Дайте мне возможность спокойно работать».

Он жил в своей захлавленной комнатке, как в осажденной крепости. Загнанный. Пытающийся сохранить себя живым, свое достоинство, свою профессию. Борьба шла не на самолюбие и привилегии, а на жизнь. Царев же, сидя в президиуме, играл так, будто все происходящее для него — неожиданность. На самом деле все в его руках и власти. Он был великий политик.

«Ну, передайте вы ему», — тянул он. — «Что он тебе сказал?» — выспрашивал другой. А руководитель литературного отдела металась от одного к другому, понимая, что с какой бы стороны ни шли танки, с левой ли, с правой, от Царева или Равенских, ей все равно быть под гусеницами.

Официально все внутритеатральные службы начинали работу с десяти утра, с приходом Царева. Вокруг его кабинета были партком, профком, комната личасти. Все должны были быть под рукой. А Борис Иванович страдал мучительными бессонницами, отчего самое активное его рабочее время, когда он обдумывал и решал свои сложные вопросы и ему требовалось присутствие приближенных к нему сотрудников, прежде всего — меня, приходилось на ночь. Бывало, отвезет он тебя домой эдак в 2—3 ночи, доедет к себе домой и тут же звонит: Ты что, уже спишь? Как тебе не стыдно... А к десяти утра снова на работу. По утрам меня возил мой троллейбусный маршрут № 12 от начала до конца, от больницы МПС на Театральную площадь, мои концы, мои тупики. Я пыталась доспать в пути.

Дома было все плохо. Хуже некуда. Да и буквально, что за дом — комната в коммуналке?! Наспех распаханные по углам вещи. Красный угол — для письменного стола Кузнецова. Но от него он убегал в первую очередь. Трудности творчества, ежедневная, «черная» работа — доделать, переделать, еще и еще поискать, помучиться, посидеть у стола — была не для него. Мне-то казалось, вот и используй свободное безработное время, чтобы доделать всего-то два рассказа для принятого к публикации сборника в издательстве «Молодая гвардия», так он их и не сделал, книжка не вышла. Предложи недавно написанную пьесу какому-либо из московских театров. Собери книжку стихов, об их талантливости ему говорили и Евгений Евтушенко и Роберт Рождественский. Нет!

«Дай рубль!» — это значит — «на вину», как он называл заботливо приготовленное для него в подвальном магазинчике нашего же дома, и стоила-то тогда бутылка 0,75 портвейна чуть больше рубля. «Не дашь, сейчас Любке позвоню, приедет, привезет». Скорой помощью была аспирантка журфака МГУ, он там немножко преподавал, Люба, оживившаяся от появления в ее жизни «свободного», как ей казалось, брошенного занятой женой мужа, и она, новочеркасская женщина, примеривала, видимо, уже тогда на себя и московскую прописку и талантливого яркого Кузнецова. Ближе всех вскорости она оказалась к нашему разводу и стала-таки его женой. Хотя вряд ли ей удалось меня заменить и стать счастливой. Но мой Малый театр с Борисом Равенских, а главное, перемены, происходящие с Кузнецовым, да, наверное, и со мной, все больше отдаляли нас друг от друга. Так что казачка Люба в нашем разводе, наверное, как и мы сами, не очень-то и виновата.

Едешь, бывало, домой ночью, везет тебя на такси Равенских, а ты с тревогой выглядываешь окно на первом этаже. Ага! Светится, значит, дома... Один или с компанией?.. Пьян или трезв... Будет скандал или обойдется... Ну, какому мужу понравятся эти ночные возвращения?!

Другие мужчины и прежде были как бы моей защитой. А муж так жаден до всех предложений жизни: выпить все винище! выиграть во всех преферансных пульках! перетрахать всех баб! «А тебе-то что? Как тебя эти бабы касаются?» И были стихи. Но уходила наша любовь или то, что мы этим словом привычно называли. Мы переставали быть необходимыми друг другу. Теперь я видела рядом какого-то нового, мне чужого, перестающего быть интересным Кузнецова. Лишь раздражающего, отвлекающего от моей другой жизни.

То, что с нами происходило, было в его разбросанных по дому стихах. Еще одна мятая пожелтевшая бумажка в моем архиве:

А я не сплю,
Да, я опять не сплю
Таблеток наглотался,
Но неволен
Заставить
Позабить, что я люблю
И что тобою
Беспощадно болен...

Иногда мне казалось, что сил во мне вовсе не осталось, все вышли. Но надо было ехать на работу. Я подходила к бело-желтому старому зданию рядом с Большим, мне так хотелось скорее туда войти, показав пропуск, знак моей причастности к великому театру, что силы откуда-то появлялись, глаза зажигались, и я взлетала пешком без лифта, он слишком медленно шел, на третий этаж к Борису Равенских. Помогать! Спасать!

Уже в первые дни своей жизни здесь я поняла, что и внешне должна что-то поменять в себе, чтобы соответствовать общему стилю театра. Мои горьковские небрежные мини-платьишки, яркое полосатое пальто с капюшоном и меховой опушкой тут не годились. И розовая мохеровая кофточка с вышитыми по ней рококо розочками, счастливо купленная у спекулянтов в центре тогдашней торговли, туалете на Петровке, тоже явно не подходила. Пришлось взять взаймы денег, позволить во Всесоюзный дом моделей, их витрины на Кузнецком Мосту были единственными в Москве местом, где можно было увидеть действительно красивые вещи. Мне предложили приехать на их склад на улицу Марии Ульяновой, и там я, как мне казалось, обрела облик — бордовое платье, строгий костюм, театру соответствующий. Судя по Его внимательному оценивающему взгляду и реплике: «Прикрой вырез, я не могу репетировать», желанный результат был достигнут. Хотела ли я того или нет, было ли мне это волей-неволей навязано, но пришлось соизмерить себя со знаменитыми гранд-дамами Малого. Они ведь всегда были чуть старомодны в одежде: белые блузки под горло с брошками, шали, темные закрытые платья. Только Елена Митрофановна Шатрова — светлый ангел театра, ее книга с теплой дарственной надписью бережно хранится в моей библиотеке — мне всегда вспоминается в голубом. Дамам театра всегда был свойствен особый — чуть ретро — шик, и символом его была знаменитая брошка с портретом Ермоловой, которую носила Гоголева. Знак избранности! Не знаю где, у кого она сейчас.

Первые актрисы Малого, начиная от Марии Николаевны Ермоловой, всегда отличались не только красотой и статью (я бы даже считала, что здесь это были отнюдь не главные женские качества) а особыми волевыми свойствами, сильным характером, очевидными признаками общественного лидера. Александра Александровна Яблочкина... Вера Николаевна Пашенная... Елена Николаевна Гоголева... Более молодые Руфина Нифонтова, Элина Быстрицкая. Кто знает, что в большей степени определяло их ведущее положение на старейшей русской сцене — талант, красота или «железный» характер. При любых руководителях именно первые дамы, героини не только по сценическому амплуа, но и по жизненному предназначению, определяли политику театра, его репертуар. Их побаивались. Искали расположения.

Для первых женщин театра подбирались пьесы, они сами решали, будут или не будут играть предлагаемую роль.

Помню, как обрадовалась я, увидев еще в подстрочнике только что переведенную Виталием Вульфом пьесу Теннесси Уильямса «Татуированная роза», и с согласия Бориса Ивановича Равенских предложила ее Быстрицкой. Уж там ли не было роли для нее, в те годы находящейся в длительном простое?! «Не выйдет у вас с Борисом Ивановичем сделать из меня старуху», — гневно сказала мне Элина Авраамовна, между тем как было ей в то время гораздо больше, чем тридцатичетырехлетней Серафине из пьесы. И больше, чем Ирине Мирошниченко, вскоре блистательно сыгравшей эту роль во МХАТе в спектакле Романа Виктюка!

Здесь менее, чем в других театрах, имели значение личные отношения актрис с мужчинами, занимавшими руководящее в труппе положение, хотя и Галина Кирушина, жена Равенских, и Татьяна Еремеева, жена Ильинского, почти всегда получали главные роли в постановках мужей; так же как Мила Щербинина, последняя любовь Бориса Бабочкина, конечно же, была Катериной в его «Грозе», а главные роли Нелли Корниенко злые языки приписывали тому, что была она фавориткой Царева! И все-таки, нет, не это было главным в сложившейся или несложившейся актерской судьбе актрис Малого театра. Играли они здесь всегда немного. А порой и вовсе — по несколько ролей за целую жизнь.

Варвара Обухова была приживалкой Анной Оношенковой в горьковской «Васе Железновой». Потом, спустя много лет, — приживалкой в «Ярмарке тщеславия». Вот, пожалуй, и все из заметных ее ролей. Но это не мешало ей стать через определенный срок ожидания сначала заслуженной, потом народной артисткой России. «У нас незаслуженных мало, их надо беречь», — шутил Валерий Носик.

Какой замечательный и, по-моему, недооцененный актер был Носик! Вспоминаю его на одной из «умных» творческих конференций в ВТО. После интереснейших выступлений Эфроса, Товстоногова, Ефремова, которые говорили о профессии, о системе Станиславского, об актерской методологии, о том, как играть, как репетировать, поднялся Носик, желтоглазый, лопухий, смешной, развел руками и сказал: «Я теперь и не знаю, как мне на сцену выходить, сначала вспомнить, что тут говорилось, а потом уж начинать играть?!».

К возрасту здесь относились всегда по-особенному, с почтением. И в отличие от многих других коллективов никогда не выпроваживали пенсионеров и даже гордились почтенными своими «старухами». Старались не пропустить актерские юбилеи, литературный отдел обязан был тщательно отслеживать, чтобы в прессе были непременно статьи и поздравления юбилярам. 1975—1976 сезон был урожайным на 75-летние юбилеи.

Приближался юбилейный срок у Дарьи Зеркаловой, легендарной в свое время Элизы Дулитл из «Пигмалиона». К своему юбилею она играла лишь сумасшедшую барыню в редко идущей «Грозе». И я хорошо помню грузную старуху, сидящую рядом со мной на партийном собрании, скалывающую и раскалывающую гирлянду из английских булавок, вовсе непохожую на тоненькую красавицу с прошлых фотографий. Однажды входит она в литературный отдел и спрашивает, не забыли ли мы про ее дату. «Конечно же, нет», — заверила я ее. Ушла, вернулась... «А можно не называть в готовящихся статьях мой возраст, только пятидесятилетний срок работы на сцене?» — «Конечно». Еще раз вернулась: «А можно и время работы не называть?! Я подарю вам пармские фиалки»...

О них, гранд-дамах Малого, рассказывали истории, легенды рождались на ходу. Одну из них, о Пашенной, я слышала от Равенских. Ну, не мог он репетировать в присутствии Веры Николаевны. Тревожила, нервировала она его. Да и, видно, острого языка ее боялся. А однажды, с его слов, она сорвала-таки репетицию. Повторяли отрывок из «Власти тьмы», где по действию Никита закапывает в погреб своего убитого младенца. На сцене Ильинский, Жаров, Доронин, все тогда, несмотря на седины, «молодые» отцы. Представьте себе, вы убили собственного ребенка — надывается режиссер. И вдруг из темноты зрительного зала, с галерки, — голос Веры Николаевны: «Откуда им это знать? Что у них дети-то свои, что ли?».

Нет, кроме Шатровой что-то не припомню я среди милых «Малых» дам союзниц Бориса Ивановича. Не нравились они друг другу. А Елена Николаевна Гоголева

(вот уж кто и у меня вызывал трепет одним только разлетом знаменитых соколиных бровей, пронзительным взглядом), во многом в мое время определявшая отношения труппы с режиссерами, на страницах журнала «Театр» публично высказалась: «Если бы в один прекрасный момент все режиссеры в Москве исчезли, Малый театр от этого пострадал бы менее всего». А в общем-то Е.Н. Гоголева, со свойственным ей ясным и жестким умом, четко сформулировала трагическое противоречие современного театра — его двуединое руководство, административное и художественное, редко соединяющееся в одном лице. Счастливыми театрами, на моей памяти, были театры Товстоногова и Любимова, Гончарова, Завадского, Плучека, Ефремова, Марка Захарова, Петра Фоменко, Константина Райкина, возглавляемые режиссерами-лидерами, как до того Станиславским и Немировичем, Мейерхольдом, Таировым, Михоэлсом, не директорами.

Последние годы восторжествовавшего рынка превыше всего в театре поставили кассу, доходы, на первое место выдвинули фигуру директора, продюсера, менеджера, интенданта, а интересы художника и интенданта антагонистичны по своей природе. Появился даже термин — «директорский театр», а творческие коллективы расплатились за него окончательным падением престижа режиссерской профессии. Я всегда была апологетом только режиссерского театра. Другим, с моей точки зрения, он быть не может. Вечный парторг Виктор Иванович Коршунов шептал мне: «Ну, что бы вам почаще не заходить к Михаилу Ивановичу, ведь у нас — не обычный директор, а Царев». Но так очевидна была к моему появлению в Малом разность и непримиримость двух руководителей и «военное» положение, режим чрезвычайной ситуации, в театре существующие, что мне неизбежно надо было делать выбор, и он был предопределен. Царев — Равенских, два главных героя моей драмы, придумывать ничего не надо было, жизнь сама определила их конфликт и мое место в нем.

«Редиска! Красный сверху, белый внутри», — говорил о Цареве Равенских, его постоянный недруг и антагонист. «Убил учителя!» — записывал он тезис для похода и разговора в ЦК КПСС, где тогда решались все внутритеатральные проблемы, это значило, что он будет там «капать» на Царева и вспоминать их общую у Мейерхольда молодость и предательское, с его точки зрения, поведение Царева в ТИМе. Тот, как известно, опубликовал разоблачительную в адрес Учителя статью в «Известиях» и будто бы в тот же день, как было принято у Мейерхольда в доме, пришел к обеду.

Равенских репетировал в 76-м выбранную для постановки к XXV съезду КПСС пьесу азербайджанского прозаика Максуда Ибрагимбекова о нефтяниках (тогда это тоже было актуально!) «Мезозойская история». Постановочная бригада была мощной. Художник — талантливый Владимир Ворошилов (потом более известный как создатель и телевизионный ведущий шоу «Где, что, когда?»), его нефтяная вышка на традиционной сцене, разметавшая привычные стены, люстры, рисованные задники, тоже была определенным эпатажем. Композитор Полад Бюль-Бюль Оглы. В роли рабочего-нефтяника Игорь Ильинский. Но, настоящего успеха эта работа не принесла. Она так и осталась в разряде «датских» спектаклей и имела короткую жизнь.

Каждый спектакль Равенских репетировал годами. Порой менял исполнителей. В планируемые сроки укладывался с трудом. Чаше не укладывался. Ставил по одному спектаклю в год, а то и в два года. На «Федора», известно, ушло сто семь репетиций. Другие режиссеры управляют в гораздо более короткие сроки. Равенских же терзался сомнениями, муками репетиционных преодолений, сознанием собственного несовершенства. «Кошмар, Анна, — говорил он. — Съезд ведь не перенесут, не отменяют... Ребенок меньше, чем за девять месяцев, не вынашивается... Недоношенный, значит, больной».

Конечно, он был максималистом в своих требованиях, нетерпимым и абсолютно авторитарным: внимательно других выспрашивал, но поступал всегда по-своему. Истязал себя и окружающих, не достигая того, к чему стремился. Часто обижал актеров. Готовые свои спектакли смотреть не мог, не выдерживал. Я тоже была хороша. «Поди, посмотри, что там делается», — это во время спектакля «Русские люди». «Нет, не могу смотреть этот ансамбль песни и пляски Красной Армии». Мне позволялось даже так беспардонно дерзить. Смотрел на меня с любопытством, а то и с нежностью.

Многие его спектакли так и не записаны телевидением, ибо он боялся постаревших лиц исполнителей, омертвелости некогда живого спектакля, зафиксированного навечно несовершенства. Годами вело с ним Центральное телевидение безуспешные переговоры о съемках «Власти тьмы», «Царя Федора», а когда в 1974 году к юбилею Малого театра вышли брошюры обо всех его корифеях, народных артистах Советского Союза, так и не появилась единственная о Великом Чудаче и Мастере, главном режиссере Борисе Равенских, он не согласился ни с одним из вариантов текста, который ему предлагался. Это было еще до меня...

О Равенских при жизни и после нее, даже в 100-летний его юбилей, недавно прошедший, мало писали. Он всегда оставался фигурой закрытой и странной, неразгаданной. Он, конечно же, не был советским конъюнктурщиком, и его «Драматическая песня», посвященная Николаю Островскому (это было в театре имени Пушкина), открывшая блестящий талант Алексея Локтева, была пронизана искренним, неподдельным патриотизмом. Вроде бы и государственный и «державник» в «Царе Федоре», но и истинно, непоказно православный, особенно в своей дружбе с Георгием Свиридовым и его музыкой. Он отчаянно нуждался в поддержке, в понимании, в нежности, страдал от ругани, критики. Радовался похвалам, комплиментам.

После одной из репетиций дотошно расспрашивал у присутствующих сотрудников, учеников — студентов ГИТИСа, стажеров их мнение. Выступает Леша Найденов, режиссер: «А вот эта мизансцена, Борис Иванович, где Носик уходит под землю и видны только его руки, вот уже их почти нет, не видно... не побоюсь сказать, по-моему, гениальна». — «Стоп, Леша, а это повтори еще раз... Еще раз, пожалуйста.» Так и заставил эту фразу повторить несколько раз.

Загнанный в угол театральными интригами, нелюбовью и непониманием, бесчисленными заседаниями, собраниями, парткомом, профкомом, он порой срывался, делал глупости! Чего стоит посланная им в разгар репетиций телеграмма в ЦК КПСС: «Срывают выпуск съездовского спектакля. Помогите!». Он знал, чувствовал: его не любят! Ему было известно, что его кабинет недруги называют на японский манер «хата хама», а крошечную каморку помощника Коли Рябова — «хата сука», и что Никита Подгорный, проходя мимо его двери, обязательно плюет в нее...

Как же он был одинок и неприкаян! «Режиссер, — говорил он, — словно дрессировщик на арене. Нет куража, звери (актеры, значит) тебя разорвут»...

Он был суверен. Белую рубашку с галстуком на премьеру ему привозили из дому к вечеру, к самому спектаклю. Переодевал он ее уже во время финальных аплодисментов за кулисами. Надевать ее до того считал дурной приметой! А еще Борис Равенских... гонял... чертей! Об этом знали все, даже те, кто никогда не видел ни его самого, ни его спектаклей. Это много лет было излюбленной темой для остряков в театральных и околотеатральных кругах. Он действительно сгонял с себя и окружающих людей и предметов нечто, ему мешающее, невидимое остальным, с чем (или с кем?) он неустанно вел борьбу. «Спокойно, Анна... Спокойно Андрей... Спокойно я...» — и все вокруг должны были замирать, пока он не закончит свой поединок с демонами.

Впрочем, вовсе не всюду он гонял чертей. На ответственных совещаниях как миленький сидел спокойно, не привлекая к себе внимания, особенно начальственного. Уважительно относился к Фурцевой. Известно, что и та его любила. Он острил: «Я ведь залезу ради вас на кремлевскую стену, но падать-то направо или налево придется на штыки»... Что это были за «черти» Равенских? Странная привычка?.. Бред сумасшедшего? Скорее — способ выиграть время, хитрый ход, дающий возможность создать публичное одиночество, отключиться от остальных, ощутить себя наедине с собой, найти решение...

А вопросов было много, делать выбор и принимать решения надо было ежедневно. Какие пьесы должны заполнить репертуар первого театра; как и в конфликт с ЦК КПСС не войти, и артистам Малого угодить, особенно его звездам, как «накормить» четырьмя хлебами, пьесами на год всех сто шестьдесят алчущих ролей хищников, а с негласной Марьей Алексеевной, столичной интеллигенцией, определяющей прессу и общественное мнение, не поссориться. Расхожее мнение, что Равенских был

талантливым режиссером и плохим, никаким руководителем, по-моему, безосновательно. «Мой крестьянский нос чует», — говорил он. И действительно, чуял... Только немного мог сделать. В тех-то условиях! Руки и ноги были связаны...

По театральному опыту известно: все атаки на главного режиссера начинаются с литчасти. Нет репертуара! — безотказный довод. Его, репертуара, всегда не хватает, а он, репертуар, кому-нибудь непременно не нравится.

Тогда в репетициях были «Господа Головлевы» с Виталием Дорониным в главной роли, ставил спектакль сделавший же инсценировку Евгений Весник, Велихов готовил тоже собственного изготовления «Униженные и оскорбленные» по роману Ф. Достоевского. Ведущим актерам здесь не отказывали в любых их планах. Но и литчасть в это время мучительно работала над пьесой Василия Белова «Над светлой водой», помогала великому прозаику осуществить свой первый опыт в драматургии. Вместе с переводчицей Л. Лунгиной делали новый сценический вариант драмы Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». Получили разрешение на инсценировку романа «Выбор» у Юрия Бондарева, с трудом нашла автора для пьесы, который бы устроил всех. Занимались этой будущей пьесой. Вступила я в переписку о возможной совместной работе и с Валентином Распутиным. А разве плохо было бы поставить, это мог быть действительно первый отечественный мюзикл, да еще по пьесе А.Н. Островского «Не в свои сани не садись», который делала Белла Ахмадулина и который так и остался непоставленным?! Ведь «это не для Малого» могло быть единственным доводом. Ну как же можно было обвинять нас в отсутствии работы по репертуару?! Не говоря о ежедневных хлопотах с множеством модных тогда пьес и авторов...

Очень хотел, чтобы Малый поставил его пьесу «Малая земля» о будто бы подвиге политрука 18-й армии, в войну мало известного, но ставшего генсеком Леонидом Ильичем Брежневым всесильный в мои времена главный редактор «Огонька» и ставящийся во всех театрах страны драматург Анатолий Софронов. Его пьеса могла бы быть удобным съездовским «подарком». А может, и счастливым способом для Равенских избежать угрозы увольнения. «Борис Иванович, не надо нам ставить Софронова», — это из наших ночных разговоров, — «Да! А ты это ему скажешь?!» Сказать это ему тогда было действительно сложно. Грузный, величественный, обаятельно улыбающийся, появлялся он в дверном проеме литчасти, потом с трудом втискивался на маленький для него стул между столами и рокотал: «Ну, что мне для вас сделать?». А мог он тогда все — добыть квартиру, почетные звания, зарплаты, любые блага... Прославляющие же советскую власть пьесы его были образцово бездарными. «Мы только имя его поставим на афише, а пьесу сделаем сами, — уговаривал меня и самого себя Равенских. — Возьмем машину, поедем в Новороссийск... Сами там все поймем, увидим... Напишем...» Пока что мы встречались в Москве с действительно героем Новороссийска, командиром Геленджикской военно-морской базы, потом командующим Дунайской флотилией, придумавшим и осуществившим новороссийский десант вице-адмиралом Георгием Никитичем Холостяковым. В начале 80-х его вместе с женой зверски убили в центре Москвы в собственной квартире профессиональные похитители орденов. А пока он рассказывал нам с Равенских, как все было на самом деле, обещал всяческое содействие.

Когда нас с главным режиссером «били» за репертуар, в меня специально не целились, попадали лишь шальные пули. Хотя на одном из бесчисленных заседаний, это было — партийного бюро, та же Елена Николаевна Гоголева выстрелила прямой наводкой и в меня: «Где только заведующего литературным отделом нашли? В Самаре ли, в Саратове». — «Она корреспондент «Советской культуры», Елена Николаевна. Мы справки наводили». — «Мы все — корреспонденты»...

Ну, я-то сносила эти удары безропотно, понимала, что дело — не во мне, я — пешка в большой игре, а за счастье увидеть все самой, не из чужих рук, лично надо было платить. Я и платила. А Равенских, чем труднее приходилось, чем больше он сбрасывал с себя чертей, тем больше уходил в свой причудливый внутренний мир.

Репертуарные принципы Царева были ясны и незыблемы. «Ну, зачем вы взяли пьесу у Тендрякова? Мы же все равно ее ставить не будем, только поссоримся», «Бон-

дарев — депутат Верховного Совета, хорошо, если уговорим его сделать для нас инсценировку», «Конечно, у Софронова пьеса плохая, но он — влиятельный человек, и надо попробовать привести в порядок пьесу», «Зачем вы попросили пьесу у Беллы Ахмадулиной? Она же алкоголичка!»... А уж предложение обратить внимание на новый подстрочник перевода пьесы Теннесси Уильямса «Татуированная роза», сделанный Виталием Вульфом, сразу же предполагало ответ одним только звучанием фамилий авторов. Царев был всесilen.

«Какой Носик — начальник шахты?! — недоумевал Царев на распределение ролей Равенских, — с его-то маленьким росточком и неказистой внешностью?». Его представления о театральной красоте были незыблемы.

А Борис Иванович совсем не отличался гибкостью в «политесе» и человеческих отношениях. Равенских ставил «Мезозойскую историю», а мечтал о Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», ни разу не ставил Чехова, мне обещал: «Я тебе «Чайку» поставлю»... Не успел. Многого не успел. И во многом так и остался не разгадан.

Очень был в сложных отношениях со своими коллегами. «Пойди, посмотри у Андреева «Прошлым летом в Чулимске», говорят, получился спектакль», «А что там за «Сталевары» у Ефремова?» Берег в памяти слова Товстоногова, будто бы ему сказавшего: «Ты, Борис, талантливее меня, а я добился большего, чем ты, мне удалось выстроить свой театр». Мог, обидевшись, сказать: «Иди к Завадскому, он выше ростом». Любил, когда я подробно рассказывала ему, а то и чуть ли не проигрывала интересующие его спектакли. Во время разных «собиралов» нервничал, боялся, что нечто важное упустит, поэтому заставлял меня внимательно все записывать, а потом в ночной тиши ему не по одному разу пересказывать. Так что именно его «придурям» я обязана многим столь драгоценным подробным записям прошлого.

Ну где сегодня, на каком совещании, конференции, форуме можно было бы одновременно услышать Олега Ефремова, Георгия Товстоногова, Андрея Гончарова, Михаила Ульянова? Олег Ефремов был тогда в особенном фаворе, когда он поставил во МХАТе «Сталеваров» и в Камергерском переулке горела доменная печь, а Евстигнеев и Киндинов варили сталь на сцене. Ему и карты в руки, легко было произносить громкие слова о «движителе общественной жизни», используя слова Белинского о Федоре Волкове. «Человек строит жизнь. Он хозяин», — говорил Ефремов. Сейчас и умилиительно и забавно вспоминать его выступление.

Георгий Александрович Товстоногов и тогда себе такого не позволял. Он говорил об азбуке, грамматике профессии, необходимой каждому, о владении системой Станиславского. «Вне правды человеческих чувств не может быть искусства... У художника должно быть органическое ухо на правду», — это из его выступления. И далее: ...Как Леонардо да Винчи открыл законы перспективы, без них не может теперь быть никакого искусства, в том числе того, которое сознательно искажает перспективу... Главное в прочтении пьесы — не только внешние постановочные решения, но новый способ актерского существования, новая природа актерских чувствований, новое включение зрительного зала в актерскую игру... — кто сейчас об этом думает?! Все-таки масштаб личности действующих лиц тех лет был виден и в вопросах, которые они задавали, и в проблемах, которые их задевали. Не о политической конъюнктуре, а о достоинстве профессии думали они прежде всего. А как совместить одно с другим?!

Не знаю, но, по-моему, именно сейчас, когда эстетика отражения жизни в формах самой жизни многими считается устаревшей и яростно ищутся новые формы, мысли, слова старых мастеров звучат удивительно актуально.

Гончаров говорил, казалось бы, о специфически профессиональных понятиях: об артистической клавиатуре в выразительных средствах, о количестве актерских выявлений, о том, чтобы «дырки» молчания не подменяли зоны молчания и не вели к ложной многозначительности... Цитировал М. Ульянова: «Надо уметь пустить себя вразнос». Попросту, а ведь главное сформулировал: нельзя в век метро ездить на колымаге. Самый старый тогда из участников Юрий Завадский цитировал в выступ-

лении Станиславского о движении «из вчера в завтра». Великие всегда умели об этом думать.

Равенских на этом симпозиуме не было, он репетировал и ждал меня с неизменным блокнотом, с записями, с подробным рассказом.

Не любил он от себя меня отпускать. Привык, чтобы я все время была рядом. Ставил в пример товстоноговскую Дину Шварц. Репетирует бывало... В зале темно, освещен лишь пятачок сцены с артистами и крошечный притемненный свет над режиссерским столиком в центре зала. Начинаю постепенно перебираться от него к выходу, от ряда к ряду, мне кажется, я уже далеко за его спиной, скоро дверь — дело в литчасти полно, и поток пьес идет ежедневно, надо читать, и звонков много надо сделать, и Царев, чтобы увидел... Истошный крик в зале: «Куда пошла? Иди сюда!» И я возвращаюсь.

По ночам часами разговаривал с Друзэ, тот торопил с постановкой многими годами ожидаемой премьеры, пьесы о Льве Толстом, его последних днях «Возвращение на круги своя». Ссорились: «Если будете ставить Софронова, свою пьесу забери»... Потом — долгий обязательный на каждую ночь разговор с Ильинским: «Готовьтесь, Игорь Владимирович, вам надо силы накопить, выдержать роль Льва Толстого». Оба они любили Толстого, готовились вместе к работе. Ездили в Ясную Поляну, в усадьбу, на могилу...

По ночам распределяли роли... Обычный производственный процесс для других, у него был священнодействием, шаманством, он колдовал над актерским списком в сто шестьдесят человек и не мог выбрать даже одного (или одну) исполнителя на роль... «Витька — парторг, не актер! Ванька — дурак!.. Женька — пьянь!.. Карнович-Валуа? Одно слово — Валуа... Этот — адъютант его превосходительства»... И снова к началу списка от «а» до «я». И еще раз. И еще. До бесконечности. Спрашиваю: «Может, Матвеева позвать?» — «Нет, он дважды выгонял Царева, был директором, его не пустят».

Еще тяжелее было с женщинами: «Наташке — только батоны жевать... Эта — пустой барабан... С Элиной посади меня в поезд СВ, Москва — Владивосток и обратно... ребенка не будет». Гоголеву за хорошую актрису не считал... Понятно, почему те, кого в каждом театре держат за ведущих, а для него были малосостоятельные, ополчились против него. Конечно же, в театре все было про всех известно. И про наши с Борис Ивановичем ночные «бдения». Однажды Царев решил их прекратить и распорядился в 12, то есть в полночь, вырубать в театре свет. Ан нет, не вышло! Театр-то режимный, значит, в коридорах он все равно должен был оставаться! И мы сидели с ним на старом продавленном диване напротив его кабинета и разговаривали, разговаривали... «Чего я с тобой сижу?! И ума у тебя особого нет... И красоты... А не могу оторваться», — мог сказать он. И мы только смеялись оба...

Любил вспоминать Мейерхольда... О том, как он впервые с ним встретился... Мастер приезжал в Ленинград из столицы, а студенты первого курса ленинградского театрального института об этом узнали и очень хотели, чтобы он посмотрел их экзамен, поэтому пришли встречать его к поезду. Равенских подробно, чуть ли не в лицах, рассказывал, как внимательно тот смотрел работы робких новичков, в том числе только что начавшего учиться деревенского паренька из-под Белгорода. Тот же, это с его слов, не отрываясь, смотрел на самого Мейерхольда. Рядом с ним была красавица-жена Зинаида Райх. После показа он подробно обсуждал увиденное со студентами. А незнакомого курносого мальчишку будто бы подозвал к себе и сказал: «А ты поедешь со мной...». Так Равенских, недоучившись и попав под чары гения, бросил институт и в тот же вечер уехал со знаменитой четой в Москву. Они его и ночевать забрали к себе. Спустя многие годы уже немолодой, ставший известным советский режиссер, трепетно, именно трепетно, вспоминал, как Райх постелила ему белоснежные простыни. Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда было свято в его воспоминаниях даже тогда, когда он рассказывал, казалось бы, о пустяках, как тот читал пьесу, а листки бросал на пол, и ученики подбирали их... Или о традиционных семейных обедах, на которые собирались артисты, ученики, друзья, недруги...

Из-за Мейерхольда он не получил канонического высшего образования, о чем вспоминал на очередной переаттестации преподавательского состава ГИТИСа, Московского театрального института: «Кошмар, Анна, я единственный в стране профессор без высшего образования». Но ему это советская власть прощала. За то, что в пору всеобщего колхозного надругательства над людьми, массовой нищеты он увлек всю страну лучезарно-наивным, жизнерадостным спектаклем «Свадьба с приданым», будто бы про нашу деревню, что сумел как никто другой опозитизировать Павку Корчагина и его автора Николая Островского в спектакле по роману «Как закалялась сталь».

По законам драматургии, во всякой пьесе должны быть две противоборствующие стороны, и они в моем случае наличествовали. Да еще какие! Двумя главными героями Царев — Равенских список участвующих в конфликте лиц отнюдь не ограничивался. Был еще третий главный, третий — не лишний. Трое, треугольник — излюбленная фигура действия для всякого драматурга. Третьим главным был Игорь Владимирович Ильинский. Игорь Ильинский — народный, разнородный, еще народнее двух других, Закройщик из Торжка, Бывалов, Огурцов, воистину, одна из определявших XX век личностей в искусстве, по крайней мере. Герои Социалистического Труда — тогда выше этого звания не было, а среди моих «близких» и Ильинский и Царев были Героями, «Гертруды», как тогда говорили.

По причудливой случайности, именно в день 24 июля, когда в своей «писанине» я дошла до Ильинского, у него был день рождения, ему исполнилось бы 111 лет, значит, тогда, когда встретились, ему было не так уж и много — 74, а Равенских всего-то 64! Поразительно, но все они — Царев — Ильинский — Равенских — были не только людьми одного поколения, но одной школы, одного учителя, общей счастливой творческой молодости. И главная выдумщица — жизнь в конце снова соединила их в одном театре, но по разные стороны баррикад. Когда-то «Миша» — «Игоряша» при мне не здоровались, проскакивали мимо друг друга, стараясь не замечать. К концу жизни они помирились. Тогда не здоровались Быстрицкая с Нифонтовой, Подгорный с Равенских.

«Закрытые друзья» с удовольствием рассказывали, как однажды видели Ильинского, замахнувшегося на Царева стулом, а проходивший мимо известный остролов Никита Подгорный откомментировал: «И звезда с звездой говорит»...

Давно нет Игоря Владимировича. Умирают театральные роли, даже зафиксированные на пленке, они лишены живого дыхания, рождающегося от общения сцены и зала. Нечасто идут фильмы «Волга-Волга», «Карнавальная ночь», но есть живая память, у которой есть генетическое свойство хранить свидетельства подлинно великого. Живет среди людей легенда об уникальном артисте и человеке XX века Игоре Ильинском. А мне досталось ну, не счастливая ли я?! — вместе с ним работать, видеть его на спектаклях и репетициях, на собраниях, в конце концов, достались наши беседы и общения.

Он сам захотел, чтобы я помогла ему сделать на фирме «Мелодия» пластинку с записью спектакля «Лес», который он сам поставил и играл в нем Аркашку Счастливецца, Гурмыжскую играла его жена и муза Татьяна Александровна Еремеева.

Более двадцати лет играл он Акима во «Власти тьмы». Но нельзя же двадцать лет играть одну и ту же роль одинаково. Конечно, главная мысль остается неизменной. Аким, сделанный вместе с Равенских, — неуклонное следование режиссуре он считал обязательным актерским качеством, — не богобоязненный старичок-резонер, а хоть и нескладный, косноязычный с неизменным «тае», в лапотках, но воинственный борец за правду. Обнаженная совесть. Рыцарь правды и совести. Он был убежден, что, — если внутри самого себя актер не найдет честности и совестливости, такого героя, как Аким, он сыграть не сможет. Внутренняя безнравственность все равно даст о себе знать, проявится. А как сохранить непосредственность и свежесть чувств, годами играя роль? Ведь за двадцать лет меняется не только актер, но и сама жизнь, и представления об актерском искусстве. — «Ведь даже внешне, когда я надевал парик, — мучился он сомнениями, — я становился старше, а сейчас, хоть и парик тот же, я в нем моложе!» И он искал новый парик и себя нового в старой

роли. Для Ильинского был закономерным приход вместе с Равенских к образу на сцене самого великого правдолюбца и богоискателя Льва Толстого.

Борис Иванович волновался, сумеет ли Игорь Владимирович сыграть эту роль, хватит ли у него физических сил. Ильинский смог и вместе со своей женой блестяще воплотил трагический дуэт последних лет Толстого и Софьи Андреевны. Парадокс, но Борис Иваныч ушел из жизни раньше Ильинского. На похороны друга и уважаемого режиссера тот не пришел, прислал письмо, его зачитали у гроба, выставленного в зале Малого, из которого убрали кресла. Царев сидел наверху, над залом, в своей ложе. Гоголеву Галина Александровна Кирюшина попросила не подходить к телу.

Это тогда Друцэ отправил в ЦК КПСС письмо, начинающееся словами, их передавали из уст в уста: «Убили художника»...

Когда-то Игорь Ильинский добровольно ушел от Мейерхольда, когда их слава была, казалось, неразделима. Теперь он воевал за Равенских до «последнего патрона», стоял насмерть рядом, под пулями, не отступал. Он очень страдал от того, что происходило в театре. Как никто понимал непримиримую разность Царева — Равенских, старался охранять режиссера, которому доверял, но, — увы! — предвидел исход борьбы.

Неслучайно последней поставленной им пьесой был «Вишневый сад», а последней ролью — Фирс, старый верный слуга Раневской — Еремеевой, забытый в заброшенном, обреченном доме. «Единственная роль, которую я теперь могу играть», — шутил он. На рабочем бюро Ильинского был один из последних портретов Льва Толстого и слова его: «Так буду же всегда в любви со всеми и в делах, и в словах, и в помыслах» — 1909 год. Но ведь, ни у самого Толстого, ни у Ильинского никогда любовь не превращалась во всепрощение. Нет, вторую щеку Ильинский не подставлял для пощечины. За принципы стоял насмерть, любовь отстаивал.

В его квартиру на Петровке в самом центре московской круговерти, но выходящей окнами во двор, чудесным образом не проникали городские шумы. Из окна видна старая церквушка, а в уютных комнатах удивительно чисто и покойно. Хоть Татьяна Александровна и ворчит: у народного артиста Советского Союза убраться некому. В кабинете старинное бюро, плющ на стене, цветы на подоконниках, стеллажи с книгами, книжки и фотографии с автографами М. Зощенко, С. Маршака, Ю. Завадского... Конечно — Мейерхольда...

В отличие от большинства актерских домов здесь ничто не напоминало о громкой славе хозяина, ни афиш, ни фотографий в ролях. Впрочем, так же всегда было вокруг Равенских. Хотя оба они, конечно же, знали себе цену. Только без показушной суетности. Висел на стене кабинета у Ильинского эскиз декораций В. Рындина к его давнишнему спектаклю «Ярмарка тщеславия», перехватив мой взгляд на него, как-то невесело пошутил: «С годами все больше отходишь от этой ярмарки»... Надписи на фотографии В. Мейерхольда над столом не разглядеть, фотография потемнела, надпись выцвела... Хозяин снова шутит: «Вот и хорошо, что надпись кончается, а то — такая высокая, что и читать стыдно». А Татьяна Александровна не поленилась, залезла на стул, надела очки, прочитала: «Единственному из величайших комиков... Если не вы, то кто же будет первым»?!

При всех заклинаниях про театр-кафедру и второй русский университет, которые любят повторять в Малом театре, присваивая себе особое значение и избранность, и Малый не может оставаться неизменным в веках.

Есть такая частушка:

На окне стоит герань,
На ней — цветочек аленький,
Никогда не променяю
Свой большой на маленький...

Помнится, Михаилу Ивановичу понравилось, когда я включила ее в юбилейное приветствие Большому театру. Ее там все равно не спели, чопорность и традиционные представления о границах дозволенного были выше вкусов.

Наверное, самым счастливым театр был когда-то во времена Щепкина, во времена своего драматурга, и Александр Николаевич Островский мог их баловать каждый сезон новой пьесой. Как бы ни кичились в театре славой актерского театра, без соединения с талантливыми пьесами, а еще, уверена, с талантливой режиссурой театру не быть счастливым. Вот здесь, по-моему, кроется главное заблуждение многих «коренников» Малого, считающих, что уж они-то, великие актеры, «сами с усами», и сыграют, и спектакль поставят. А режиссуре отводят лишь прикладное значение: развести спектакль по мизансценам, организовать, соединить все составляющие. Слишком многие спектакли театра так и выглядят. До сих пор.

Но лучшими-то спектаклями и прежде и сейчас были, конечно же, спектакли Бориса Равенских «Власть тьмы» и «Царь Федор», оба его же спектакля по пьесам Н. Друцэ «Птицы нашей молодости» и «Возвращение на круги своя», спектакли Л. Хейфица «Летние прогулки» и «Перед заходом солнца», а сейчас «Правда хорошо, а счастье лучше» и «Мнимый больной», когда театр пригласил Сергея Женовача, и новыми красками именно с помощью режиссуры расцвел талант Василия Бочкарева, Людмилы Поляковой, Евгении Глушенко, Людмилы Титовой, Глеба Подгородинского или Адольфа Шапиро, сделавшего там замечательные «Дети солнца». Так и хочется защитить Малый театр от... Малого театра!

Но театр и его руководство всегда ревниво оберегают коллектив, очень осторожны ко всем «чужакам», к посторонним советам и мнениям. Это ведь тоже чуть ли не родовой признак Малого. «Ну, зачем нам Демина? Что у нас, своих «старух» нет, что ли?» Это на приглашение новой актрисы Б. Равенских, и как минимум лет десять той пришлось дожидаться выхода на сцену. Так и не стали здесь «своими» талантливейшие Наташа Вилькина и Ирина Печерникова. Даже с ролями героинь.

Негласно, но неизбежно все здесь делилось на своих и чужих. Навсегда чужим остался в труппе приглашенный на роль Федора Иннокентий Смоктуновский. «Что это за партнер, которого я могу не услышать на сцене, который, видите ли, импровизирует, и то ли направо, то ли налево пойдет, где искать его?!» — кричал на партийном собрании Виктор Иванович Хохряков, хотя этого его партнера на собрании не было. Он туда не ходил. Да и от других ролей отказывался, ни на что не соглашался, а ему предлагали поставить любую пьесу, какую сам выберет. В театре появлялся редко. Смоктуновский и роли Федора не любил, а когда публично написал про это, Равенских посчитал это предательством. Понятно, что и импровизационная манера его творчества, и странности поведения были чужими Малому театру.

Однажды Царев не поленился, дождался его на лестнице перед «Федором» и, когда тот бежал в гримерку «под завязку» перед началом, молча показал на часы, молча укоризненно посмотрел на него. Спустя несколько сезонов Смоктуновский ушел, перестал играть Федора, на эту роль режиссер ввел Юрия Соломина, чему долго сопротивлялся, ибо очень уж не любил его ни как артиста, ни как человека. А Смоктуновский ушел во МХАТ к Ефремову, они ему были ближе.

Ну, а уж кто как не Соломин в чистом виде всегда олицетворял и на сей день является воплощением не только традиций, но и всех предрассудков, даже губительных привычек Малого театра?! Недостатки — продолжение наших достоинств... Нежелание перемен, привычка... к привычкам — и сила и слабость типичного представителя старейшего русского театра Юрия Мефодьевича Соломина. Прямой ученик В.Н. Пашенной, более полувека уже сам учитель в школе Малого театра, Щепкинском училище, «щепке», он как приехал в Москву из Читы в 1957 году, как услышал от Веры Николаевны: «Ну, что читать будешь ты, из Читы?» (а читал он, естественно, «героический» советский репертуар «Стихи о советском паспорте» В. Маяковского, монолог Нила из «Мещан»), другого театра, кроме Малого, он так и не узнал.

В выпускном спектакле он уже играл Треплева, в числе троих выпускников был принят в труппу. Навсегда. В трагической междоусобице 70-х я понимала, что в будущем Царева сменит именно Юрий Соломин, преданный ученик, апологет и плоть от плоти этого театра. Когда он говорит, что в своем театре — всегда простор для актерской инициативы и творчества, он имеет в виду не только обилие главных ролей, но собственные спектакли, которые он давно уже ставит как режиссер, особен-

но в последние годы, когда стал художественным руководителем театра. Конечно же, он актер — мастер, признанный всем миром, кому из Рима прислали кусочек мрамора от Колизея, и он сыграл Дерсу Узала в фильме великого Курасава, удостоенного «Оскара», замечательный поручик Яровой, ну что перечислять его роли, они уже в истории театра. Для меня была выдающейся роль Кисельникова в «Пучине». Но одной роли я не принимаю категорически, роли режиссера.

Трудно представить себе столь большую несхожесть, чем братья Соломины. Один — член всех советов, комитетов, президиумов, оратор всех трибун, участник всех событий, ну, как без него могла бы решаться судьба руководства Малого?! Другой — Виталий — закрыт, малообщителен, о чем думает, еще надо догадаться, сам высказать не спешит... Поклонник драматургии Вампилова, который никогда не шел и не мог пойти в Малом. Несмотря на то что он — брат, с трудом получал самостоятельные постановки. И сделал-то их совсем немного. Был очень строг и взыскателен, прежде всего к себе. Отказался от одной из лучших ролей, Бориса Куликова в «Летних прогулках», настоял, чтобы сняли спектакль как устаревшее возрастное явление, не потому, что сам постарел и у него появились живот и лысина, как он говорил, а потому, что другое поколение пришло в зал, надо заново переосмысливать и ставить спектакль. Вот это для меня и есть то, что я называю особенным режиссерским мышлением. Про себя он говорил: «Я точно знаю, чего не хочу».

Жизнь моя была, как кипящий суп в переполненной кастрюле: овощей в борщ явно переложили. Бульон выкипал, плита вся залита вязким, жирным... надо мыть... крышку сносило. Однажды приснился сон: вишу на макушке высокой голой скалы, держусь за пик, больше уцепиться не за что, ни травинки, ни кустика, руки слабеют, сейчас сорвусь...

Нам, конечно же, было известно, что приказ об освобождении Б.И. Равенских от должности главного режиссера Малого театра был давно заготовлен и лежал на подписи у тогдашнего министра культуры П.Н. Демичева.

Надо отдать ему должное, он довольно долго не мог решиться его подписать. Да и причины для отсрочек были уважительные: то выпускалась съездовская премьера, то Софронов хлопотал, когда надеялся, что Равенских будет ставить его «Малую землю», а может, и сам в глубине души понимал несправедливость готовящейся акции, но жарким июльским днем 76-го года приказ все-таки появился.

«Назначить для художественного руководства президиум художественного совета в составе семи человек», — тоже было в том приказе, обрушивающем в пропасть, перечеркивающим судьбу, жизнь безмерно талантливого художника. А про президиум была очередная гениальная выдумка Михаила Царева, который будто бы ни в коем случае не брал на себя ответственность за творческую жизнь театра. Он даже афишу отказывался подписывать, что теперь с легкостью необыкновенной делают многие директора. Афиша долгое время так и выходила с дурацкой подписью: «Президиум художественного совета».

Просчитано было все, и время появления приказа — в то время труппа была на гастролях в Челябинске, можно было не опасаться вмешательства в происходящее влиятельных поклонников таланта Равенских — Ильинского, Шатровой, Каюрова, волнений в коллективе.

«Семь человек, из них четыре Героя Соцтруда, вместо меня одного. Что ж, Анна, не так плохо!» — изрек он, сидя над приказом, читая и перечитывая его, словно ища между строк еще какой-то некий неведомый дотоле тайный смысл.

Галина Александровна была вместе с коллективом на гастролях. Приказ появился на доске объявлений театра. И в тот день ему «забыли» принести из служебного буфета обед в кабинет. Он сам спустился в маленькое закулисное помещение, служащее для сотрудников столовой, мы с ним с подносами стояли в общей очереди среди оставшихся дома на период гастролей бутафоров, реквизиторов, бухгалтеров, и никому не пришлось в голову пропустить его вперед. Вчерашнего небожителя низвергли в общую очередь...

По ночам Борис Иванович репетировал свой поход в ЦК КПСС, вырабатывал тезисы для ответственного разговора. Первый, как всегда: «Убил Учителя! Зато второй — новый: что делать с Кирюшиной? И третий, самый трудный: Куда деваться мне?»

Когда он судорожно обдумывал, что же ему делать, благорасположенный к нему бывший замминистра культуры Г.А. Иванов, ставший на те поры директором Большого, «устроил» ему в Большом постановку «Снегурочки». Представляю его там на репетиции, реакцию на него певцов, музыкантов, когда режиссер кричал: «Музыку! Еще музыку! Еще... А теперь хватит музыки!» Что ему было за дело до партитуры... Не говоря о том, что драматический и оперный театры — всегда разные миры. А уж Большой и Равенских были друг для друга экзотикой.

Зато от театра Маяковского он ждал приглашения на постановку. Гончаров, его художественный руководитель, обещал. С Андреем Александровичем Гончаровым они жили в одном подъезде, встречались в лифте, прятельствовали. Когда Гончаров сказал, что поставил вопрос о его приглашении на голосовании худсовета и тот не поддержал, посчитал это предательством. Тяжело переживал. Не раз сталкиваясь с предательством, считал его тягчайшим из грехов.

В Малом его тут же выжили из кабинета, начали там ремонт...

Когда человек в советские времена оставался без должности, ему ни почетные регалии, ни, тем более, талант не помогали.

В ЦК Равенских предлагали принять драматический театр имени Станиславского, но там была маленькая сцена...

Вернуться в Пушкинский театр... — На живое место? Там же — Толмазов... У него были принципы!

Ему казалось выходом из положения — организация нового молодого театра из своих учеников, выпускников ГИТИСа, но так он до этого и не дожил.

Ему оставалось всего-то поставить еще один, последний, вымечтанный спектакль на сцене Малого про Льва Толстого, и все... Умер в своем подъезде, у лифта, на руках у ученика Юрия Иоффе. Убили художника — было не только красивой символической фразой Иона Друцэ. Это было правдой, жестокой и беспощадной, о чем и сейчас-то стараются забыть и не вспоминать.

А я — что? Моя судьба была лишь отражением, разменной мелочью, довеском в той большой и трагической истории. Но ведь это была моя судьба, мне вовсе не безразличная. Как жить дальше?

Он сказал мне: «Я, конечно, не хочу, чтобы тебя гнобили без меня, но и чтобы ты была счастлива без меня, я тоже не хочу». И я написала заявление об уходе. Спрятала его в ящик письменного стола у себя в кабинете. Но такой уж это был театр, здесь стены видели и слышали. И непредвиденные «чудеса» происходили по мановению волшебной палочки... Так однажды исчезла стенная газета, тогда они выходили повсюду от любого заводского цеха до академического театра, а в этой была критическая статья про условия и чинимые препятствия репетициям Равенских.

Сгоряча произнесенная мной фраза в присутствии всего-то одной помощницы Леры к вечеру уже стала известной Цареву. «Неужели вы и вправду считаете, что половину театра я купил, а половину запугал?» Наутро исчезло и мое заявление об уходе, хотя ему не сразу дали ход. Будто бы Царев сказал: «Она — хороший работник, но уж слишком близка к Равенских». А мне эта его оценка была как звание Героя Социалистического Труда.

Интересно, что в моем театральном архиве, среди программ, брошюр, фотографий, записей хранились и кузнецовские стихи и его расписка: «если ты дашь мне 5 ре, обязуюсь отдать тебе 200»... и два наших заявления в Тушинский ЗАГС о разводе, мы их писали не единожды, но все откладывали, не решались дойти до ЗАГСа.

Когда впоследствии однажды мой уже прежний муж не в первый раз затеял разговор о новом воссоединении: мы поторопились... — я, вспомнив Малый театр, Равенских, пережитое, упрекнула его в предательстве, он удивился. Ну, как ты мог оставить меня тогда в треклятой «коммуналке», без работы и зарплаты?! В любом случае надо было тебе повременить, не оставлять меня без помощи. Он уже работал к

тому времени в журнале «Журналист», где так и застрял на всю жизнь. «Но ведь я не знал, что у тебя происходит!» Вот это-то и было для меня последней решающей характеристикой нашей совместной жизни. Он даже и не знал, как и чем я живу. Это было для меня предательством. Измерения жизни и событий остались от Равенских.

«Вылететь» из Малого театра означало чуть ли не оказаться с «волчьим» билетом... Впрочем, было ли это для меня работой? Участие в увлекательной со смертельным риском игре, за которое мне еще деньги платили. Дорого стоящий тренинг по выработке адреналина и... характера. Школа, еще какая! Я ей благодарна и поныне. А Малому театру, уверена, литчасть так же не нужна, как и режиссура. «Что мне для вас сделать?» — спросил у меня благородный Царев. «Спасибо. Ничего. Разве что пока я не определюсь с дальнейшим, меня можно было бы использовать в эпизодической консультационной работе ВТО с российскими театрами». — «Конечно, ради Бога», — сказал Царев. И тем помог.

Предлагали пойти на работу в Министерство культуры СССР. Но тут резко возражал отец, тогда главный врач единственной платной столичной поликлиники на Петровке. До того начальник Главного лечебного управления Министерства нефти и газа, фронтовик, начальник военных госпиталей, до сих пор помню их номера — 2790 и 1366, заведующий еще до войны горьковским горздравом, а в молодости, казалось бы, для врача совсем неожиданно, заведующий музыкальной частью одного из столичных ТРАМов, театра рабочей молодежи, что был в нынешнем ЦДКЖ, сказал: «Я столько лет жизни угробил на административную работу».

Вот мой полет и кончился! Я упала, разбилась вдребезги. Живу, как машина: механически двигаюсь, разговариваю, даже улыбаюсь. В моем мире не принято признаваться перед окружающими, что ты мертвец. Надо выглядеть, надо делать вид, что ты в порядке, что у тебя все впереди... Ох уж это — надо! всю жизнь надо вскакивать поутру, надо бежать на работу, готовить еду, кормить семью.

Надо! Надо! Надо! Сколько раз ты проклинала это унылое однообразие. Вот и накликала. Не надо вставать поутру и торопиться на работу. Нет работы. Нет того, который был твоей семьей. У дочки своя семья, ломоть отрезанный...

Стараюсь припомнить что-нибудь из прошлого: рваные куски... фразы... — а, Впрочем, будто ничего и не было. Темная дыра там и сегодня. Если что вспоминается, то тоже болезненное, резкое, как скребок в матке.

...Дневной поезд «Буревестник» Горький — Москва...

Мы пока еще вместе, то есть рядом наши кресла, оба билета вместе, в его кармане, но он пьян и пьянеет все больше с каждым уходом и возвращением. Черт бы побрал поездные буфеты, да еще если они расположены рядом с твоим вагоном. В одну из затянущихся отлучек выхожу на поиски, хочу спросить у проводницы, а за дверью ее купе, в крошечной клетушке, где только полка и раковина, клубок из двух тел и его коричневый костюм, нелепо смятый среди одеял, полотенец, стаканов. О, Господи! Ведь не вспоминается же, как потом он из того же вагона выносил меня на руках и орал на потеху окружающим: «Как я тебя люблю! Скрипка моя! Все бабы-дудки, балалайки, барабаны... Ты — скрипка!» — все-таки вспомнила в продолжение истории. Но это уж так, себе в утешение. А картинка в мозгах — из тесноты, одеял, полотенец, мятого костюма и его красного растерянного лица. Мне сейчас выгодны именно такие воспоминания. Легче привыкать к одиночеству.

Но ведь и это простила. Как многое другое. Да и он мне прощал что не следовало. Видно, слишком многое мы прощали друг другу, стараясь забыть, а оно не забывалось, лишь уходило куда-то в глубину, в закоулки памяти, чтобы потом выплыть одной огромной Обидой. Которую не расхлебать.

Говорят, после сорока умные женщины с мужьями не разводятся. Считается, семья вместо любви, муж вместо мужчины — это нормально после ушедших страстей и молодости. А у иных бывало — вместо... И я могла бы так же, тем более утешаясь тем, что было, досталось, пережито и хватит. Но с таким итогом мы с Кузнецовым не могли смириться.

Кузнецов говорил, что любовь — это болезнь. Смещается сознание. Сдвигается реальное восприятие фактов. Человек делает глупости или, как принято теперь говорить, совершает неадекватные поступки, часто себе во вред, в ущерб.

Человеку не дано выбирать. Я свою судьбу получала по полной программе... «Наверное, сейчас время передышки. Пауза. Остановка. Передохни. Подумай», — говорила я себе.

Буду вспоминать. Заставлю себя вспоминать. Это лучше пустоты. И — живые ощущения. Пусть боли. Но других-то нет. Кажется, это записывал Данте в дневниках: «Не мучай себя воспоминаниями о счастье». А о — несчастье?! Но и ему, гению, не приходило в голову, что мучиться любыми воспоминаниями может быть благом.

Сегодня утром с трудом подняла себя с постели. А зачем вставать? Услужливый ум-приспособленец тут же предложил оправдание: за всю жизнь ты столько навставалась-наработалась, накопила такую усталость, что не грех и поваляться, расслабиться. Побывать на профилактике.

Когда-то в той, другой жизни, где было много забот и суеты, я любила устраивать себе «профилактику». Выдавался свободный денек — валялась в неубранной постели, ходила по дому в халате, немытая, нечесаная, читала книжки, даже телефон выключала. Хватало одного дня, чтобы я соскучивалась по миру и по себе самой, нарядной и шумной.

Но теперь это явно не помогало! Сколько же я не выходила из дому? Неделю... Восемь дней... Подъела хлеб — выручили соседи. Кончился сахар — обхожусь вареньем. А потом в доме накопилось столько заказов, доставшихся по случаю... «Отоваренные» талоны на водку, сигареты, — зачем они мне, непьющей, некурящей? А, пусть будут! Гречки же, геркулеса хватит минимум на несколько лет окопной жизни. Не говоря о пачках чая и растворимом кофе, которые почему-то обязательно прилагались к каждому заказу. На всю оставшуюся жизнь... Нашла в пыльном углу скомканную бумажку. Видимо, с одним из последних в нашем общем доме стихотворением.

Анне Гольдиной...

...А к сорока березам сока нет.
Осинам — сок, осинам — осененье.
Они крадут единственный просвет,
И сходим мы на-нет в оцепененье.
И эта прель — она давно ждала,
В года слежалась, жаждала паденья.
И блекнет солнце, испытав дотла...
Осинам — сок.
Осинам — осененье.

Завонил телефон: «Простите, что беспокоим дома. Ваш телефон на работе не отвечает. В театре трехсотое представление «Власти тьмы». Вы не могли бы сделать для нас материал? Из «Известий»...

Болтаю первую пришедшую в голову глупость: «Извините, больна». Да и как объяснить, что больше я в театре не работаю, он теперь — не мой, да и Борис Иванов отныне — не главный режиссер. Будут ли они праздновать юбилей спектакля опального режиссера? Власть переменялась... А с ней и моя жизнь.

И телефон почему-то стал звонить редко. Неужели все так быстро узнали, что меня выгнали из театра и бросил муж?..

Вдруг звонок, кажется, прозвучавший особенно резко. Узнаю «по шагам»... Так и есть. Он. Как всегда торопливый негромкий голос, слова, словно догоняют, набегают одно на другое: «Анна, не жди меня. Устраивайся на работу куда получится. Живи без меня. А я, как сделаю новый театр, тебя заберу. Всякий поймет: ты уйдешь к своему художнику». — И, не дожидаясь моих слов, положил трубку.

Понимаю, ему сейчас не до меня. Он и всегда-то мало думал об окружающих, если они ему в данный момент были не нужны. Младенческий эгоизм навечно гениального ребенка! Но я и его всегда понимала и оправдывала. Ему все дозволено. Впрочем, так же, как Кузнецову.

Когда-то на модные в моем детстве анкеты, где попадался вопрос, какие качества я бы предпочла в любимом мужчине, я никогда не отвечала: ум, силу или порядочность, всегда только талант. Вот и получила.

Что хотела, то и съела... Понимаю, что повторяюсь... Но это и был тот замкнутый круг впечатлений, мыслей и чувств, в котором я жила.

А Бориса Ивановича я, как всегда, безошибочно чувствовала. Ну, мыслимо ли для мужчины с обостренными мужскими комплексами, чтобы женщина видела его униженным, раздавленным, выгнанным? Мне иногда даже кажется, что общие пережитые несчастья чаще разъединяют, чем соединяют. И Кузнецова понимала, а значит, оправдывала. Пусть будет без меня, вдруг ему будет лучше...

Я без работы, которую, по советскому еще воспитанию, полагала высшим оправданием и смыслом жизни. Без зарплаты. Без удивительной прожитой и в нарушение всех сказочных законов так печально закончившейся фантастической истории. Без семьи и мужа. Без Кузнецова, которого когда-то любила беззаветно и беспamięтно. Разве можно теперь жить дальше?! Конечно же, нельзя.

Но вдруг!.. Опять же звонок... Гораздо менее увлекательный, чем тот двухгодичной давности. Но звонок! Хоть какой, но шанс, предложение: «Не согласитесь ли поехать в октябре на неделю «Театр и дети» в Архангельск?». Звонок из ВТО. Не подвел, не позабыл про меня Царев. Каждый оказывался верен себе.

И рядом со мной в поезде в вагоне СВ на двоих — немолодой, молчаливый, демонстративно не светский, которого дали мне в спутники «на усиление», уникальный завлит Центрального детского театра Николай Александрович Путинцев. Уже через сорок минут, как мы отъехали, у Сергиева Посада, он оживился и стал увлеченно, с подробностями рассказывать мне о святых местах... Старинная истина гласит, что у «мечт» есть опасное свойство сбываться. Наверное, в невеселых мыслях моих мне часто приходило в голову, что если и возможно для меня продолжение жизни, то лишь в каких-то самых гарантированных, самых безопасных вариантах. Больше не надо мне ярких впечатлений, увлекательных приключений, талантливых непредсказуемых мужчин. Тьфу! Тьфу! Не сглазить бы! Но мои Ангелы всегда слышали меня, и всегда посылали то, что мне надо, — даже если я сама не формулировала, они лучше меня знали. Поутру в вагоне СВ «Москва — Архангельск» меня ждал «кофий в койку» и сияющий счастьем Николай Александрович, действительно, с лицом Николая Угодника, который сказал: «Я женат, но — как скажешь, девочка...».

И так на двадцать четыре года безоговорочной преданности, обожания, верности, заботы, душевного комфорта. Никаких «винищ» и сигарет... Тихий голос. Даже поссориться ни разу не дал с его безотказным принципом: «Ты лучше всех, и ты всегда права». Бывает, оказывается, и любовь в благодарность. А тогда, как сейчас помню, лохматая, спросонья я посмотрелась в зеркало, увидела там отросшую черными волосами да еще с явно усилившейся за последнее время проседью неряшливую блондинку и подумала: «Нет, так не пойдет! Надо срочно возвращаться в блондинки и приводить себя в порядок»...

Жизнь продолжалась. Жизнь еще раз начиналась заново...

Игорь Мостинский

Сороковые в Новоселках

В мае 1941 года я круглым отличником окончил второй класс московской школы и, как всегда, собирался в село Новоселки Рязанской области на все лето. Мой отец Леонид Иванович Мостинский, геодезист и военный топограф, в 1940 году демобилизовался после участия в польской и финской войнах, вернулся на прежнюю работу и был тут же направлен во главе геодезической партии на Южный Урал. С началом новой войны его опять мобилизовали, но оставили на Урале для подготовки площадок под эвакуируемые с запада заводы и фабрики. Мама с 1934 года тяжело болела туберкулезом, а в апреле 1936 года умерла, и с Рязанщины, из Новоселок, в Москву приехали престарелые родители отца, чтобы помочь ему с детьми. Каждое лето мы проводили в Новоселках у бабушкиной сестры бабы Веры. Здесь в 1939 году заболела менингитом и умерла моя сестра Ниночка, здесь ее и похоронили. Я остался у бабушки и дедушки один. С ними я и жил на тот момент, и все мы собирались в Новоселки.

Стояли теплые июньские дни. Мы жили в подмосковном Измайлове у самого леса. Каждое воскресенье утром я ходил на Первомайскую улицу в газетный киоск, где покупал газету для дедушки. 22-го числа приближаюсь к киоску — вижу массу людей, стоящих у столба с черным громкоговорителем. Война! Не купив газеты, помчался домой. Там уже знали.

У нас был подержанный радиоприемник СИ-235. Он негромко вещал: «Фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Наши доблестные пограничники дают отпор». Через пару дней отсюда же узнали, что оставлен Кишинев, потом Гродно, Минск... А затем пришел приказ сдать все радиоприемники. Вернуть их обещали после войны. Надо сказать, свой СИ в конце 1945 года мы получили по повестке в полном порядке. А тогда все новости с фронтов узнавали из «черной тарелки» или из газет. Все ждали: вот-вот наши войска отбросят фашистов и, как пелось в предвоенных песнях, разгромят врага на его территории.

Дни шли. Напряженность усиливалась. Москвичи стали оборудовать бомбоубежища в подвалах больших каменных домов. У нас в Измайлове были в основном легкие двухэтажные дома барачного типа: две доски-горбыля со шлаковой засыпкой между ними, оштукатуренные снаружи. В морозные дни стены промерзали, вода с окошек по марлевым ленточкам стекала в подвешенные под ними бутылочки...

Перед войной вдоль нашего леса собирались строить детскую железную дорогу, уже завезли рельсы и шпалы, которые теперь шли на устройство бомбоубежищ траншейного типа. Конечно, от прямого попадания фугасной бомбы такое укрытие защитить не могло, но от осколков и зажигалок спасало.

Об авторе | Игорь Леонидович Мостинский родился в 1931 году в Москве, в семье геодезистов. В 1955-м окончил МЭИ, как теплофизик-исследователь работал в Энергетическом институте им. Г.М. Кржижановского, а с 1963 — в Институте Высоких Температур РАН, с 2001 года — главный научный сотрудник. Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Имеет более 200 публикаций в профильных СМИ, автор книги эссе «Тропами К.Г. Паустовского, пройденными им и не пройденными» (2005). Живет в Москве. В «Знамени» печатается впервые.

От нашего дома до ближайшей траншеи было около 150 метров. Значительно ближе буквально перед войной неизвестно для каких целей (канализация, большой водопроводный коллектор?) экскаватором был вырыт глубокий ров с отвесными стенами. Вот в нем-то мы с соседями и решили сделать бомбоубежище-пещеру значительно надежнее «щелей» — на глубине около трех метров, со стенами и потолком, укрепленными бревнами и досками. Меня это все не коснулось — вскоре была объявлена эвакуация из Москвы нетрудоспособного населения. В начале июля мы с бабушкой и дедушкой выехали в Рязань утренним поездом, чтобы оттуда по Оке добраться до Новоселок.

В Рязани тогда почти не было автомашин, и роль такси играли, как в дореволюционные времена, конские тарантасы с откидным верхом, закрывающим пассажиров от дождя. Вот на такой экипаж и взгромоздилась наша нетрудоспособная семья со всей поклажей, чтобы доехать до пристани. Там мы перегрузились на старенький однопалубный пароходик «Шторм», который доставил нас поздно вечером в Новоселки. На телеге наши вещи (сами мы шли пешком) перевезли в дом бабушкиной сестры Веры, у которой мы проводили каждое лето. Теперь нам предстояло жить здесь неопределенно долго.

Новоселки — очень старое село. Первые сведения о нем относятся к XVII веку, времени царствования Алексея Михайловича, а затем его сыновей Ивана и Петра. Принадлежало оно Солотчинскому монастырю, но отделялось от него судоходной Окой и широкой, заливаемой в половодье поймой. Крестьяне должны были поставлять в монастырь зерно, рыбу, яблоки и груши, а также ягоды: малину, смородину, крыжовник, сливу. Поэтому при всех домах испокон веков были большие сады, сохранившиеся и после коллективизации. Занимаясь и зерноводством, и животноводством с использованием богатых пойменных лугов, и садоводством, новосельские крестьяне, потом колхозники, жили в достатке, о чем можно было судить по стоящим вдоль улиц хорошим рубленым домам.

Дом бабы Веры был по сельским меркам большой, бревенчатый, с высоким потолком. Теплая, жилая часть размером семь на семь метров состояла из трех комнат и большой кухни, окружавших стоящую в середине русскую печь, к которой из большой комнаты («горницы») примыкала голландка, облицованная белым кафелем. Обе печи топилась из кухни. Холодная часть дома была такого же размера, но построена из половинчатых, распиленных вдоль бревен: прилегающие к теплой части сени и два чулана. Хозяйка дома, полуслепая баба Вера, большую часть года жила в начальной школе у своих племянниц, а в этот дом перебиралась летом, когда приезжали мы. Запасы делать она не могла, и левый хозяйственный чулан представлял собой что-то вроде музея деревянной, керамической и чугунной посуды начала XX века.

В правом чулане стояли деревянная кровать, стол, висели полки с книгами духовного и светского содержания. В нем прежде жили приезжавшие из Рязани на летние каникулы бабушкины братья-семинаристы. Позже здесь любил проводить время мой дедушка. Полюбил этот чулан и я. В нем всегда было прохладно и как-то таинственно. Пороешься в книгах и найдешь что-нибудь интересное, вроде «Синей птицы» Метерлинка, учебника «Закона Божьего», по которому учился еще мой отец, руководства по рыбной ловле и изготовлению удилиц, лесок, удочек из подсобного материала... Дедушка учил меня плести лески из обычных катушечных ниток, крючки мы делали из булавок и, хотя они не имели бородка, ловить ими уклейку и мелкую плотву я мог не хуже ребят с настоящими крючками: надо было вовремя подсечь рыбку и выбросить ее на берег. Легко сходящие с крючков лещи, крупная плотва и густера почти не попадались после сброса в 1938 году отравленных вод Воскресенским химическим комбинатом. Тогда в Оке погибли вся стерлядь, белорыбица, основная масса леща, язя и щуки. Лишь к концу войны количество рыбы в Оке заметно возросло, стала появляться некрупная стерлядь, ловить которую было строжайше запрещено.

Большой дом в холодное время года требовал много дров, а их и в довоенное время было трудно достать: лес был в 7—10 километрах от села, да еще по другую сторону Оки, за болотистой поймой. Дрова привозили только зимой, когда и Ока, и пойменные озера, и болота надежно заковывались льдом. Несколько зим дом не отапливался, деревянный фундамент его подгнил, нарушились и забитые мхом швы меж-

ду бревнами, а на ремонт у нас не было ни средств, ни материалов, ни сил. Чтобы не замерзнуть, мы все переселились в одну большую комнату, где дедушка сам сложил печку-плиту. Завалив дом почти до окон снаружи землей, а потом и снегом, замазав швы песочно-глиняной смесью, мы смогли наладить-таки сносное сохранение тепла.

В сентябре дедушка на пароходе сплавал в Москву и привез все наши зимние вещи, в том числе и — о радость! — мои лыжи с бамбуковыми палками. Обеспечив себя зимней одеждой и условным домашним теплом, мы подготовились к первой, оказавшейся очень суровой, военной зиме 1941/1942 годов. Но баба Вера все равно не перенесла холодов и в конце января скончалась. Остались мы троим.

Продукты выменивали на привезенные из Москвы вещи, вплоть до моих игрушек, конструкторов и книг. Помню, за новенькую книжку «Серебряные коньки» мы получили целый литр молока. Молоко мне давали снятое, а из сливок бабушка сбивала масло, которое меняла на крупу или зерно. Остававшийся после масла обрат также шел мне. Запасы ржи и пшеницы постепенно таяли, и к весне выменять их на вещи или даже купить за деньги, присылаемые папой, было уже трудно. Основной нашей едой стал картофель.

И тут дедушка решил сделать жернова. Обычно их мастерят из двух каменных или деревянных кругов. В верхнем делается отверстие, в которое понемногу сыплется зерно. При вращении верхнего круга зерно попадает между ними, истирается и высыпается в большой поддон. Полученная мука просеивается через сита, крупные фракции подаются опять в жернова. Однако в деревнях часто такой рассев не делают, и весь помол идет на выпечку хлеба. Хлеб же, выпеченный только из мелкой муки, получается более вкусным и называется «ситным».

Вскоре у нас в сенях появился страшный, обросший засохшими тонкими сучьями чурбан с метр длиной и сантиметров 70 в диаметре. Из него предстояло выпилить два диска: высотой 20 сантиметров для верхнего жернова и 40 — для нижнего. Я предложил дедушке свою помощь — двуручной пилой мы с ним уже пилили. Но он отказался: «Здесь нужно получить очень ровные поверхности». И попросил меня обрубить сучья.

Сучья с поверхности чурбана я аккуратно обрубил топориком, потом помог дедушке положить чурбан на скамейку и закрепить. Пришел дряхлый старичок с широкой двуручной пилой, и они с дедушкой стали очень медленно пилить чурбан. Начав утром, они закончили работу к вечеру. Трудились, конечно, с перерывом на приготовленный бабушкой обед, с перекурами — тогда дедушка еще курил, он бросил к весне 1943 года...

Найдя подходящие обручи с какой-то развалившейся кадушки, дедушка надел их на подготовленные диски — и пошел на другой конец Новоселок, а это километра три, к какому-то тяжело больному мастеру этого дела за советом. Оттуда он принес потрепанную брошюру с рисунками набивания на жернова чугунных осколков старой посуды, которых тогда у всех было вдоволь. Тщательно перенеся эти рисунки на свежие торцы заготовок, дедушка стал забивать по ним чугунные пластинки. Иногда он поручал мне слегка простучать по набитой поверхности молотком, чтобы загнать в дерево выступающие элементы. В середине верхнего жернова дедушка сделал круглое отверстие для засыпки зерна, а в центр нижнего вбил металлический стержень, служащий свободной осью вращения верхнего.

Прошло несколько дней, и дедушка, сделав поддон и подставку, опробовал жернова. Опыт прошел хорошо: аккуратно подогнанные чугунные осколки не цеплялись и не выскакивали, а лишь заметно нагрелись. Я спросил, не загорится ли мука в процессе помола, но дедушка уверил, что она только подсохнет.

На следующий день бабушка приготовила миску хорошо высушенных картофельных очисток и кружку ржаных зерен. Засыпав зерна, дедушка со словами: «Ну, с Богом!» — начал вращать верхний жернов. Вначале что-то закрипело, потом зашумело, потом вращение пошло довольно тихо. Это размазалась между жерновами мука. Лишь малая часть ее высыпалась в поддон — все пошло на заполнение пространства между перемалывающими зерно пластинами. «Анюта, — обратился дедушка к бабушке, — дай еще кружечку ржи». Засыпали и ее, на этот раз почти вся вновь засыпанная рожь высыпалась мукой в поддон. Ее аккуратно собрали: оказа-

лось почти две кружки рыхлой муки. Картофельные очистки, предварительно толченные в ступе, тоже засыпали в жернова. Они хорошо размолотись и перемешались с ржаной мукой. Из полученной смеси бабушка испекла на растительном масле оладьи. Не скажу, что было очень вкусно. На зубах иногда скрипело нечто вроде песка — это притирались жернова.

Бабушка умудрялась на такой суррогатной смеси печь сладковатый заварной хлеб. Она готовила солод, потом добавляла его в тесто, которое помещала в трехлитровую цилиндрическую форму для выпечки пасхальных куличей. Печь такой хлеб на нашей плите не представлялось возможным, и бабушка носила его к соседке, у которой топились русская печь. Принесенный домой «кулич» резался горизонтально круглыми, тонкими, в полсантиметра, кусками, которые в свою очередь резались на четыре сектора, по одному на раз (завтрак, обед или ужин) каждому. Утром, уходя в школу, я съедал с этим кусочком хлеба одну неочищенную картошку средней величины и запивал снятым молоком или обратом. Обед нам, «эвакуированным», выдавался бесплатно в столовой. Он состоял из рассольника (сваренного на костях жидкого бульона с несколькими зернышками овса или пшеницы и четвертью небольшого соленого огурца) и большой, с верхом, столовой ложки картофельного пюре. За этим обедом кто-нибудь из нас, чаще всего я, ходил со своей посудой в столовую. Хлеба к нему не полагалось. В ходу у нас еще был морковный чай — напиток из высушенной чуть сладковатой моркови.

Хлеб продавался в магазине по карточкам два раза в месяц: при норме 25 граммов в день нам на троих полагалось по половине большой буханки сырого, тяжелого, но зато теплого и ароматного хлеба. Очередь выстраивалась за час и больше, и все ждали, когда из пекарни (напротив, через улицу) в больших санках или на тележке привезут хлеб. Получив свою норму, трудно было не соблазниться, не отломить хотя бы маленькую корочку. Дома меня за это не ругали. Хватало принесенной полбуханки на три-четыре дня, а следующие 12—13 дней ели бабушкин заварной хлеб.

Дедушкино изделие позволяло нам не только перемалывать свое, но и получать понемногу муки от колхозников, приходивших молотить свою рожь или пшеницу. Они отдавали предпочтение нашим жерновам: на них мука получалась мелкая и пышная, притом с малыми потерями.

Наш бюджет в это время состоял из моей пенсии за умершую мать, что-то около 60 рублей, и регулярно присылаемых папой сумм раза в три больше. Но на них почти нечего было купить. Иногда нам по карточкам выдавали чуть-чуть керосина, мыла, соли. Все это выкупалось на эти «бюджетные» деньги. Керосин обеспечивал нам скудное освещение с помощью «моргасика» — устройства типа церковной лампадки увеличенного размера. Моргасик стоял на столе, а во всех других местах дома было темно и все делалось на ощупь. При таком освещении я зимними вечерами учил уроки, поэтому старался закончить засветло. Попытались мы использовать лучину, но, опасаясь пожара, от нее отказались. Конечно, рано ложились спать.

Очень редко, обычно к 7 ноября, эвакуированным выдавали по бутылке водки (каждому или на семью, не знаю). На нее у работающих стариков, а то и у баб можно было выменять немного зерна или даже дров. Я сам видел, как дедушка расплачивался за привезенный из леса воз хороших дров 300 рублями и бутылкой водки. Бутылка была главной. Эти дрова были нами распилены по размеру печки, расколоты, высушены и сложены в сених как неприкосновенный запас «на всякий случай». Такой запас был нам необходим: дедушка, наша основная сила, был далеко не молод и слаб здоровьем. Однако проскрипел до самого конца войны. Еще более слабой была бабушка. Маленькая, хрупкая, перенесшая рак и больная туберкулезом, она прожила до 1962 года, не заразив благодаря очень большой аккуратности никого из окружающих.

Расхожими дровами нам служили первое время гнилые обломки разрушившегося двора, а потом растущий за рекой ивняк, которым отапливалась большая часть сельчан. Срубленный хворост толщиной до трех сантиметров вывозили через замерзшую Оку на специально сделанных санках. Кто-то из сердобольных мужиков дал дедушке старый, от розвальней, полоз. Дедушка сумел распилить его вдоль на четыре части и сделать двое санок. Одни он дал нашим знакомым, тоже москвичам, которые их скоро сломали, по-видимому, сильно перегрузив или зацепив за пенек.

Наши санки прослужили нам всю войну. Утром дедушка, взяв хорошо наточенный топор, впрягался в них и шел за хворостом. По воскресеньям сопровождал его и я. Мы спускались по извозу с довольно высокого нашего берега, шли по льду Оки, почти по колено покрытому снегом, и въезжали в ивняковые заросли. К весне от ивняка почти ничего не оставалось, но в половодье вся его площадь заливалась водой, покрывалась плодородным илом, и за лето вырастал новый ивняк, примерно такого же качества и количества. Могучая Ока не только обеспечивала нас дровами, но и подкармливала рыбой.

Моя самостоятельная рыбалка в Новоселках началась в зимние каникулы 1941/1942 учебного года. Дедушка узнал, что в это время налим мечет икру. Рыба собирается стаями у дна на стрежне реки. Самки трутся о камни и мечут икру, а самцы тут же оплодотворяют ее молоками. Это происходит примерно в полночь и продолжается два—три часа.

Местные мужики к зиме готовили трех- или четырехлопастные якорьки с бородкой и очень острыми концами и брусчатые грузила. Якорьки по одному привязывались к длинной прочной веревке, в 20—25 сантиметрах выше крепилось грузило. Рыбак пешней или ломиком делал над зоной нерестилища лунку диаметром сантиметров 20 и опускал туда весь этот снаряд. Другим концом веревка привязывалась к треугольному мотовильцу, за которое рыбак периодически дергал, протягивая якорек по дну на полметра-метр. Якорь вонзался в тело налима, позволяя вытащить рыбу на лед. Иногда рыба была крупной, приходилось расширять лунку и вытаскивать налима «под жабры» руками.

Дедушка привел меня на Оку в полночь. Я увидел, как делаются лунки, мне показали и всю снасть: якорек, грузило, веревку, намотанную на мотовильце. Стали доставать рыбу, большую, по килограмму и больше. Рядом на льду лежал проткнутый якорьком налимчик размером чуть больше моей ладони. Его подарили мне — «для кошки».

Изготовление якорька в кузнице стоило дорого, и дедушка отказался от этой затеи. А у меня появилась идея. Если в нерестилищах есть и мелкие налимы, их можно цеплять и маленькими якорьками, я как раз нашел маленькие крючки-двойники. Если их «спинками» связать по двое прочной ниткой в четырехлопастный якорек, привязать к бельевому шнуру, а в качестве грузила использовать ржавый кованный гвоздь из разрушившегося сарая, то устройство для блеснения — так называли эту ловлю в Новоселках — будет готово. Сделать треугольное мотовильце из ивового прутика нетрудно. Отсутствие пешни, да и силенок, — не помеха: в поисках хорошего нерестилища мужики делают много лишних лунок, которыми можно воспользоваться. Я изложил эту свою идею дедушке. «Воистину голь на выдумки хитра, — улыбнулся он. — Делай! Надо будет, помогу».

На следующую ночь я, почти одиннадцатилетний мальчик, со сверстником Володькой Борковым («ничего у тебя не получится») пришли на Оку, на нужное место примерно в километре от нашего дома. Ловля в разгаре. На льду лежат замерзшие или еще бьющиеся налимы размером чуть ли не в мою руку. Есть и отработанные, и заброшенные лунки. Разматываю свою снасть и опускаю в одну из них. Дергаю раз, другой, десятый. Нет ничего. Володька ухмыляется. Я еще надеюсь. Перехожу на другую лунку, третью. И вдруг — есть! Подтаскиваю к лунке и вынимаю. Налимчик в две мои ладони, граммов на двести. Снимаю с крючка, бросаю на лед, опускаю снасть снова. За час-полтора поймал с десятков налимчиков, причем парочку — «по локоть» (конечно, тех лет). Это была первая военная зима, самая морозная. Всю неделю нереста я каждую ночь, закутанный бабушкой во что только можно, в связанных ею шерстяных носках и валенках ходил на рыбалку.

Описывая свою жизнь, я как-то забыл о войне, которая была почти рядом. Немцы подошли к Москве. Их самолеты бомбили Рязань, но еще больше доставалось ближайшей к Новоселкам станции Рыбное. Она была крупным железнодорожным узлом, через который на фронт шли техника, боеприпасы, продовольствие, армейские части, а с фронта везли раненых. Когда бомбы попадали в эшелоны с боеприпасами, взрывы были столь сильными, что у нас в Новоселках, в двадцати километрах от Рыбного, звенели стекла и распахивались двери. Что творилось на станции и в прилегающем поселке, трудно было представить. Фашистские самолеты

пролетали и над Новоселками, но село их не интересовало, и бомбы на нас они тратить не хотели. Не обстреливали и из пулеметов.

К октябрю эвакуация захватила и Рязань. Много рязанцев приехало в Новоселки, в основном к родным и знакомым. Приехали рязанцы и в Пановскую школу, к моим тетям, которые там работали и жили, в плохую погоду и я оставался у них. Все это были их хорошие знакомые, тети отдали им свои кровати и диван.

В это время сверху пришел приказ уничтожить все документы. Для школ это значило уничтожить классные журналы, списки учеников и даже школьные тетради за все предыдущие годы. Учителям велели приготовиться в случае оккупации к уходу в леса. «Куда же мы пойдем? — говорили тети. — У нас и лесов здесь нет, а до Мещеры не доберемся, да и кто нас там ждет... Останемся здесь. А вот документы и тетради придется жечь. Надо только чистые листы сохранить»... Вечерами мы сидели у топящейся печки, просматривали каждый журнал и каждую тетрадь с 1910 года, с открытия Пановской школы, и пускали на сожжение, вырвав чистые листы. Спасенной таким образом чистой бумаги оказалось столько, что ее хватило всем ученикам вплоть до окончания войны. И это в то время, когда в других школах дети писали на оберточной бумаге и даже газетах.

В одну из ноябрьских ночей раздался требовательный стук в двери школы. Тетя, накинув шубейку, подошла к наружной двери.

— Кто там?

— Красноармейцы.

В двери ввалились сотни две бойцов. При оружии, все в белых полушубках, ушанках, теплых рукавицах.

— Где тут можно расположиться на ночлег? — спросил командир.

— Да вот, в классных комнатах, в коридоре. Здесь тепло, — ответила ему Александра Андреевна, открывая дверь в школьную часть здания. — Может, воды вскипятить, что-нибудь сварить?

— Нет, спасибо, у нас нет времени.

Бойцы, не раздеваясь, повалились на пол в коридоре и между партами. Мы, конечно, проснулись, но командир успокоил: «Ваша помощь не потребуется, спите». Встали солдаты до рассвета. Перекусив сухим пайком с кипятком, приготовленным школьной техникой в большом баке, они быстро построились. На прощанье командир извинился за беспокойство, поблагодарил за приют и сказал: — Теперь пойдем бить фрицев, отгоним их от Москвы. Попомните!

Это шли сибирские стрелки. И действительно, скоро началось Московское наступление наших войск, отбросившее врагов на 100—250 километров от Москвы. На этом наша подготовка к уходу в леса закончилась, бомбардировки Рязани прекратились, и рязанские эвакуированные вернулись домой. Фронт от нас отодвинулся, но война вплоть до 1944 года каждую весну напоминала о себе, присылая по Оке сначала от Калуги, потом от Орла останки погибших солдат и противопехотные мины в деревянных ящиках. Захоронение организовывали местные власти, минами занимались присылаемые саперы.

Приближалась первая военная весна. Дедушка купил двух сереньких кур-несушек, которые чуть ли не ежедневно стали снабжать нас яйцами. На освободившихся от снега местах появилась крапива. Щи из молодой крапивы — это же дополнительная еда, да еще с покрошенным в них яйцом!

Поднялся лед на Оке, начался ледоход. С грохотом льдины лезли друг на друга, а вода все прибывала. Вот она залила всю окскую пойму, вплоть до видневшихся на горизонте мещерских лесов, заполнила все низины, все ямы в широкой пойме. Постепенно вода стала сбывать, и на освободившихся от нее лугах образовалось много мелких пересыхающих летом озер «музг» с не успевшей оттуда выбраться рыбой. Ее, пренебрегая опасностью, вылавливали сачками, носившими здесь название «трепела». Однако для такой ловли нужна была лодка, силы и умение переплывать бурлящую Оку. Мне и дедушке это было не под силу, да и лодки у нас не было. Так что мы этим не занимались.

Не под силу нам был и «Исток». Недалеко от зарослей ивняка, зимой обеспечивавших нас «дровами», находилось большое озеро Прыщинское, в котором скапли-

валось много воды и рыбы. Оно соединялось с Окой длинной прорытой, но перекрываемой до поры до времени канавой. Когда вода в Оке становилась существенно ниже, чем в Истоке, перемычку разрушали, и вода вместе с рыбой по канаве устремлялась вниз к реке. Новосельские мужики перекрывали этот поток огромными сачками «наметками», а то и сетями, вылавливая практически всю зашедшую в Исток рыбу. Уловы были колоссальными, но тоже не для нас.

Всю войну в Новоселках работала рыбацкая бригада, которая монопольно ловила рыбу в Оке неводом и сетями. Вся пойманная рыба свозилась к большому погребу-леднику по соседству с нашим домом. Здесь она перебиралась, сортировалась по видам и размерам, грузилась на сани или телеги, а иногда и автомашины, и увозилась «для фронта, для победы». Колхозникам эта рыба не выдавалась на трудодни, не продавалась, и даже рыбаки не могли брать хоть сколько-нибудь ее домой. Уха на реке из только что пойманной рыбы — это дело святое, а с собой — ни-ни.

Я видел эту рыбу через разделяющий нас забор. Однажды сюда, к леднику, привезли, а потом с другой пойманной рыбой увезли громадного сома, который занял в длину все сани-розвальни, а хвост волочился по дороге. «Килограммов на 250!» — с гордостью оценил его бригадир.

А что было для нас? На освободившихся от полой воды заливных лугах еще до луговой травы появился дикий лук черемша. Вот им-то нас обычно и снабжали ездившие специально за ним местные жители. Вслед за черемшой и крапивой пошли сныть, щавель, клевер. В общем, наполнять живот уже было чем, вполне съедобным и даже вкусным. Вот только хлебушка бы побольше...

Весной 1942 года дедушка где-то достал пузырек резинового клея и стал чинить сапоги рыбакам — рыбаки получали спецодежду, в состав ее входили высокие резиновые сапоги. Они часто трескались и рвались. Резиновый клей плохо держал заплаты. Тогда мой дедушка придумал свежеприклеенную заплату по краю прошивать тонкой ниткой мелкими стежками, а потом шов покрывать еще одним слоем клея. Этот буквально ювелирный метод себя оправдал, и заказы поступали от рыбаков часто. Платили за это деньгами, молоком и картофелем. Но не рыбой!

Постепенно наша жизнь не только стабилизировалась, но и стала понемногу улучшаться. И все благодаря дедушке, мастеру на все руки, к тому же думающему. «Смотри, как делает дедушка, учись у него, старайся перенимать его навыки, умение. Все это в жизни пригодится», — писал мне отец с Урала. И, видит Бог, я старался.

В эту же весну дедушка с бабушкой купили маленького поросенка, невзрачного, рахитичного, по-видимому, почти даром. Задача — выкормить этого поросенка к осени в хряка, обеспечить себя солониной на следующую зиму. Чем кормить? Травой, клевером, отварной крапивой... Я стал ходить в ближайший овраг за клевером. А в это время в стране действовал закон, сурово наказывающий «за колоски». И вот однажды я с небольшой корзиночкой на согнутой руке вылезаю из оврага на дорогу к селу, а на меня мчится верховой. Вроде не вооруженный, но в форменной фуражке.

— Что несешь?

— Траву, клевер для поросенка.

— Ну-ка, покажи, — и берет у меня корзинку. Шурует в ней, но ничего крамольного не находит. — Это зачем тебе?

— Для маленького поросенка.

— А ты кто?

— Эвакуированный.

Осмотрел корзинку со всех сторон и вернул ее мне:

— Маленьких поросят кормят молоком и варевом.

И поскакал ловить других расхитителей государственной собственности.

Он, конечно, был прав. При наших «кормах» поросенок до конца остался хилым, пузатым кривоножкой и в конце октября едва превысил 20 килограммов. Тем не менее какое-то мясо в следующую зиму мы имели.

Более результативной была обычная любительская рыбалка. В выходные дни, а в каникулы почти каждый день я вставал на рассвете, брал пять донок и банку вечером накопанных червей и шел на Оку. Там со своими уже заброшенными донками,

все время на одном месте, сидел на металлическом бидончике, в воду которого пускал пойманную рыбу, высокий худой старик Иван Александрович. Крючки у него были настоящие и довольно большие, но ловили все тех же ершей и окуней. Только место это было прикормленное, и рыба у него клевала почаще. Часов в десять Иван Александрович говорил: «Шабаш! Пора завтракать». Сматывал свои донки и уходил, унося два-три десятка ершей и окуней, более крупных, чем ловились у меня и моих друзей. Мы же свою добычу, полтора-два десятка ершей и окуней, которых мы потом на «снизках» гордо несли домой, — нанизывали под жабры на нитку и пускали привязанной в воду: так она долго оставалась живой. Иногда раздавался сильный всплеск — щука хватала и уносила весь улов.

Как только подсыхала земля, в селе начиналась огородная страда. У бабы Веры всей земли-то был небольшой палисадничек перед окнами, да во дворе у разрушившегося сарая росло несколько кустиков одичавшей малины. В углу палисадника поднималось старое вишневое дерево. Когда-то принадлежавший ей большой сад в 1929 году был отобран в колхоз, как и дом и сад моего дедушки. В довоенные годы в этом объединенном саду под зорким оком колхозных сторожей вырастал урожай высоко-сортных яблок. Их аккуратно снимали, укладывали в корзины, перекладывая сеном или соломой, и отвозили на продажу в Рязань или Москву. Однако суровая зима 1941 года погубила яблони, и они стояли почти без листьев и совсем без цветов.

Дедушка обратился в сельсовет с просьбой дать нам, эвакуированным, немного землицы, чтобы посадить хотя бы картофель. Местные власти пошли навстречу и разрешили прирезать за домом вдоль всего двора полоску шириной метра в три, то есть около полутора соток, заросшей бурьяном земли. Мы вдвоем с дедушкой перекопали ее и засадили картофелем. Во дворе на удобренной годами земле сделали грядки и посадили огурцы, морковь, свеклу, капусту, лук, а по краю вдоль забора — несколько плетей тыквы. В палисаднике разместили выращенную в доме рассаду помидоров. Уход за посадками, прополка и подкормка в основном пали на бабушку, а вот поливка — на нас с дедушкой. На улице, прямо против нашего дома, был старый заброшенный колодец, а метрах в ста вдоль улицы — грязный пруд. Часть воды для огорода мы брали из колодца, часть — из пруда. Когда оба водоема обмелели, за водой пришлось ходить на Оку. До нее было около двухсот метров, но воду нужно было поднять на отвесный берег по узкой тропинке с вырубленными ступеньками. После продолжительного дождя ступеньки размывались. Восстанавливали их мужики и крепкие бабы, а латать приходилось и нам. Тропа-лесенка была такая узкая, что двум человекам с ведрами на ней было не разойтись. Местные бабы носили воду на коромыслах в больших ведрах, мы же — в руках, дедушка брал два небольших ведра, я — одно. Полив нашего маленького огорода был серьезной нагрузкой. Дедушка все делал медленно, размеренно, с частыми остановками на отдых.

Война сократила количество новосельских тружеников: мужчины ушли на фронт, крепкие женщины были мобилизованы на лесоповал, железную дорогу, промышленные предприятия. У нас наступили летние каникулы. Отдохнуть бы, да не получится — пошла в рост яровая пшеница, зазеленели поля, и в этой зелени было много сорняков. О гербицидах тогда слухом не слыхали — поля приходилось полоть. Кликнули на помощь школьников, и не только старших классов — в Новоселках была школа-семилетка.

Вышли мы в поле во главе с учительницами. Конца-края не видно. С собой у каждого класса — ведро с питьевой водой и металлическая кружка. Нас выстроили в линию и сказали: полоть — вон до того оврага. Местные ребята знали, какую траву надо выдергивать, а какая — пшеница, эвакуированным горожанам все показали, и мы двинулись. Июньское солнце печет, жара. Только начали полоть, ребята стали просить пить. Им велели терпеть: мол, перетерпишь — жажда пройдет. Призыва надолго не хватило, и учителям пришлось выдавать нам воду чуть ли не по глоточку. Медленно, но прополка продвигалась. Конечно, высокого качества работы от нас, малышни, ожидать было нельзя, но все-таки кое-как пропололи, самые крупные сорняки выдернули. Зеленыя при этом слегка притоптали, но ближайший дождь их приподнял. И так несколько дней. Плохо, бедно, но чем-то «помогли фронту».

Старшеклассники помогали на сенокосе. Вместе со взрослыми они выезжали за Оку, на заливные луга, где ворошили скошенную траву, сушили ее, собирали в копны. Хотя шла война, открытие сенокоса было праздничным. Колхозники и особенно колхозницы приодевались. Для общего стола резали несколько колхозных овец и в огромных котлах за рекой готовили традиционные мясные щи, в пекарне пекли хлеб. Я об этом застолье слышал, но видел лишь издали. Нас, малышню, туда не пускали: косы и вилы опасны, нас держали от них подальше.

От села, с высокого берега, была хорошо видна вся панорама сенокоса, столь праздничная в первый день и скромная в дальнейшем. На сенокос люди выходили очень рано: косы, коса, пока роса; обедали и отдыхали на месте работы, сушили скошенную траву, а к вечеру собирали ее в копны и, уставшие, потные, возвращались домой. Особенно доставалось колхозницам, у которых был скот. Им приходилось два, а то и три раза в день доить коров, утром и вечером кормить свинью. Ну и, само собой, готовить еду для семьи. У эвакуированных из городов домашнего скота обычно не было, мы были более свободны, но и питались хуже, хотя летом не голодали.

А в Новоселках тем временем зрел урожай. После массовых заготовок для фронта молодой крапивы и щавеля в конце июня начался сбор малины. Это был, пожалуй, основной источник дохода сельчан. Без малого месяц ягоды малины ежедневно созревают, а через день перезревают, теряя вид и прочность. Днем сельчане ножницами осторожно срезали ягоды в сплетенные из тонкого ивняка корзиночки — «кузовки». Кузовки ставились в большие «колхозные» корзины, и ночью хозяйки шли с ними на пристань к отходившему в три часа пароходнику «Шторм». В семь утра в Рязани они занимали места на рынках. Все продать и успеть сделать покупки — хлеб, крупу, сахар, соль — надо было к отходу того же «Шторма» в 16.00. На пароходе бабы сначала обменивались новостями, но вскоре дружно засыпали. В 22.00 «Шторм» причаливал к нашей пристани, и торговки спешили домой — поесть, сделать кое-что по хозяйству и снова нагрузить корзину кузовками со свежей малиной, нарезанной за день домашними. Ночью — снова на пароход, досыпать по пути. Эта традиция сбора и продажи малины сохранялась по крайней мере до середины 1980-х годов. Сначала тихходный старенький «Шторм» заменили скоростные катера «Ракета» и «Заря», а потом рязанское такси. Машины делали по несколько рейсов в день, шоферы хорошо зарабатывали, а Рязань оставалась на этот период практически без таксопарка.

В этой месячной круговерти участвовали все члены новосельских семей. Хуже было одиноким: у них следующий после рыночного день был занят обрезанием малины, наполовину двухдневной, застаревшей. Такие одиночки иногда нанимали посторонних людей. Нанималась и наша семья. За день мои старички и я, работая почти без отдыха, едва успевали подготовить одной из соседок очередную корзину. У нас стали появляться хлеб (иногда белый), пшено, соль и даже сахар.

Дальше следовала уборка зерновых: ржи, пшеницы, проса, овса. Это все «шло на фронт», поэтому строго, безжалостно действовал изданный Комитетом Оборона закон «о колосках», по которому за каждый взятый с поля колосок арестовывали. Урожай убирали комбайнами, косилками на тракторной или конной тяге и вручную. Отпавшие же колоски посылали собирать нас, школьников. При этом строго следили, чтобы никто не взял ни колоска: все для фронта, все для победы.

Наступала пора уборки урожая с приусадебных участков. Черную смородину, сливы, среднеспелые яблоки и груши колхозники тоже везли на продажу в Рязань, но такого ажиотажа, как с малиной, не было: сроки их созревания и хранения позволяли выходить с ними и на более далекие рынки, вплоть до Москвы.

Следующая волна мобилизации всего трудоспособного населения была связана с выкапыванием картофеля и сбором овощей: свеклы, моркови, турнепса. Это надо было делать быстро, чтобы не попасть под дожди и тем более под снег. К этим работам снова привлекали и нас, малышню. В очень плохую погоду мы под навесом или в сарае обрывали от ботвы семена свеклы, моркови, турнепса. Больше всего нам нравилось работать с турнепсом — сочной кормовой культурой. Копать крупный, тяжелый турнепс было нам не под силу, а вот перед закладкой в овощехранилище его надо было очистить от земли и подсушить — тут нас охотно привлекали. Мы

вытирали плод о мокрую траву (воды поблизости, как правило, не было) и уплетали, лишь хруст стоял. Иногда после такого стола был жидкий стул, но это потом, а пока — сладко... Ели мы и свежевыкопанную свеклу, и, уж конечно, морковь...

В начале октября весь урожай был убран, овощи заложены в хранилища, представлявшие собой длинные крытые траншеи, и засыпаны соломой. По мере «нужд фронта» траншеи вскрывались, овощи грузились на подводы или грузовики и отвозились в Рыбное, на железнодорожную станцию. На трудодни овощи не выдавались. Для себя колхозники выращивали их на приусадебных участках и хранили в подполах и погребах.

Нас, школьников, больше не отрывали от учебы. Выпадал снег, замерзала река, и мы выходили кататься на санках и «ледянках» — больших, но низких, плетенных из ивняка корзин, дно которых снаружи обильно смазывалось свежим навозом, замораживалось, потом поливалось водой и опять замораживалось. Получалось хорошо скользящее, но почти неуправляемое устройство, в которое забиралось по несколько ребят. У меня такой корзины не было, но была сделанная дедушкой из гнутых дощечек от распавшейся бочки лодка-плоскодонка с мощным носом и широкой кормой. Я обливал ее снизу водой и замораживал. Скользила она очень хорошо.

Как-то уже учеником четвертого класса я с Володькой Барковым пошел на лыжах за Оку, за старое ее русло, за вырубаемый на топливо ивняк. Там были два озера: большое длинное Требутино и маленькое круглое Осье. И вот на меньшем мы обнаружили интересное рыболовное устройство. На очищенной от снега небольшой площадке, по-видимому, пешней было вырыто корыто примерно в половину толщины льда. В середине корыта, в оставленном нетронутым цилиндрическом выступе было сделано сквозное отверстие, через которое под давлением льда вода, вместе с задыхающейся из-за недостатка кислорода рыбой выплескивалась в корыто. Обратно рыба уплыть не могла — упиралась в центральный выступ. Как мы потом узнали, это устройство, напоминающее перевернутую чернильницу-непроливайку, у местных рыбаков называлось «полотнянка». Когда мы на нее наткнулись, в ней плавало десятка полтора некрупных вьюнов. Всю более крупную рыбу хозяин полотнянки, по-видимому, забрал. С помощью густых веток мы выбросили вьюнов на лед, нанизали на ивовые прутьики и взяли с собой.

Через несколько дней мы, взяв с собой пешню, трепело и мешки типа солдатского «сидора», пришли на лыжах на одну из окских стариц и сделали большую полотнянку. Не успели мы как следует пробить горловину, как из нее хлынула вода, а с ней и рыба, в основном крупная и средних размеров плотва. Набив ею мешки, мы поехали домой. Думаю, что в каждом из наших мешков было не менее четырех-пяти килограммов рыбы. Почему мы не повторили свою вылазку, не помню. Однако больше на такой промысел я не ходил, продолжая ловить рыбу либо блеснением, либо на донки и поплавочную удочку.

Вспоминается и такой случай. Весной 1944 года во время половодья я с Шуркой Горячевым пошел ловить рыбу на Оку в так называемые «горы» с очень высокими и пологими берегами — место выпаса личного скота колхозников. Ловили мы прямо против вырубленного к этому времени ивняка, теперь затопленного внешней водой. Вдруг смотрим — с того берега к нашему плывет заяц прямо, что называется, к нам в руки. Мы попытались поймать у воды, но он проскользнул между нами и, бросившись в оставленную с зимы кучу нарубленного ивняка, застрял в ней. Мы достали его оттуда и принесли к Шурке домой. На следующий день я с сочной травой для зайки пришел к Шурке, и...меня угостили куском зайчатины. Я не отказался.

Много лет спустя я рассказал эту историю жене. Она не могла простить мне этот проступок: «Зайчик переплыл реку, спасся, а ты его съел». И никакие доводы, что для сельчан-охотников зайчатина была обычным продуктом, а судьба зайцев была такой же, как овец, свиней и кроликов, да к тому же шла война, — на нее не действовали...

А теперь я скажу главное о своих старичках.

Мой дедушка, Иван Иванович Мостинский, приехал в Новоселки в 1897 году. Он, молодой священник, только что окончивший Сапожковское духовное училище, женился на сироте Анне Константиновне Скворцовой и получил место настоятеля

местного храма, занимаемое в течение не одного десятилетия лет ее отцом Константином Егоровичем (отцом Константином). Храм в это время находился в стадии перестройки — вместо старого деревянного строился дошедший до нашего времени большой кирпичный храм в принятом на рубеже веков псевдовизантийском стиле. Уже при отце Иоанне Мостинском храм был достроен, в 1903 году был освящен его иконостас.

Отец Иоанн создал большую хорошую библиотеку, в основном классической литературы. Вокруг него собралась сельская интеллигенция: учителя, фельдшер, чиновники, читающие крестьяне. В его доме устраивались литературные вечера, ставились сценки и даже спектакли, некоторые из них игрались потом в школе для сельчан. В этой атмосфере рос мой отец, родившийся в 1903 году.

Грянула революция. Начались гонения на церковь. В 1929 году у дедушки отобрали дом, растащили библиотеку. Он перешел жить к теще в соседний дом — в нем мы и жили в эвакуации во время войны, — но службу в церкви не бросал. Его дважды арестовывали, ссылали в лагеря (один раз, насколько мне известно, в Нижегородскую область). В 1935 году церковь закрыли совсем. Дедушка с бабушкой поехали в Москву к сыну, заниматься нашим с Ниночкой воспитанием...

После закрытия церкви у дедушки на руках остались только те элементы церковной одежды и предметы церковной службы, которые хранились у него дома и использовались для домашнего моления или при посещении больных и умирающих. Это епитрахиль, расшитое узкое полотно, надеваемое через голову и спускающееся почти до пола; наперсный крест, надеваемый поверх епитрахили; кадило и немного ладана. И вот с началом войны все это извлеклось на свет. На церковные праздники у нас закрывались окна и двери, дедушка облачался в епитрахиль, надевал крест, становился перед аналоем с соответствующей церковной книгой и начинал службу для бабушки и меня, а главным образом — для себя. В нужный момент разжигался уголь в кадиле, клался маленький кусочек ладана, и в нашей комнате создавалась церковная атмосфера. Мне стоять час-полтора, а то и два, было трудно, и я, приседая на стул, отдыхал. Столь серьезная конспирация вызывалась опасностью возможных репрессий, уже испытанных дедушкой.

Но шла война. Православная церковь активно и морально, и материально помогала стране и фронту. Менялось и отношение к ней властей, в первую очередь Сталина. Мы же ничего этого не знали и по-прежнему прятались, но кое-какие веяния дошли и до Новоселок. Это произошло летом 1943 года. Сначала бабы, получившие очередную партию «похоронок», обратились к дедушке с просьбой отпеть погибших (ближайшая действующая церковь была в Летове, примерно в двадцати километрах от Новоселок). Он сделал это раз-другой в страшной тайне. Но бабы как-то прозондировали отношение к этому сельского начальства и успокоили дедушку. И, насколько я помню, на Рождество 7 января 1944 года дедушка впервые служил праздничную литургию в нашем доме для полутора-двух десятков местных женщин. Причем некоторые из них, припомнив праздничные службы в новосельской церкви до ее закрытия, стали исполнять церковные песнопения.

Будучи оторванными от жизни страны отсутствием радио и печати (получали лишь газетку — листок «Сталинец»), мы не знали о том, что уже с начала войны репрессии в отношении церкви и ее служителей были прекращены, а 4 сентября 1943 года Сталин пригласил всех трех оставшихся еще на свободе митрополитов, в том числе и патриаршего местоблюстителя Сергия, к себе, обещал поддержку церкви, дал указание на освобождение и возвращение всех арестованных и отбывающих сроки в лагерях ГУЛАГа священнослужителей. Он также дал разрешение на открытие церквей и рекомендовал провести в ближайшее время избрание нового (после смерти в 1925 году последнего патриарха Тихона) патриарха Московского и всея Руси. Для дедушки молчаливым признанием его деятельности местной властью было предложение подписаться на четвертый военный заем, что сразу же и было сделано, ибо сумма была вполне приемлемой.

С этого момента дедушка, для всех отец Иван, осуществлял церковную службу каждое воскресенье и по праздникам. Приходили только женщины. Стоял каждую

службу и я, тихонько притулившись между печкой и окном. Конечно, все присутствовавшие это знали, но никогда и никто из моих сверстников не говорил мне об этом, по-видимому, соблюдая строгий родительский наказ. Хорошо помню Пасху 1944 года. Обилие крашенных яиц, святить которые вместе с куличами и пасхой приходили к нам и дети, в основном девочки (мальчиков не помню), все нарядно одетые. Хороший солнечный день. На улице праздник, хотя и идет война.

Несмотря на регулярно приходившие похоронки, жизнь в селе как-то стабилизировалась. Стали возвращаться из госпиталей тяжелораненые, часто без руки, ноги, обгоревшие в танках. Их принимали с радостью: все-таки живой! Стали нарождаться и дети. Враг изгнан с территории нашей страны. Но и там, за нашей границей, идут бои, гибнут люди. Народ ждет: когда же?

И наконец пришла Победа! В наш дом она ворвалась так. Восьмого мая к вечеру я пошел на Оку ловить рыбу. Забросил донки. Стою, разговариваю с ребятами. Вдруг с высокого крутояра, чуть ли не на всю пойму реки, истошным голосом кричит баба: «Гарик! Гарик (так меня звали в детстве)! Беги домой! Дед умирает». Оставляю донки, бегу. Быстро по вырубленным ступенькам влезая на высокий берег. Вбегаю в дом. Дедушка лежит в постели, пытается улыбнуться. Рядом плачущая бабушка. Через несколько минут вбегает всеми уважаемый местный фельдшер Иван Николаевич Кожетев. Осмотрев и прослушав дедушку, как-то очень спокойно сказал бабушке и мне: «Инфаркт, несильный. Бог даст, выздоровеет. Сейчас для него главное полный покой и умеренное питание. А ты, Игорь, завтра утром до школы прибеги ко мне за лекарством». И ушел.

Наутро, девятого мая, иду к нему на улицу Завал, что примерно в километре от нашего дома. Иван Николаевич встречает меня на крыльце с лекарством в руках и... новостью: «Война кончилась! Германия капитулировала! Передали по радио». Он услышал об этом по своему детекторному (были и такие, в большинстве своем самодельные) радиоприемнику, длинная антенна которого была спрятана в кроне стоящего перед домом высоченного тополя. Оказывается, всю войну он надевал наушники и потихоньку от властей сквозь треск и гул слушал наши же последние известия.

Я принес дедушке лекарство, сообщил о капитуляции Германии и нашей Победе и пошел в школу. Там уже знали о Победе. Нас, старшеклассников, построили перед зданием школы. Директор Иван Кондратьевич Марнуков сообщил о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, поздравил нас с Победой и распустил по домам. Помню, возвращаясь я из школы и слышу почти в каждом доме громкие, душу раздирающие плачи по погибшим, а их было очень много. В некоторых домах были получены две, а то и три похоронки. Были сообщения и о пропавших без вести. За надежду, что они живы, их родным приходилось платить дорогой ценой.

В остальном жизнь в Новоселках потекла без существенных изменений. Мы, конечно, сельскохозяйственными работами той весной не занимались. Дедушка, пролежав в постели около месяца, стал вставать, но служить больше не служил. Прихожанки навещали и подкармливали его, очень сожалея, что он уезжает.

В начале июня я на все «пять» окончил шестой класс, дедушка почти выздоровел, и мы стали ждать разрешения вернуться в Москву. В середине июня оно было получено папой и переслано нам. Мы погрузились на пароход и приехали в Москву. Московская наша квартира стояла нетронутая, но с частично отклеившимися обоями и с черными пятнами промерзания на наружной стене. Репортаж о Параде Победы 24 июня 1945 года из черной хрипящей «тарелки» я слушал в нашей московской квартире, а потом смотрел в кино.

Стала налаживаться московская жизнь, новосельский дом папа осенью продал, а деньги поделил между бабушкиными братьями, их вдовами и племянницами. Купивший дом бригадир рыбацкой артели полностью перестроил его, так что приютившего нас в войну в Новоселках дома не стало.

М.С. Петровых — А.Т. и М.И. Твардовские

«Я очень не хочу, чтоб наш разговор прервался»

(из переписки)

В литературе о поэте Марии Петровых, во вступительных статьях к сборникам ее стихов, в воспоминаниях о ней имя поэта А. Твардовского, как правило, не упоминается: его не относят к поэтам, ей близким. В Биографическом словаре «Русские писатели 20 века» (М.: Научное изд-во БРЭ, 2000) твердо обозначен круг «великих и дорогих» для М. Петровых поэтов, определявших для нее «уровень требований к себе», «горизонты творчества» и «высоту ее идеала». Это Б. Пастернак, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Цветаева (с. 550—551). Публикуемые письма М. Петровых к М.И. Твардовской — жене поэта — позволяют этот круг расширить: в них говорится о значении для нее поэзии А. Твардовского. Высказывания М. Петровых о его поэмах и его лирике по-своему подтверждаются воспоминаниями близкого ей человека — поэта И. Лиснянской. По ее свидетельству, список любимых М. Петровых поэтов-современников возглавлял А. Твардовский (Лиснянская И.Л. Хвастунья // Знания, 2006, № 1, с. 52—53). О глубоком понимании творчества А.Т. и его высоких оценках Марией Петровых сохранила воспоминания С.Г. Караганова — заведомо поэзии «Нового мира». Она близко общалась с Марией Сергеевной еще в эвакуации в Чистополе, а затем будучи ее соседкой по дому на Беговой улице. Признания, сделанные М. Петровых в письмах к М.И. Твардовской, позволяют расширить традиционные для нашей литературы представления о ее вкусах и пристрастиях в русской поэзии.

М.С. ПЕТРОВЫХ — А.Т. ТВАРДОВСКОМУ

<Начало февраля 1943 г.> г. Чистополь

Дорогой Александр Трифонович, большое спасибо Вам за Теркина¹, очень тронута Вашим вниманием. Вы, вероятно, знаете, что дочка моя выздоровела. У нее была эритема. К моему приезду Арина почти поправилась. В прошлое воскресенье мы с нею пировали у Марии Илларионовны. Примите мои запоздалые поздравления с днем рождения Ваших дорогих. Было здесь у вас все очень хорошо. Пришли Исаковские, Дерман и Клава Стрельченко². Аришка ужасно объелась, у нее на другой день болел живот.

1 Письмо М. Петровых Твардовскому написано по возвращении ее в Чистополь из поездки в Москву, где она встречалась с А.Т. Судя по содержанию, оно датируется началом февраля: день рождения Марии Илларионовны и дочери Оли — 28 января. М.В. Исаковский в письме А.Т. из Чистополя 3 февраля 1943 г. рассказал об этом же семейном празднике, на котором присутствовал вместе с названными М. Петровых гостями (Исаковский М.В. Соч. в 5 тт. Т. 5. М.: Художественная литература, 1982. С. 61—62).

Мария Сергеевна благодарила А.Т. за первое издание поэмы «Василий Теркин» (Воениздат, 1943; подписано к печати в конце декабря 1942 г.).

2 Михаил Васильевич Исаковский (1900—1973) — поэт, песни которого поют и в наше время; Лидия Ивановна — его жена, врач-хирург, работавшая в Чистополе в госпитале; Абрам Борисович

Оленька была прелестна. Мне кажется, Марии Илларионовне моментами становилось очень грустно оттого, что Вас с нею нет³. Должна сказать, что книжкой Вашей, как только она была получена, узурпаторски завладел Чистопольский радио-лев, Арсений Дмитриевич Авдеев⁴ и не отдает мне, невзирая на горькие мои упреки. Он, видите ли, ежедневно где-то выступает, читая Теркина, причем меня на эти чтения не приглашает. Я знаю, что он мечтает получить от Вас Теркина с дарственной надписью. Сделайте это доброе дело.

Думаете ли Вы приехать сюда?

Я хочу выехать в Москву в первых числах марта⁵.

Здесь я пока совсем не работаю и поэтому на душе погано. В то же время я совершенно счастлива, т.к. Арина со мною.

Вернул ли Ваш Сергей Дмитриевич мой долг? С деньгами у меня будет туговато и мне впору опять у Вас занимать. Но вы не посылайте мне, т.к. переводы даже телеграфные идут долго, а я через месяц уеду.

Светильник мой догорает — кончаю письмо.

Скоро 19 февраля, день рождения Аринки, и я надеюсь, что Мария Илларионовна с дочками придет ко мне. Сердечные отношения с Марией Илларионовной мне очень дороги, и я надеюсь, что они никогда ничем не будут омрачены.

Я Вас очень прошу, Александр Трифонович — справьтесь у Скосырева⁶, все ли сделано для моего въезда в Москву, т.е. послана ли мне телеграмма об отсрочке моей командировки и послана ли телеграмма в Управление милиции Казани с просьбой продлить мой пропуск. Первая телеграмма абсолютно необходима: только на основании ее — пропуск может быть продлен.

Крепко жму Вашу руку. М. Петровых

Ваши «Гвардейские» очень мнегодились, они облегчили трудности моего пути.

М.С. ПЕТРОВЫХ — М.И. ТВАРДОВСКОЙ

16 июня 1975 г. Голицыно

Дорогая Мария Илларионовна, мне очень грустно, что прервалась наша переписка — так надолго и, не сомневаюсь, что это по моей вине.

Во второй половине ноября 72 г. был у меня инфаркт, и пролежала я (дома) до февраля 73 г. С помощью очень хорошего врача и с Аришиной помощью я выздоровела, но с тех пор, как говорится, — «живу на лекарствах». Я ничего не знаю о Вас.

Дерман (1880—1952) — литературовед, автор ряда книг и статей об А.П. Чехове; «Очень хороший старик, а живется ему тут плохо», — писал о нем М. Исаковский в упомянутом выше письме. Клавдия Николаевна Стрельченко — вдова поэта Вадима Константиновича Стрельченко, дружившего с А.Т., погибшего на фронте в первый год войны.

3 А.Т. поздравил жену с днем рождения телеграммой 24 января. В письме 29.1.43 он сообщал, что, как «маленький подарок» к ее дню рождения, написал «специальную главу» «Теркина» — «О любви». Он думал прочесть ее вечером 28.1, когда М.И. была бы дома. Но «главу не успели пропустить по инстанциям» и только 6.2. она прозвучала по радио. Поэт писал жене: глава «О любви» «не только посвящена тебе, но и родилась с мыслями о тебе» (Твардовский А.Т. «Я в свою ходил атаку...» Дневники. Письма. 1941—1945.). М.: Вагриус, 2005. С. 163, 165).

4 Арсений Дмитриевич Авдеев (1901—1961) — искусствовед, актер, сын Д. Д. Авдеева — местного врача, брат В.Д. Авдеева — биолога. Дом семьи Авдеевых стал для эвакуированных писателей в Чистополе одним из культурных центров. А.Д. Авдеев постепенно прочитал по чистопольскому радио всю поэму Твардовского.

5 А.Т. приезжал в Чистополь навестить семью в январе 1942 г. и в апреле 1943 г. — оба раза на три дня.

М. Петровых вернулась в Москву в июне 1943 г. В Биографическом словаре «Русские писатели 20 века» ошибочно указано, что она прожила в Чистополе до сентября 1942 г. (С. 550).

6 П.П. Скосырев — поэт, переводчик, работник аппарата Союза советских писателей.

Прежде всего — здоровы ли Вы? Как дочки Ваши — т.е. здоровы ли? Как работа Ваша? Что удалось сделать?

Я знаю, что недавно вышла книга стихов Александра Твардовского⁷ — но ее у меня нет и некого попросить, чтоб достали. Если есть у Вас свободный экземпляр — пришлите, очень об этом прошу.

Я сейчас живу в Голицыне, в писательском доме; здесь тихо, и м.б. смогу поработать. Говорят, что в последней книге А.Т. есть стихи, ранее не печатавшиеся и совершенные.

Самым лучшим стихотворением, написанным после Пушкина, я считаю стихотворение Твардовского «Некогда мне над собой измываться». Оно поразило меня, когда я впервые прочитала его в книге 1967 года⁸. А теперь оно для меня еще сильнее. Я многим читаю его, и многие у меня его переписывают.

Если «Муравия» и «Теркин» (весь) бесподобны, то лирика разве уступает поэмам? Трудно сказать, где Твардовский сильнее.

Я слишком знаю, как мало помогает время при настоящем горе. Помогают разве что заботы о близких, неизбежные.

Очень грущу о Сильве Гитович. Вероятно, Вы ее знали. Возможно, в архиве Гитовича есть письма Твардовского, но где этот архив — не знаю⁹. А Сильва была замечательным человеком — светлым, сильным, скромным.

Для меня поэзия Твардовского, всегда любимая, становится все более необходимой.

Я очень не хочу, Мария Илларионовна, чтоб наш разговор (в письмах) совсем прервался. Мне слишком грустно без Ваших писем, и такое чувство — будто я что-то бесценное потеряла.

Мои почтальоны (московские) ведут себя ужасно: швыряют письма прямо на лестницу, хотя есть почтовый ящик. Поэтому прошу Вас — когда будет свободная минута и желание написать — пишите мне по временному Аришиному адресу: Москва, Давыдовская улица, д.10, кв. 5. А.В. Головачевой для М.С. Петровых. Так будет надежнее. Это Аришина рабочая резиденция, пустая однокомнатная квартира наших знакомых (хозяйка живет на даче). Во всяком случае, до октября, а надеюсь и дальше, этот адрес действителен. У нас дома работать трудно — телефон звонит бессовестно часто.

И я вот в Голицыно уехала, чтобы если не поработать, то хоть немного мысли в порядок привести от московской суматохи. Я совсем ошалела. Хотя сама нигде не бываю, но покоя все равно нет.

Крепко целую Вас, всегда помню и люблю.

Ваша М. Петровых.

Нет ли писем Александра Трифоновича у Кайсына Кулиева¹⁰?

М.И. ТВАРДОВСКАЯ — М.С. ПЕТРОВЫХ

26 июня 1975. Пахра

Дорогая Мария Сергеевна!

Рада была получить Ваше письмо, хотя подотчет его невеселый. Я, подобно Вам, нигде не бываю, да и у меня за исключением двух — трех человек редко кто бывает. Поэтому о болезни Вашей узнала из Вашего же письма.

7 Речь идет о книге: Твардовский А. Стихотворения (М.: Современник, 1975). В нее вошли стихи 1931—1968 гг.

8 Стихотворение впервые напечатано в Собр. соч. А. Твардовского в 4 тт. Т. 3. М., 1960. С. 235.

9 Сильва Соломоновна Гитович (Левина) (1913—1974) — жена Александра Ильича Гитовича (1909—1966) — поэта, переводчика, земляка А.Т. А. Гитович печатал свои переводы из корейской и китайской поэзии в «Новом мире» Твардовского.

10 Кайсын Шуваев Кулиев (1917—1985) — балкарский поэт, автор «Нового мира» Твардовского. Бывая в Москве, всегда встречался с А.Т., но переписка между ними не велась.

Я ничем серьезным за это время не болела. Только усталость накапливается, подобно илу. Устиляет дно. Усталость такая, что заставляю себя вставать с постели, днем борюсь с нею с помощью чая, а то и не борюсь — иду и засыпаю. Дочки здоровы — но сильно устают из-за перегрузок. Это судьба людей конца XX в. Недаром был лозунг: отставших бьют.

У Вали сегодня в Юманите напечатано письмо (открытое) Солженицыну, на его последнюю книгу «Бодался теленок...». В ней он очень нехорошо и в разных местах оценивает работу, да и жизнь Александра Трифоновича¹¹. У Оли есть успехи в работе на театральной ниве: оформление постановки «Тиля Уленшпигеля» было признано театральной публикой успешным¹². Вот, пожалуй, все мои семейные новости. Что же касается работы, то ей, вероятно, не предвидится конца.

Работы еще много. Архив осваивается вместе с его разбором и упорядочиванием. Но работа, связанная с издательствами, — очень стала трудна, забюрократизирована. К ней подходят так же, если не хуже, как к сдаче кирпича: сдай все, до строки, а дальше — дело не твое. Сиди. Когда надо будет — позовем, дадим вычитать, исправить ошибки, найти огрехи наборщика и так называемого редактора. И опять — сиди. Когда надо будет (когда уже выйдет книга и пройдет время) — деньги переведем и столько, сколько, наверно, больше нигде наследникам не платят.

Словом, этот больной вопрос меня занимает, и я уделила ему излишне много места.

Что сделано? Вернее, что лежит. В «Сов. Пис.» более полутора лет пролежала книга воспоминаний современников А.Т. Начала я работать над сбором материалов в 1972 г. Собрался солидный том¹³. Здесь и развернутые воспоминания и «коротышки». Мне все казалось важным и ценным. Потому что, думалось, из этой мозаики только и может возникнуть более или менее достоверное. Наверно, я имею право сказать, что никто его не постиг. Это относится и ко мне.

Сдано собрание сочинений в 6-ти томах. Только самый последний том — новый. В нем более шестисот писем. Три объемные переписки (Исаковский — Маршак — Соколов-Микитов)¹⁴. Ранее других, думаю, выйдет «Василий Теркин» с приложением писем (стихотворных и прозаических) читателей этой поэмы¹⁵. Это опять в «Современнике». Только в этом изд-ве что-то сделали за три с половиной года после смерти Александра Трифоновича.

11 Твардовская В.А. Открытое письмо А.И. Солженицыну по поводу его книги «Бодался теленок с дубом... Очерки литературной жизни». Первоначально напечатано в итальянской коммунистической газете «Унита» (1975, 24 июня), а затем перепечатано в других зарубежных изданиях. Последняя публикация: А.Т. Твардовский. Pro et contra / Антология. Состав. А.М. Турков. СПб.: изд-во Русской христианской гуманитарной академии. СПб., 2010. С. 679—687.

12 О.А. Твардовская и ее муж В.А. Макушенко были художниками-сценографами спектакля «Тиль» в постановке М.А. Захарова (Ленком). Выпущенный в 1974 г., «Тиль» продержался в репертуаре до 1992 г.

13 Сб. «Воспоминания об А.Т. Твардовском» (состав. М.И. Твардовская) вышел в изд-ве «Советский писатель» в 1978 г. Во 2-м издании (1982), чтобы поместить ряд новых материалов, пришлось снять некоторые из напечатанных в 1-м издании из-за ограниченного объема сборника.

14 В т. 6. Собр. соч. А.Т. (Письма. Состав. и примеч. М.И. Твардовской) вошли четыре объемных блока писем А.Т. Их адресаты: М.В. Исаковский, С.Я. Маршак (1887—1964) — поэт, переводчик; И.С. Соколов-Микитов (1892—75) — прозаик; В.В. Овечкин (1904—1968) — публицист, прозаик, член редколлегии «Нового мира» с 1958 г. Многолетняя переписка А.Т. с этими его друзьями и авторами «Нового мира» опубликована М.И. Твардовской: с М. Исаковским в «Дружбе народов», 1976, №№ 7—9; с С. Маршаком в «Литературном обозрении», 1978, № 3; с И. Соколовым-Микитовым в журнале «Север», 1978, №№ 4—6; с В. Овечкиным — там же, 1979, № 12, 1980, № 2.

15 Речь идет о книге: Твардовский А. Василий Теркин (Книга про бойца). Письма читателей «Василия Теркина». Как был написан «Василий Теркин» (Ответ читателям). М.: Современник, 1976. В издательстве «Современник», кроме упомянутой книги «Стихотворений» А.Т., вышли в 1971 г. «Поэмы» А.Т. с приложением пластинки с записью чтения автором «Василия Теркина».

Недавно я получила от М. Дудина его опубликованное в «Авроре» предисловие к «Теркину», переведенному на английский и испанский языки¹⁶. Я оспорила одно место — утверждение, что вершиной творчества Твардовского является «В< асилий> Т< еркин». Оспорила я буквально с позиций самого А.Т. — не вдаваясь в доказательствa противного, лишь ссылаясь на то, что не в таком предисловии (т.е. не для иностранного читателя, который почти ничего не знает о Твардовском) надо об этом заявлять. Супруги Дудины надулись. Особенно она. Но дело не в этом, а в том, что мне пришлось по душе заявление Ваше — иного толка — о лирике. И, я думаю, в лирике есть столько отдельных звезд и галактик, что она стоит и рядом с «Теркиным».

Кажется, надо закругляться.

Книгу «Стихотворения» я Вам посылаю.

Тогда, когда я писала Вам, мне очень хотелось повидаться с Вами и поговорить. У меня не так много друзей, с которыми я хотя и редко вижусь, но выделяю их из общей массы знакомых. Когда-то я Вас выбрала сама. Это когда в Чистополе собрались как-то у меня Б.Л. Пастернак, еще кто-то и Вы читали свои стихи. Меня удивила их спокойная музыка при общей тогда тяге к звукам барабанов и медных тарелок. Обратила я на Вас внимание А.Т. И внутренне считала себя причиной Вашего с ним знакомства. И всегда, даже годами не встречаясь, я как-то держала в виду Вашу судьбу.

Я очень надеюсь, что нынешнее, хорошее лето даст Вам возможность поправиться и работать не только над переводами, но и над своими стихами.

Сильву Гитович я видела лишь однажды: она привезла мне в Москву письма А.Т. к Гитовичу. У Кулиева вряд ли что будет¹⁷. Он писать не любит. Они встречались, разговаривали. А нет ли у Вас, Мария Сергеевна, писем А.Т.? Я сделала бы с них ксерокопии.

Обнимаю Вас. Ваша М.И. Твардовская.

М.С. ПЕТРОВЫХ — М.И. ТВАРДОВСКОЙ

13 июля 1975 г. Голицыно

Дорогая Мария Илларионовна, спасибо Вам за книгу и за письмо. Спасибо за то, что не отменили меня, хотя я моим долгим молчанием вполне заслужила «отмену». Но я всегда помню Вас, по-хорошему помню. Начиная с тех дней и ночей — когда мы, лежа бок о бок и не лежа, в переполненном вагоне, еле тащившимся поездом ехали из Москвы в Казань. Вы мне тогда уже полюбились, и очень помню Оленьку, которой было полгода. Да, я чувствовала потом, что Вы меня как-то отличили, и очень гордилась этим. Однажды, зайдя к Вам, я встретила (впервые) Александра Трифоновича, Вы познакомили меня с ним, и я постаралась поскорее ретироваться, чтоб не мешать вам обоим — ведь он и приезжал-то, наверное, ненадолго¹⁸.

Потом я встретила его уже в Москве — это было начало лета 1943 года, все литераторы, бывшие в Москве, обедали (по карточкам) в Клубе писателей, вот там я встретила его. Он был ко мне приветлив и внимателен, и в тот свой приезд подарил

16 Михаил Александрович Дудин (1916—1903) — поэт. Имеется в виду статья: Дудин М.А. Поэзия народной души // Аврора, 1975, № 5. С. 65—66.

17 Письма А.И. Гитовичу см.: Твардовский А. Сочинения. Т. 6. С 80—81; Его же. Письма о литературе. М.: Советский писатель, 1986. С. 135—136. Опубликовано лишь одно письмо А.Т. к Кулиеву — сопроводительное к письму болгарского переводчика, жаловавшегося на отсутствие отклика от автора стихов, которые он перевел. А.Т. просил Кайсына Шуваевича написать в Болгарии (Соч. Т. 6. С. 285).

18 Первый раз А.Т. приезжал в Чистополь зимой 1942 г. Мария Илларионовна вспоминала, что командированный в Москву с фронта на писательский пленум в январе 1942 г., А.Т. «вырвал сутки, чтобы навестить семью». Он прилетел самолетом в ночь на 28 января, когда у М.И. и Оли был день рождения. Оленьке исполнился год. Утром 29 января А.Т. собрался в обратный путь, но улететь из Чистополя смог только 31 января (Твардовский А. «Я в свою ходил атаку...» С. 64).

мне две маленькие книжки своих — «Василия Теркина» — эти книжки вышли одна за другой — и надписал их очень доброжелательно.

Вот и все, что у меня есть от него, писем — ни одного нет. После этого его приезда в Москву я с ним встречалась мельком. С благодарностью вспоминаю, что он не забыл пригласить меня в ред. «Нового мира», когда читал там «Теркин на том свете»¹⁹. Это уже в другие годы. Помню всеобщее восхищение (особенно асеевское), но потом — как трудно пришлось Александру Трифоновичу! А какие это стихи потрясающие.

Все, что Вы написали об усталости, — так верно: я чувствую то же самое, но не могла бы столь точно определить.

Очень меня поразило и огорчило то, что Вы написали о Валином письме. Я была уверена в том, что ее адресат глубоко, преданно и благодарно любит Александра Трифоновича. На похоронах А.Т. я видела человека, потрясенного горем. В моем сознании не укладывается, что мог он об Александре Трифоновиче отозваться худо. Все это непонятно и больно.

...Вы пишете о книге воспоминаний. Дал ли свои воспоминания Аркадий Кулешов? Он очень любил А.Т., они дружили. М.б. остались какие-то дневниковые записи Казакевича? Могли быть такие же записи и у Рыленкова²⁰.

Шеститомник, вероятно, сдан в изд-во «Художественная литература» и, вероятно, это издание подписное?

Дудину, прежде чем опубликовать предисловие, о котором Вы пишете, следовало бы Вам его показать.

Разумеется, лирика Твардовского — явление исключительное и никак не уступает его лучшим поэмам. И чем дальше писал он, тем сильнее... В поздней лирике он достиг предельной открытости и естественности, емкости, лаконизма, глубочайшей глубины поэтической мысли.

Как это хорошо, что дочки у вас — обе одаренные и, вероятно, близкие Вам душевно.

Целую Вас, желаю Вам душевных сил и здоровья. Ваша М. Петровых.

Июль — я в Голицыне, а дальше — не знаю где. Буду рада и благодарна, если напишете мне. По старому адресу.

19 В 1954 г. А.Т. привлек М. Петровых к сотрудничеству с «Новым миром».

Свои стихи, несмотря на настойчивые приглашения, она, по свидетельству С.Г. Карагановой, в редакцию не приносила. Ей был заказан перевод с башкирского стихов Сайфи Кудаш. Он появился в № 11 — уже после снятия А.Т. с поста редактора за «идейно-ошибочную линию» журнала и поэму «Теркин на том свете», определенную как «пасквиль» на советскую действительность. Поэма была набрана для № 7 «Нового мира» за 1954 г., но запрещена для печати. Обсуждение ее в редакции состоялось в мае 1954 г. После «всеобщего восхищения» в ЦК КПСС полетели доносы на автора.

20 Аркадий Александрович Кулешов (1914—1978) — белорусский поэт, автор «Нового мира», член редколлегии журнала (1966—1978), друг А.Т. Воспоминаний о нем не написал, но размышления о роли А.Т. в литературе и в жизни остались в поэме А. Кулешова «Варшавский шлях», посвященной памяти Твардовского. М.И. переписывалась с ним на протяжении 1970-х гг. Ею опубликована переписка А. Кулешова с А.Т. (Неман, 1980, № 9).

Эммануил Генрихович Казакевич (1913—1962) — прозаик, автор «Нового мира», друг Твардовского. Несколько писем А.Т. к Э. Казакевичу пока остаются в личном архиве поэта. Из тех, что написаны А.Т. в ходе работы над повестью Казакевича «Синяя тетрадь», опубликовано лишь одно (Соч. Т. 6. С. 97—98). Другие по цензурным препятствиям не могли быть напечатанными М.И. В незавершенном романе Э. Казакевича «Новая земля» одним из действующих лиц предполагался А.Т.

Николай Иванович Рыленков (1909—1955) — поэт, земляк А.Т. Переписки с ним у А.Т. не было. Известно лишь одно его письмо к Рыленкову (1955 г.) — отклик на присланную им книгу стихов, от оценки которых А.Т. уклонился. См. о А. Кулешове, Э. Казакевиче и Н. Рыленкове записи А.Т.: Твардовский А. Новомирский дневник. Т. 1—2. М.: Вагриус, 2010. Указ. имен.

М.С. ПЕТРОВЫХ — М.И. ТВАРДОВСКОЙ

4 октября 1975 г. Голицыно

Дорогая Мария Илларионовна, прежде всего хочу сказать Вам, что Давыдковский (временный) адрес уже недействителен, хотя Ариша звонит на Давыдковскую и спрашивает о корреспонденции. Если захотите написать мне, чем очень порадуете меня, — пишите по моему прежнему адресу — на Хорошевское шоссе. Я часто думаю о Вас и очень хочу с Вами повидаться.

Скоро я вернусь из Голицына и позвоню Вам. Когда для Вас будет удобно — приеду к Вам.

Сердечно Вам желаю душевных сил и здоровья.

М. Петровых.

М.И. ТВАРДОВСКАЯ — М.С. ПЕТРОВЫХ

3 декабря 1975. Пахра

Дорогая Мария Сергеевна!

Разрывы между писем — тоже могут свидетельствовать (о нравах, досуге) и служить познанию эпохи (70-х гг.). Что делать? Всегда по уши в делах — мелких, полу-«технических», полу-библиографических и полу-биографических, но, думаешь, — а кто их сделает?

Разбираю библиотеку Александра Трифоновича, ту ее часть, которую составляют дарственные и, главным образом, первые книги молодых авторов. Часто они бывают вообще единственными, — не получив резонанса после дебюта, автор задумывается — а надо ли писать?

Это уже благо. Просмотрела я несколько сот таких книжек (а большая их часть уходила в биб-ку А.К. Тарасенкова)²¹, а запомнилось мне только три-четыре имени, главным образом, из тех, кого я как-то пропустила, не видела ранее в поэтической толпе, обслуживающей сегодняшний наш день. Вы-то, наверно их знаете. Так мне понравились, к примеру, стихи Ирины Кнорринг, книжечка 67 г. («Новые стихи», Алма-Ата), Анатолия Преловского — книжка довольно большая («Дальний свет»), много отличных стихов. Есть хорошие стихи у совсем неизвестного мне автора — Шифры Холоденко — «Близкий человек». Там есть и Ваши переводы, значит, Вы ее знаете — напишите, что ее не видно теперь²²?

Есть хорошие стихи у Лиснянской²³, но некоторая «игра» в поэзию, «заигрывание» с формой, — на мой взгляд, вредят ее стихам, как вредит развязность, подменяющая собою простоту и естественность поведения.

А словом, я убедилась, что женщины, когда они пишут о себе и из себя — гораздо искреннее мужиков. Правда, тематика сужается, нет того, что А.Т. называл «объективной темой», но какая мне — читателю — польза от нее, если она дается в виде мочалки. Пусть уж лучше узкая, но душой прогревая.

Польза от этого разбора книг не в их попутном чтении, — это, наоборот, — большой вред: огромное отвлечение, трата времени и чтение как на книжном раз-

21 Анатолий Кузьмич Тарасенков (1909—1956) — критик, член редколлегии «Нового мира» (1950—1954), собиратель уникальной по полноте библиотеки русской поэзии XX в.

22 Ирина Николаевна Кнорринг (1906—1943) — поэт русского зарубежья. С 1925 г. жила и работала в Париже. Кн. «Новые стихи» вышла с предисловием поэта и переводчика А. Жовтиса. Анатолий Васильевич Преловский (1934—2008) — поэт, переводчик. Кн. «Дальний свет» вышла в 1970 г. в издательстве «Советский писатель». Шифра Наумовна Холоденко (1909—1970) — еврейский поэт, переводчик еврейских поэтов на русский язык. Книга «Близкий человек» вышла в 1960 г. Среди переводчиков Ш. Холоденко — В. Инбер, В. Берестов.

23 Лиснянская Инна Львовна (1928) — поэт, переводчик, автор «Нового мира» 60-х гг. и ряда поэтических книг. Оставила свои воспоминания об А.Т. (Лиснянская Инна. Хвастунья // Знамя, 2006, № 2).

вале, — по касательной. Но таким образом — через эти книги и посвятительные надписи я угадываю адреса, куда я могу обратиться, предполагая, что А.Т. отозвался на подарок.

Но чаще всего этого не было. Если он мог отозваться рецензией или заметкой («Коротко о книгах») и таким образом отметить автора, — он предпочитал эту форму, тоже «объективную».

А как он относился к Вашим стихам? Какие он выделял? Ваша книжечка — «Дальнее дерево» — хранится в библиотеке²⁴.

Будьте здоровы. Надеюсь, дома у Вас хорошо, т.е. Ирина здорова. У меня — из-за количества (дети и внуки, зятя) — всегда что-то не в норме. Чаще всего — заболевания. Всего Вам доброго.

М.И. Твардовская

*Публикация и комментарии
В.А. и О.А. Твардовских*

²⁴ Петровых М.С. *Дальнее дерево*. Ереван, 1968, Это единственная прижизненная книга стихов М. Петровых. Издание организовали армянские друзья поэта, благодарные за ее переводы из армянской поэзии.

Мирон Петровский

Опыт комментария к одному письму

Точнее, даже не к письму, а к одной его строчке. И даже не строчке, а одному слову. К подписи под письмом А.Н. Толстому.

Письмо подписано странно. Скорее загадочно:

«Ваш Чуковский (чирвя)»¹

Что за «чирвя»? Почему «чирвя»? Для чего к обычному в эпистолярной Корнея Ивановича стандартно-доброжелательному «Ваш Чуковский» добавлено в намекающих скобках это самое «чирвя»? Что, собственно, значит это слово, присоединенное к фамилии, и для чего оно присоединено?

Ни в одном словаре русского языка это слово не значит, а его звучание вызывает ассоциацию то ли с червями, то ли с чирьями, то ли с какой-то воровской кличкой, но в любом случае создает звуковой образ чего-то не слишком симпатичного. Впрочем, таково, быть может, только мое впечатление, и я не могу настаивать.

Столь загадочно подписанное письмо Чуковского впервые опубликовано в составе 14-го тома пятнадцатитомного собрания его сочинений (М., 2008). Комментарий, в большинстве случаев добротный, а порой даже избыточный (для издания подобного типа, разумеется), в этом случае отсутствует. Комментарий то ли не заметил, то ли, заметив, обошел молчанием непонятное, т.е. вызывающее к комментированию, место. Таинственное «чирвя» раздражает жажду понимания.

Письмо Чуковского Алексею Николаевичу Толстому было написано и отправлено из Петрограда в Берлин (как основательно установил комментатор, отталкиваясь от даты ответного письма) в 20-х числах сентября 1922 года. Это было время, когда Толстой, собираясь вернуться в Россию, ставшую за время его отсутствия советской, «менял вехи», на скорую руку завершал свои заграничные дела, рвал с эмиграцией, выясняя отношения с нею на повышенных тонах, укладывал чемоданы и в эмоциональном раздере предотъездной суеты иногда делал жесты, мягко говоря, некорректные.

Например, отдал в печать одно из предыдущих писем Чуковского.

Опубликовал его, для печати не предназначавшееся, для печати неудобное, — в сменовеховской (а в глазах эмиграции — «большевистской») газете «Накануне», точнее — в Литературном приложении к ней.

В самом факте публикации не было ничего необычного — публикация дружеской эпистолярной была в обычае у тогдашних писателей, смотревших на свою

1 Чуковский К. Собр. соч. В 15 т. Т. 14. Письма (1903—1925). — М.: ТЕПРА — Книжный клуб, 2008. С. 525.

Об авторе | Мирон Семенович Петровский (род. в 1932 году) — литературовед, автор статей о русской литературе, периферийных жанрах городской культуры и книг, среди которых «Книга о Корнее Чуковском» (1966), «Книги нашего детства» (1986, 2006), «Городу и миру. Киевские очерки» (1990, 2008), «Мастер и город: киевские контексты Михаила Булгакова» (2001, 2008). Живет в Киеве.

переписку как на «литературу». Вот и Чуковский незадолго перед тем, едва получив, поместил обширное письмо Толстого в петроградских «Литературных записках» (1922, № 1). Казус Толстого в другом: он предал огласке письмо интимно-доверительное, не предназначенное для чужих ушей и глаз, разглашению ни в коем случае не подлежащее. Он простодушно-эгоистически опубликовал его, не просчитав возможных последствий и не испросив — хотя бы из формальной вежливости — согласия отправителя.

Разразился скандал, ударивший одним концом по адресату, другим, еще более болезненным — по адресанту. Литераторы — что в советской России, что в эмигрантском зарубежье — раскололись на два лагеря: одни винули Чуковского — зачем писал, другие Толстого — зачем печатал. Чуковский оказался в двусмысленном положении, и оба смысла были мучительны.

Едва оправившись от удара, Чуковский стал смягчать ситуацию, принимая вину на себя и всячески оправдывая своего незадачливого соучастника. Этой попытке оправдания простодушно-эгоистического поступка Толстого как раз и посвящено письмо, подписанное странным словом «чирвя»:

«Теперь, после Вашего письма, вижу, как хорошо я сделал, что не рассердился на Вас с самого начала. Чувствовал, что не могли же Вы намеренно сделать *такое*. А если не намеренно, на что и сердиться!

Конечно, я писал мое письмо только для Вас. Писал под влиянием минуты...»² и т.д.

Здесь — главный смысл и главная цель письма. Все остальное — и предложение прислать рассказ в петроградский журнал, и готовность заниматься гонорарными делами Толстого, и просьба прислать «Никиту» — т.е. только что опубликованную в Берлине толстовскую «Повесть о многих замечательных вещах» («Детство Никиты»), и окрашенное в сентиментальные тона воспоминание о молодости Толстого в Куоккале, и вопрос о детях Толстого — все это словно для подтверждения того, что «я не рассердился на Вас».

Но при чем тут какой-то (какая-то) «чирвя»?

В том же году в Берлине вышел только что заверченный роман «Хождение по мукам» — первоначальный вариант того романа, который потом, когда его название отошло к трилогии, стал называться «Сестры». Автор немедленно отправил экземпляр Чуковскому. «Спасибо за «Хождение», — отозвался Чуковский в июне 1922 года. — Это самая стройная и строгая Ваша вещь. Все мои друзья и знакомые зачитали ее до дыр. Я бы написал о ней статью...»³ и т.д.

Вот эта книга — берлинское 1922 года издание «Сестер», тогда еще под названием «Хождение по мукам», — и объясняет происхождение и смысл странной подписи «Чуковский (чирвя)».

Дело в том, что своих сестер, изображенных влюбленно-патетически, Толстой окружает петербургской средой — изображенной легко иронически, а то и откровенно сатирически. Сочно, с насмешливым прищуром написанные адвокаты, художники, заговорщики, графоманы, философы, футуристы, инженеры, проходимцы, священнослужители заполняют страницы романа, образуя выразительную картину предвоенного (1914 года) Петербурга. В многолюдстве посетителей петербургских литературных собраний, особенно в доме (в «салоне») Смоковниковых, то и дело мелькает колоритная фигура некоего критика, сюжетно совершенно безучастная, но самой частотой появления настаивающая на неотменимой характерности *этой* фигуры для *этой* среды.

Критик носит странно звучащую фамилию Чирва.

В первый раз Толстой замечает эту импозантную фигуру в разношерстном многолюдстве «Философских вечеров» — возможно, романном эквиваленте реального Религиозно-философского общества.

2 Там же.

3 Там же. С. 513.

«Под люстрой, заложив руки сзади за длинный сюртук, покачивался на каблучках полуседой человек с подчеркнуто растрепанными волосами — Чирва — критик ждал, когда к нему кто-нибудь подойдет»⁴.

Если это не шаржированный портрет Чуковского, то, несомненно, шарж, нарисованный с кого-то, очень на него похожого. Последующие появления Чирвы на страницах толстовского романа наращивают насмешливое сходство.

Вот среди гостей на шумных и веселых «вторниках» у Смоковниковых отмечен «нервно-расстроенный критик Чирва, подготавливавший очередную литературную катастрофу»⁵.

Вот — через несколько страниц, на другом «вторнике» в том же доме — после скандального ухода поэта Бессонова, «критик Чирва подходил ко всем и повторял: «Господа, он был пьян в лоск»⁶. Алексей Алексеевич Бессонов похож здесь на Александра Александровича Блока ничуть не менее, чем Чирва — на Чуковского.

Вот — еще немного дальше — «Литературный критик Чирва растерялся — в «Блюде богов» (самодельном альманахе футуристов. — М.П.) его назвали сволочью»⁷.

Вот снова к Смоковниковым «пришел Чирва и, узнав, что собираются в кабак, неожиданно рассердился:

— В конце концов от этих непрерывных кутежей страдает кто? Русская литература-с. — Но и его взяли в автомобиль вместе с другими»⁸.

Среди прототипов второстепенных персонажей толстовского романа дотошный литературовед может смело назвать Чуковского, а школьный учитель — предложить своим ученикам для классного сочинения тему «Образ Чуковского в трилогии А.Н. Толстого». Сам же Корней Иванович, добавляя к своей подписи «чирвя» (в подмигивающих скобках) извещал Алексея Николаевича о том,

что он прочел «Хождение по мукам» («Сестры»), и прочел внимательно;

что толстовский Чирва замечен и опознан в качестве шаржа на него, Чуковского;

что он, Чуковский, подтверждает сходство, «авторизует» шарж;

и что он не сердится на эту проделку талантливого писателя так же, как не держит зла на выходку непредусмотрительного публикатора чужих писем.

Кстати, почему в письме «чирвя», а не «чирва»? Что это — описка Чуковского, его преднамеренный вариант подписи или ошибка, вкрапшаяся при расшифровке рукописи, в которой одна литера была принята за другую?

Надо бы взглянуть на оригинал письма...

4 Толстой А.Н. Полн. собр. соч. Т. 7. Хождение по мукам. Трилогия (Сестры. Восемнадцатый год). — М.: ОГИЗ — Гос. изд-во худож. лит-ры, 1947. С. 14.

5 Там же. С. 17.

6 Там же. С. 22.

7 Там же. С. 32.

8 Там же. С. 48. Роман Толстого я цитирую не по тому изданию, по которому читал его Чуковский в 1922 году, и это, конечно, некорректно. Берлинское — первое — издание «Сестер» («Хождение по мукам») мне сейчас недоступно, и хотя едва ли цитируемые места претерпели изменения при последующих переделках, дополнениях, изменениях романа, сверка с изданием 1922 года неизбежна и будет выполнена при первой же возможности.

Лев Симкин

Упрямство духа

Я НЕ ИСТОРИК, НО...

Помните сюжет тарантиновских «Бесславных ублюдков»? Группа американских солдат-евреев во главе с лейтенантом, которого сыграл Брэд Питт, мстит за Холокост: забивает эсэсовцев бейсбольной битой и снимает с них скальпы, а если кого и оставляет в живых, то на лбу вырезает свастику, чтобы не смог скрыть свое прошлое. Зрителям — не всем, конечно, многие ведь восприняли фильм как кошунство, — пришлось по нраву идея отплатить гитлеровским извергам той же монетой: око за око, зуб за зуб. При этом никто из них ни на секунду не поверил в подобное, ведь евреи, как известно, покорно шли на смерть. Для самого же Квентина Тарантино, думаю, правда вообще не имела значения — его любовь к кино равносильна вере в то, что оно в силах переделать действительность.

А историю вовсе не обязательно переделывать. Ее надо знать. Например, эпизод, случившийся 14 октября 1943 года на одной из гитлеровских «фабрик смерти», предназначенных для «окончательного решения еврейского вопроса» — в расположенном на территории Польши концентрационном лагере Собибор.

Осенью 1943 года это все еще был глубокий немецкий тыл, далеко от линии фронта. Здесь душили в газовых камерах евреев, свезенных со всех концов Европы. Общее число убитых — 170 тысяч человек, по одним подсчетам, и 250 тысяч — по другим.

14 октября все было иначе: заключенные убили своих мучителей-эсэсовцев и вырвались на свободу, полусотне удалось дожить до конца войны. Восстание — единственное успешное восстание в нацистском концлагере — возглавил советский военнопленный Александр Печерский. На подготовку ему понадобилось двадцать два дня, ровно столько он пробыл в Собиборе.

История эта мне была в общих чертах известна, но по-настоящему захватила, когда весной 2012 года в библиотеке Музея Холокоста в Вашингтоне мне на глаза попала копия одного уголовного дела полувековой давности, рассмотренного военным трибуналом Киевского военного округа. В 1962 году в Киеве судили одиннадцать охранников Собибора по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьей 56 Уголовного кодекса Украинской ССР («измена Родине»). Их фамилии мне ни о чем не говорили, и я старался побыстрее пролистать на дисплее многотомное дело (всего в нем 36 томов), пока не наткнулся на фамилию Печерский. В двух протоколах сохранились свидетельские показания Печерского Александра Ароновича, данные на предварительном следствии, а потом и в судебном заседании. Неужели того самого Печерского? Неужели об этих документах ничего не известно историкам?

О том, что Печерский выступал свидетелем на судебном процессе в Киеве, сообщается едва ли не во всех изданиях, посвященных Собибору. Однако дата этого про-

Об авторе | Лев Симкин — профессор права, постоянный автор «Знамени», последнее время занят историческими изысканиями. Этой публикацией он возвращается к теме, поднятой В. Кавериным и П. Антокольским на страницах журнала «Знамя» в № 4 за 1945 год.

процесса везде указывается неверно — 1963 год, тогда как суд состоялся и приговор был вынесен в марте 1962 года. Объясняется это тем, что сам процесс был закрыт для публики, и первое и единственное о нем сообщение в советской печати, на которое и ссылаются историки, случилось лишь год спустя (статья «Страшная тень Собибура»¹ в газете «Красная звезда» от 13 апреля 1963 года). Дело же долго хранилось за семью печатями в габэшном архиве.

Каким образом копии материалов «киевского процесса» (так будем его называть) оказались в Вашингтоне? С тех пор как на постсоветском пространстве открылись архивы, сотрудники музея путешествуют по столицам бывших союзных республик и переснимают все, что связано с Холокостом. В результате копии нескольких тысяч уголовных дел собраны на микрофильмах и микрофишах в одном месте, в библиотеке вашингтонского Музея Холокоста они находятся в свободном доступе. Тем не менее похоже, что это дело никто до меня не читал — разумеется, с тех пор как его рассекретили.

Итак, передо мной оказались неизвестные материалы о герое. Естественно, захотелось поделиться ими с миром. Однако торопиться с их обнародованием я не стал, поскольку толком не был знаком и с общеизвестными материалами. Не хотелось оказаться в положении студентов одного пединститута, пригласивших Корнея Чуковского почитать «что-нибудь из неопубликованного Блока», на что тот ответил: «Зачем я буду вам читать неопубликованного Блока, когда вы и опубликованного не читали?».

Так вот, из опубликованного известно, что Собибор — это маленький полустанок в Люблинском воеводстве Польши, вдаль от больших городов и основных железнодорожных маршрутов, где в марте 1942 года по специальному приказу Гиммлера был построен секретный концентрационный лагерь, ставший одной из трех «фабрик смерти» (еще Белжец и Трешлинка), выстроенных на территории Польши в рамках государственной программы Третьего рейха, согласно которой проводилось «переселение» (кодовое обозначение убийства) части еврейского населения Европы². Лагеря находились в отдаленных областях, однако вблизи железных дорог, по которым евреев свозили в Польшу. На территории стран Западной Европы их практически не убивали — в глазах западных европейцев это была депортация, не более того.

За полтора года существования трех этих лагерей в них было убито около двух миллионов человек, для чего нацистам потребовалось на удивление мало персонала. В каждом лагере было занято 20—30 эсэсовцев и 100—120 охранников, так называемых «травников» — в школе СС «Травники», оборудованной в здании бывшего сахарного завода в 40 километрах юго-восточнее Люблина, с октября 1941 по май 1944 года прошли обучение около пяти тысяч человек. Одиннадцать выпускников этого специфического учебного заведения, готовившего кадры для ликвидации евреев, как раз и судили в Киеве в марте 1962 года.

В августе 1944 года поднявший восстание в Собиборе Александр Печерский был недалеко от Москвы, где формировался 15-й отдельный штурмовой стрелковый батальон. Туда его зачислили после соединения с Красной армией партизанского отряда, в котором он воевал после побега. Командир батальона майор Андреев, впечатленный рассказом Печерского о восстании, вопреки правилам, разрешил ему поехать в Москву. Там его историю выслушали писатели Вениамин Каверин и Павел Антокольский. На ее основе они написали очерк, предназначенный для «Черной книги» — предпринятого по инициативе Альберта Эйнштейна собрания свидетельств о зверствах нацистов в отношении еврейского народа. Сама «Черная книга»

1 Собибур — польский вариант произношения.

2 На Западе о Собиборе издано много, у нас наиболее полным трудом, обобщающим разностороннюю информацию о лагере и о беспрецедентном восстании, является вышедшая двумя изданиями — в 2008 и 2010 годах — в издательстве «Возвращение» книга «Собибор. Восстание в лагере смерти», составители С.С. Виленский, Г.Б. Горбовицкий, Л.А. Терушкин.

так тогда и не вышла, а очерк П. Антокольского и В. Каверина «Восстание в Собибуре» был опубликован в журнале «Знамя», в апрельском номере 1945 года.

Затем в 1945 году в Ростове-на-Дону, городе, где Александр Печерский рос и учился, небольшим тиражом вышла его брошюра «Восстание в Собибуровском лагере». Это была первая книга о восстании в нацистском концлагере, к тому же написанная его организатором. В ней была яркая примета времени: в рассказе о лагере, где были одни только евреи и никого другого среди восставших быть не могло, слово «еврей» не упомянуто ни разу. Геноцид евреев на оккупированной территории замалчивался. За всю войну в ежедневных сводках Совинформбюро не было ничего или почти ничего о гетто и массовых убийствах евреев. И в листовках, разбрасываемых над оккупированной территорией, не было ни слова о помощи уцелевшему еврейскому населению.

Летом 2012 года в израильском городе Реховот мне посчастливилось познакомиться с девяностопятилетним Михаилом Левом, сохранившим и передавшим в Музей Холокоста всю собранную им переписку Александра Печерского. С первого дня дружбы с Печерским в течение полувека смыслом его жизни и содержанием его книг стал Собибор — сохранение памяти о восстании. Из этих документов и от самого Лева я узнал много нового о герое.

Еще кое-что удалось узнать из бесед с дочерью Печерского Элеонорой, в замужестве Гриневич, и его внучкой Натальей Ладыченко, которые живут в Ростове-на-Дону, а также, живущей в Бостоне племянницей Печерского Верой Рафалович и его другом Лазарем Любарским из Тель-Авива.

Когда начинаешь чем-то всерьез интересоваться, материал сам идет к тебе в руки. Я случайно заговорил об этом со знакомым — заместителем главного редактора телеканала «Закон-ТВ» Андреем Прокофьевым — и вдруг он воскликнул: «Да ведь это мой дядя Саша!». Оказалось, вторая жена Печерского Ольга Ивановна Котова, с которой тот встретился в подмосковном госпитале после ранения и прожил вместе 46 лет, — родная сестра его бабушки. С помощью Андрея Прокофьева мне удалось найти в Гомеле дочь Ольги Ивановны от первого брака Татьяну.

Постепенно совместились разговоры с людьми (всем им огромная благодарность), прочитанные книги, судебные материалы, письма Печерского. Я не историк и не собираюсь себя за него выдавать. Но Холокост всегда был со мной, как и связанные с ним вопросы. Мне показалось, что теперь я могу помочь кому-то сократить путь к ответам. И можно было бы уже браться за перо, если бы не одна закавыка — в сознании никак не складывался образ героя.

КТО ВЫ, АЛЕКСАНДР ПЕЧЕРСКИЙ?

Что же это был за человек — Александр Печерский? Вроде достаточно пару раз кликнуть мышкой, но... Как только я начал углубляться в его биографию, перестал понимать, чему верить. Пишут, начал войну лейтенантом, а закончил капитаном, чего никак не могло быть, поскольку между присвоением этих двух званий не было ничего, кроме плена и штурмового батальона — разновидности штрафбата. Его называли политруком, но на войне он не был даже коммунистом — вступил в партию после и пробыл в ней недолго. После войны сидел в тюрьме — нет, не сидел... Работал директором кинотеатра в Москве — и этого не было, до самой смерти он жил в Ростове-на-Дону...

Мифы в конце концов можно отделить от правды. Дело в другом — в несовпадении совершенного подвига с остальной его жизнью. В октябре 1943 года, когда он вошел в историю своим беспрецедентным подвигом, ему было 34 года. Вся его жизнь до и после может быть уложена в несколько строк автобиографии — такой, как писали в советское время при устройстве на работу, а если брать нынешние резюме, то и того меньше. Родился в 1909 году. После школы, с 1931 по 1933 год, служил в армии. В 1933-м женился. В 1934-м родилась дочь. С 1936-го служил инспектором хозяйства в финансово-экономическом институте. Словом, ни в чем особенно не преуспел, никаких выдающихся качеств не показал.

Ну, до войны был молод, а после? После подвига жить оставалось еще 46 лет. И — тоже ничего примечательного. Развелся, снова женился. Служил на скромной хозяйственной должности в том же институте. Затем короткое время работал театральным администратором, после чего попал под суд за мелкое злоупотребление, получил условный срок и до самой пенсии работал на заводе рабочим. Жизнь, помещенная в эту краткую запись с лакуной в месте подвига, удивляет своей обыкновенностью.

Все свободное время до сорока лет он уделял театру, но дальше художественной самодеятельности не прыгнул. Еще он хорошо играл на фортепьяно и, как уверяют знавшие его люди, вполне профессионально сочинял музыку — нотная запись его сочинений сохранилась у дочери. Михаил Лев вспоминает, как показал их Дмитрию Шостаковичу, у которого брал интервью в связи с его вокальным циклом «Из еврейской народной поэзии». Тот оставил у себя, а на следующей встрече покачал головой — ничего заслуживающего внимания не увидел.

Лазарь Любарский рассказал мне еще более поразительную историю. В 1968 году из Москвы в Ростов приехал с выставкой известный художник Меир Аксельрод. Из «Википедии» можно узнать, что в те же годы художник создал серию акварельных работ «Гетто», и потому его не могла не заинтересовать встреча с героем еврейского сопротивления. Лазарь познакомил Аксельрода с Печерским, тот предложил ему позировать. После двух сеансов, однако, он отказался от замысла, объяснив Любарскому, что, как ни старался, не смог увидеть в Печерском ничего героического.

«Зная редкое мужество Печерского, мы готовились увидеть некие героические черты в его облике, — это уже из опубликованного недавно в берлинской «Еврейской газете» мемуара Михаила Румера. — Какие черты? Не знаю. Но должно же быть в том, кто совершил подвиг, нечто выделяющее его среди фигур обыкновенного житейского ряда... Ведь надо же было решиться на такое: перерезать эсэсовцев, завладеть оружием, перебить охрану, уйти из лагеря через минные поля, воевать в партизанском отряде, а потом в штрафбате»... Увы, ничего особенного собеседник в Печерском не заметил: «Передо мной сидел добродушный пожилой папаша, охотно рассказывающий о детях, внуках, о соседях, сослуживцах, гордящийся доброжелательностью и уважением со стороны своего окружения». К нему прекрасно относятся на заводе: «...и в завкоме, и в парткоме меня уважают»...

Главным в жизни Печерского после войны было другое — то, что в кратких биографиях обычно не упоминается: задача донести до людей свидетельство о Собиборе. С этим он жил все отпущенные ему послевоенные годы, свидетельствуя о пережитом, пытаясь достучаться до людей. «Я, конечно, очень устал, совсем обессилел, — признавался Александр Печерский в письме Михаилу Леву от 6 ноября 1985 года. — Я понимаю, что это нужно. Люди должны знать правду о фашизме и понимать, что фашизм — это действительность, а не выдумка евреев». Почти семь десятилетий минуло с той поры, а эту аксиому все еще нужно повторять, и, боюсь, из-за расплодившихся ревизионистов-отрицателей Холокоста — куда громче, чем прежде.

В Музее Холокоста в Вашингтоне хранится и обширная переписка Печерского с выжившими узниками Собибора. Они писали ему, присылали книги и вырезки, в том числе и из-за границы, куда его ни разу не выпустили, даже на премьеру снятого о нем в Голливуде сериала. Печерский отдавал полученные тексты (на свои скромные средства) в перевод и внимательно прочитывал, строго следя за тем, чтобы о восстании не просочилась никакая неправда. Использовал каждую возможность рассказать о Собиборе — в школах, библиотеках... Радовался, если материалам о Собиборе удавалось попасть в печать.

Симон Визенталь в книге «Убийцы среди нас» вспоминал слова эсэсовцев, обращенные к заключенным — «никто из вас не останется в живых, чтобы свидетельствовать, а если какие-то единицы и останутся, то мир им не поверит». Ему вторит Примо Леви — другой свидетель Холокоста — в книге «Канувшие и спасенные». По его словам, одна и та же мысль преследовала заключенных в их ночных одинаковых снах — они возвращаются и рассказывают близким о перенесенных страданиях, а собеседник не слушает или поворачивается спиной и уходит. Возможно, этот кош-

мар снился и Печерскому. И он жил, чтобы свидетельствовать. Всю свою послевоенную жизнь он воспринимал свое свидетельство как миссию и в меру человеческих сил ее выполнял. И это многое в его судьбе объясняет.

Впрочем, соотношение жизни и человека, который ее прожил, — вещь непростая, они не всегда совпадают. Живущий, по словам философа Михаила Эпштейна, порой бывает не столько автором, сколько персонажем собственной жизни. Причем характер человека и жанр его жизни могут не совпадать. Жизнь зависит от времени и места, от случая и судьбы.

Австрийский психиатр Виктор Франкл, узник нацистского концлагеря, считал закономерностью то, что сумел устоять под ударами судьбы. Задавшись вопросом, в чем смысл перенесенных испытаний, Франкл понял, что ему помогло выжить стремление к смыслу, в поисках которого человека направляет на верный путь его совесть и упрямство духа.

Совестью и упрямством духа в полной мере обладал и Александр Печерский, в сердце которого стучал пепел десятков тысяч евреев, задушенных и сожженных в Собиборе. Он не был верующим иудеем, не знал даже языка своих родителей — идиша. Вспомнить о своем происхождении ему пришлось тогда, когда его отделили от других военнопленных как еврея.

ВИНОВАТ ПУШКИН

В 1941 году Александру Печерскому было 32 года, за его плечами была служба в армии, он имел полное среднее образование, что было нечасто перед войной, а также опыт хозяйственной работы. Все это, очевидно, и послужило тому, что он был аттестован как техник-интендант второго ранга — звание военно-хозяйственного и административного состава всех родов войск, впоследствии приравненное к лейтенантскому. «Из одного окружения выходим, в другое попадаем», — рассказывал он о событиях той осени.

В октябре на Смоленском направлении Печерский попал в плен. «Мне и небольшой группе поручили выносить из окружения комиссара полка, который был тяжело ранен, — писал он Валентину Томину. — Нашу группу возглавлял политрук т. Пушкин, но он имел глупость пригласить в землянку, когда мы были на отдыхе, двух гражданских с тем, чтобы кое-что узнать, и через полчаса нас окружили и забрали».

О дальнейшем Печерский не любил вспоминать. Можно только гадать, каким чудом он прошел так называемую селекцию, обычно проводившуюся сразу после пленения. Эту сцену можно вообразить по фильму «Судьба человека». Там военнопленных построили у церкви, и немец крикнул: «Коммунисты, комиссары, офицеры и евреи», после чего из строя вывели нескольких человек и расстреляли.

Я потому вспомнил эпизод из фильма, а не из лежащего в его основе рассказа, что его режиссер Сергей Бондарчук в этой сцене оказался правдивее Шолохова. В его рассказе лагерная селекция изображена с принятой в советское время политкорректностью, и потому в нем эсэсовцы «...начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось». О евреях не спросили — немцы у Шолохова почему-то избегают употреблять это слово, как будто знают о невозможности его употребления в газете «Правда», где впервые увидело свет шолоховское творение. Правда, дальше слово это все же сказано, и вот в каком контексте: «Только четырех взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду, потому что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах».

Тут Шолохов прав — судя по воспоминаниям выживших, иногда за евреев принимали и грузин, и армян. Могли, конечно, и русских, если с кучерявинкой в волосах. Почему они попадали в беду, объяснено. А почему попал в беду тот «один еврей» из шолоховского рассказа и все остальные евреи, убитые в ту войну, — об этом ничего не сказано, как будто так и должно было быть.

По подсчетам Павла Поляна, немцы уничтожили до восьмидесяти тысяч военнопленных евреев. Попад в плен, советский солдат умирал с вероятностью 0,6 — если он не еврей, и 1,0 — если еврей. К слову сказать, военнопленные евреи из Западной Европы, как и другие их соотечественники, были под защитой женеvских конвенций 1899 и 1907 годов. СССР к конвенциям не присоединился.

Можно предположить, что Печерский не был сразу разоблачен как еврей, поскольку не имел ярко выраженных национальных черт во внешности плюс правильная русская речь — артист как-никак. О его жизни в лагерях для военнопленных в Вязьме и Смоленске ничего не известно, кроме того, что в одном из них он заболел брюшным тифом. Немцы в лагерях ни на минуту не оставляли поиск евреев, но к больным предпочитали не приближаться.

В мае 1942 года Печерский с четырьмя товарищами бежал из плена. В тот же день они были пойманы и отправлены в штрафную команду в город Борисов, куда собирали беглецов и других подозрительных лиц. И опять повезло — не расстреляли, отправили в Минск. «В Минске немцы узнали, что я являюсь евреем по национальности, и я был направлен в Минский СС-арбайтслaгерь, где содержались евреи и русские, которых направляли туда за связь с партизанами, отказ от работы и другие подобные действия», — это из протокола допроса Печерского на предварительном следствии по киевскому делу.

У Печерского были все шансы погибнуть и почти ни одного, чтобы выжить. Он столько раз чудом оставался в живых, что кажется, будто судьба хранила его для будущего подвига. В Минске, казалось, лимит везения был исчерпан. Здесь всем пришлось пройти процедуру медицинского осмотра, тут-то и было обнаружено, что Печерский и еще восемь человек — евреи. Их посадили в «еврейский погреб». И всем, представьте, удалось избежать расстрела.

Видимо, это объяснялось тем, что к лету 1943 года немцы перешли от неорганизованных расстрелов к плановому уничтожению людей. Некоторых перед смертью принуждали трудиться на благо рейха. Эсэсовские части в Минске испытывали нужду в каких-то хозяйственных работах, и потому разоблаченных «недочеловеков» отправили в арбайтлагерь СС на улице Широкой.

По совету одного из старожилов Печерский выдал там себя за столяра, хотя рубанка в руках не держал. Там он провел год с небольшим, с августа 1942 до 18 сентября 1943 года. В этот день в четыре утра его подняли с нар, выдали триста граммов хлеба и в колонне таких же, как он, отвели на вокзал, объявив, что отправляют на работу в Германию. Их погрузили в эшелон, отправлявшийся в Собибор.

ВОССТАНИЕ

«Уничтожить человека трудно, почти так же трудно, как и создать. Но вам, немцы, это в конце концов удалось. Смотрите на нас, покорно идущих перед вами, и не бойтесь: мы не способны ни на мятеж, ни на протест, ни даже на осуждающий взгляд», — написал Примо Леви.

«И вот в этом страшном месте, реальность которого, как она ни документирована, все же кажется диким вымыслом больного мозга, на этой испоганенной немцами земле 14 октября 1943 года произошло восстание, кончившееся победой заключенных» — будто возразили ему Вениамин Каверин и Павел Антокольский.

За двадцать два дня пребывания в лагере Александр Печерский создал подпольную группу и подготовил восстание. Картину его трудно восстановить — большинство участников погибло, в воспоминаниях выживших есть расхождения. Расскажу лишь о самых заметных событиях того дня. Не могу ручаться, что все именно так и было, но в основу изложения мною положены воспоминания участников восстания, подтвержденные документально и кажущиеся мне наиболее достоверными.

«Начало осуществления плана побега было намечено на 15 часов 30 минут 14 октября 1943 года. Была перерезана связь, после чего начали уничтожать руководство лагеря. С этой целью мы немцев по очереди приглашали в пошивочную и сапожные мастерские якобы для примерки, где их убивали топором. Всего в день побега нами было

убито 11 немцев». Этот краткий рассказ о восстании слышали от Печерского члены военного трибунала в Киеве.

Один из выживших узников, Юлиус Шелвис, подсчитал: полный эсэсовский штат Собибора насчитывал двадцать девять человек, двенадцать из них в день восстания отсутствовали, большинство были в отпусках. Немцы считали, что полутора десятков отборных эсэсовцев и сотни вахманов вполне достаточно, чтобы держать в узде шесть сотен евреев — народ-то они, как известно, трусливый...

Вторая мировая война, с одной стороны, продемонстрировала вековую покорность евреев «еврейской судьбе», а с другой — их героизм, не уступавший древнему³.

В десять утра Печерский в столярной мастерской принимал отчеты от подпольщиков и давал задания участникам восстания. Старшими групп он назначил советских военнопленных, старожилы должны были им помогать. Объяснил, где взять наточенные в кузнице топоры. У восставших было оружие — самодельные ножи и дюжина топоров. Женщины, которые убирали у эсэсовцев в комнатах и чистили их обувь, достали автомат и несколько пистолетов.

Важно было всех эсэсовцев пригласить в мастерские в разное время. Расчет был на их жадность и пунктуальность. Так и сделали. Иоганна Ноймана (заместитель коменданта лагеря, исполнял обязанности отсутствовавшего коменданта) пригласили к четырем в портняжную мастерскую примерить костюм. Тем не менее, по свидетельству Печерского, «...начальник всего лагеря гауптштурмфюрер Иоганн Нойман прибыл в портняжную мастерскую на двадцать минут раньше срока. Он слез с лошади, бросил поводья и вошел. Там были, кроме мастеровых, Шубаев и Сеня Мазуркевич. У дверей лежал топор, прикрытый гимнастеркой. Нойман снял мундир. Пояс, на котором висела кобура с пистолетом, он положил на стол. К нему поспешил портной Юзеф и начал примерять костюм. Сеня подошел ближе к столу, чтобы перехватить Ноймана, если он бросится за пистолетом. Убить топором немца должен был Шубаев, такого же высокого роста, как и Нойман. Нойман все время стоял лицом к Шубаеву. Тогда Юзеф повернул немца лицом к двери под предлогом, что так лучше делать примерку. Шубаев схватил топор и со всего размаха хватил Ноймана обухом по голове. Из нее брызнула кровь. Фашист вскрикнул и зашатался. Лошадь, услышав крик хозяина, шарахнулась от мастерской. Если бы она побежала по лагерю, это могло бы сорвать все наши планы. К счастью, один из лагерников успел схватить лошадь под уздцы. Вторым ударом Шубаева Нойман был добит. Труп его бросили под койку в мастерской и закидали вещами. Залитый кровью пол быстро засыпали приготовленным заранее песком, так как через пятнадцать минут должен был прийти второй фашист».

Вся сцена — словно из блокбастера на военную тему, особенно эпизод с белой лошадью, верхом на которой прискакал к мастерской эсэовец в красивой офицерской форме. Звание унтерштурмфюрера СС (равнозначное лейтенанту) Нойман получил после посещения Собибора Генрихом Гиммлером в феврале 1943 года...

Печерский хотел быть как можно ближе к происходящему и прятался в барак для плотников напротив. Александр Шубаев — горский еврей из Хасавюрта (Дагестан), 26 лет, был в Минском лагере вместе с Печерским, — принес ему пистолет Ноймана. «Не было еще четырех, когда Калимали (так Шубаев себя называл. — Л.С.) вбежал к нам в барак и положил передо мной пистолет. Мы обнялись». Другой герой первого эпизода восстания — Лейбл Дрешер. Именно он напомнил Нойману, что его ждут в портняжной мастерской. Он и удержал лошадь Ноймана, отвел ее в конюшню. Дрешер был убит в лесу во время побега...

3 На фронтах Великой Отечественной сражалось 23% всех советских евреев, тогда как по всем другим народам СССР вместе взятым эта цифра составляет 16%. Почти каждый четвертый из числа военнотружеников-евреев воевал в авиации и на флоте, особенно много подводников. До генералов дослужились триста пять евреев, полторы сотни получили звание Героев Советского Союза. И это притом что евреев награждали весьма неохотно — Александр Печерский за свой подвиг награжден не был.

Следующей жертвой восставших стал шарфюрер СС Зигфрид Грейтшус, садист, руководивший загоном людей в газовые камеры. «Когда начальник караула пришел примерить макинтош, мы были наготове, — вспоминал участник восстания Аркадий Вайспапир в начале шестидесятых годов. — Он, видно, чувствовал какую-то опасность, стал недалеко от закрытой двери и велел примерять. Мастер возился с ним. Когда стало ясно, что немец ближе к нам не подойдет, мне пришлось идти на выход из мастерской. Я, держа топор, прошел мимо немца, затем повернулся и острием топора ударил его сзади по голове. Удар, видно, был неудачный, ибо немец закричал. Тогда подскочил мой товарищ и вторым ударом прикончил немца. Все произошло уже под вечер. Мы только успели оттянуть труп и укрыть его шинелями, как двери открылись, и зашел волжский немец (вахман Клятт. — Л.С.). Он спросил: “Что у вас тут за беспорядок?” Старший портной ему что-то отвечал, а другие портные по одному стали выбегать из мастерской. Когда волжский немец нагнулся над трупом начальника караула, укрытым шинелями, и спросил: “А это что такое?”, — я и за мной мой товарищ топорами и его зарубили». Товарищем, добивавшим эсэсовцев, был семнадцатилетний Иегуда Лернер из Варшавы, задержанный в облаве в варшавском гетто и отправленный в минский лагерь, где и подружился с советскими военнопленными.

Примерно тогда же, когда добивали Грейтшуса, Хаим Энгель отправился в гараж убивать унтершарфюрера СС Бекмана, который отвечал за работу сортировщиков во второй зоне. Хаим сам был одним из сортировщиков одежды убитых в газовых камерах и однажды обнаружил среди одежды вещи своего брата. В последнюю минуту один из тех двоих, кому было поручено убить этого эсэсовца, испугался. «И я пошел вместе с другим парнем, и мы убили этого немца. С каждым ударом я говорил: “Это за моего отца, это за мою маму, это за всех этих людей, за всех евреев, которых вы убили”»...

«Позднее, уже после побега, я узнал, как Цибульский со своей группой уничтожили во втором секторе четырех фашистов, — вспоминал Печерский. — Когда капо привел их во второй сектор, то Леон (Фельдгендлер. — Л.С.) повел их в барак, где сортировались вещи убитых людей. Взяв из этих вещей хорошее, новое кожаное пальто, которое было заранее приготовлено, Леон пошел к одному из фашистов, унтершарфюреру Вольфу, и сказал, что имеется хорошее кожаное пальто. Пока его никто не взял, пусть он пойдет и заберет. Жадность одолела фашиста, он пошел. Как падал, он был уничтожен и спрятан среди вещей замученных людей. Той же дорогой последовали еще два фашиста». Еще одному Цибульский понес «горсть золотых монет... делая вид, что хочет передать ему дневную добычу, найденную в карманах убитых. Фашист подозрительно насторожился, но Цибульский быстрее молнии вскочил на него и начал душить, тут же подскочили остальные. Фашист был уничтожен».

Первый этап восстания прошел почти так, как планировалось: за полчаса было уничтожено одиннадцать эсэсовцев, весь автотранспорт был выведен из строя. Все эти действия не привлекли внимания украинцев, находившихся на сторожевых вышках и других дозорных постах. Перерезав электрические провода, повстанцы обессточили колючую проволоку.

Наступила пора строить людей на плаце. В половине пятого вернулся капо Бжецкий, его и еще троих в два часа дня увел куда-то один из эсэсовцев, и подпольщики подумали, что восстание провалено. Но вскоре выяснилось, что их повели в нордлагерь для укладки леса. Возвращение Бжецкого было очень кстати: только капо могли, не вызывая подозрений, построить колонну. Теперь уже многие узники почувствовали, что готовится нечто необычное, но не могли понять, что именно. И вот тут все пошло совсем уже не по плану.

«После этого началась паника в лагере, во время которой заключенные с возгласами “ура” начали бежать из лагеря. Только через полчаса по убежавшим из лагеря был открыт пулеметно-минометный огонь».

В суматохе и панике толпа побежала к воротам и проволочному ограждению. Некоторые вспоминают, что кричали «Вперед!», «Ура!» «За Сталина!»... Михаил Лев со слов Печерского говорил, что ничего не кричали — бежали молча.

Часть повстанцев прорвалась через лагерные ворота и бежала в юго-западном направлении, в сторону рощи. Другая группа пробила телами проход в ограждении к северу от ворот. Те, что бежали первыми, подорвались на минах. Убитые и раненые телами проложили дорогу через минное поле тем, кто бежал следом. Планировалось иначе: разрезать проволоку щипцами, кидать камни и доски на заминированное поле — противотанковые мины чувствительны и реагируют на камни... Все побежали, забыв обо всем, — не могли находиться в лагере ни минуты больше.

Группа повстанцев, во главе которой был Александр Печерский, пробила брешь в ограждении лагеря возле жилых помещений эсэсовцев, где, как и предполагалось, мины не были заложены.

ПОБЕГ ИЗ СОБИБОРА

Сообщение о собиборском восстании, пришедшее в Хелм и Люблин с опозданием из-за выхода из строя телефонной линии, вызвало переполох в немецких штабах. Сначала фашисты боялись нападения бежавших евреев. Когда пришли в себя, по тревоге были подняты и посланы в преследование бежавших подразделения жандармерии и СС из Люблина, рота солдат и 150 вахманов — всего не менее шестисот военнослужащих. Погоня началась на рассвете следующего дня.

Целью погони было не только уничтожить повстанцев, но и предупредить огласку сведений о массовых уничтожениях евреев в Собиборе. Вероятно, эта задача стояла и перед высокой комиссией, приехавшей в лагерь для инспекции сразу после восстания. Решением этой комиссии Собибор был ликвидирован, весь персонал лагеря перевели в Триест на самую опасную службу, какую смогли найти, — в югославский антипартизанский батальон. Сам лагерь сровняли с землей.

То, что немцы начали облаву только утром следующего дня, позволило бежавшим выиграть время. Печерский назначил час восстания на конец дня в расчете на то, что поиски ночью не начнутся. Однако линия фронта была далеко, а беглецов легко было отличить от местных крестьян. Так что можно считать большим успехом восстания, что сколько-то людей сумели спастись. Сколько же их спаслось?

Из сопоставления всех свидетельств получается, что в рабочей команде, где действовали подпольщики, было около шестисот человек. Четверть из них погибли от разрывов мин и пуль охраны. Еще четверть не смогли или не захотели бежать и были казнены вскоре после восстания. Половине удалось убежать, они вырвались с территории лагеря и достигли леса. В течение недели после побега были схвачены и убиты карателями около ста из трехсот бежавших. Потом еще некоторых поймали и расстреляли.

На свободе оказалось около полутора сотен беглецов. Что с ними стало? По некоторым данным, в убежищах и тайниках погибли, в основном от рук враждебно настроенного местного населения, 92 человека. Дожили до освобождения Красной армией 53 собиборских узника.

Бежавшие разделились на несколько групп. Группа, во главе которой стоял Печерский, насчитывала несколько десятков человек. Ночью к ней присоединилась еще одна группа, и вместе они насчитывали примерно 75 человек. На следующий день, 15 октября, они укрылись в небольшой роще возле железной дороги. Немецкие разведывательные самолеты кружили над самой рощей. Ясно было, что у такой большой группы нет никаких надежд ускользнуть от преследования.

Встала проблема, которую, как ни решай, — выйдет плохо: невозможно сохранить незамеченными в лесу несколько десятков человек. И Печерский принял решение: разделиться на малые группы. «Русские» будут пробираться к своим, «поляки» — выходить к партизанам или искать убежища по деревням. Но он даже не смог огласить это решение — ведь никто не нашел бы в себе мужества принять его и рассеяться по лесу спустя всего несколько часов после того, как они, вместе все подготовив, в назначенный день перебили эсэсовцев и обрели свободу... Печерскому пришлось просто бросить «поляков» и уйти с небольшой группой советских военнопленных,

среди которых были Александр Шубаев, Борис Цибульский, Аркадий Вайспапир, Алексей Вайцен...

«Поляки очень хорошо относились к нам, помогали всем, чем только могли, снабжали продуктами, сообщали нам, где стоят немецкие посты и как обходить их», — сказано в брошюре Печерского, скорее всего, из цензурных соображений. О поляках, как и о других «демократах» (гражданах, входивших в соцлагерь стран так называемой «народной демократии») можно было говорить хорошо или ничего.

На самом деле все обстояло с точностью до наоборот. Поляки славились антисемитизмом — неслучайно именно в Польше немцы устроили лагеря смерти. «Поляки были хуже немцев» — эти неполиткорректные слова принадлежали Шломо Шмайзнеру, завершив его рассказ о том, как через несколько дней после восстания группа беглецов встретила в лесу польских партизан. Беглецов обыскали, отобрали ценности и оружие и начали стрелять в упор. Двенадцать человек прошли испытание Собибором, чтобы погибнуть от руки соотечественников. Сам Шломо притворился мертвым и остался жив.

В ночь на 19 октября группе Печерского удалось переправиться через Западный Буг, а еще спустя три дня присоединиться к советским партизанам в районе Бреста. Как это было, вспоминал Аркадий Вайспапир в Тель-Авиве в 2010 году: «Мы попали в отряд Фрунзе, пробыли там несколько дней, после чего нас вызвали и сказали: «Нам евреи не нужны. Идите на восток, вступайте в армию, там будете воевать». Они ушли, но недалеко, поскольку вскоре на них напали разведчики из этого же отряда, отобрали оружие и только потом отпустили. Они пошли дальше и встретились с другим партизанским отрядом, туда их приняли.

Что это были за разведчики, неизвестно. Но я бы не удивился, узнав, что среди них могли быть бывшие охранники Собибора. Побегі вахманов случались нередко, и часто они вливались в партизанские отряды.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Когда Печерский попал к партизанам и рассказал им свою историю, ему сначала не поверили. Никто ни о чем подобном и слухом не слыхивал, хотя некоторые и сами побывали в немецких лагерях. Бежать оттуда — бежали, но чтобы восстание поднять...

Потом Печерскому стали доверять и направили в диверсионную группу на подрыв эшелонов врага. Взрывником он был до лета 1944 года, когда его партизанский отряд соединился с Красной армией.

В письме от 2 апреля 1961 года он рассказал: «После плена репрессиям я не подвергался, после слияния партизанского отряда с Советской армией мы все прошли проверку за несколько дней, выдали справку и обратно в армию».

«Проверка» — что это было? Согласно решению Государственного комитета обороны (ГКО) от 27 декабря 1941 года, принятому по инициативе Сталина, «военнослужащие Красной Армии, находившиеся в плену и окружении противника», обязаны были пройти проверку. Для того в расположении каждого из фронтов действующей армии была организована сеть проверочно-фильтрационных лагерей. Фльтрация таила в себе особую опасность для еврея, выжившего в плену. Сотрудники «СМЕРШ» обычно выражали недоверие: как выжил? Печерский в глазах смершевцев выглядел весьма подозрительно. Его товарищи, бежавшие из Собибора и воевавшие в партизанах, — тоже, но не в такой степени, ведь они, в отличие от него, не были офицерами. Поэтому Вайспапира, Вайцена, Розенфельда и других выживших вернули в действующую армию, а Печерского после проверки направили в 15-й отдельный штурмовой стрелковый батальон. Штурмбаты мало чем отличались от штрафбатов: и те и другие были предназначены для смертников.

Сохранился «Перечень стрелковых частей и подразделений (отдельных батальонов, рот и отрядов)», где указаны сроки вхождения этого батальона в состав Действующей армии: 09.08.44 — 30.09.44. Согласно Приказу народного комиссара обо-

роны от 1 августа 1943 года «О формировании отдельных штурмовых стрелковых батальонов» целью их создания было «предоставление возможности командно-начальствующему составу, находившемуся длительное время на территории, оккупированной противником, и не принимавшему участия в партизанских отрядах, с оружием в руках доказать свою преданность Родине. ...Срок пребывания личного состава в отдельных штурмовых стрелковых батальонах установить два месяца участия в боях, либо до награждения орденом за проявленную доблесть в бою или до первого ранения, после чего личный состав при наличии хороших аттестаций может быть назначен в полевые войска на соответствующие должности командно-начальствующего состава».

Печерскому повезло: он остался жив. В архиве Михаила Лева сохранилась рукописная копия справки: «Дана тех. инт. 2 р. Печерскому А.А. в том, что он находился в 15 отдельном штурмовом стрелковом батальоне на основании директивы Генерального штаба КА от 14.06.44 г. за № 12/ 309593 свою вину перед Родиной искупил кровью. Командир 15 ОШСБ гв. майор Андреев. Нач. штаба гв. к-н Щепкин 20 августа 1944 г. № 245».

Указание в справке звания «техник-интендант» говорит о том, что Печерский не был переаттестован — в 1943 году были введены единые офицерские звания. Обычно офицеров после штурмбата восстанавливали в званиях, если они там выжили и возвращались в строй. Печерский же сразу попал в госпиталь с тяжелым ранением.

Дочь Элеонора помнит фото военных лет, где ее отец запечатлен в офицерской форме, но в чинах она не разбирается и не понимает, в каком он был тогда звании. Михаил Лев уверял меня, что до конца жизни по документам он был рядовым. Думаю, писатель прав. Согласно хранящимся в Центральном архиве Министерства обороны РФ документам по учету рядового и сержантского состава (!), «Печерский Александр Аранович, стрелок, бывш. тех. инт. 2 ранга, ... прибыл из спецлагеря НКВД № 174»⁴. Этот фильтрационный лагерь известный также как «чистилище СМЕРШа», располагался совсем рядом с Москвой, в Подольске.

Александр Печерский дожил свою жизнь в родном Ростове-на-Дону. Ему, конечно, было прекрасно известно, что случилось с ростовскими евреями. В Ростове в августе 1942 года было выпущено воззвание «Ко всем евреям города», где объявлялось, что немецкое правительство намерено переселить их на новое местожительство и что поэтому они должны явиться в определенный день и час на вокзал для отправки, имея при себе не больше двух чемоданов с вещами. В то утро по главной магистрали города — Садовой улице — по направлению к вокзалу длинной лентой тянулись люди, нагруженные тяжелыми вещами. Их вели в Змиевскую балку. Ту самую, в которой к тридцатилетию Победы 9 мая 1975 года был открыт мемориал жертвам нацизма — с Вечным огнем, как положено. Естественно, никакие евреи упомянуты не были.

В девяностые мемориал пришел в плачевное состояние, даже газ в горелку Вечного огня не подавался. В нулевые, правда, восстановили и даже установили в 2004 году памятную доску с надписью: «11 — 12 августа 1942 года здесь было уничтожено нацистами более 27 тысяч евреев». А в 2011 году власти одумались и поставили новую доску, где слово «евреи» заменили на «мирных граждан Ростова-на-Дону и советских военнопленных».

Скажу о смысле проявившейся здесь сталинской логики — растворить евреев в «мирном советском населении». Евреев, в соответствии с этой логикой, убивали за то, что они были советскими гражданами, а не автоматически подлежали уничтожению (остальные — только в случае сопротивления или его угрозы). Идеологическая хитрость заключалась, во-первых, в том, что затушевывалось пребывание в числе палачей и карателей советских граждан, и, во-вторых, и это главное, смазывалось специфическое восприятие гитлеровцами Советского Союза как «еврейско-

4 ЦА МО РФ, оп. 109267, д. 1, л. 28, оп. 128028, д. 8, л. 92 д. 7, л. 82, оп. 115870, д. 2, л. 19.

го государства», в котором евреи были коммунистами, а коммунисты были евреями. Можно представить, до какой степени это не нравилось самому Сталину, которого, кстати, часто изображали на немецких листовках в карикатурном образе с ярко выраженными семитскими чертами в окружении толпы евреев. Возможно даже, что он воспринял такое «коварство» Гитлера как подлый удар поддых или еще ниже.

Так жертв фашистского режима заставили пережить еще одно унижение — то, что побуждало их страдать, было объявлено фикцией и заменено другой, «правильной» причиной.

Александра Печерского за Собибор никак не наградили. У него были только те награды, что после войны давали к юбилейным датам всем ветеранам.

Никакими льготами Печерский не пользовался. «Питаемся мы неплохо, даже хорошо. Вдвоем мы получаем в месяц 4 кг мяса и 4 кг вареной колбасы. После прихода нового секретаря обкома КПСС стало гораздо лучше», — из письма его жены Ольги Ивановны. В 1984 году после почти двух десятков лет правления ушел на пенсию первый секретарь Ростовского обкома КПСС Иван Бондаренко (согласно «Википедии» — советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда), который, со слов Михаила Лева, Печерского не жаловал. (Когда я задал дочери Печерского Элеоноре вопрос об отношении к отцу партийного начальства, она не смогла вспомнить ничего конкретного, заметив лишь: «Евреев вообще мало кто любил».) В упомянутом уже 2011 году на центральной аллее ростовского парка имени Октябрьской революции Ивану Бондаренко открыли памятник. Примерно тогда же в память об Александре Печерском во дворе дома на Социалистической, 121, открыли скромного размера мемориальную доску.

«Его знает весь мир, а в ростовском совете ветеранов войны на просьбу оказать содействие в похоронах удивленно спросили: “А кто такой Печерский?”» (из выступлений на похоронах Печерского в январе 1990 года). После смерти Печерского его вдова сообщила Михаилу Леву номер счета в Госбанке, который она открыла, чтобы желающие могли перечислить пожертвования на памятник. «Мне очень тяжело об этом думать и как-то неудобно будет перед товарищами, вроде я сама не могу сделать. Конечно, я сделаю, может, не такой шикарный, но скромный я сделаю»...

Ольга Ивановна пережила мужа на 16 лет. Время идет, и большинства из упомянутых здесь людей, переживших Собибор, уже нет на свете. Остались единицы: в Рязани живет Алексей Вайцен, в Киеве — Аркадий Вайспапир, в Тель-Авиве — Семен Розенфельд.

Марк Липовецкий

Пейзаж перед

(«Простота» и «сложность» в современной литературе)

ВОЗВРАЩЕНИЕ К РАСКОЛУ

Начну с цитат.

Первая:

«Кажется, что в русской словесности в течение уже лет десяти есть одновременно два расцвета. (...) С одной стороны, есть расцвет романа идей, нового реализма, жанровой литературы с идеологической подложкой и прочих соприсродных явлений. (...) С другой стороны — расцвет инновативной поэзии и отчасти прилегающей к ней малой прозы. (...) У двух этих литературных полей абсолютно нет пространства диалога. (...) Это будто бы два синхронных несовпадающих времени».

И вторая:

«Они говорят в литературе на разных языках (попробуйте положить рядом их книги).

Но параллельность их существования неслучайна.

Так же, как и в обществе — неслучайно ведь голосование по социологическим опросам делит население на противочасти.

Более того: не гражданская война, но напряжение и известное противостояние в литературе существует, только молчаливое.

Противостояние поэтик.

Есть — наследующие реализму, в том числе — соц. В странном и, конечно же, измененном виде. Теперь это не социалистический, а социальный реализм. Но по своему они на дух не переносят ту литературу, которая, восстанавливая утраченное, представляется им слишком изысканной и враждебной.

Разные они во всем — по языку и стилю, по системе персонажей, по тяготению к определенным сюжетам — или к сюжетам скрытым, более того — бессюжетности.

Такой раздел литературы сегодня очевиден.

Это даже не раздел, а раскол».

Об авторе | Марк Липовецкий — филолог и критик, профессор университета Колорадо (Болдер, США), доктор филологических наук, автор восьми книг и более ста статей в российской и зарубежной научной и литературной периодике. Наиболее известен своими публикациями о русском постмодернизме — книгами «Русский постмодернизм: Очерки исторической поэтики» (1997, номинировалась на Малый Букер); «Russian Postmodernist Fiction: Dialog with Chaos» (1999); «Паралогии: Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920—2000-х годов» (2008; шортлист премии имени Андрея Белого). Соавтор книги о «новой драме» «Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты новой русской драмы» (по-английски — 2009, по-русски — 2012; в соавторстве с Б. Боймерс). В 2011-м вышла книга Липовецкого, посвященная трикстеру как центральному тропу советской и постсоветской культуры — «Charms of the Cynical Reason: The Trickster Trope in Soviet and Post-Soviet Culture». В соавторстве с Н. Лейдерманом написал двухтомную историю послевоенной русской литературы (первое издание — 2001, пять переизданий). Последняя публикация в «Знамени» — 2013, № 3.

Первая из приведенных цитат принадлежит молодому, но уже известному критику Игорю Гулину и взята из его статьи «Два поля», напечатанной на портале Openspace.ru в феврале 2012 года. Вторая — из статьи Натальи Ивановой «Свободная и своенравная — или бессмысленная и умирающая?», напечатанной в июльском номере «Знамени» за тот же год. Характерно, что эти критики принадлежат к разным поколениям и разным системам эстетической ориентации, да и вряд ли Гулин мог повлиять на Иванову. Нет, по-видимому, мы имеем дело с медицинским фактом: современная литература течет двумя (или более) потоками, не знающими или не желающими знать друг друга.

Ситуация, описанная критиками, и нова, и ненова одновременно. С одной стороны, она чрезвычайно напоминает позднесоветскую литературную карту, на которой точно так же сосуществовали советская литература, с ее борьбой либералов, националистов и официоза; и non-конформистская, неподцензурная, а главное, по большей части — эстетически сложная литература, представленная широким спектром имен от Венедикта Ерофеева, Всеволода Некрасова, Игоря Холина, Дмитрия Пригова, Льва Рубинштейна, Андрея Монастырского до Иосифа Бродского, Андрея Синявского, Геннадия Айги, Саши Соколова, Леонида Аронсона, Леонида Губанова, Виктора Кривулина, Елены Шварц, Анри Волохонского и многих других. Неточно было бы обозначать всю эту словесность термином «самиздат», поскольку последний включал в себя и тексты, изгнанные из советской литературы по идеологическим причинам (от Солженицына до Войновича), но в общем-то принадлежащие ей по своим эстетическим параметрам. В советской литературе господствовал реализм — причем, как и теперь, совсем необязательно социалистический, а тоже социальный («военная» и «деревенская» проза), нередко и с сильным влиянием модернизма (Ю. Трифонов, Б. Окуджава). Что же касается неподцензурной словесности, то тут разброс был еще шире — от различных течений авангарда и модернизма до зарождающегося в советской «автономке» постмодернизма.

Скорее, напрашивалось противопоставление по принципу «простота — сложность». И недаром первые попытки легализовать неподцензурную литературу (сначала — поэзию) начались со статьи С. Чупринина под характерным названием «Что за сложность?» («Литературная газета», 1985, № 29) — и последовавшей за ней бурной дискуссией. Также показательно, что четырем годами позже Чупринин, говоря о прозаической версии той же словесности, использовал термин «Другая проза» (ЛГ, 1989, 8 февраля), что явственно свидетельствовало о том, что стилистическая сложность — лишь внешнее проявление сложности более глубокого порядка, более фундаментальной, чем собственно стилистическая, несовместимостью с позднесоветской социокультурной нормой.

Напоминаю об этих давних баталиях потому, что, странным образом, они актуальны и сегодня. Даром, что ли, один круг современных литераторов подчеркивает свою преемственность литературному андеграунду, оглядываясь на Михаила Кузмина, Лидию Гинзбург, Алика Ривлина, Павла Зальцмана, Андрея Николева, Павла Улитина, не говоря уж об обэриутах, а другой вновь поднимает, казалось бы, упавшие стандарты советской классики — от Леонова и Фадеева до деревенщиков и, прости господи, Петра Проскурина (почти не упоминаемого, но то и дело вспоминающегося при чтении «новых реалистов»), мечтая о течении новых «Угрюм-реки» и «Тихого Дона».

Однако все-таки сегодняшняя ситуация качественно иная. Прежде всего потому, что в 70—80-е этот раскол существовал в первую очередь благодаря цензуре — куда более лютый по отношению к эстетической сложности, чем к идеологическим «отклонениям». История альманаха «Метрополь» как попытки навести мосты между двумя словесностями в этом отношении более чем показательна; еще печальнее история альманаха «Каталог». Сегодня, к счастью, цензура ни при чем: и та, и другая словесность печатаются. Да, сильно разными тиражами, но ведь есть и Интернет, который будет помощнее галичевской «Эрики». Кроме того, не забудем и о том, что проклятые ныне годы перестройки и последовавшие 90-е были именно тем временем, когда неподцензурная литература наконец вышла на поверхность, широко

печаталась и, кажется, внедрялась в культурный канон или, во всяком случае, постепенно изменяла доминирующие в культуре представления о том, какой может быть литература.

И тем не менее, за редкими исключениями вроде Михаила Шишкина и Владимира Сорокина — литература, тяготеющая к «полюсу сложности», заметно маргинализована. Показательно, что когда в разговоре о литературе не с коллегами, а с вполне интеллигентными читателями говоришь о современном поэтическом подъеме, явно затмевающим достижения современной прозы, как правило, встречаешь искреннее недоумение. Имена Полины Барсковой, Линор Горалик, Василия Ломакина, Станислава Львовского, Марии Степановой, Андрея Родионова, Елены Фанайловой и эстетически близких им авторов не вызывают никакой реакции узнавания, несмотря на усилия «Школы злословия» и других культуртрегеров. Почему? Да потому, что современная поэзия «сложная», и ее, надо сказать, редко найдешь в книжных супермаркетах. Там еще недавно царил Андрей Дементьев. Хорошо хоть, его вытеснил «Гражданин поэт» (тоже «простота», но вполне осознанная как агитприем).

Так что рисковно утверждать, что сложившееся ныне противостояние «простой» и «сложной» литературы имеет совершенно иной смысл, чем в позднесоветские годы. Его не объяснишь социологическим голосованием по политическим вопросам: недаром сторонники простодушного «нового реализма» нередко во главе протестных демонстраций. Дело тут не в конформизме или протестности, а в чем-то другом. В чем же?

МАЯТНИК

Хочу подчеркнуть, что слова «простота» и «сложность» я употребляю в кавычках как временные заменители для более точных определений. Как известно, мышление бинарными оппозициями до добра не доводит, так что хочу заранее предупредить, что заданная оппозиция не преминет рассыпаться и расщепиться по ходу дальнейшего изложения. Пока что, во избежание недопонимания, упомяну случаи писательской эволюции от более «сложной» манеры к более «простой» (Сорокин, Пелевин, Славникова) да кивну в сторону таких двусмысленных феноменов, как проза Дмитрия Данилова (предельная упрощенность, становящаяся почти авангардной формой «сложности») или Александра Иличевского (сложная стилистика, скрывающая достаточно прямолинейные конструкции). Наконец, за последнее десятилетие сформировался вполне внятный мейнстрим, некое «сложнопростое» русло, где расположились произведения самых коммерчески успешных писателей от Бориса Акунина до Виктора Пелевина, от Дмитрия Быкова до Ольги Славниковой, от Алексея Иванова до Александра Терехова.

Но и в оппозициях есть свой прок как в исследовательских инструментах. Как писал Б.М. Гаспаров в статье «История без телеологии», всякого рода бинарные оппозиции (архаисты—новаторы, модернисты—реалисты, популярное—элитарное) не вовсе лишены смысла: «их объяснительная сила значительно возрастает, если освободить их от идеи поступательного исторического развития, в рамках которого они обычно мыслятся»¹. Последовав мудрому совету и взглянув на историю русской литературы XX века, нетрудно убедиться, что ситуация, подобная современной — хотя, возможно, не с такой остротой — возникала и до позднесоветского раскола на подцензурную и неподцензурную эстетики.

Серебряный век был, несомненно, моментом не только радикального обновления, но и радикального усложнения литературы — прежде всего в поэзии. В 1920-е годы этот процесс продолжился и в прозе — произведения Зощенко, Вагинова, Бабе-ля, Пильняка, Платонова, Кржижановского, раннего Эренбурга («Хулио Хуренито»)

¹ Гаспаров Б.М. *История без телеологии (Заметки о Пушкине и его эпохе)* // *Новое литературное обозрение*, 2003, № 59.

тому примером. Преемственность по отношению к Серебряному веку очевидна — неслучайно о Пильняке шутили, что он «пишет черным по Белому». Возвеличенные впоследствии Фадеев, Фурманов или Парфенов находились, по существу, на периферии литературного процесса. Зато в те же 1920-е, на параллельном ходу, происходит и радикальное упрощение поэтического языка и сознания — о чем свидетельствует высокая популярность стихов Демьяна Бедного, позднего Маяковского, Есенина, так называемых «комсомольских поэтов».

1930—1950-е — время поворота к «простоте» и не только из-за утверждения монополии соцреализма с его императивом «народности» и ориентацией на фантастически понимаемую фольклорность (см. доклад Горького на Первом съезде советских писателей). Даже Шкловский в 1932 году писал: «Сегодня мир проще. (...) Нужно брать простую вещь, или всякую вещь как простую»². Характерно, что и не подверженные соцреализму писатели тоже стремились к «неслыханной простоте», которая, по крайней мере в случае Пастернака и Ахматовой, понималась как поворот к эпическим масштабам и эпической же ясности.

Парадоксально, но в результате насильственных и ненасильственных упрощений в 1940—1950-е соцреализм превратился в глубоко ритуализированную, почти барочную систему символов и аллегорий. На этом фоне дуновение «простоты» отождествлялось с «искренностью». И первые симптомы этого поворота появились уже после войны — например, повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Из этого же ряда и стремление Пастернака к «простой, более прозрачной форме», достигнутое, как он полагал, в «Докторе Живаго» и поздней лирике. Но уже с середины 1950-х (начиная со статьи В. Померанцева «Об искренности в литературе») именно эта тенденция становится доминирующей, определяя логику «оттепельной» литературы, в диапазоне от Солженицына до «молодежной прозы» и «эстрадной» поэзии.

«Сложная» литература также набирает силы в это время, но она остается главным образом в андеграунде — показательно, что Синявский объяснял свое обращение к прозе, разумеется, «сложной» оглядываясь на литературу 1920-х, глубокой неудовлетворенностью «оттепельным» литературным мейнстримом. (Эстетически созвучным Синявскому, как ни странно, оказывается «ренегат» Катаев, с 1960-х создававший свой «мовизм», несмотря на гневные реакции либеральной критики.) В 1970—1980-е именно эта, скрытая «сложность» не только расцветает в андеграунде, но и прорывается в «легальный» литпроцесс, порождая и сложнейшую систему эзопова языка в сочетании с модернистской авторефлексией (Трифонов, Битов), мифологический роман и кинематограф (Тарковский) и т.п.

Перестройка спутала все карты, объединив в едином процессе шестидесятилетнюю «простоту» социального реализма Рыбакова, Дудинцева и др., с выходом из андеграунда постмодернизма и позднего авангарда с их новой «сложностью». Ситуация осложнялась и происходившим одновременно «возвращением» запрещенной классики русского модернизма, от Замятина и Платонова до Набокова и Газданова. С одной стороны, это придавало «высокому модернизму» 1920—1930-х годов неожиданную актуальность, а с другой — показательно, что в тогдашнем критическом и читательском восприятии эти сложные тексты чаще всего редуцировались к однозначным политическим аллегориям (т.е., грубо говоря, Набоков читался как Дудинцев).

Наконец, с конца 1990-х нарастает ориентация на реального читателя, что приводит и к распространению форм, позаимствованных у массовой культуры, и росту интереса к нон-фикшн (непосредственный опыт, «искренность»), а в театре — к подъему вербатима. В этом процессе сильную роль сыграло и развитие интернетовской литературы, в которой ориентация на читателя (залог «простоты»!) достигает своего наиболее чистого выражения: здесь читатель функционирует как писатель, и грань между этими, прежде четко маркированными ролями в блоге или фанфике становится чрезвычайно проблематичной.

2 Шкловский В. О людях, которые идут по одной и той же дороге и об этом не знают (Конец барокко) // Лит. газета, 1932, 17 июля. С. 4.

Надо заметить, что тенденции, противоположные доминирующим, всегда в той или иной мере присутствуют в каждом из этих периодов. В 1900—1910-е Леонид Андреев, Горький и Куприн были намного популярнее поэтов Серебряного века. Самые сложные книги Платонова «Котлован» и «Счастливая Москва», как и упомянутые выше важнейшие произведения обэриутов и поэзия Алика Ривлина, «Щенки» Павла Зальцмана и «промежуточная» проза Лидии Гинзбург и многое другое — были написаны в агрессивно упрощающие 1930—1950-е годы. А подъем новой «сложной» поэзии происходит тогда же, когда начинается наступление «нового реализма», — на рубеже 1990—2000-х.

То есть, конечно же, схема огрубляет и, возможно, сильно. Но современники не всегда видят «второй план». В сегодняшней ситуации — почти уникальной — хорошо видны оба плана, и они-то оказываются решительно несовместимы.

Как видно из этого заведомо беглого и неполного обзора, значение «простоты» и «сложности» постоянно меняется. Иногда под «простотой» понимается ориентация на читателя — идеального в соцреализме, реального у вышедшей на рынок литературы последних десятилетий; тогда за «сложностью» просматривается ориентация на автора и круг его/ее единомышленников, подобно тому, как речь может быть ориентирована на слушателя или на говорящего. Иногда под простотой понимается уход от литературно-идеологических схем к «непосредственному опыту», который в свою очередь воспринимается как гарант правды. Рядом с таким пониманием «простоты» «сложность» часто интерпретируется как форма эскапизма, а то и конформизма (старожилы, возможно, припомнят «Жажду беллетристики» Льва Аннинского и «Когда рассеялся лирический туман» Игоря Дедкова — критические хиты начала конца 1970—1980-х). Однако есть ли основания говорить о некоей логике, стоящей за этими раскачиваниями литературного маятника от «сложности» к «простоте» и обратно?

РЕГУЛЯРНЫЙ «ПОСТ»?

Существует множество теорий, описывающих эволюцию культуры в терминах, которые при известной усидчивости можно свести к оппозиции «простота»/«сложность». Это и открытые / закрытые формы Х. Вельфлина, и тяготение к полюсам единства и бесформенности Д. Чижевского, и «первичные» / «вторичные» стили Д. Лихачева, и гравитация к «Культуре» / «Жизни» Г. Кнаббе... Однако все эти теории исходят из предположения о том, что реальность, она же — жизнь, существует независимо от культурной деятельности. Я же, следуя чуть иному кругу авторитетов, полагаю, что «жизнь» не может быть ничем иным, как продуктом «культуры». А значит, всякое «упрощение» культурного процесса всегда производно от предыдущего «усложнения».

Во время «сложных» («бесформенных», условных, рефлексивных, «вторичных») периодов создаются новые, не вписывающиеся в существующие, концепции реальности. Именно они ломают устойчивые формы и привычные логики культуры, порождая иной раз впечатление хаоса. Период же «неслыханной простоты» наступает, когда эти новые концепции становятся привычными, будучи усвоенными настолько, что воспринимаются как «сама жизнь». Так что в этом смысле разрыв между «сложными» и «простыми» формами может быть понят как взаимосвязь между поисками новых представлений о реальности (эту реальность конструирующих) и нормализацией прежних открытий, по ошибке принимаемых и авторами и читателями за действительность.

С этой точки зрения, например, видно, что авторы, называющие себя «новыми реалистами», попросту «нормализуют» ошеломительные открытия гипернатурализма конца 80-х — начала 90-х — того, что тогда обзывали «чернухой». Это было направление, у истоков которого стоит Варлам Шаламов и к которому, в частности, принадлежат лучшие произведения Людмилы Петрушевской и Евгения Харитоновича, Игоря Холина и многих других, вплоть до Довлатова периода «Зоны». Но нормализация требует рамок, которые бы направляли шоковые эффекты либо в морали-

стические, либо, чаще, в идеологические заготовки. И эти рамки (как, впрочем, и заготовки) «новые реалисты» заимствуют с советских складов готовой литпродукции.

Впрочем, я забежал вперед.

Глядя на колебания литературного маятника — а вместе с ним колеблются и доминирующие вкусы, — можно высказать следующее предположение. Очевидно, что в такие переходные в историческом отношении периоды, как 1920-е или перестройка, возникает нестабильный баланс между тенденциями к «простоте» и «сложности». Периоды же, когда доминирует вектор к «сложности» — Серебряный век или «длинные» семидесятые — как ни странно это может прозвучать, предвосхищают исторические катастрофы, радикальные перемены символического и социального порядков. Впрочем, это не так уж и странно: «сложность» и возникает как симптом неприменимости прежних «простых» представлений о себе, истории и обществе.

Но что можно найти общего между сталинскими тридцатыми, «оттепелью» и нефтяными двухтысячными? Относительное спокойствие после исторических потрясений? Вряд ли. Дело не в «имманентных» характеристиках этих исторических периодов, да они и меняются со временем. Скорее, ответ нужно искать в том, как воспринимаются эти периоды изнутри, а не извне, с сегодняшней или какой другой перспективы. А сходство есть — и в тридцатые, и в шестидесятые, и в нулевые доминировало представление (часто ошибочное) о том, что страшные исторические потрясения, смута, хаос, «беспредел» остались позади — что *мы выжили*.

Иначе говоря, культура этих времен воспринимает себя как *пост-катастрофическую*, а вернее, *пост-травматическую* — после травм революции, после террора, после анархии.

Что касается культуры нулевых, то тут представление о пережитой исторической травме многослойно, но все-таки, по большей части, оно складывается из двух взаимно противоположных и наслаивающихся друг на друга составляющих: травмы всей советской истории, увиденной в ее целостности, и травмы, вызванной распадом советского символического и социального порядка в 90-е годы³. Противоречивость и нередко взаимоисключающая интерпретация того, что полагается исторической травмой, лежат в основе многих социальных и политических конфликтов; эти же источники питают и культурные войны, в том числе и ту, о которой идет речь в этой статье.

Если принять эту гипотезу (а это, конечно, только гипотеза!), то, возможно, тенденции к «простоте» и к «сложности» соответствуют двум наиболее типичным психологическим сценариям, по которым выстраиваются отношения с травматическим опытом, — *разыгрыванию* и *проработке*? В интерпретации известного американского историка культуры Доминика ЛаКапры, «разыгрывание [травматического опыта] всегда соотносится с повторением, иногда компульсивным... ему соответствует стремление повторять травматические сцены со всеми их разрушительными и само-разрушительными эффектами... Это процесс, при котором прошлое или же чужой опыт повторяются так, как будто они проживаются заново, в буквальном смысле». Что же касается проработки травмы, то здесь «субъект пытается найти критическую дистанцию от проблемы, обрести способность различать прошлое, настоящее и будущее... Необходимая критическая дистанция позволяет начать жить и принять на себя ответственность — что, конечно, не тождественно преодолению прошлого»⁴.

Разумеется, всякое художественное произведение соотносится с травматическим опытом — как личным, так и историческим. Но резонанс между создаваемыми одновременно текстами и, в особенности, их популярность, т.е. резонанс с читателем, предполагает, что в определенные моменты одни сценарии осмысления общих

3 См. подробнее: Липовецкий М. — Эткинд А. *Возвращение тритона: Советская катастрофа и постсоветский роман* // Новое литературное обозрение, 2008, № 94.

4 An Interview with Professor Dominick LaCapra. Interviewer Amos Goldberg // http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203648.pdf. См. также: LaCapra Dominick. *Trauma, Absence, Loss* // Critical Inquiry. Vol. 25, No. 4 (Summer, 1999).

исторических травм, всегда растворенных в личном опыте, производят более сильный эффект, чем другие. Если так, то, возможно, «простые», то есть лишенные рефлексии, «реалистические», а точнее — жизнеподобные, стратегии представляют собой попытку обратиться к недавнему травматическому опыту самым непосредственным образом? Или, иначе говоря, — «разыграть» травму историей, «компульсивно» повторив ее на бумаге?

Соцреализм в этом отношении не исключение — исключителен лишь обязательный *позитивный* взгляд на травмы революции, гражданской войны и собственно сталинской модернизации. Интересная параллель к этой позитивности наблюдается и в постсоветской культуре: антрополог Сергей Ушакин в его книге «Патриотизм отчаяния» исследовал пост-советскую тенденцию «обретать чувство общности путем представления национальной истории как истории пережитых, воображаемых или предвосхищаемых травм», что приводит к парадоксальному эффекту: травматический опыт воспринимается как позитивный — или как то, что цементирует коллективную идентичность, или же как источник того, что Ушакин называет «патриотизмом отчаяния». Речь идет об эмоционально насыщенном наборе символических практик, порождающих сообщества, основанные на чувстве утраты — великой России, великого Советского Союза, гарантированного благополучия и т.п.⁵

Собственно, то, о чем пишет Ушакин, и есть разыгрывание травмы в социальных практиках. В культуре этот процесс начался примерно с середины девяностых — со «Старых песен о главном», которые еще предполагали определенную критическую дистанцию, а (не?) закончился раскрашиванием, буквальным и метафорическим, советских фильмов и сериалов, перелицовываемых массовым порядком в ремейки и новые сериалы, основанные на эстетике и, более того, на клише 1970—1980-х.

НЫНЕШНИЕ «ПРОСТЫЕ»

Игорь Гулин неслучайно говорит о начале 2000-х как моменте, когда начался сегодняшний раскол. В 2000-м вышел «Брат-2» Алексея Балабанова, на ура принятый не только националистами, но и большей частью либеральной критики. А ведь это фильм, в котором была сформулирована вся политическая риторика нулевых: здесь Россия в лице Даниила Багрова вставала с колен, российские олигархи оказывались партнерами американской мафии, Америка обличалась как страна «уродов» и агрессивных дикарей, правда отождествлялась с кулачной силой и употреблялась для возвращения долгов Запада пострадавшей России. Но главным, не побоюсь этого слова, откровением «Брата-2» стала та простота, та органическая естественность, лишенная и тени идеологического пафоса, с которой Данила Багров произносит фразы, которые в течение последующего десятилетия разойдутся на слоганы, украшающие билборды партий и политических движений, в диапазоне от ЛДПР до «Правого дела». А сама стилистика изречений Багрова станет матрицей для государственных афоризмов высокого начальства.

Естественным продолжением успеха «Брата-2» стал скандал вокруг романа Александра Проханова «Господин Гексоген», опубликованного *Ad Marginem* и восславленного такими критиками, как Д. Ольшанский, Л. Данилкин, Л. Пирогов и др. в качестве образца новой эстетики. Завершением этой кампании, как многие помнят, стало не только присуждение «Гексогену» премии «Национальный бестселлер», но и триумфальный выход самого Проханова из националистического заповедника на экраны ТВ, радиоволны «Эха Москвы» и полки крупнейших книжных супермаркетов в качестве признанного классика, «мастера метафоры» и владетеля дум.

5 См.: Oushakine Serguei. *The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia*. Ithaca and London: Cornell University Press, 2009. См. также подробное обсуждение этой книги в журнале «Ab Imperio», 2011, № 1. С. 234—301.

Мне (в соавторстве с И. Кукулиным) уже приходилось писать о том расколе в молодом поколении литераторов, который вызвал этот литературный скандал⁶. Именно в спорах о романе Проханова сформировались те литературные партии, которые сегодня выросли до суверенных литературных республик. Любовь к Проханову станет чуть ли не главным фактором, объединяющим «новых реалистов» и их промоутеров. Но задним числом все-таки важно понять, почему заурядный для Проханова роман стал именно тем основанием, на котором возрос весь проект, с позволения сказать, «новой простоты».

То, что эстетически более консервативные критики усмотрели в «Гексогене» окончательный триумф постылого постмодернизма, можно объяснить только их недостаточной осведомленностью о том, что представляет собой постмодернизм. «Гексоген», построенный, как и все прочие сочинения Проханова, на карикатурно обостренных оппозициях, основанных в свою очередь на «фетишизации идентичности» (И. Кукулин), никаким боком не вписывается в логику постмодернизма, методично подрывающего оппозиции и терпеливо демонстрирующего фиктивность и сконструированность идентичностей. Но Данилкин и Ольшанский, немало писавшие о постмодернистской литературе, этой ошибки сделать не могли. Их выбор лежал в иной плоскости. Декларируемая этими критиками ориентация на «литературу больших идей» (по выражению Набокова) — крупную форму, отчетливых персонажей, национальную проблематику и, как следствие, широкого читателя, в предложенном выше контексте может быть прочитана как выбор *главной травмы*, с которой должна работать подлинно актуальная литература. В качестве этой травмы ими однозначно избиралось крушение советской империи — излюбленная тема Проханова — и по все той же бинарной логике «или—или», в качестве образца выбиралась советская, а вернее, позднесоветская модель «литературы больших идей» (опять-таки бережно законсервированная Прохановым).

Показательной «рифмой» к этой дискуссии стала статья С. Шаргунова «Отрицание траура» (Новый мир, 2001, № 12). Как уже напомнил И. Кукулин⁷ — это был четвертый по счету манифест «нового реализма», однако, в отличие от предыдущих (Ю. Полякова, П. Басинского, С. Казначеева), выступление Шаргунова имело успех, действительно став декларацией «реалистов» нового поколения в лице самого Шаргунова, Захара Прилепина, Романа Сенчина, Дениса Гущко, Германа Садулаева, Василины Орловой, критика Валерии Пустовой и ряда других молодых, но сегодня уже известных авторов.

Перечитывая этот манифест, трудно сдержать недоумение: пыльные и путанные рассуждения автора, тогда еще студента журфака МГУ, никак не складываются в сколько-нибудь цельную программу. Однако секрет успеха шаргуновского манифеста кроется не в логике и не в видении, а в использовании неких ключевых формул, своего рода стимуляторов риторических рефлексов, эффект которых усиливается иллюзией, будто автор сам эти формулы придумал прямо сейчас. Приведу некоторые из этих формул: «Искусство действительно принадлежит народу — больше, чем это можно себе представить. Народ не утрачивает ярких стихийных талантов сил»; «Талант уникален, явен, талант не пропадет»; «Вообще говоря, бедность поэтична. Благословенная бедность»; «Толстосум — по определению бездарен»; «Народ принадлежит искусству. В этом разгадка России»; «Постмодернисты — часы со смехом. Смеясь, они расстаются с прошлым»; «Постмодернизм как тенденция заведомо исчерпан, должен пересохнуть»; «Реализм — “постмодернизм постмодернизма” — неотвратим... [Он] обнаруживает твердую первооснову, заново открывает литературу-

6 См. История русской литературной критики советской и постсоветской эпох / Под ред. Евгения Добренко и Галины Тиханова. М.: НЛО; 2011. С. 708—721. Подробный анализ романа Проханова и дискуссии вокруг него см. в статье И. Кукулина «Реакция диссоциации: Легитимация ультраправого дискурса в современной российской литературе» // Русский национализм: Социальный и культурный контекст. Сост. М. Ларюэль. М.: НЛО, 2008. С. 257—358.

7 Кукулин И. «Какой счет?» как главный вопрос русской литературы // Знамя, 2010, № 4.

ную традицию»; «Русская литература вследствие непостижимых траекторий рискует очутиться в авангарде нового процесса»; «Сегодняшняя “качественная” проза почти лишена художественности. Нагромождение сложных обесцвеченных предложений, пошлость, мизерность, сальная антипоэтичность... Невнятная “бытовуха”, тухлые котлеты...» «Почва — реальность. Корни — люди»; «В прозу юных возвращаются ритмичность, ясность, лаконичность. Альтернатива постмодернизму. Явь не будет замутнена, сгинет саранча, по-новому задышит дух прежней традиционной литературы».

Вся эта риторика, к тому же сдобренная «задорным» комсомольским пафосом и неудержимым оптимизмом («Отрицание траура»!), явственно напоминает словарь соцреализма. С проклятиями «декадентскому» искусству — роль которого у Шаргунова и его соратников выполняет постмодернизм. С борьбой против формализма и натурализма («бытовуха»). С прославлением творческих сил народа. С «диалектикой» новаторства и традиции (непреренно великой). С отождествлением экономических и эстетических характеристик (бедность поэтична, толстосум «по определению» бездарен). С творчеством юных, которое «неотвратимо» выведет Россию в авангард мировой культуры. И даже с перелицованными «марксистскими» клише: «смеясь, они расстаются с прошлым»; «постмодернизм постмодернизма» — калька «отрицания отрицания», «народ принадлежит искусству» — перевертыш мантры «искусство принадлежит народу» и т.п.

Шаргунов представляет поколение, которому вся эта демагогия не вдалбливалась с младшей школы, и потому у него, как и у других «новых реалистов», отсутствует идиосинкразия на эти клише. Но зато они «вспоминают» советскую риторику как что-то «глубинное», «настоящее», усвоенное неосознанно из прочитанных книг (советских), фильмов и телесериалов (тоже советских). Советская идеология оказалась воспринятой ими не как набор идей, а как полусознанная «матрица», как не подвергаемая сомнению структура, которую необходимо наполнить новым опытом — и получится «новый реализм».

Таким новым опытом и стали травмы девяностых, травмы постсоветского распада, пережитые многими из «новых реалистов» со всей неподдельной болезненностью. В своей прозе они с искренней непосредственностью занялись «разыгрыванием» этих травм, движимые верой, что таким образом они возвращают литературе «правду жизни». Отсюда поэтика «нового реализма», основанная на линейном повествовании, четком делении мира на «своих» и «чужих», единстве авторской точки зрения с точкой зрения персонажа... Концентрацией этой эстетики стал принципиальный отказ от «стилистических изысков», о котором даже такой трубадур «нового реализма», как Валерия Пустовая, писала так: «Они одинаковы в слове, их было бы трудно отличить друг от друга на слух, без напечатанной сверху фамилии. Сами реалисты любят объяснять свою безъязыкость подражанием “улице”, образом выловленного из толпы рассказчика. Как будто мало того, что раньше улица корчилась безъязыкая — пусть теперь и словесность поколбасит от косноязычия»⁸. Это очень симптоматичное свидетельство: оно говорит о том, что перед нами не эстетическое, а идеологическое течение. Только его идеология невольная, «инстинктивная».

«Новые реалисты» бежали от готовых идеологий, доверяя только своим инстинктам, основанным на личном травматическом опыте. Они исходили из того, что им казалось «здоровым смыслом», не подозревая о том, что именно «здоровый смысл» всегда является наиболее идеологически насыщенной конструкцией, поскольку именно в «здоровом смысле» отпечатываются самые общепринятые, а потому самые авторитетные «грамматики» поведения и сознания, реально регулирующие и дисциплинирующие всех без исключения членов общества. Под видом «личного опыта» и «здорового смысла» идеология прорастает сквозь их логику, образы, восприятие и оценки. И идеология эта, с некоторыми индивидуальными вариациями, регулярно

8 Пустовая В. Пораженцы и преображенцы: О двух актуальных взглядах на реализм // Октябрь, 2005, № 5.

воспроизводит советскую матрицу с ее незыблемым представлением о «своем» как о естественной норме, а о «чужом» как об опасной девиации, — недаром именно «чужака» (этнического, социального, сексуального и т.п.) они с завидным постоянством определяют на роль врага или «козла отпущения». Из той же копилки презрение «новых реалистов» к «интеллигентской рефлексии» и упоение витальностью, переходящее в упоение насилием; противопоставление прошлого настоящему (только у «новых реалистов» советское прошлое всегда прекрасно, а постсоветское настоящее отвратительно). Из советского «словарного запаса» и героический пафос самопожертвования и, конечно, мачизм, неизменно подкрепляемый рассуждениями о «настоящих» мужчинах и «настоящих» женщинах... Как это происходит на практике, я уже показал на примере прозы Захара Прилепина, к разбору которой и отсылаю читателя⁹.

Все эти не очень прочно забытые приметы *советского стиля* и производят эффект «простоты»: читатель радостно узнает в «новом реализме» привычные риторические и мыслительные конструкции. В сущности, «простота» оказывается в этом случае торжеством узнавания над тем, что Виктор Шкловский называл *остранением* — способностью видеть, казалось бы, хорошо знакомое и давно известное по-новому, как странное и потому живое. Эти же приметы советской матрицы стали в «новом реализме» способом нормализации того, что в годы перестройки называли «чернухой». Только они локализовали «чернуху» в постсоветской эпохе, тем самым встроив ее в комфортную оппозицию между утраченным раем советского и адом постсоветского. (О том, почему такая оппозиция оказалась востребованной, написано достаточно много¹⁰.)

Интересно, что возникающая параллельно с «новым реализмом» и движимая сходным стремлением избыть травмы постсоветского опыта, «новая драма» в своей траектории лишь отчасти совпадает с прозой. Не завоевав массовой популярности, «новая драма», вместе с тем, радикально обновила театральный язык, который, в свою очередь, нашел наиболее адекватную площадку для реализации не на театре, а на киноэкране. Ведь именно из «новой драмы» вырастает новый российский кинематограф, представленный именами К. Серебренникова, А. Попогребского, Б. Хлебникова, И. Вырыпаева, А. Звягинцева и др. Иными словами, в отличие от «нового реализма», в «новой драме» *остранение* возобладавало над узнаванием, и произошло это, вероятнее всего, потому, что сама форма театрального представления в сочетании с радикализмом «новой драмы» по отношению к господствующим на российской сцене конвенциям — задавали критическую позицию, провоцировали на постоянную рефлексию как авторов и исполнителей, так и зрителей «новой драмы».

Лежащее в основе успеха «нового реализма» узнавание без *остранения*, т.е. без критической дистанции, — это и есть проявление той компульсивной повторяемости, о которой ЛаКапра (вслед за Фрейдом) говорит в связи с разыгрыванием травмы. Парадокс же «нового реализма» состоит в том, что его создатели, стремясь избыть травматический опыт девяностых, в той же мере — только не вполне осознанно — воспроизводят модели не пережитого ими лично, но унаследованного советского культурного опыта. Сама эта невольная связка свидетельствует об ошибочности исходной посылки «новых реалистов»: выяснилось, что невозможно вытеснить травму постсоветского опыта, пропустив ее через советские риторические фильтры — советское и постсоветское оказываются связаны настолько неразрывно, что одно тянет за собой другое. И травма потому не «лечится», а репродуцируется, закрепляясь как норма (об этом я тоже писал в статье о Прилепине).

9 См. мою статью «Политическая моторика Захара Прилепина» в «Знамени», 2012, № 10.

10 См., например, целый ряд статей в кн. Л. Гудкова «Негативная идентичность: Статьи 1997—2002» (М., 2004): «Комплекс “жертвы”». Особенности массового восприятия россиянами себя как этнонациональной общности», «К проблеме негативной идентификации»; «Россия — “переходное общество”?» и др.

МЕЙНСТРИМ И «МАГИЧЕСКИЙ ИСТОРИЗМ»

Мейнстрим, сложившийся за последнее десятилетие, предлагает несколько иные стратегии. Во всяком случае, о Викторе Пелевине, Борисе Акуnine, Дмитриии Быкове, Александре Терехове, Ольге Славниковой, Людмиле Улицкой или Михаиле Елизарове не скажешь, что они стремятся создать непосредственный отпечаток травматического опыта. В отличие от «новых реалистов», эти писатели умело используют различные приемы модернистского и постмодернистского остранения — от стилизации до гротеска, от фантазмагории до мифотворчества, — позволяющие внедрить критическую дистанцию в переживание исторических травм. Более того, этих писателей занимает именно *взаимосвязь* советских и постсоветских травм, что особенно отчетливо видно, например, у Славниковой («Бессмертный», «2017», «Легкая голова») и Быкова («ЖД»), а менее явно у Елизарова (с его завроженностью советскими мифологиями) и Пелевина (с его методичным анализом постсоветского как постмодерного). Что касается Акунина, то весь его мир построен на постоянных переключках и перетяжках между якобы идиллической «Россией, которую мы потеряли» и как советскими катастрофами, так и постсоветскими разочарованиями.

Интересный подход к пониманию художественной логики мейнстрима нулевых предложил Александр Эткинд, выдвинувший концепцию «магического историзма». В статье, к сожалению, существующей лишь по-английски, «*Stories of the Undead in the Land of the Unburied: Magical Historicism in Contemporary Russian Fiction*»¹¹ (не совсем точно можно перевести как «Истории нежити в стране непохороненных: Магический историзм в современной русской прозе»), Эткинд рассуждает о «диалектике разыгрывания и остранения» как об определяющем принципе течения, которое он, по аналогии с «магическим реализмом», назвал «магическим историзмом». Средоточием этой диалектики становится, по мнению исследователя, мотив жуткого, широко представленный в современной прозе разного рода нежитью — призраками («Оправдание» Быкова, «2017» и «Легкая голова» Славниковой, «Каменный мост» Терехова), вампирами («*Empire V*» Пелевина) и оборотнями («Священная книга оборотня» того же Пелевина). Все это, по Фрейду, от которого Эткинд отталкивается, символизирует *возвращение подавленного*, в буквальном смысле репрессированного — прежде всего вытесненных из социальной памяти жертв советского террора. Отсюда вывод — в современном литературном мейнстриме «прошлое воспринимается не просто как “другая страна”, но как страна экзотическая и не изученная, чреватая нарожденными альтернативами и неминуемыми чудесами (...) Одержимые призраками прошлого, [эти писатели] не в силах преодолеть желание обдумать прошлое еще и еще раз». Иначе говоря, Эткинд диагностирует мейнстриму меланхолию, понимаемую (опять же по Фрейду) как «неспособность отделить себя от утраченного; как привязанность, мешающую человеку жить в настоящем, любить и работать. В политическом отношении не менее важна и обратная сторона этого состояния: когда в настоящем нет выбора, историческое прошлое превращается во всеобъемлющий нарратив, который больше затемняет настоящее, чем объясняет его».

Выходит, приемы, задающие критическую дистанцию, оказываются недостаточно эффективны: прошлое в литературе мейнстрима, он же «магический историзм», поглощает настоящее, и в результате доминирующей стратегией оказывается все то же разыгрывание травмы. Правда, в отличие от «нового реализма», где травму разыгрывает автор, неотделимый от героя, в прозе «магического историзма» автор уже отстоит от персонажа (тут как раз срабатывают приемы (пост)модернистского остранения). И это персонаж компульсивно переживает травматический опыт непроработанного прошлого — а автор наблюдает за ним (чаще всего это он) с разной степенью сочувствия, иногда почти с безразличием.

11 Etkind Alexander. «*Stories of the Undead in the Land of the Unburied: Magical Historicism in Contemporary Russian Fiction*» // *Slavic Review*, Vol. 68, No. 3 (Fall, 2009). P. 631—658.

Чем значительнее эта дистанция между автором и персонажем, тем виднее, что наиболее травматическим феноменом в «магическом историзме» оказывается как раз *невозможность отделить настоящее от прошлого* — замороженность прошлым, с мистической непреклонностью диктующим логику сегодняшних событий и сегодняшнего поведения, обрекает героев на «вечное возвращение» в советскую катастрофу и вытекающие из нее постсоветские кошмары. Эта замороженность как раз и вытекает из спаянности постсоветских травм с непроработанной памятью советской истории, на которой запнулся «новый реализм».

Исторический опыт у всех этих авторов предстает как решительно иррациональный, как кошмарное дежавю, из которого невозможно высочить, как ни пробуй, как ни бейся. У Терехова или Елизарова эта зависимость вызывает почти религиозный экстаз. Славникова и совсем иначе Улицкая пытаются ее психологизировать, тем самым — вольно или невольно — примиряя(сь) с ней. Быков ищет рациональную логику бесконечного дежавю, вычерчивая историософские алгоритмы. Акунин, с одной стороны, эксплуатирует замороженность прошлым, обеспечивающую устойчивую актуальность его историческим детективам, а с другой — иронически подчеркивает сконструированный, фиктивный характер самого прошлого, которое, не только создается путем постмодернистского коллажа неявных цитат, но и проявляется в себе черты того самого, «неподлинного», постсоветского настоящего.

Самый парадоксальный вариант, как всегда, у Пелевина: начиная с «Омона Ра» он пишет истории о том, как человек становится богом и к чему это приводит. В ранних текстах, плюс «Священная книга оборотня» (линия А Хули), это был сюжет о поисках свободы, о выходе в У.Р.А.Л. или Радужный Поток. Однако начиная с «Generation П», а затем с особенной, почти отчаянной настойчивостью в книгах последнего времени («Empire V», «Т», «ППП», «S.N.U.F.F») Пелевин демонстрирует, как превращение героя в бога решительно *ничего не меняет*, порой еще и усугубляя не-свободу — и для главного героя, и для мира вокруг него. «Священная книга», кстати говоря, примыкает и к этой тенденции — ведь помимо А Хули в ней был генерал ФСБ Серый, который тоже становился богом — превращаясь в пятиногого пса Пиздеца. Превращение в бога, таким образом, обесценивается, становясь частью дежавю — столь же исторического, сколь и внеисторического, но всегда очень российского, несмотря на все приметы глобализации.

Эткинд относит к «магическим реалистам» и Владимира Сорокина, и Владимира Шарова, с чем я не вполне согласен. И вот почему. Владимир Сорокин только однажды соскользнул в мейнстрим — в своей «Ледяной трилогии» он создал навязчиво повторяющийся миф, объединяющий серебрянновековой оккультизм, тоталитарные идеологии и постмодерный нью эйдж. Этот миф фактически поэтизировал травматическое «вечное возвращение», исключая какую бы то ни было альтернативу ему: смертные герои, казалось бы, противостоящие Братьям Льда в последней части трилогии, в конечном счете, приняты в круг 23,000, а после таинственной гибели гипербореев становятся их наследниками. Не так в «Дне опричника», «Сахарном Кремле», «Метели» и «Моноклоне». Здесь возвращение, непреодолимость прошлого понимаются Сорокиным как центральная социальная и культурная проблема России, выступая в качестве источника повторяющихся катастроф. Верный своей концептуалистской выучке, в этих книгах — в отличие от «Ледяной трилогии» — он фокусируется на языке и его трансформациях. Именно язык, иначе говоря, воплощенная культурная традиция становится двигателем «вечного возвращения», блокирующего какое бы то ни было обновление, именно здесь кроется механизм компульсивного разыгрывания одних и тех же травм в сколь угодно изменчивых декорациях. Сорокин в этих книгах исследует *язык травмы*, сохраняя при этом критическую дистанцию от него. Деконструкция того, как устойчивые, освященные традицией языковые — читай культурные — формы порождают репрессию и травму, и есть сорокинская альтернатива мейнстриму.

Что же касается Шарова, то его метод прямо противоположен «магическому историзму» мейнстрима. Да, и про него можно сказать, что он сам заморожен прошлым — в каждом новом романе возвращаясь к загадке революции и террора, в их

неразрывной связи, но при этом у него и в помине нет неразличимости прошлого и настоящего. Каждый раз придумываемая им заново история революции — это *неповторимая*, часто раскинувшаяся на века коллективная попытка достижения конца света, которая неизбежно завершается амбивалентным финалом: не то попытка провалилась, не то конец света произошел, а мы этого не заметили. Исходя из этой постоянной посылки, он создает странный гибрид между разыгрыванием и проработкой исторической травмы. С одной стороны, он действительно, как в своем раннем романе «Репетиции», каждый раз тщательно выстраивает декорации и расставляет героев, чтобы из их взаимодействия как бы сама по себе произошла катастрофа. Но в то же время само это медлительное выстраивание механики, порождающей историческую травму, задает необходимую критическую дистанцию: логика катастрофы всегда понимается им как принципиально *другая*, она не только не повторяется в настоящем, она оказывается непостижимой с точки зрения настоящего.

Попробуйте пересказать любой роман Шарова — и вы столкнетесь с проблемой «перевода»: то, что изнутри романа, в процессе чтения, кажется почти естественным, в пересказе становится непонятным. Но в этом и суть его книг, которые, как сложные лабиринты, погружают наше восприятие в *другое*; это другое и есть историческая травма, которая, по словам К. Карут, известного эксперта в этой области, вызывает разрыв в сознании, разрыв в переживании времени. Однако, чтобы увидеть этот разрыв, нужна критическая дистанция, и Шаров ее парадоксальным образом вписывает в сам процесс перевода наших представлений на *другую логику*, собственную катастрофе. Остранение в его прозе проявляется еще и в том, что, собственно говоря, все его романы могут быть прочитаны и в качестве аллегории о том, как попытки его персонажей *повторить историю* ведут к катастрофам и последующим неизбежным травмам: ведь все его герои стремятся *разыграть* Второе Пришествие — а заканчивают ГУЛАГом (понимаемым, разумеется, как путь к Спасению).

То, что уже несколько десятилетий делают Сорокин и Шаров, подводит к тем стратегиям «проработки» исторических травм, которые развиваются в «сложной» литературе нулевых.

СОМНЕНИЕ В СОБСТВЕННОМ ВЫСКАЗЫВАНИИ

Поворот к «сложности», в том виде, в каком эта категория постепенно оформляется в сегодняшней прозе, начался с поэзии. Именно поэзия вступила в резонанс с уже существующими эстетическими стратегиями Сорокина, Шарова и ряда других прозаиков — здесь надо назвать как минимум Александра Гольдштейна, Михаила Шишкина, Николая Байтова, Николая Кононова, Валерия Вотрина, Андрея Левкина, Кирилла Кобрин, Александра Ильянену, Маргариту Хемлин; упомяну также прозу О. Юрьева и «НЕТ» С. Кузнецова и Л. Горалик. Именно поэзия стала тем магнитом, который начал стягивать разнородные феномены в некое общее русло. Почему именно поэзия? Наверное, потому что в ней произошло важнейшее открытие, позволившее вместить «критическую дистанцию» (важнейшее условие проработки травмы) в самое основание художественного высказывания.

Коротко говоря: в сложной поэзии нулевых родился новый субъект. В программной статье «Постконцептуализм» (тоже, кстати 2001 года) Дмитрий Кузьмин так обозначал этот сдвиг: «Я знаю, что индивидуальное высказывание исчерпано, и поэтому мое высказывание не является индивидуальным, но я хочу знать, как мне его реиндивидуализировать!»¹² Как показала поэтическая практика, каждый из поэтов новой генерации искал и находил свое решение этой проблемы — но, очень огрубляя, можно сказать, что все они в той или иной степени строили «Я» поэтического высказывания как *неповторимо-индивидуальную (и меняющуюся)*

12 Кузьмин Д. Постконцептуализм. Как бы наброски к монографии // НЛО, 2001, № 50.

комбинацию чужих, других, безличных или авторизованных голосов и позиций. Таким образом, «свое», «личное» было неразрывно спаяно с чужим и другим, и самое интимное высказывание непрерывно подвергалось скептическому анализу: я ли это говорю? кто или что говорит через меня? где я?

Кузьмин совершенно справедливо назвал это поэтическое направление пост-концептуализмом — оно действительно выросло на том понимании поэтического слова, которое было выработано Приговым, Рубинштейном и Сорокиным. К примеру, Пригов неизменно подчеркивал «проблематичность личного высказывания, его невозможность»¹³. Так он определял «основной пафос постмодернизма»¹⁴, но смысл этого императива явно шире. Говоря о круге близких ему художников, Пригов использовал тот же критерий: «...у нас была принципиально другая установка. Она была очень релятивистская, и мы невольно, критикуя чужие дискурсы и Большой советский дискурс, пришли к тому, собственно, что характеризует постмодернизм, — к сомнению в собственном высказывании... То есть критика любого дискурса естественно ведет к сомнению в собственном высказывании»¹⁵. В другом месте он добавлял, явно имея в виду свое собственное творчество: «...ощущение необязательности собственного высказывания для другого, нетотальность его. Поэтому на границах перехода одного высказывания в другое возникает тип иронии, которая есть знак относительности высказывания»¹⁶. По этому признаку Пригов, например, отличал концептуалистский круг от шестидесятников, при этом, однако, вводя характерную оговорку о Всеволоде Некрасове. Объясняя причину их расхождений, Пригов говорил: «Проблема в том, что он не понимает и предполагает, что его язык — это его язык. Он убежден, что он говорит на всеобщем правильном истинном языке»¹⁷.

Именно сомнение в собственном высказывании и знание того, что твой язык не является «всеобщим правильным истинным языком», — этот, подчеркну, *этический* принцип был благодарно воспринят новым поколением поэтов, именно он лег в основание исходной для всей «сложной» литературы «критической дистанции».

А тот факт, что новая поэзия также сфокусирована на переживании исторической травмы — притом, что и современность помещается в область делящейся травмы — можно и не доказывать специально. Достаточно сослаться на мнение известного знатока современной поэзии: «...сегодня поэзия гораздо интенсивнее, чем проза, вырабатывает методы анализа исторических травм современного сознания и показывает пути исцеления этих травм»¹⁸ — и упомянуть такие важнейшие тексты этого направления, как, предположим, «Они опять за свой Афганистан», «Балтийский дневник» и «Черные костюмы» Елены Фанайловой, блокадный цикл Полины Барсковой, «Советские застольные песни» Станислава Львовского, «Прозу Ивана Сидорова» Марии Степановой, «Семейный архив» Бориса Херсонского... (разумеется, коллеги могут оспорить мой ряд или назвать в этом ряду другие тексты, поэтому я ставлю многоточие).

Перенос этого принципа в прозу оказывался достаточно сложным и потребовал множества «расширений». Как ни странно, наиболее близка к поэтической стратегия Михаила Шишкина, к которой он, разумеется, пришел своим путем, опираясь прежде всего на опыт европейского модернизма. Его романы последних лет, сотканые из множества голосов и цитат, в конечном счете всегда складываются в мощный *лирический* поток. Субъект и во «Взятии Измаила», и в «Венерином волосе», и в «Письмовнике» рождается на наших глазах, впитывая чужие истории индивидуальных и исторических травм и объединяя их общим ритмом, почти навязывая им созвучия, переклички, рифмы, переводя с одного языка на другой и, наконец, убеждая себя и читателя в том, что жизнь и состоит из травм и борьбы с ними посредством ритма (иначе

13 Балабанова И. *Говорит Дмитрий Александрович Пригов*. М.: ОГИ, 2001. 119.

14 Там же.

15 Там же. С. 87.

16 Там же. С. 28.

17 Там же.

18 Кукулин И. «Создать человека, пока ты не человек...» Заметки о русской поэзии 2000-х // *Новый мир*, 2010, № 1.

называемого любовью), а другого вещества существования и не бывает. В известной мере, хотя, конечно, и с важными вариациями, сходная логика просматривается в таких важных текстах последнего времени, как «Гнедич» Марии Рыбаковой, романы Лены Элтанг (и в первую очередь «Каменные клены») или «Фланер» Николая Кононова. На этих принципах строилась и проза трагически рано умершего Александра Гольдштейна, чье влияние на современную литературу явно недооценено.

Противоположный полюс представлен прозой, которую вполне условно можно назвать «антропологической». Речь идет о тех произведениях, в которых (можно сказать, по образцу Шарова — хотя и не по его методу) предпринимаются попытки вникнуть в *другое* сознание и состояние, практически всегда локализованное в зоне исторической катастрофы. Авторы этих произведений методично подрывают авторитетные или, наоборот, контр-авторитетные оценки и суждения, с дотошностью хорошего историка раскапывая (или воображая) всю невероятную, не поддающуюся схемам сложность травматического опыта. Это глубинное проникновение в *другое* строится на особом рода табу, запрещающем попытки судить или, того хуже, сюжетно награждать и наказывать героев. В основании этой эстетики, по-видимому, уроки Шаламова с его императивным представлением о писателе как «Плутоне, поднявшемся из ада, а не Орфее, спускавшемся в ад». На шаламовский принцип наложился аналитизм «промежуточной прозы» Гинзбург, учащей искать связь между языком и физиологией травмы¹⁹. Неслучайно именно истории блокады притягивают сегодня поэтов (П. Барсков, С. Завьялов), и именно из погружения в блокадный мир возникла одна из лучших «антропологических» повестей последнего времени — «Ленинград» Игоря Вишневецкого, в котором чудовищный мир блокады предстал сложным переплетением различных слоев и языков культуры — серебрянновековой, нацистской и советской — переплетением и моментом их страшного резонанса, приводящего к материализованному в страшных деталях апокалипсису.

Совершенно иначе, через возрожденный сказ, эту стратегию осуществляет Маргарита Хемлин, автор повестей «Клюцвог» и «Крайний». «Антропологический» принцип переходит в «психогеографию» у Андрея Левкина и Кирилла Кобрин.

Фантастическую версию «антропологической» прозы — вырастающую, судя по ранним рассказам этого писателя, не без влияния Сорокина, — создает Валерий Вотрин. Особенно показателен в этом отношении его последний роман «Логопед» (НЛО, 2012). Как следует из названия, это роман о языке. В «Логопед» разворачивается довольно веселая и одновременно страшноватая история распада однопартийной России, основанной на строгом контроле за правильностью орфоэпических норм, осуществляемом культурной элитой, коллегией логопедов, места в которой передаются по наследству. Вотрин пишет антропологию этого придуманного им политического режима с разных точек зрения, не оставляя «автору» никакого пространства для самостоятельного «мнения» — недаром даже оформление текста пронизано «чужим» словом, а вернее, чужой орфоэпией. Первое, что видит читатель «Логопеда», — «Глава пелвая».

Как полагает сам автор, «язык в романе — самостоятельный и страшный персонаж, паразит сознания. Это народный язык, персонифицированное просторечие, с помощью своих носителей продвигающееся к власти. И это вовсе не метафора. Потому что и в реальности люди приходят во власть со своим языком. А если люди находятся во власти долго, то их язык становится нашим. Происходит культурное насилие, но не над большинством — ведь это его язык приходит во власть. Насилие совершается над меньшинством, носителями условно книжного языка»²⁰.

Однако упрощенность этой (авто)интерпретации становится очевидной, если поставить «Логопеда» рядом с романом Михаила Гиголашвили «Захват Москвитии»

19 См. об этом: Сандомирская И. *Город-голод: Дистрофическое письмо и его «гладкий» субъект* // Сандомирская И. *Блокада в слове: Очерки критической теории и биополитики языка*. М.: НЛО, 2012. С. 173—265.

20 Валерий Вотрин: «Достаточно разбудить того, кто видит сон, и мир закончится». Интервью Дениса Ларионова // <http://www.colta.ru/docs/11428>

(Эксмо, 2012). Ведь это тоже роман о языке. Сходство усугубляется еще и тем, что, как и Вотрин, Гиголашвили учился на филолога и живет постоянно в Европе, воспринимая современную русскую речь с известной долей остранения. И у Вотрина, и у Гиголашвили язык — и есть вещество России, и потому состояние языка — вопрос политический. (Соотнесенность этого взгляда с политическим размежеванием, происходящим в социальных сетях, представляется мне несомненным, хотя и не единственным объяснением сюжетов обоих романов.)

У Гиголашвили милый немецкий студент-русист, Манфред фон Штаден, влюбленный в русский язык, оказывается несчастной жертвой постсоветского хаоса. Его язык, выученный в германском университете у русского профессора, оказывается несовместим с *реальным* русским. Как ни странно, наивный немец, искажающий слова и придумывающий смешные этимологии, предстает у Гиголашвили носителем культурной *нормы*, по отношению к которой аномально выглядят и граммарици, и сладкоречивый полковник, и многие другие, если не все, персонажи романа, загоняющие несчастного Манфреда в тюрьму.

У Вотрина же весь сюжет вертится вокруг *проблематичности нормы*. Ведь размывание языковых норм проецируется в «Логопед» на историю перестройки и ассоциируется с борьбой против партийной иерархии и поддерживающей ее своим авторитетом касты логопедов. Поэтому насилие народного языка — это только одна сторона романного сюжета. А с другой — самодовольство и закрытость касты логопедов, мнящих себя хранителями культуры, но одновременно охраняющих режим, дарующий им значительные привилегии. Так что можно читать этот роман как историю о бунте «дикарей», разрушающих культуру. А можно и как историю интеллигенции, ради привилегий и ради власти превративших эту самую культуру в забор, огораживающий уютные сэттлменты. И изображаемая в «Логопед» катастрофа, с одной стороны, остраивает историческую память о перестройке, переписывая ее в *других* категориях, а с другой — ни в коем случае не предлагает однозначных оценок, выдвигая на первый план проблематизацию каждой из обозначенных позиций и, что немаловажно, реализуя каждую из этих позиций не как идеологию — как особенный диалект русского...

Конечно, «лирические» и «антропологические» версии «сложной» прозы — это только наиболее отчетливо проступившие направления проработки исторических травм. Надеюсь, что будут (или уже есть, а я не заметил) и другие. Важно подчеркнуть то, что пресловутая «сложность» возникает именно из условий, обеспечивающих критическую дистанцию по отношению к травме — из неравенства субъекта самому себе (а автора — герою или повествователю), из отказа от бинарных оппозиций; из неприятия ожидаемых, то есть стереотипных, решений; из ограничений, накладываемых авторами, принимающими сомнение в собственном высказывании в качестве главного эстетического и этического принципа.

Кто-то назовет такую литературу анемичной, книжной и попросту скучной. Однако сегодня сложилась ситуация, когда проблематика *другого* — культурного, этнического, религиозного, сексуального, социального, идеологического — приобретает значение центральных, самых острых и болезненных политических проблем. Эти проблемы как раз и вытекают из непроработанности исторических травм, из отказа занимать критическую дистанцию к опыту исторических катастроф — как советских, так и постсоветских. В этой ситуации, во-первых, подходы, вырабатываемые «сложной» литературой, имеют шанс перейти (и уже переходят) с книжного листа на площадь, поскольку проблема *другого* — языка, сознания, опыта — находится здесь в центре внимания. А во-вторых, и сами авторы, движущиеся этими путями, допустят непоправимую ошибку, если упустят возможность насытить свою «сложность» энергиями политического протеста.

Сергей Чупринин

БЫВШИЕ

«Мне кажется, мы крепко влипли...»

Земфира Рамазанова

Вообще-то говоря, критики бывшими не бывают. Тем более что из трех героев этого очерка только Борис Кузьминский в очередной раз держит затянувшуюся паузу.

Тогда как Вячеслав Курицын, хоть вроде бы и связал свою судьбу с романистикой, из критики, многих изумлю, отнюдь не ушел. Вся разница, что теперь его статьи о новинках отечественной и переводной прозы появляются на страницах экзотического (но в Сети вполне доступного) журнала «Однако».

Павел Басинский и вовсе: мало того что ведет еженедельную «размышлительную» колонку в высокотиражной «Российской газете», так еще и заполняет полосы этого издания рецензиями, репортажами, интервью, заметками, хроникой — всем тем, что на языке прадедовской журналистики называлось «смесью».

С их оценками можно, разумеется, соглашаться или не соглашаться, но нет и не может быть никаких претензий к качеству того, как и что они пишут сегодня. Разборы неизменно основательны, ассоциации почти всегда уместны, знание контекста безупречно, выводы продуманны — так что рукопожатие у наших товарищей по-прежнему твердое, как было сказано кем-то когда-то по совсем другому поводу.

Мастерство, словом, на месте.

А вот вдохновение из их статей, кажется, ушло.

И былого отзвука они уже больше не вызывают.

Можно, конечно, гадать, что исчезло первым — вдохновение или отзвук.

Не лучше ли «отойти в сторону и замолчать», — размышлял, прощаясь с профессией, Борис Кузьминский в памятной (еще 2006 года) передаче «Школа злословия», — если «воздух вокруг, атмосфера заполнены ватой» и в литературе, где все цвело игрой и жизнью, расплзлась пованивающая хтонь?

«Если критик начинает думать, как его “слово отзовется”, он уже не критик, а кто-то другой», — парирует в новой (уже 2012 года) книге «Человек эпохи реализма» Павел Басинский. Тут же, впрочем, признаваясь: «Вот уже лет пять-шесть как я не считаю себя литературным критиком», — то есть, увы, увы, признаваясь, что и сам он успел стать «кем-то другим».

Потому ли, что молодость прошла, или потому, что время, а с ним и литература переменились?

Верны, мне кажется, оба ответа.

Уже хотя бы в силу того, что первые годы новой (постсоветской? послетоталитарной?) России оказались либо стартовыми, либо, во всяком случае, решающими в судьбе целого поколения *возмутительно молодых* литературных критиков.

Это потом «считать мы стали раны, товарищей считать...», и многих сегодня не досчитываемся. Ушли из жизни Александр Агеев, Петр Вайль, Александр Касымов, Михаил Новиков... По-прежнему плодотворно работают, но уж никак не в роли литературных критиков Александр Архангельский, Дмитрий Бавильский, Александр Генис, Никита Елисеев, Михаил Золотоносов, Андрей Зорин, Андрей Мальгин, Алексей Мокроусов, Дмитрий Ольшанский, Лев Пирогов, Владимир Потапов, Евгений

Шкловский... Да и Владимира Новикова или Николая Александрова называть теперь критиками *par excellence*, пожалуй, остережешься¹...

Все аналогии хромают, но рискну сказать: если хрущевская оттепель вытолкнула на освещенную авансцену, прежде всего, *эстрадных поэтов* и *исповедальных прозаиков*, то на перестройку, как это ни парадоксально, время ответило критиками.

Эка, скажут, метнул; ведь если судить по мощности «эха»², по масштабу популярности и, соответственно, по масштабу воздействия на современников, то критики этого призыва и отдаленно недотягивают до пресловутых *шестидесятников*.

Оно так. Круг прилежных читателей тогдашних «Независимой» и «Литературной», «Сегодня» и «Коммерсанта», как и тогдашнего Интернета, где блистали Курицын и Кузьминский, — отнюдь не «вся Россия» и даже не «Политехнический — моя Россия».

Но установки те же.

На мобильность и быстроту реакции, в разы опережающей естественный ход литературных событий и как бы даже забегающей поперед батьки со своим мнением, за вкус которого никто не ручался, зато можно было гарантировать, что горячо будет.

На летучесть высказывания, так что критики, уже тогда *взрослые* (и я в их числе) разумно винули младших товарищей в легковесности, втайне, впрочем, завидуя и их подростково наглому самоуверенности, и их умению менять одну маску на другую, и их легкому дыханию³.

На карнавальную полемичность — с той лишь разницей, что собачились они, по преимуществу, не с реальными идеологическими противниками, как шестидесятники, а все больше друг с другом, в пределах своей, как потом скажут, тусовки⁴.

На исповедальность — пересматривая сейчас сетевые архивы, пожухшие газетные страницы, понимаешь, что главным для критиков того поколения было не чужие книги представить, а выразить свою неповторимую индивидуальность, собственный внутренний мир, не укрывая от посторонних ни самонаименьших движений мысли, ни всем нам присущих комплексов, ни даже ситуативных перепадов собственного настроения.

И на мену всех — смену вех, поскольку современная литература виделась им не как некая непреложная данность, а — ну, как, например, пластилин, как ежеминутно обновляющий свою конфигурацию проект, который при сосредоточенности усилий всегда можно поправить или перенаправить в нужную сторону⁵.

1 Ко многим из здесь названных дальнейшие рассуждения относятся лишь косвенно. Но так ведь всегда бывает: слово «поколение» объединяет не всех ровесников, а только тех из них, в чьем образе деятельности и миропонимании обнаруживаются родственные черты. Формула Натальи Ивановой — «единомышленники по стилю» — здесь как нельзя более кстати.

2 «Удивительно мощное эхо. Очевидно, такая эпоха» (Леонид Мартынов, 1955).

3 «Борис Кузьминский, — говорит Наталья Иванова, — реализовал, признаюсь, мою давнишнюю мечту. И ежели бы Бог судил мне поработать в газете «Сегодня», то желание избавиться от ампула (...) было бы исполнено».

Жаль, что не спилось.

4 Это была «игра такая, — вспоминает Вячеслав Курицын. — Милые бранятся, только тешатся. Называя друг друга вонючими козлами в каждом номере «Литературной газеты», мы с П.В. Басинским шли после верстки пить водку в ЦДЛ и даже делили на двоих одну литгазетовскую дачу в Шереметьево (...). Руку А.С. Немзеру я пожимал после откровенно мерзких его пассажей в мой адрес, и не потому, что я такой безвольный и без чувства собственного достоинства, а потому, что был консенсус: мы обливаем друг друга мочой и калом как бы не совсем всерьез. Именно «как бы».

«Это такой писательский пинг-понг», — поддерживает и Павел Басинский, явно тоскуя по временам, когда «мы так славно переругивались, выясняли отношения, занимали разные там позиции, полагая себя живыми участниками какого-то «литературного процесса».

5 «Подумать только, мы живем в мире, где может случиться ровным счетом все что угодно...» — это Курицын говорит, а чудится, будто герои «Братской ГЭС» или «Звездного билета».

В большей или меньшей степени, каждый из них был мечтателем и утопистом, а эта роль, как мне уже случалось писать об Андрее Немзере, не в пример привлекательнее и обаятельнее, чем роли дельных прагматиков и неулыбчивых экспертов.

Взять хотя бы Славу Курицына.

Он в 1988 году перебежал в мой семинар на Всероссийском (были тогда такие) совещании молодых критиков в Дубултах, неся в клювике лишь скудную горстку рецензий в «Вечернем Свердловске» и свердловском же «Урале». И — мгновенно освоился: как на страницах столичных изданий, так и в самой столице. Настолько мгновенно, что одни тут же назвали его д'Артаньяном от критики, а другие Растиньяком, делающим карьеру исключительно на обаянии — обаянии стиля, разумеется.

Момент появления Павла Басинского на московской литературной арене я как-то не зафиксировал. Так что остается поверить (или не поверить) картинке, им же самим и нарисованной: «Я, — охотно вспоминает Павел Валерьевич, — вонял гадко: вяленой рыбой, районной многотиражкой, дешевым вином с названием “Шафран”, что пило студентами С-го университета на спор...».

Это вам, милостивые государи, не солнечная Гасконь, откуда на лихом скакуне будто бы прибыл Слава Курицын, а совсем иная траектория: Холмогоры, завьюженные вozy с мороженой треской, и Михайло Ломоносов в треухе, что за ними следует пешочком... в Москву... в Москву...

И мало дела, что в действительности все было прямо наоборот: Курицын — природный сибиряк, потом уралец, а Басинский вот именно что южанин, и книжки они к своему балу дебютантов прочитали примерно одни и те же. Гораздо важнее их интуитивно точное расхождение по вакантным в то время литературным амплуа: *провинциального шалуна*, стремящегося быть еще более столичной штучкой, чем те, кто издал свой первый крик в роддоме имени Грауэрмана, и *провинциального* же тяжелодума, с вызовом тетешкающего свою добропорядочность и свое народолюбие.

Удивительно ли, что Курицын тотчас схватился за новомодный постмодернизм, о котором раньше слыхивал разве лишь Миша Эпштейн, а Басинский прочно связал свою судьбу с судьбой реализма, опороченного московскими умниками?

И удивительно ли, что они враз схватились друг с другом?

Уйдем, впрочем, от вульгарной дихотомии. Совокупный образ того ансамбля литературных критиков, о котором я сейчас говорю, будет заведомо неполон без еще одного амплуа — вот именно что *столичного* умника и эстета, как бы даже аристократа, одинаково свободно говорящего и по-русски и по-иностранному, одинаково саркастически судящего и о завезенном вместе с устрицами постмодернизме, и о «доходчивом», по его едкому выражению, реализме.

Это амплуа, как бы он ни сопротивлялся позднее⁶, в сознании публики крепко приросло к Борису Кузьминскому, находя подтверждение и его переводами из Дж. Фаулза, М. Брэдбери, И. Уэлша.

И пошла игра⁷. У каждого своя, конечно, и за себя, но и в ансамбле. Конфигурация которого постоянно менялась. Куда временами втягивались и те, кто по своей органике к игре никак подготовлен не был. И куда на равных входили как сами критики, так и их alter ego, порождаемые ими персонажи: и немзеровский Крок Адилов, и курицынский Вацлав Птенц, и, конечно, конечно же, неувядаемая Деля, а говоря

6 «...Я, — десятилетие спустя сказал Кузьминский, — в жизни практически никогда не иронизирую и снобистски к литературе не относился отродясь».

7 «Когда в конце 80-х — начале 90-х, — рассказывает Басинский, — затевалась, условно говоря, “другая литература” (...) едва ли не главным ее коньком было понятие “игры”. (...) По совести говоря, и мне, поклоннику скорее старой, а не новой литературы, это соображение не казалось вовсе пустым. Игра освежает кровь литературы и добавляет наивности. Так и было вначале». Только ли «вначале», если и сейчас Павел Валерьевич твердит, что «литература — это рулетка, предсказать тут ничего нельзя?»

по-взрослому, Аделаида Метелкина⁸. Причем, отмечала Наталья Иванова, «маски чувствовали себя, как и положено на карнавале, несравненно раскрепощеннее, нежели в строгой и все равно официальной литературной жизни».

Павел Басинский маски не менял. Но менял, в зависимости от настроения и повода, тональность и вокабулярий своего высказывания. Поэтому, сравнивая сейчас одни его давние тексты с другими, столь же давними, легко различаешь, что было написано всерьез, а что с подковыркой, с желанием то ли подставиться под шутейные выпады своих спарринг-партнеров, то ли шокировать коллег и читателей, в том числе вовсе не склонных к играм.

Маханет, скажем, Вячеслав Николаевич, что постмодернизм — это «единственное актуальное эстетическое состояние», а Павел Валерьевич тут же известит: «В конце прошлого года в России тихо и незаметно издох постмодернизм», и слава, мол, богу, ибо «культура русского постмодернизма была не цинической, но элементарно бессовестной культурой».

Вячеслав Николаевич любил, когда его называли «пионером», зачинателем и пролагателем новых путей, «а я, — твердил Павел Валерьевич, — знаю за собой право быть последним. Называйте это махровостью и ограниченностью, судорогой и высокомерием, но это право я знаю и от него не откажусь. Мне его, может, дедушка завещал».

Призовет Вячеслав Николаевич всю страну внимать Виктору Ерофееву, Пелевину и Сорокину, а Павел Валерьевич либо отмахнется («Я не Миклухо-Маклай»), либо заявит: «Вопрос о Сорокине и Ерофееве — это, во-первых, вопрос уголовный и только во-вторых — культурный, литературный и проч.», так что лучше бы, мол, им улицы мести по приговору районного суда, чем романы сочинять.

Один взывает к благотельной цензуре и «нормальному полицейскому порядку» в литературе — другой уверяет, что свободы без эстетической вседозволенности не бывает. Один поет оды цветущей сложности современной культуры — другой убежден, что ей куда более к лицу была бы опрятная бедность.

Пинг-понг, как и было сказано.

Хотя со стороны, с точки зрения тех, кто не подписывал конвенции ни с Аделаидой Метелкиной, ни с Вацлавом Птенцем, все это выглядело, конечно, диковато.

Откроешь, скажем, статью в одной из именных рубрик Басинского, а там вдруг лихой репортаж об очередной писательской гульбе, да еще и с подробным исследованием, кто, сколько и чего выпил и кому в этот раз пришлось уйти битым. Заглянешь в курицынскую колонку, а там — ну совсем ни с того ни с сего! — либо монолог о живительности уринотерапии, либо и вовсе что-нибудь вот такое: «Недавно моя жена Ира Балабанова полночи лежала в ванной, рассматривая узоры на своей коже, и хохотала, а я стоял рядом и писал на нее. Иногда, когда у меня потеют ноги, я прошу Иру, чтобы она мне на них посикала и пот сошел бы вместе с мочой. Некоторые воспринимают это неверно»⁹.

«Мама дорогая!» — как сказано Вячеславом же Николаевичем по совсем другому поводу.

Про Делю Метелкину и Бориса Кузьминского, отпустившего ее на волю, я и вовсе молчу. Тут никто, разумеется, ни на кого по-провинциальному не «сикал», но график критических дней девушки со сложным и интересным характером был очевиден каждому любопытствующему. То нахлынет вдруг на нее элегически-мечтательная волна¹⁰, а то подступит безмотивная раздражительность, и тогда Деля (а ее «под-

8 «Это такая девушка со сложным и интересным характером, абсолютно не похожая на меня», — аттестовал ее Борис Кузьминский. Добавляя в другом месте, что, хотя Деля и была сконструирована «не как универсальная дубина», ее подходы «иногда и во мне самом оставляли впечатление ковровых бомбардировок».

9 Вячеслав Курицын «мужественно откровенен», — тогда же откликнулся на эту вставную новеллу Владимир Тучков.

10 «Литература — это не платяной бутик. Литература — это Флоренция, мираж наяву, город страннее, чем рай, неуловимо, бесконечно прекрасный, не учитывающий ничьих повседневных нужд. Город, в котором вы до сих пор не побывали».

ходы», напоминает Борис Николаевич, «были вдохновлены максималистской доброжелательностью к тем, чье ремесло — сочинение текстов») понесет этих самых сочинителей по кочкам, по кочкам, и Александр («Шура») Тимофеевский представит в ее воображении «извилистым», Михаил («Мишенька») Новиков «пошляком и пошляком кроманьонским», а профессиональное суждение Андрея Зорина нарисует «гадким капризом». Что же до Александра Архангельского, то он, по Делиному мнению, «из тех людей, кого к ежедневной газете нельзя подпускать в принципе. (...) Просто рвотное ощущение. Смотришь на благообразную, обрамленную окладистой бородой Сашину физиономию — и хочется вставить два пальца в рот».

Так о коллегах по перу, о своих, что называется, товарищах. И я, поеживаясь, допускаю, что фамильярные оклики по имени («Шура», «Мишенька», «Саша») делали эти высказывания чуть менее оскорбительными.

Но точно в той же стилистике говорилось и обо всем окрестном литературном люде. «Припертый к стенке Рубинштейн, озлобясь, повел себя как дебильный восьмиклассник»... «Приличные люди давно уж не считают Королева писателем»... «Сюжет с позорным увенчанием Рубена Гонсалеса Гальего русской Букеровской премией»... Что до новых книг Владимира Сорокина, то и говорить нечего про «зануднейшую, халтурно придуманную и написанную сайенс-фикш, не выдерживающую сравнения даже со средними отечественными образцами жанра»... Или вот, на закуску, о Владимире Лорченкове — «...В столь юном возрасте до такой степени законченные графоманы нечасто встречаются»...

Конечно, в каких-то случаях угадывались мотивы человеческие, слишком человеческие, и этой природы, я думаю, «погром», что был учинен Сергею Гандлевскому в связи с его «Трепанацией черепа», или история о том, как Кузьминский сменил вдруг милость на гнев по отношению к стихам и личности Веры Павловой.

Чаще же, мне кажется, в стремлении к мгновенному («эстрадному») успеху срабатывала привычка «автоматически впадать в ругательный модус: он эргономичнее»¹¹.

А главное — эта манера превосходно соответствовала ведущему стилевому тренду девяностых, когда говорить о чем бы то ни было полагалось исключительно через губу, верующие во что бы то ни было казались смешными и склонность к глумливому стебу захватила едва ли не всю отечественную периодику.

Свобода, вот уж действительно, приходит нагая.

Но первенцы свободы, как я назвал это поколение журналистов и критиков еще в 1992 году¹², наверное, и не могли вести себя по-другому. Видя своей центральной задачей вдохнуть дух вольности в русскую литературу, они самих себя прежде всего почувствовали свободными. В том числе и от норм литературного этикета. И от фундаментальной проработки базовых эстетических понятий. И от необходимости сводить свои легучие оценки, ситуативные отклики в сколько-нибудь стройную, непротиворечивую, да хоть бы даже и противоречивую, но систему.

И — «пришло так быстро время пересчета». Раздел «Искусство» в газете «Сегодня» закрылся¹³. «Независька» профанировалась. «Литературка» перешла в чужие руки. Сменяющие друг друга новые обозреватели «Коммерсанта» были отнюдь не чета Михаилу Новикову, погибшему в автокатастрофе. Что же до «Русского журнала», то и он становился все бледнее.

Что делать? Куда податься? Вячеслав Курицын, признав, что «сейчас постмодернизм всем надоел», взялся писать романную сагу про Матадора — и неудача. Борис Кузьминский повел издательскую серию «Оригинал» («Литература класса А») —

11 «По-прежнему самое интересное литературное чтение в России — ругань», — напоминал (в том числе и самому себе) Вячеслав Курицын. И в другом месте: «Назову-ка я говно конфеткой — что, взволнуется ли общественность? А если конфетку — говном?».

12 См. «Знамя», 1992, № 5.

13 «Уничтожение прежней концепции газеты «Сегодня», — говорит Борис Кузьминский, — я сравниваю с гибелью бабочки, которую затоптало стадо питекантропов и даже не заметило своего злодейства».

и тоже неудача, по крайней мере коммерческая. Дольше всех, благодаря предложению иметь собственные рубрики в журнале «Октябрь», держался Павел Басинский, да и то постепенно съехал к, вероятно, полезному, но отнюдь уже не амбициозному вылавливанию новых имен в потоке паралитературы.

И сама литература тронулась в какой-то совсем иной путь, чем тот, что предугадывали ей дерзкие бунтовщики.

Дело обычное; судьба каждого совестливого литератора у нас драматична по определению. «Мой диалог с Россией не состоялся», — сказал как-то один старый, достойный и заслуженный автор «Знамени».

Выходит, не состоялся и этот?

Или все-таки состоялся?

Лихие девяностые уже никогда не повторятся. Но они — были. Поэтому из памяти отечественной культуры никуда уже не денутся.

Так что эпитафия из песни Земфиры Рамазановой взят был мною никак не случайно.

Первенцы свободы, критики первого в нашей стране *непоротого* поколения действительно крепко влипли.

В историю русской литературы.

Куда же еще?..

Алла Марченко

Слова и краски

Юрий Петкевич объявился в «Согласии» то ли в самом конце 1991-го, то ли в самом начале 1992-го, и, видимо, по подсказке Галины Грибовской, моей и Светланы Бучневой «коллеганки»¹ по «Литературной газете».

Мы его ждали, но не узнали. Уж очень не походил и повадкой, и речью на рекомендованного Грибовской «изумительного белоруса», напечатавшего (насколько помнится) в «Континенте» суперкрутое «Явление ангела». Ничего агрессивно крутого не было и в простоватых сценках из сельской жизни, которые он нам показал. Попросили принести что-нибудь еще. Петкевич пообещал, но обещания не выполнил. Впрочем, и «Согласие» вскоре скапустилось. Зато старые «толстяки» стали потихонечку оживать, привечая и обласкивая выхваченные из молодежного косяка авторские таланты. И Петкевич замелькал. Не часто. Зато регулярно. Сначала в «Дружбе народов», а вскоре и в «Знамени». И не только... К началу нового тысячелетия опубликованного в периодике хватило на два полноценных сборника — «Явление ангела» («Вагриус», 2001) и «Колесо обозрения» («Независимая газета», 2001).

И в отношении «ЧТО», и в рассуждении «КАК» раз на раз не приходилось. В редакциях куksились, но печатали, потому как в любом его опусе, пусть и недотянутом до «Явления ангела», было что-то неординарное, не от стержневого корня проросшее, очень-очень похожее на «неподражательную странность». Приверженцы говорения выводами и концептами пожимали плечами: «очередная семейно-младенческая бодяга». Любители «производителей странностей», наоборот, восхищались. Этим нравилось все, даже «неуклюжества слога», «похожего чистотою своей на отраженную западной частью неба утреннюю зарю». В странностях и неуклюжествах и в самом деле недостатка не было, а избыток был. В избытке, на мой взгляд, были не только уверенность автора, что «наиболее интересные люди всегда с какой-то придурью», но и отношение к ним. Не просто серьезное и сочувственное, а еще и сентиментально-теплое, почти родственное. Настолько теплое, как если бы и интересные чудаки, и харизматические его блаженные и впрямь сродники «автогероя». Однако, понаблюдав за ними подольше, по размышлении, не без удивления догадалась, что автогероя в книгах Петкевича практически нет. Есть лишь повествователь, которому автор время от времени подбрасывает мелкие автобиографические конкретности, а тот их старательно переводит на «самодетельный», как бы платонов-

¹ Бучнева, я и Грибовская, в разные годы и при разных заведующих отделом Братских литератур занимали в «Литературке» одно и то же служебное место: «сидели на Белоруссии». Оттуда и переместились: Светлана и я в новообразовавшийся «толстый» журнал «Согласие», Грибовская — в Секретариат при Большом Союзе, консультантом по БССР.

От автора | Автор множества журнальных публикаций и некоторого количества книг, ни одна из которых, начиная с первой — «Поэтический мир Есенина» (1972) и кончая самой последней — «Дом со сверчком» (стихи для самых маленьких, 2013), по разделу «Критика» не проходит. Как свидетельствует пример Корнея Ивановича Чуковского, российскому критику — чтобы не скупиться — надобно было овладевать не одной, а несколькими смежными профессиями.

ский язык. Что-то поддается переводу, а что-то вставляется в текст в авторской редакции — то микропейзажи типа «Утро было веселое, но скучное», то явно не принадлежащие главному действующему лицу соображения вроде следующего: «И конца-краю не было этому мучительному пространству, от которого происходило уныние...». Они-то и наводят на мысль, что среди своих персонажей, в демонстративно маргинальном, «не от мира сего», сообществе сам Петкевич скорее чужой, нежели свой. Потолкался среди народца, к преуспеянию безразличного, засветился на юру, погоревал на миру, да так и остался посторонним. И появляется незамеченным, незамеченным и исчезает. По-тихому, словно выглядел и подобрал шаплетку (ту самую, от каковой никак не избавиться герою «Шляпочки»), а она оказалась шапочкой-невидимкой.

Александр Сергеевич Щербаков, создатель интернет-журнала «Обыватель», первым предположил, что маргинальные типажи Петкевича хотя и вылеплены из бросовых остатков той же животворной глины, из какой вылеплен и их создатель, на роль его и. о. не тянут. В его, дескать, случае без сложных примесей не обошлось. Вот что написал А. С. Щ. в «Обывателе», впервые увидев Ю.А.П. на презентации сборника «Явление ангела» (к этой презентации издательство «Вагриус» приурочило еще и выставку живописных работ Петкевича):

«Картины были красивые и чудные... А по пространству особняка (Дом-квартира Чехова на Садовом кольце? — А. М.) шастал их автор. Тоже какой-то чудной. В свитерке, худенький, с неухоженной стихийной челкой — подросток-подростком, а в темных глазах цепкость и старательно припрятываемое, но неистребимое хитрованство»².

Всякого рода причудниками русская проза испокон веку не брезговала; в перестроечные годы на оригиналов с большими странностями даже мода возникла. Но это были буквально «причудники» — род национальной экзотики. Они и воспринимались как экзотический редкоземельный элемент, с мейнстримом застойной советской сущности прямого родства не имеющих³.

А тут, у Петкевича, подспудно пульсировало иное — не столько врожденная аномалия плоти и духа (скорее забавная, чем пугающая), сколько не известный патологоанатомам от литературы вирус «недуга бытия». Перечитайте его дебютный рассказ. Один из двух сюжетобразующих фигурантов «Явления ангела» — почти реинкарнация нашего давнего литературного знакомого: законный пациент желтого дома, споткнувшийся на брачной кочке. Горе брошенного женой влюбленного мужа столь всеохватно, что он сходит с ума, а вскоре и умирает от любви. Его, естественно, отвозят на родину, в деревню, и хоронят на местном кладбище, обрядив в добротную выходную пару. Но, пока родные и знакомые поминают несчастного Колю, пьяненький вор раскурочивает могилу, и выясняется, что похороненный жив! Восставшего из мертвых переправляют обратно, в город, переодевают из цивильного в больничное и водворяют на ПМЖ — в отдельную, с балконом, комнату желтого дома. С этого балкона он и увидит предсмертные корчи, а несколько часов спустя «охладельный труп» обезумевшего Сапожкова, новоиспеченного своего свойственника, супруга племянницы, сбжавшего с собственной свадьбы.

Ситуация вроде как довлатовская, да только на бытроскользкий взгляд, ибо в истории странно-внезапной болезни Сапожкова и нелепая его псевдоженитьба, и

2 «Хитрованство» в данном контексте не от «хитрованцы-оборванцы», то есть обитатели Хитрова рынка. В «хитрованстве» (вроде как глупство, а на деле — себе на уме) москали обвиняли своих южных и западных сородичей. Главным образом, малороссов, а заодно и белорусов.

3 См. у Ал. Гениса: «...Довлатов остановился в торжественном недоумении перед галереей примечательных лиц, которые наплодила неумолимая в своей любви к гротеску советская власть... Чудак — единственный достойный плод, который вырастила социалистическая экономика». И еще там же: «Это готовый материал для той словесности, что в сущности литературой уже не является. Скорее, это письмо с натуры, кунсткамера, парад уродов» (Александр Генис. Довлатов и его окрестности. М.: Вагриус, 2000. С. 103—104).

похмелье на свадебном «пиру», и физическое отвращение к случайной невесте — не причина, а один из симптомов поразившей бедолагу болезни. О том, что Сапожков *инфицирован*, а неведомая его хвороба несовместима с волей к жизни, догадываешься при первом же с ним знакомстве. Даже грубая тетка, охраняющая платную танцплощадку от безбилетников, принимает его за «ангела», то есть за «нежилыца на этом свете». Кто-кто, а охранница знает: человеки, даже упившись по-свински, роковой зацепки за жизнь не утрачивают...

Юрий Арабов, не перечитав, видимо, не вошедшие в последнюю книгу («С птицей на голове», 2012, «Астрель») рассказы Петкевича, в том числе и «Явление ангела», в предисловии к ней заявил: «Борясь с волнением, я сказал Юрию, что его искусство ангел поцеловал». Кабы перечитал, наверняка б воздержался от *этаких похвал*, ибо «чешуйчатый» *некто*, в обнимку с которым появился в российскую словесность Петкевич, меньше всего похож на «лики ангелов, которые можно увидеть лишь на иконах». Скажем, такая сцена. Увязавшись за промышляющей жидким эфиром красавицей, Сапожков вдруг увидел «прямо перед собой чешуйчатого белого ангела». Дальше двинулись уже вдвоем — красавица впереди, чешуйчатый и Сапожков следом. Шли-шли, пока не вошли в «благоуханный домик». Красавица, достав из буфета эфир, налила и Сапожкову, и ангелу. А дальше произошло почти непотребное: «Восторженный огонь залил ангельскую голову. Ангел подошел к красавице.... прикоснулся к ее телу и поцеловал белую шею... Красавица смеялась и стонала... Ангел со страстью — как опытный любовник — начал ласкать ее... В буфете зазвенело и задребезжало. Отдельные чарочки стали осыпаться с полки на полку. Красавица притихла... распахнула зажмуренные глаза и сказала Сапожкову:

— Чего смотришь?

...Смущенный Сапожков вышел из дома. Но не успел он выйти, как неприличный женский хохот раздался за спиной. Ангел вылетел из дома бесшумно, обдав Сапожкова воздушной струей» («Явление ангела»).

Все это написано, конечно же, не сегодня, а в 1991-м. Персонажи последней книги Петкевича с «наперсниками разврата», пусть и неземного происхождения, дружбы уже не водят. Да и неопознанный недуг, вселившийся в Сапожкова, распространившись, утратил скоротечную остроту, превратившись в не сразу замечаемое вяло-хроническое «отвращение от жизни». Точнее, от «недоброкачественной жизни», если воспользоваться выражением Платонова. Зато «безусловный рефлекс цели», у российских подданных, и в царские столетия ослабленный, сильно сдвинулся «в сторону ослабления» до «почти полного искоренения»⁴, как, скажем, у действующих лиц самого, на мой взгляд, загадочного из включенных в «Птицу» текстов. Загадочного, похоже, и для автора. Чувствуя, что поступки персонажей изображены им «натурально», а объяснить их внятно, хотя бы для себя, не получается, Петкевич продолжает «крутить» сюжет. Трижды меняет название. При первопубликации в «Новом мире» — «К бабушке, в Бекачин», при перепечатке в «Новой юности» — «Я, ты и мой друг», в «Птице...» — «Ветер»). Что-то убирает, что-то добавляет, пытается, видимо, высветить в словах и поведении героев хотя бы слабые признаки побудительно-го мотива. Зачем? С какой целью? Для чего? Зачем две юные шалавы, отшив вполне приличного ухащера, отправляются к несуществующей бабушке в несуществующий Бекачин? С какой целью подсаживают их в рыжий фургон едущие в нем принаря-

4 Закавыченные слова из доклада академика Ивана Павлова, произнесенного в Петрограде 2 января 1916 года на III съезде по экспериментальной педагогике: «Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение, он есть основная форма жизненной энергии... Жизнь только того красна и сильна, кто всю жизнь стремится к постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели... Ангел-сакс, высшее воплощение этого рефлекса, хорошо знает это, и вот почему на вопрос: какое главное условие достижения цели? — ... отвечает неожиданным, невероятным для русского глаза и уха образом: существование препятствий. Он как бы говорит: "Пусть напрягается, в ответ на препятствия, мой рефлекс цели — и тогда-то я и достигну цели, как бы она ни была трудна для достижения"... Как это далеко от нас!»

женные мужики, ежели у них, как выражается одна из девах, «не стоит»? Особенно ежели учесть, что ситуация групповому сексу не способствует: в багажнике автобуса — гроб с покойником... Для чего один из этих мужиков крадет у хозяина развалюхи, в которой компания, направляющаяся в отсутствующий на земных картах Бекачин, заночевала, совершенно не нужную ему саблю? Да еще и прячет скраденное в брючину? Почему внучка несуществующей бабушки из несуществующего Бекачина, выпрыгнув из фургона, подбирает с земли кирпич, чтобы запулить им в окна близлежащего дома, который видит впервые в жизни? А не почему... А просто так... По причине сильно-сильно ослабленного рефлекса цели... Рефлекс цели — своего рода мотор, вырабатывающий полезную жизненную энергию, и если он почти не работает, то откуда же взяться в обесцеленном мире такой энергоемкой эмоции, как любовь?

Юрий Арабов (все в том же Предисловии к «С птицей на голове») точно определил типический для нее конфликт: «Невозможность любви — вот, пожалуй, сквозное действие многих, если не всех, рассказов Юрия». А вот психологический движитель сквозного конфликта назван, на мой взгляд, и неверно, и непохоже. Любовь, мол, существует, но она «не разделена», «безответна». Посему и невозможна. И еще там же: «Однако этот факт не столь драматичен, как может показаться на первый взгляд... Все эти бесконечные Сонечки, Милочки, Надечки, Танечки, Улечки, Дунечки любимы, и, в общем, неважно, что они не могут ответить герою взаимностью... Поэтому печаль рассказов Петкевича светла, в них вы не найдете надрыва, отчаяния и трагедии, хотя действие происходит на фоне вполне узнаваемых реалий нашего времени — повального городского и деревенского пьянства, фатальной неустроенности быта, людской глупости и равнодушия. Но этот хаос не может разрушить то главное, что составляет основу человеческой жизни, — любовь к женщине, красоту природы, веру в Бога и, в общем, надежду...».

Про любовь к женщине и даже про «неизведанную небесную любовь» герои Петкевича говорят много и охотно, но это все слова, слова, слова, с чувствами, не говоря уж о поступках, несовместные. Ни надрыва? Ни трагедии? А как же «Дорога в желтый дом»? Или «На Радоницу»? Арабов умиляется: сквозной герой Петкевича недолго огорчается тем, что девушки его мечты не отвечают ему взаимностью. Но почему не отвечают? Не потому ли, что догадываются: отказ и в самом деле не слишком огорчит их «партнера»? Скажем, такая подробность. «Почему твои женщины всегда плачут?» — спрашивает у искателя необременительных любовных переживаний его давний, со школьных лет, приятель («Куда ты спешишь?»). Тот отшучивается. Дескать, «люблю плакс». Плакс, как всякий природный эгоцентрик, не способный на ответственную и долгую привязанность, он, разумеется, не выносит, но женщины его выбора действительно «всегда плачут». Некоторые, особенно чуткие, начинают лить слезы едва ли не сразу после «ночи любви». Не столь чувствительные, к примеру, Маша из рассказа «Весы, на которых взвешивают коров», прежде чем вернуть ненадежному любовнику наволочку с чересчур красноречивыми письмами, протерпела словесные его воспарения чуть ли не всю зиму. А вдруг? Но у этих, терпеливых, и слезы расставания другие: злые, отчаянные. Конкретные поводы для слез, в разных вариациях «сквозной» темы, конечно же, разные, а вот оплакивают бесчисленные «любочки» одно и то же: так и не успевшую *расцвести* надежду. Надежду на то, что ненадежный сожитель, младший родственник маканинского «гражданина убегающего», разглядит хотя бы в одной из них «спутницу жизни», а не очередной взаимозаменяемый ангелоподобный объект для бессильных и бесцельных мечтаний.

Словом, если сосредоточиться на новых, не входивших в предыдущие сборники рассказах Петкевича, а они занимают три четверти объема последней его книги, можно, похоже, истолковать ее и по Арабову — как серию вариаций на вечную тему: что же происходит между мужчиной и женщиной, когда они любят или не любят друг друга. Но я-то начала не с начала, а с конца, с перечитывания (в новом контексте) заключающей сборник не раз публиковавшейся повести «Возвращение на родину», как и посоветовала Елена Даниловна Шубина, инициатор и редактор издания. Дескать, именно там ключ к загадкам и странностям прозы Петкевича — за-

тейливой, при кажущемся «минимализме», ибо любой из его рассказов, взятый вне контекста, воспринимается иначе, нежели тот же текст в контексте — в соседстве, в смежности, в перекличке и сопоставлении. Совет оказался дельным. «Возвращение на родину» меняет не только ракурс, но и жанр, превращая сборник в книгу, которую надлежит воспринимать не в лирическом, а в эпическом ключе — как Слово о гибели крестьянского мира. Как если бы, уступив мнимым своим двойникам авансцену повествования, на которой они и разыгрывают полудеревенские «страдания» (в стиле известного шлягера: милый любит и не любит, только времечко ведет»), Петкевич втихоря, без объявления о намерениях, складывает из подручного, подвластного ему материала большую, в натуральную величину живую модель «отчизны», территориально включающей в себя не только отцовский и дедовский Новый Свержень и его легендарные окрестности⁵ (жемчужина Западной Беларуси в настоящем и вотчина князей Радзивиллов в не таком уж далеком прошлом), но и отчину матери, рассказ которой об истории своей семьи составляет фабулу «Возвращения на родину». А это уже район (ныне Октябрьский) Барановичей и Бобруйска, где трагедия «сплошной коллективизации» началась не в 1945-м, как в Свержене, а, как и всюду в Стране Советов, — в 1928—1933 гг.

При совмещении столь разных историй и географий и в повести, и в прилегающих к ней рассказах образовались (не могли не образоваться) и сюжетные неувязки, и психологические неопределенности, и чисто хронологические натяжки. Впрочем, не очень заметные, ибо этнографический колорит сглажен в «Птице» настолько старательно, что практически неощутим. О том, что действие происходит все-таки не вообще в бывшем СССР, а в Западной Белоруссии, можно, разумеется, догадаться, но при условии, что знаешь в подробностях и биографию автора, и отечественную историю. Впрочем, кое-какие детали на эти обстоятельства все-таки намекают. Деревенская улица в Гробово так плотно засажена каштанами, что в летнюю непогоду сильный ветер засыпает ее каштановым цветом, а богатые еврейские дома в близлежащем городочке относительно сохранны и почти пригодны для «вторичного заселения» даже в первые послевоенные годы. В живописи, в «красивых и чудных картинках» — в парсунках местных красул, раскрашенных, как фарфоровые лялички, и (особенно) в цикле «Возвращение с праздника» — белорусскости куда больше. Петкевич-художник, в отличие от Петкевича-прозаика, не боится нарушить хмурую правду жизни ни слишком сильным (солнечным) светом, ни чересчур яркой, ненатуральной, цветовой гаммой. Прирожденный колорист, он и в интернет-репортаже с выставки Александры Экстер отмечает свое: «У Александры Экстер свой особенный белый цвет, и такого белого ни у кого нет — ни до нее, ни после. А какие оттенки красного цвета! То алый, то розовый, то холодно-розовый, то багряный, то вишневый, то пурпурный! А какой у нее синий!»

Впрочем, все эти натяжки незначительны. Они и мне-то бросились в глаза только потому, что о том, как происходило раскулачивание в конце двадцатых — начале тридцатых годов на хуторах и в деревеньках под Барановичами, я знаю не из вторых, а из первых рук. Со слов моей матери, она учительствовала там как раз в эти годы...

В «Возвращении на родину» населяющий застолбленную Петкевичем территорию *род людской* еще почти жизнеспособен. Да, разорен войной и искалечен враждой. И все-таки почему-то не утратил инстинкта жизни. Но уже в рассказах, то есть спустя полвека после вторичного присоединения Западной Белоруссии к России, мы застаем места его обитания в состоянии последнего запустения. Практически «на одре» биологической и социальной смерти, когда единственной вещью, которую на этом свете заготавливают впрок, становится гроб, главным соборным местом — кладбище, а случайно родившиеся здесь малые дети воспринимают *тот свет* совершенно реально — как если бы он существует близко-близко, за речным туманом, в соседнем селе («Шоколадка»).

5 Несвиж, Мир Снов, Столбцы.

Легкость, с которой непробивной (при всем своем *хитрованстве*) и явно не совсем «свой» в тесном толстожурнальном кругу Петкевич не пропал и даже достиг некоторой известности, объясняется, думаю, еще и тем, что озадачивший критику первый же его рассказ появился в удивительно благоприятное для малой прозы время. Конечно, уже и тогда Большие Ожидания (и публики, и издателей, и премиальных кампаний) хороводились-схлестывались окрест романа. Многоумные рассуждения специалистов о том, что жанр сей выдохся, исчерпав психологический и художественный потенциал, доверия уже не вызывали. Критики, разумеется, настаивали: повествовательный ширпотреб, в изобилии (под лейблом: роман) размножаемый отечественной *книгопрядильной промышленностью*, никакого отношения к русскому роману не имеет. (По мысли Ю.М. Лотмана, русский роман особое, от европейского романа отличное, жанровое образование.) Но их и не слушали, и не слышали. И, как ни странно, спрос сделал свое дело: роман таки ожил и, спровоцировав ажиотаж в связи с учреждением миллионной «Большой книги», вернулся в некоммерческую литературу. Но возвращение романа произойдет позднее, лет через семь-восемь. А пока, в течение почти десятилетия, в отсутствие большой прозаической формы, достоинство изящной словесности защищали рассказ и короткая повесть. Неслучайно именно тогда «Новый мир» объявил премию имени Юрия Казакова за рассказ (2000), а «Знамя» — премию Ивана Петровича Белкина (2001) за маленькую повесть. Петкевич, у которого в эти фартовые для малоформатников годы вышли, как уже упоминалось, сразу две книги, в «Вагриусе» — рассказы и повесть, в «Независимой газете» — четыре короткие повести, ни в лауреаты, ни в шорт-списки не попал. Пробезмолствовала и солидная пресса. Анна Кузнецова, со свойственным ей несентиментальным лаконизмом, объяснила это так: «Проза Юрия Петкевича, как атональная музыка, ведет жизнь беспорядочную и самодостаточную, поэтому оперативная критика смутилась, потупилась и оказалась столь немногословной» («Знамя», 2001, № 12).

Оперативная критика не только смущалась, она и фыркала. Впрочем, без особого раздражения, ибо «попадало» Петкевичу, как правило, не персонально, а «заодно с другими». Скажем, в «Частном корреспонденте» — за то, что, заведя свою *шарманку* из «брат пришел», а «теща ушла», не разогнал *неотвязную скуку* штатного обозревателя, вынужденного по долгу службы читать «толстые» журналы заподряд.

Коллеги-прозаики были, конечно же, безответственнее, потому и щедрее. Евгений Попов, к примеру, уверял, что Юрий Петкевич «творит так, как будто до него вообще никого не было». Похвала вообще-то сомнительная, из тех, от коих «не поздоровится», ибо приводит на память бородатый слоган: чукча не читатель, чукча писатель. На самом деле Петкевич, конечно же, читатель. В одном интервью, на которое я наткнулась, шастая по Интернету, умудрился задействовать чуть ли не половину мировой классики, от Гоголя до Джойса. Имена ближайших «совместников» названы почему-то не были, но, ежели приглядеться, следы очень-очень внимательного чтения сочинений мастеров малого русского жанра можно обнаружить во многих его рассказах. Это и Зощенко, и Олеша, и Казаков. Правда, для того чтобы засечь малоприметную сюжетную загогулину, где Петкевич, может быть, и безотчетно, ставит ногу в их след, надо все-таки твердо помнить (держат наготове в уме) конкретные тексты, допустим, «Любовь» Олеси или «Вон бежит собака» Казакова. О платоновском акценте Ю.А.П. говорить было проще. Но это, как правило, всего лишь рассуждения. Если бы в неотложной памяти оперативной критики платоновские вещи активно присутствовали, кто-нибудь из рецензентов давно бы поставил Петкевичу на вид, что тот, якобы учась у Платонова, не столько осваивает, сколько присваивает. Взять хотя бы (в том же «Явлении ангела») такой щекотливый момент, как внезапная — в миг один — влюбленность Сапожкова в прекрасную девочку в голубой курточке, младшую сестренку его случайной нелюбой невесты («...Сапожков увидел среди праздных людей мечтающую любимую девочку тестя и, может, полюбил ее. Она была прекрасная и в голубой курточке»). А теперь полистайте платоновскую «Джан». Грустная женщина, с которой герой повести, пожевав ее одиночество, только что «расписался», заметив, как тот смотрит на ее тринадцатилетнюю дочь Ксению, говорит: «Ты любишь

Ксеню, я знаю... Ей будет восемнадцать лет, а тебе тридцать, может, немного больше. Вы поженитесь...» Но это мелочь. А вот пример посерьезней. По мнению автора одной из немногих, увы, рецензий на последнюю книгу Петкевича (Сергей Шулаков, «НГ-экслибрис», 2012, № 7), наименование местности — *поселок Гробово*, — в границах которой происходит действие почти всех входящих в нее историй, сознательно зарифмовано с платоновской повестью «Город Градов» (Гробово-Градов). По-моему, это натяжка. Куда реальнее предположить, что первоисточник топонима — образ некачественной жизни из платоновского «Котлована»: «У нас каждый живет оттого, что гроб свой имеет». Перечитайте рассказ «Ваня и Воропаев» (из «С птицей на голове»). Мать Вани, несмотря на серьезное недомогание, возвращается из парикмахерской, где ей только что сделали «пышную прическу», а отец уже подогнал к воротам грузовик с гробом, объясняя: «Решил подготовиться заранее... чтобы потом не суетиться». В том же, платоновском, значении — гроб как необходимая мебель — толкуется эта «фигуральность» и в «Явлении ангела». У сумасшедшего Коли заготовленной впрок домовины нет. Зато в родной его деревне есть мебельная фабрика, производящая, ввиду отсутствия спроса на мебель, гробы. Недаром же директор гробового предприятия — почетный гость на его поминках. И как ему не пребывать в почете, ежели гробы его производства особенные, каким и надлежит быть последнему имуществу: «невесомые», «как ночной воздух»?

Впрочем, так глубоко ни рецензенты, ни коллеги, зачислившие Петкевича в наследники Платона, не копают, замечая и отмечая (хором) лишь странно-необъяснимую «схожесть языковых конструкций».

Человек похож что простодушный и тем не менее осторожный и оглядчивый, Петкевич и этот почетный знак отличия к лацкану не прицепил. Отказался. Однако ж по-тихому. В беседе с Александром Щербаковым:

«Платонова я очень мало читал и начинал осваивать с большим трудом. «Котлована» я по первому разу осилил три страницы, и было мне неинтересно. Через некоторое время прочел семь страниц. Но опять отложил. И только с третьего раза Платонов пошел. И я его полюбил» («Обыватель», 2008, № 10).

Больше того, в том же интервью Петкевич, хотя и вежливо, но достаточного твердо опроверг широко ходящее мнение, будто он, Ю.А.П., подражает «словесной походке» автора «Котлована». Дескать, просто мы черпаем живую воду из одного и того же источника: «...Моя мать, когда рассказывала истории из жизни семьи, она делала это чисто платоновским языком. И, видимо, когда я писал, перелагая и ее истории, я невольно язык матери перенимал. А это оказалось сродни Платонову». Платоновский акцент, по его мнению, можно обнаружить даже у Льва Толстого: «Я как-то взялся читать Льва Толстого. У него есть такие маленькие рассказы – совершенно необыкновенные. Ничем не хуже его капитальных вещей. И обнаружил в них... язык платоновский, с той же интонацией. Видимо, все это имеет истоком русскую сказку».

Наблюдение занятное, но к русской сказке касательства не имеющее. Язык, на котором изъясняются герои, как «маленьких» рассказов Толстого, так и платоновских «Чевенгура» и «Котлована», — язык задумавшихся «выходцев из низов», вынужденных в скоростном порядке («самодельно») изобретать словесные конструкции, дабы сообразить (и объяснить) собеседнику, да и самим себе, ворвавшиеся в их обиход не привычные, не известные им прежде ситуации и положения. Так что лексика (словарь) тут не главное, главное — способ соображения понятий.

Не принял из рук своих почитателей Петкевич и еще одну, лестную для любого живописца награду — высокий статус законного наследника Марка Шагала. Но сделал и это по-петкевичски: осторожно-уклончиво. Опубликовал, и не где-нибудь, в «Знамени» (2007, № 4), пространное эссе о жизни и творчестве другого своего земляка — «наивного» художника Валентина Юшкевича: «Когда я впервые увидел изданный Музеем наивного искусства в Москве альбом с репродукциями картин Юшкевича, обрадовался необычайно. Это было ни на кого не похоже — Юшкевич оказался абсолютно самобытен. Такое бывает только с наивными художниками, и это направление начинает цениться очень высоко — именно из-за неподражаемости».

В первый момент и я обрадовалась. Наконец-то Петкевич назвал имя художника, которого принимает *целиком*, а не *местами*, как Врубеля или Александру Экстер. Однако, перечитав эссе повнимательней, удивилась. Неужели Ю.А.П. и мысли не допускает, что явление таких уникалов, как Нико Пиросмани и Ефим Честняков, никакого *направления* не образует? Что они не прокладывают новые пути в искусстве, а опускают шлагбаум! Что кажущаяся элементарность (примитивность) их техники создает опасную иллюзию? Уже тем опасно-соблазнительную, что техническая недостаточность, которую гениально одаренные самородки компенсируют величиной Дара, механически, по факту наличия получает патент на «абсолютную самобытность»? Впрочем, у нынешних галерейщиков и коллекционеров наверняка иное на сей счет мнение. Дескать, русский неопрIMITивизм, сделав круг диаметром в столетие, возвращается и входит в моду...

Но я-то не искусствовед, а литератор, и если осмеливаюсь рассуждать о живописи, то только потому, что очень бы хотелось найти ответ на вопрос, который Владислав Отрошенко в отклике на «знаменскую» выставку Петкевича («Знамя», 2005, № 1) сформулировал так: «С той поры, как десять лет назад я познакомился (одновременно) и с картинами и с рассказами Петкевича, для меня остается неразрешимым вопрос, что первично в нем — дар писателя или дар художника? Является ли его проза продолжением его живописи? Или Петкевич берется за кисть и краски, чтобы дописать свои рассказы?».

Убедительного ответа, к сожалению, и я не нашла. Попробовала применить к случаю Петкевича максиму Малера: «Пока я могу выразить свое переживание в словах, я наверняка не сделаю из него никакой музыки». Не получилось...

Татьяна Геворкян

«Друг — действие»

В апреле 2011 года меня пригласили с докладом на десятилетие Общества Цветаевой в Праге. Инициатором создания Общества были супруги Галина и Мирко Ванечковы. Их поддержали преподаватели Карлова университета и московские коллеги. 12 апреля 2001 года Общество было официально зарегистрировано. Оно провозглашало своей целью сбор материалов о жизни и творчестве поэта и их изучение, поиск всех мест в Чехии, связанных с Цветаевой, популяризацию ее поэзии. Предполагались регулярные собрания с заранее подготовленными докладами, сообщениями, литературно-художественными композициями, а также посильные взносы. Председателем избрали Галину Ванечкову. Она после замужества переехала из России в Прагу, преподавала русский язык и давно уже любовно и деятельно интересовалась всем, что связывало Цветаеву с Чехией. Достаточно сказать, что она переписывалась и встречалась с Константином Родзевичем — героем великих пражских поэм Цветаевой, еще в 1989 году добились установления памятной доски на доме, где эти поэмы писались (Прага 5, ул. Шведская № 51/1373), а к 105-летию Цветаевой подготовила вместе с мужем и издала Путеводитель по местам пребывания Цветаевой в Чехии.

Ее трудам мы обязаны еще двумя замечательными изданиями: в 2006 году увидела свет «Летопись бытия и быта. Марина Цветаева в Чехии», а в 2009-м в московском издательстве «Русский путь» вышла книга писем Цветаевой к Анне Тесковой «Спасибо за долгую память любви...» Долгожданная книга, дающая, наконец, полные, сверенные с оригиналами тексты писем Цветаевой к ее доверенному «чешскому другу» — беззаветно преданному, готовому откликнуться на любую просьбу. Ванечкова выступает здесь как публикатор, автор предисловия и примечаний. А еще вместе с Мирко они профинансировали это издание...

С Галиной Борисовной мы не раз встречались в московском Доме-музее Цветаевой, она и пригласила меня в Прагу. Десятилетие Общества отмечалось в Славянской библиотеке, которую посещала Цветаева и которая находится в историческом комплексе Клементинум, в непосредственной близости от Карлова моста. В чем тоже есть своя символика, ибо «сторожит» мост по-юношески строгий и одинокий Брунsvик, любимец Цветаевой, «рыцарь, стерегущий реку — дней».

А на следующий день была поездка в пригороды, где — с перерывом в девять месяцев, проведенных в самой Праге, — с 1922 по 1925 год она и жила. Сюда приходили письма от Бориса Пастернака, здесь писала она свои «Деревья», «Молодца» и «Крысолова», большую часть стихов, составивших последнюю прижизненную книгу «После России». Здесь родился ее сын Георгий. О времени, проведенном в этом предместье Праги, в июне 1939 года, уже по пути из Франции в СССР, Цветаева писала Тесковой: «А самый счастливый период моей жизни — это — запомните! — Мокропысы и Вшеноры...»

Об авторе | Татьяна Михайловна Геворкян — доктор филологических наук, автор монографии «На полной свободе любви и дара. Индивидуальное и типологическое в литературных портретах Марины Цветаевой» (М., 2003) и многих работ по творчеству М. Цветаевой.

Давней мечтой членов Общества было создание в этих заповедных цветаевских местах некоего уголка благодарной памяти русскому поэту, так горячо полюбившему Чехию. Но не удавалось договориться с местной администрацией, а когда казалось, что эта преграда устранена, то катастрофически не хватало средств. Обо всем этом не без горечи говорилось во время нашей поездки. Не без горечи, но с надеждой на то, что в год 120-летия Цветаевой мечта каким-то чудом осуществится. Уезжала я из Праги с большим и счастливым грузом впечатлений.

А спустя ровно год мне довелось побывать во Флоренции. И вот в галерее Уффици, оторвав взгляд от картины Микеланджело «Святое Семейство с юным Иоанном Крестителем», я вдруг увидела на пороге зала Галину Борисовну. От неожиданности она даже не сразу узнала меня. А узнав, познакомила со своими спутниками — Андреем и Инной Курочкиными и двумя их очаровательными девочками. И рассказала, что Андрей, архитектор из Петербурга, имеет сейчас свой бизнес в Праге, он арендует ресторан в самом сердце старого города. И что он по своему проекту, на собственные средства решил заказать памятную доску для установления на одном из домов во Вшенорах, где около года жила Цветаева. И вот все они вместе ездили на машине в Каррару, чтобы выбрать мрамор для доски, а теперь, на обратном пути, остановились во Флоренции.

Потом были электронные письма, из которых я узнавала о продвижении юбилейного проекта. Но целиком картина высветилась только в начале нынешнего марта, когда Галина Борисовна приехала в Москву и выступила в Доме-музее с рассказом и показом фильма о том, как в Чехии отмечали 120-летие Цветаевой. 22 июня памятная доска, изготовленная в Карраре, была установлена во Вшенорах. Торжественное открытие было приурочено ко дню гибели поэта — 31 августа, и происходило под звон церковных колоколов. Ко дню памяти приурочено было и создание нового официального сайта Общества.

Параллельно велись переговоры об открытии постоянно действующего Центра Цветаевой во Вшенорах, но в последний момент администрация отказала в обещанном было помещении. И снова на выручку пришел Андрей Курочкин. Рядом с рестораном у него была небольшая в общем-то комната, предназначенная для бара. Ее, имеющую отдельный вход с улицы, он и отдал под Центр Цветаевой. И не только отдал, но и оформил первую выставку, знакомящую с разными этапами жизни поэта. В дальнейшем здесь предполагается проводить литературные и музыкальные вечера, лекции, беседы и встречи. Одна такая встреча произошла уже в ноябре — с издательством «ВИТА НОВА».

Центр открылся в день рождения Марины Цветаевой — 8 октября 2012 года. К этому дню был издан с большим вкусом оформленный каталог выставки с текстом на двух языках: чешском и русском. Над ним работали дизайнер Инна Курочкина и Галина Борисовна. С тех пор Центр открыт для посетителей по средам, субботам и воскресеньям. В эти дни там поочередно «дежурят» Мирко и Галина Ванечковы. Продолжая давнюю традицию, к которой теперь присоединилась семья Андрея, они и это делают вместе — а вместе они уже 58 лет.

Мне вспоминаются слова Цветаевой: «друг — дело», «дружба — действие» и снова хочется в Прагу, такой волшебной красивый, такой ее город. Хочется попасть на ул. Тржиште, 16, что близ храма св. Николая и Малостранской площади, войти в небольшое помещение Центра Цветаевой и снова встретиться с людьми, затеплившими новый огонек культуры и памяти.

Сергей Боровиков

Письмо в редакцию

Редакция журнала «Знамя» познакомила меня со следующим письмом:

«Уважаемая редакция!

Не знаю, по какому отделу проходила публикация С.Боровикова в № 1 журнала за этот год. Боровиков замечательный автор. Тем более досадна ошибка, допущенная им. Он спутал авантюристку Елизавету Шабельскую с писательницей Александрой Монтвид, которая выступала под псевдонимом Шабельская. Именно ее, Александру Станиславовну Монтвид, а не Елизавету Александровну Шабельскую упомянул Чехов в цитируемом Боровиковым письме к Суворину. А вот Амфитеатров писал именно о последней.

Всего доброго Вам и Вашему журналу.

Семен Владимирович Букчин

Минск»

Прежде всего, я должен извиниться перед читателями «Знамени» за свою оплошность и поблагодарить Семена Владимировича за внимание к моему тексту.

И все же необходимы уточнения или по крайней мере вопросы.

С.В.Букчин утверждает, что в письме Чехова Суворину упоминается именно А.С. Шабельская (Монтвид).

Да, именной указатель к тому 5 писем ПСС Чехова отсылает от упомянутой в письме Шабельской именно к Монтвид. Без всяких, впрочем, на этот счет объяснений.

«Мне снилось, будто я прикладывал припарку на живот Шабельской. Она очень симпатична, и я рад, что был полезен ей хотя во сне». Но почему сальная шуточка Чехова адресована 50-летней А.С.Шабельской-Монтвид, печатавшей благопристойные романы в «Отечественных записках», «Русском богатстве» и «Северном вестнике», принадлежавшей далекому от Чехова и Суворина литературному лагерю?

Зато Е.С.Шабельская-Борк, известная своим, мягко говоря, свободным нравом, входила в ближайший суворинский круг: несколько лет была представителем «Нового времени» в Берлине, дружила со «стариком», перевела на немецкий его пьесу «Татьяна Репина» и т.д. Сохранилась их огромная переписка. (См.: Ольга Макарова «Уж если Суворин, изобретший её, отвернулся... «Дело Шабельской» и участие в нем издателя «Нового времени» «НЛО» 2007, №85)

Чехов же любил едко пошутить именно в адрес или по поводу близких людей, и если Алексей Сергеевич, как считается, был равнодушен к «авантюристке» (и тоже, как и Монтвид, «писательнице»), то Антон Павлович вполне мог не отказать себе в удовольствии пройти на ее (и его!) счет.

Полемизировать с академическим изданием дело опасное, и все же рискну с большой долей уверенности предположить, что в письме к Суворину Чехов имел в виду именно Елизавету Александровну Шабельскую-Борк, а не Александру Станиславовну Шабельскую (Монтвид).

А Семену Владимировичу Букчину спасибо. Думаю, вкравшаяся и в его письмо неточность лишь подтверждает коварную легкость их возникновения: моя публикация была не в 1-м, а во 2-м номере «Знамени» за этот год.

р е ц е н з и и**Горение вещей, горению не подлежащих**

Максим Осипов. *Человек эпохи Возрождения.* — М.: Corpus, Астрель, 2012.

Была бы моя воля, сделала бы я Максима Осипова... нет, не министром здравоохранения, а министром здравого смысла. Очень нужен нашему государству такой министр, а Осипов замечательно видит, что нужно нашему человеку, чего ему не хватает и почему. И человека нашего видит насквозь, не только как врач, а как психолог, историк, литератор с хорошим глазом и интуицией, а также как многоопытный, хотя ему не так уж много лет, и думающий человек. Главное же — как человек, желающий дело делать.

«У нации нет инстинкта самосохранения», «наш человек не привык лечиться». (В самом деле, мы ведь всю жизнь живем призывом «Все для фронта, все для победы!» — не до себя, любимого. Лечиться некогда, да и непонятно, как и зачем.) «Обдумывать будущее не хотят»... «Власть поделена между деньгами и алкоголем, то есть между двумя воплощениями»... «Почти не видел людей, увлеченных работой»... «У нас почти не лечат стариков... В Спарте с немощными обходились еще рациональнее — что осталось от Спарты, кроме нескольких анекдотов?» (Недавно я прочла у одного талантливого молодого писателя тот же вопрос: «Почему у нас нет мудрых стариков, которые научили бы нас отличать черное от белого? Куда они подевались?»). Пример «идиотизма власти» — распоряжение по больницам: «ампутированные конечности нельзя уничтожать (например, сжигать), а надо хоронить на кладбище»...

Цитаты эти — из последнего раздела книги «101-й километр. Очерки провинциальной жизни». С ними, думаю, читатель уже давно познакомился в периодической печати, в журналах и в «Новой газете», например. Эти очерки в свое время произвели большой шум — тогда, когда образовывалась тарусская больница, точнее, кардиологический центр. Надо сказать, что и сейчас они читаются с большим интересом, хотя в книге представлены самые разнообразные жанры, вплоть до «Экзистенциальной шутки» в виде пьесы. Максим Осипов любит экспериментировать (профессиональная черта?).

Среди писателей-врачей немного не оставивших свою основную профессию. Из современных — только покойный Ю. Крелин и, слава Богу, здравствующий М. Осипов. Крелина всю жизнь профессия сильно подпитывала. Что касается Осипова, то пока вещи, связанные с профессией, мне кажутся наиболее интересными, живыми, достоверными, серьезными.

Письмо у Осипова легкое, стремительное, он любит парадоксы, неожиданности, экстравагантность. Не любит разжевывать ситуацию, пишет намеками. Это очень приятно, хотя не всегда является плюсом.

Возьмем повесть «Домашний кинотеатр» и рассказ «Цыганка».

Автор где-то говорит, что не бывает случайностей, а только непредсказуемость. На такой непредсказуемости и построен рассказ, в основе которого — две любовные истории. Одна на фоне другой. Женятся молодые (Мила и Кирилл), и на их свадьбе встречаются во второй раз в жизни родители Милы. Автор по-простому излагает историю «случайного» рождения Милы. Мила разыскивает своего отца, о котором никогда ничего не знала прежде (но ведь должен же быть у нее отец!), чтобы пригласить его на свою свадьбу. И тут мы становимся свидетелями возникающей другой любовной истории. Она выходит

на передний план, отодвигая собой историю молодых. Маловероятно, но весело, неплохо придумано.

Легкий стеб, гости перебрасываются цитатами из Чехова. Сначала я подумала: надо же, так и мы когда-то разговаривали цитатами из Вознесенского, Евтушенко, Слуцкого, Эмки Манделя, там- и самиздатовских книжек — все читали одно и то же. Но нет — это приглашенные на свадьбу для «оживляжа» артисты — ученики матери жениха, игравшие «Трех сестер» и «Дядю Ваню».

Рассказ «Цыганка» написан в той же манере, но стремительный ритм, заданный автором, совершенно оправдан происходящими в нем событиями.

Герой спешит. В его распоряжении — всего два дня, за которые он должен многое успеть.

Рассказ начинен информацией, точными наблюдениями, выразительными деталями. Он не просто познавателен, он дает представление (иное, не стандартное) о жизни врачей, и в частности нашего героя. Перед ним (впрочем, как перед многими) стоит выбор: интересная работа или денежная. Интересная. Но и денежная — иначе как жить? — И герой нанимается сопровождать больных за границу, обычно это тяжелые больные, от которых не отойти. День — туда, день — обратно. Хорошо бы еще встретиться с уехавшими друзьями, что-то посмотреть, купить подарки и т.п. Для меня, например, это новое знание — такая врачебная практика, да и много другого.

Герой крутится-вертится. В мелькании мелких происшествий, разных людей, разных обычаев и правил, в мимолетном и разнообразном общении, в том, как протекает сама поездка (полет, пересадки, проверки документов, гостиницы и т.п.) и раскрывается подлинная жизнь, подлинный человек с вполне определенным характером и отношением к жизни. И подлинное счастье, предсказанное ему подлеченной цыганкой, которое, конечно, не в деньгах.

Очень теплый, выразительный, человеческий рассказ. Меня еще сильно подкупили страницы об отце героя-рассказчика, которого я хорошо знала — писателе Александре Михайловиче Марьянине, который тоже печатался в «Знамени» и редактором которого я была. О некотором сходстве повествовательной манеры и выбора материала у того и другого скажу позже.

О «печальной стороне профессии» — рассказ «Маленький лорд Фаунтлерой». Это одна из тарусских историй, которая могла повториться и повторяется и в других местах нашей страны: молодой громаила-спортсмен избил таджика. За спортсмена вступились, таджика врачи пытались спасти, бесконечно наталкиваясь на разного рода чиновничьи и прочие препятствия.

Били парня битой по голове, мозг умер, и парень умер, остальное разобрали на органы. История жуткая. Здесь все: национальная рознь, безнаказанность виновника, беспомощность и пассивность медицины как института, самоотверженность отдельных врачей и, наконец, то, о чем у нас не говорят, — отъем органов для трансплантации. Опасный рассказ, но точный, правдивый, не оставляющий равнодушным.

Переключается с темой «понаехавших» повесть «Камень, ножницы, бумага».

Ситуация в повести до чрезвычайности знакома. Героиня — глава районного законодательного собрания и владелица «Пельменной», где работают таджики. Три месяца работают за кормежку и спальное место, потом, когда подходит время расплачиваться, их выгоняют. Но одна девушка-таджичка понравилась хозяйке. А когда погибла хозяйкина непокорная дочь, решила дама таджичку удочерить. Но тут случилась, как любит говорить автор, «непредсказуемость». Ну какая уж там непредсказуемость — мелкий шмындрик, хоть и глава местного самоуправления, пытается девушку изнасиловать, и она ранит (или убивает — неясно, да и не важно, потому что расплата для нее будет одна) подонка.

Девушку сажают в тюрьму. Тут рассказывается ее биография — откуда, где училась (МГУ), что читала (Платонова), как пришла к исламу. Попросту так и излагается автором.

Героиня посещает таджичку в тюрьме, стремится ей помочь. И быстренько поддается ее влиянию. Если только что она добивалась возможности отобрать у соседа-учите-

ля землю и построить на ней часовню, то через пару посещений таджички в тюрьме она решает построить на том же месте мечеть и обратиться в ислам. Круто, скажем прямо! Но куда торопится автор?

По характеру (характер заявлен) героиня — Васса Железнова, только помельче. Кстати, Васса тоже склонна была поддаваться порыву, но не настолько же! Люди и ситуации в повести лишь названы. Трудно поверить мгновенному перевоплощению героини, так же как и стремительности перемен в голове у таджички. Это «ускорение» автор обусловил тюрьмой, что, на мой взгляд, недостаточно.

Мне кажется, что там, где Максим Осипов отходит от своего родного материала, есть у него склонность к выбору сюжетов необычных, я бы сказала — «экзотических». Ну вот хотя бы «Москва — Петрозаводск», там рассказан просто фантастический случай. Ничего дурного в этом нет, вот «Новый мир» даже дал этому рассказу премию Ю. Казакова. (Кстати, в этом тексте совершенно замечательно написан полковник Шац). На «экзотике» часто держится хорошая беллетристика. Но такой выбор как бы освобождает автора от необходимости идти вглубь. (Именно это я имела в виду, вспоминая А.М. Марьянина, с которым мы немало говорили об этом. Взять хоть его рассказ «Голыми руками», где герой сначала совершает экстраромантический поступок — доставляет памятный камень и ставит его на то место, где, по словам Поэта, тот хотел бы быть похоронен, — история с камнем Цветаевой. В рассказе камень уже не Цветаевой, а просто Поэта, мужа той, которая его приютила из благодарности. Но герой моментально превращается в обыкновенного жулика. А мелким жуликом он ведь и был в начале рассказа. Зачем же здесь камень?).

Приблизительно то же происходит с повестью М. Осипова «Фигуры на плоскости». Тема стукачества стала весьма модной. Даже в романе Улицкой «Зеленый шатер» все ее интеллигентные героини-семидесятники почему-то в конце повествования оказываются стукачами.

Больная, серьезная тема, наверное, требующая не только бытового подхода.

История, рассказанная в повести «Фигуры на плоскости», проста: молодой парень, узнав, что его отец в молодости был стукачом и по его вине посадили нескольких студентов, решает сменить свою «княжескую, почти царскую фамилию» (это важно в конкретном случае? — чистая экзотика) на плебейскую — Иванов — и уехать в Америку. Благо он выиграл green card, облегчающую существование эмигранта. Оказавшись в Америке, он сразу попадает на ежегодный шахматный турнир, который устраивают состоятельные старики, и выигрывает большой приз, что дает ему возможность какое-то время безбедно жить. Хотя шахматист он ремесленный — «хорошо считал», но «без интуиции». А вообще-то в повести он — парень никакой. Один персонаж говорит о нем: «Что за юноша? Не ухватишь». Чистая правда. Получив известие от матери, что отец умирает, он пытается вернуться в Москву, но по дороге застревает, гуляет по Италии и приезжает на 9-й день после смерти отца. Спрашивает мать, знала ли она про отца? — Знала. — Вот и все.

Отец «стукнул» в молодости вроде бы по глупости, неосторожности, потом всю жизнь каялся. А сын, недолго думая, просто окрестился от него.

А мать? Знала и молчала?..

Тема — тяжелая, решение... Мне все-таки видятся плоские фигуры на плоскости.

Наиболее сильной из придуманных, то есть взятых не из собственной практики, историй мне кажется «Человек эпохи Возрождения». Главный герой тоже знаком по жизни, но точно прописан автором. Подкупает и ироническая интонация, которую автор держит от начала до конца. Начинается повесть с дурацкой загадки про кирпич, по которой хозяин нанимает работников — уже характеристика! Герой — предприниматель (дело на троих, но один выбыл, а другой пока в компаньонах, но в финале становится хозяином дела и загадывает ту же загадку, когда меняет персонал). Подается он глазами его «челяди», лишь во второй половине повествования совершает пару поступков.

Шеф хочет стать человеком! И потому нанимает музыканта Рафаэля, чтобы обучаться музыке и истории музыки, и историка Евгения Львовича, который знакомит его с Ветхим

Заветом. Это они, посмеиваясь, прозвали его «Человеком эпохи Возрождения». Герою это льстит, хотя он чувствует иронию. Однако все коню не в корм: высший доступный ему вид эстетических наслаждений — порядок. Белизне его сортира позавидовала бы самая чистоплотная женщина. По той же причине периодически он стреляет ворон (учителя, посмеиваясь, сравнивают его с последним нашим царем) — раздражает их неопрятность. И, хотя «каждый культурный человек должен иметь представление...», не понимает он все же того, что ему преподносят учителя. Он любит гладкое (кожу Лоры), спокойное, а *это* — разве музыка (видимо, Губайдуллина)? («Сумбур вместо музыки», — посмеивается Рафаэль). Священное Писание — это «массовое немотивированное насилие», заключает герой. Вот результаты обучения.

Не в состоянии он понять, к какой такой «полноте жизни» стремится Лора, какая еще нужна «полнота», когда все есть. Он повторяет себе азбучные истины: «Если ты обеспечен, то сотням, тысячам вокруг тебя становится лучше жить». Но уверен: «Самое надежное — пойти и взять». Знакомый типаж. Но живой.

Такого героя — подновленного по сравнению с подобными типами 90-х — нам представляют. Хотя он не утратил черт своих предшественников. Решив усыновить мальчика вместе с Лорой — вот поступок! — он не оповестил об этом ни Лору, ни больного отца мальчика, ни самого ребенка. В случае чего несогласных (отца) можно и устранить.

Финал закономерен: такой человек должен потерпеть фиаско. И терпит (трагикомично) — горит на своей «чистоплотности»: стреляет с балкона ворон, угнездившихся на соседней крыше, а внизу толпа, веселье, и одна девица выдувает... гадость, жвачка, пузырь. «Скоро пузырь займет уже, кажется, весь прицел. Ну же, лопни!» — он механически нажимает на спусковой крючок. Понимая, что произошло, вмиг представляет, что его будут трогать чужие руки, говорить «ты». Ему стыдно («стыдно» — прогресс! — а не «противно»). Застрелиться?.. Пытается приспособить большой палец ноги к курку. Выглядит это комично (и почему-то очень знакомо). Вроде никто за ним не идет. Тогда — бумага, ручка — ОГРОМНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ... Логично для такого героя — быстро соображает, по-деловому. Но звонит телефон — кто? — «Не смотреть. Пора».

Застрелился? Возможно. А может, взяли? Обычная для Осипова недомолвка. Финал: компаньон принимает дела и свой день начинает все с той же загадки про кирпич. Кольцевая композиция. Трагикомично. Убедительно, несмотря на фарсовость. Есть время, характеры, точные детали, стиль, интонация. Не зря по этой повести названа книжка.

Рецензию я озаглавила усеченной цитатой из Пожарного кодекса, приведенной автором в парадоксальной «Экзистенциальной шутке». По-моему, она точно определяет то, что происходит в книге.

Э. Мороз

Десяток слов от лепета до муки

Анна Аркатова. Прелесть в том. — М.: Воймега, 2012.

Однажды в Ярославле мне подали десерт — яблоко в тесте, с шапкой сливок, украшенное конфитюром и шоколадной стружкой. Я ела эту нежность, такую красивую на вкус, где надо — хрустящую, где надо — податливо-мягкую, и вдруг споткнулась о кости. Весь яблочный скелетик был внутри, жесткий, отрезвляющий, оставленный поваром.

Некоторые — не все — стихи Анны Аркатовой обладают таким же свойством (фармацевты скажут — действием). Читаешь нежное, женственное, ладное, искусно приготовленное. И в этой неге спотыкаешься о косточки жесткости и боли, жилы обиды, хрящи трудносказуемой искренности.

Прочитав изрядно стихотворений Аркатовой, ключом к прочтению этого поэта я для себя определила небольшое (как и должно ключу) стихотворение:

Для ухода за лицом нужно множество разных средств.
Для ухода за отцом — только одно. Отец.

От кокетства, лепета — до муки, спастического драматизма — десяток слов.

А я и не знала, как ты тяжел — и как я легка,
А ты берешь переносишь меня на облака,
Берешь и катаешь, как крошку по простыне.

Мне кажется, Аркатовой интересно раздражать, дразнить читателя, проходить в миллиметре от опасности, выстраивать метафоры на грани телесности, почти физиологизма: «пауз млечные протоки», «сами лягут мастью в масть нежностей микробы».

...С другой стороны, для женщины вроде как естественно петь о любви и ее окрестностях. О нежном, почти бесполом детстве, о жестком отрочестве. О мужчинах — любимых и друзьях, и понятно, что грань зыбкая. О времени и о себе: «брось — начинается третья треть». О женщинах, подругах — здесь звучит особенная, не для мужчин, горящая нежность.

Аркатовой удаются небольшие, как бы даже сознательно окороченные тексты, высказывания-жесты-взмахи. Сказала — как отрезала. Ее более длинные тексты — сразу другие, с иным дыханием, они встают в отдельный ряд, даже и тематически. Во многих стихотворениях слышится, проступает песенно-игровая основа, отсылающая к детству, вроде «бояре, а мы к вам пришли», или «я садовником родился». Возвратно-поступательный ритм детской игры:

Толстая — зато молодая
Старая — зато дорогая
Бедная — зато на свои
Мертвая — зато от любви

Девочки — в веревочки,
Мальчики — в мячики,
Один гермафродит
Без дела стоит.

Возвратно-поступательные ритмы взрослых отношений логично встраиваются в эту поэтику, в эту игру, где ведущий всегда четко озвучивает правила:

Спать под разными одеялами,
А еще лучше — на разных кроватях, ...

Представим, что ты один, и что я одна,
И что это краска такая, а не седина,
И что эта дверь без причуд об одном ключе.

Спала на твоей кровати,
Ела твою кашу,
Может, меня звать
Не Аня, а Маша?

Ощущение незащитности, обнаженности с толикой смущения — стихи Анны Аркатовой вызывают эти эмоции, но это лишь верхняя часть аромата. Дальше — больше. Неуверенность (человека, идущего вечером по улице в одиночку). Осторожная податливость, доверчивость, но тут же и жесткость, готовность к резкому движению, выпад. Задиристость, подростковое упрямство дудеть в свою тему-дуду. Обманчивая, дающая под дых коленкой милота. Страхи, над которыми автор как бы свысока подтрунивает.

Страх, что выброшу ключи
с мусорным пакетом.
Страх, что голос замолчит.
Все? Больше страхов нету?

Название последней книги «Прелесть в том» — тоже ключ к пониманию Аркатовой. И дело тут не в физических (внешних) данных автора, от которых, оценивая ее стихи, трудно абстрагироваться. Она — собиратель и охранитель прелести, покровитель нежного, трепетного. Ведь и прелести нужна своя территория, свои права. Интересно, что при этом она чрезвычайно далека от сентиментальности.

У нее свои отношения с вещным миром, с той же одеждой. Собственно, у многих женщин так оно и есть, дружески-доверительное сроднение с собственным гардеробом. Аркатовой удастся транслировать это в стихи. Открытая, дружелюбная, она и с вещами устанавливает приятельские отношения.

Какая вещь ко мне попала в руки.
Как славно заживем мы с ней вдвоем.

И вот:

Думаю: главное, юбка жива,
Что надевала, тебя провожая.

Поэзия Анны Аркатовой настояна на любви, все у нее через это двоение *я — ты*. Аркатовские пара-парадоксы можно обособить в отдельный жанр. Тема — одна, но сколько поворотов, ракурсов, аспектов.

Мужчину интересует поход,
Женщину интересует привал.
Живут валетом. А дышат рот в рот.
Какой впереди финал?

И вот так:

Ты за меня горой, я за тебя — равниной,
среднею полосой,
золотой серединой!

И вот:

Почему так мало соли?
Ешь, родной, не прекословь!
Ничего — сказала совесть.
Все — подумала любовь.

В стихах Анны Аркатовой привлекают живой голос, дар сомнения, непредумышленность высказывания. Поэтические проекции ее реальности по-человечески интересны.

Татьяна Риздвенко

Босх и немного Брейгеля

Александр Терехов. Немцы. Роман. — М.: Астрель, 2012.

Если бы можно было скрепить воедино «Сад земных наслаждений» Босха со всеми его кошмарами и «Зимний день» Брейгеля со всей его гармонией вечности, отразившейся в обыденном, скрепить так, чтобы два полотна составляли крест и Брейгель проходил бы сквозь Босха, неведомым образом пронизывая его насквозь, тогда получилось бы нечто похожее на композицию нового романа Александра Терехова.

Босх — жизнь чиновной Москвы 2007—2008 годов. Сад мучений, подлости, свирепости, корысти.

Насколько Терехов мог изобразить ее в деталях, настолько изобразил. Молиться на точность изображения не стоит, да и не настолько важна она, эта точность. Есть ли «зона ограниченного доступа» с собственным лифтом у московских префектов, лепят ли чиновники третьего ранга по шестьсот ларьков на подведомственной территории, делают ли «вбросы» липовых бюллетеней на выборах, и если да, то в каких масштабах, кем, как... Да не в нюансах дело! Не столь важно, где Терехов достоверно описал все бронированное похабство чиновной жизни, а где писательское воображение подсказывало ему «кремовые розочки» для торта офисной реальности. Важнее другое. Терехов писал не о лужковской чиновщине, а о *тьме времени*.

Там, наверху, во власти, — пустота, холод, бездушие. Там ничего нет, ни единой мысли живой, ничего по делу, ничего к лучшему, только «финансовые потоки». Наверх люди идут ради «финансовых потоков». Удерживаются наверху — ради «финансовых потоков». И крепчающего Босха вокруг себя терпят изо всех сил тоже исключительно ради финансовых потоков.

В тереховском портрете «верхов» слова «демократия», «сталинизм», «авторитаризм», «патриотизм», «свобода», «имперскость», «инновации», «консерватизм» — *равны*, поскольку в равной степени ничего не значат. Ситуативно они могут что-то значить — если с еще большей «верхотуры» поступил заказ на «Империю» или на «либеральные ценности», то надо его сегодня-завтра отрабатывать, — но как нечто имеющее постоянную, неколеблющуюся ценность, они просто не рассматриваются. Они — звук пустой. Только «финансовые потоки». Больше — ничего.

К «финансовым потокам» допущены те, кто вошел в «систему». Главный герой, глава пресс-центра в одной из московских префектур, некий Эбергард, проводит жизнь в гуще «системной» реальности. Один из приятелей, тоже чиновник, говорит ему о «системе» как о лозунге времени: «Сейчас главное слово — система. Надо быть... внутри. Все, вся там херня — личное, неличное, правда, неправда, борьба какая-то, ты сам со своим именем-фамилией, будущее, дети — только там могут быть. Внутри. Если ты не пролез или выпал — тебя нет. Надо встроиться. Встроился — держись. Держишься, ходи с прутиком. Ищи, где тут под землей финансовые потоки... Но — только в системе. Система!» И вот обожествляя теперь эту систему, береги себя в системе, а систему в себе — всю жизнь. Пока не вышибут или пока завод не кончится...

Принадлежность к системе четко делит людей на две «расы». Об этом сказано с обезоруживающей прямотой: «Люди разделялись по участи. Миллионы согласились стать мусорщиками, проводниками поездов, расклейщиками объявлений, вахтерами, водителями, продавцами, массажистами, нянями грудных детей, дворниками, кассирами платных туалетов, переносчиками тяжестей, дежурят у компьютерных бойниц, смотрят в мониторное небо, садятся за почтовые решетки и на цепь в стеклянные банковские конуры, — некрасивые люди из съемных комнат-квартир разбирают сотни низких уделов для некрасивых людей-пчел в дешевой одежде с жидкими волосами и рябым лицом, учатся опускать глаза, знать место — место угадывается по выражению глаз, по — “как человек идет”, а уже потом — “одет”; им отвели место, где им можно громко смеяться, с такими же — образовывать семьи, таких же — рожать, и по телевизору в утешение покажут множество мест, где им не побывать, покажут жизнь настоящих: вот это — жизнь, а вы — тени ее, сопутствующий мощному движению крупного

млекопитающего однонаправленный мусор; делайте все, что скажут, питайтесь по расписанию — у них, вот у этих, жалких, расписанных, свои школы, особые дворы, магазины, свой язык и телепрограмма...».

Внутри системы работают «немцы». Слово это, ставшее названием романа, вызвало у критиков дискуссию. Главный герой, его жена, любовница, дочь и товарищи носят немецкие имена: Эбергард, Эрна, Улрике, Фриц и т.п. Но они окружены повседневностью, то и дело высвечивающей имена, фамилии, прозвища чисто русские, еврейские, кавказские. Начальник главного героя носит фамилию Гуляев. Общественный активист и «профессионально скорбный инвалид» — Ахадов. Знакомый эмвэдэшник — и вовсе Ленья Монгол.

В связи с этим целая гроздь интерпретаций может быть сразу отправлена в мусорную корзину.

Почему немцы? Наталия Курчатова отвечает: «“Немецкость” тереховских чиновников — совершенная условность, фиговый листик, который лишь артикулирует инородность “новых феодалов” по отношению к стране». Андрей Архангельский предлагает усложненный вариант той же версии: «Проще всего предположить, в связи с названием романа, что все они здесь — фрицы: захватили город и ведут себя как оккупанты. Но есть и другая версия: на самом деле все эти имена означают как бы вечность: как прибыли варяги когда-то править Русью, так с тех пор и сидят в префектуре». Павел Басинский решил удовлетвориться самым простым и самым неправдоподобным объяснением: «“Немцы” — это привет из наших дней Салтыкову-Щедрину. Более убийственной сатиры на современное чиновничество не было и, я думаю, уже не будет... В романе беспощадно показан срез московской бюрократии. Это смешно и страшно, и даже в чем-то трогательно — тоже ведь люди, тоже со своими проблемами — то на “миллионы” попадают, то не знают, куда эти “миллионы” грамотно вложить. Это такой мир особый, со своими законами, своими “понятиями”, но и своими — да, да! — душевными драмами».

Нечто гораздо более правдоподобное пишет Варвара Бабицкая. По ее словам, «...в тереховском изводе классовое фактически превращается в расовое: на это указывает и то обстоятельство, что и главный герой Эбергард, и его дочь Эрна, и бывшая жена, и нынешняя, и все ближайшие к нему члены “системы” носят немецкие имена — обстоятельство, которое вынесено в заглавие романа, но не объясняется, разве косвенно комментируется в конце: “Раса господ выходила к сероштанному миллионному быдлу без палки и в меньшинстве — никто не осмелится даже поднять глаза, все вывернут карманы, подставляя один бок, другой для удобства; время жестоко — мы никогда не будем равны, и наши дети не будут равны”».

Иначе говоря, слово «немцы» и вся бутафорская неметчина — всего лишь способ подчеркнуть крайнюю степень чужести персон, которые с головой ушли в «систему», покорились ей, стали рабами ее, — понятию «нормальный человек». Собственно «немец» у Терехова — не столько человек иного этноса или иного социального положения, сколько вообще не совсем человек. Ему сказать о себе нечего — *немец нем*. А нем он постольку, поскольку у него вместо души «финансовые потоки». Расспрашивать его не о чем: вокруг него, внутри него — пустота, ему не о чем говорить, кроме повседневного пресмыкательства, воровства, низости. И понимать его нельзя, опасно его понимать: чуть только поймешь его, приблизишься к нему, к его состоянию, и твоя собственная душа потеряет в весе. Был человек, обратился в высокооплачиваемую шестеренку, да еще шестеренку злую, легко перемалывающую коллег в кровавые брызги...

В романе «Каменный мост» Терехова «великими немцами» являлись люди из слоя сталинской номенклатуры. За причастность к власти, к «великим делам», они должны были утратить голос. Им страхом голос выжгло. Они тоже были «немцами». Новые, современные «немцы» отдали голоса за причастность к «финансовым потокам». Сущность явления — одна, различаются лишь обстоятельства его проявления.

Где ж в этом густом Босхе чудесный Брейгель? Откуда ему тут быть?

В «Каменном мосте» Терехов нарисовал реальность безнадежно печальную. Разбирая на элементарные частицы любовь, творчество, работу, он из всего извлек тлен. Тленом все обернется, ничему нет истинной цены, ничто не вечно. Здравствуй, «Посторон-

ний» Камю! Здравствуй, «Тошнота» Сартра! Это столь горький, столь черный стиль письма, что когда-то и Камю, и Сартр постарались найти выход из картин, ими же нарисованных. Терехов пошел по их стопам — искать выход из уныния и небессмертия. Ему потребовалось нечто, имеющее отношение к вечности. Нечто, выходящее из ряда «все — тлен» и «все — мука повторений».

Брейгель — соприкосновение мимолетного и вечного. У него в мимолетном слышится отзвук изначальной красоты мироздания как Божьего творения, прекрасного в Его замысле.

Главный герой романа эти отголоски вечности давно разучился слышать. Автор показывает, до какой степени душа его опростилась, ороговела после многих лет пребывания внутри системы: «Эбергард вздохнул... не зная, где правда, что правда, что будет; они с пожилым капитаном иноземцами безмолвно взглянули в начинающийся вечер, поверх человеческих ручьев и малых речек. Струившихся под теплым ветром от метро “Панки” радиальной, — ответвляясь в “Перекресток” на улице Кожедуба, возле которого нищие. Утепленные шарфами и лыжными шапками смуглые дети гонялись за богатыми и, настигнув, крестились в упор, дальше, погрузнев сумками, течение замедлялось и тонкими струями, каплями, волнами растекалось в подъезды и дворы, окруженные четырьмя панельными полотнищами; кратчайшими тропками возвращался в гнездовья офисный люд, женщины с поблекшими вечерними лицами несли на спинах мысли об ужине и мысли о выездной пятничной торговле овощами и фруктами из Липецкой области и персиками из Испании; в подъездных пыльных окнах дрожа распускались пятна света, пестро. В разную мощность... Брызнул свет в фонари. Воздух, тишину наполняло автомобильное нарастающее и стихающее шипение. Подстегиваемое сигналами нетерпеливых. Капитан и Эбергард смотрели куда-то превыше, над слабо подсвеченным облачным подбрюшьем, где еще незримыми мириадами звезд расположилось и сияло им все то, во что давно пора вмешаться Богу, а еще лучше Путину». Последняя фраза посвящена «миру системы», т.е. чиновному миру, которому оба принадлежат и от которого ждут выгодных для себя перемен, если высшая власть вмешается и сделает «правильные» перестановки. Отсюда — Путин по соседству с Богом. Фальшь слышится страшная, омерзительная. Добрая, пестрая «жизни суета», вечерний свет и теплый ветер (а у Брейгеля был бы снег, горожане на катке, те же дети в ярких одеждах) для Эбергарда и капитана милиции невидимы. Оба смотрят не туда. У обоих взгляд сфокусирован на дряни, оба красоту видеть не способны.

Но у Эбергарда еще сохранилось живое место. Он не умеет губить людей спокойно, проявлять жестокость, ничем не терзаясь. А время-то — кричит Терехов — жестоко, грубо, ужасно!

Эбергард разводится с женой, но не может не думать о дочери. Любовь к ней — вот то живое, что еще не высохло, не атрофировалось. Это чувство саднит, не дает покоя. И вот коллеги принимаются судачить об Эбергарде:

— А я вот сидел и глядел на дорогого нашего друга Эбергарда... Сидит он. И смотрит на нас, и ест, как мы...

— И пьет!

— И пьет. И ничем вроде бы не отличается... А с душой своей совсем, совсем он не такой... И что он на самом деле про нас думает?

Не напрасно в сцене, где префект выходит «общаться с населением», Эбергард «выпадает» из общего строя его свиты: он, вроде бы, не с простым «населением», но и в свите, в последних ее рядах отыскивает свое место не сразу, не без труда. Здесь все знают, а больше чувствуют «свой маневр»! Он же — словно щепка, выпавшая из общего потока. Недостаточно вычистил из себя человеческое, чтобы соответствовать общей чужинности «системы».

Эбергард неоднократно говорит себе: Бога нет, совести нет, а значит, и мук совести тоже нет, ну а суд людской ничего не значит. Но он всего лишь тешит себя фанфаронскими словесами: «Я вообще никогда ничего не чувствую. Броня. А под ней — ничего». В действительности же... Вот его диалог с добрым знакомым:

— Фриц, вот я живу, и мне никогда не больно. У меня все сложилось, я все выстроил — я не пропаду. Но я почему-то — ничего не чувствую по-настоящему.

— Зачем на себя наговариваешь?!

— А с дочкой — я почувствовал. Первый раз! Я ожил. Теперь уже не могу остановиться. Это само... Я, оказывается, еще не пустой! Я — человек, оказывается!

От него отворачиваются.

Эбергард судится с бывшей женой за право видеться с дочкой. Борясь за нее, главный герой замечает: «В этой беде не помогает никто, словно он сумасшедший, а все вокруг здоровы, словно дверь, в которую он бьет, не существует; помогите! — все отводят глаза: бесполезно, это не вылечишь, на самом деле — это он-то как раз здоров, а они...»

В итоге система его отторгает, «финансовые потоки» от него уходят. Его, может быть, убьют за долги. Он сделался гол и уязвим, как люди. Он перестал быть «немцем».

Только тогда ему достается единственно возможное человеческое счастье: он теперь может видеть дочь, и дочь отвечает на его любовь. Чувство огромного, божественного счастья и есть отзвук вечного в сиюминутном. В него Терехов выводит читателя из состояния экзистенциальной тоски: «Эрна увидела, замерла... и быстро-быстро побежала к нему. Делаясь почему-то поменьше ростом: такое лицо у Эрны бывает, когда она собирается добежать, сказать, что случилось, обхватить и сразу заплакать, тут надо успеть до слез; он присел, протянув к ней руки. Улыбаясь “ничего, ничего”, — его маленькая дочка бежала к нему, несла свое горе, — еще не коснувшись, Эбергард уже чувствовал, как руки его — как всегда — подхватывают и подбрасывают девочку, и над его головой, забыв все плохое, она с восторгом кричит:

— Папа! — и возвращаясь — мягкой тяжестью ударяет ему в грудь».

Вот оно: немного Брейгеля.

Дмитрий Володихин

Друзья мои, я вас любил под фонарями, облаками

Борис Рыжий. В кварталах дальних и печальных... Избранная лирика. Роттердамский дневник. Составление: Т. Бондарук, Н. Гордеева. — М.: Искусство — XXI век, 2012.

Мальчика с фамилией Рыжий в школе, конечно, дразнили. Мальчик вырос задиристым. И распахнутым. С богатым внутренним миром. С «мыслями о том, что он ненужный и рыжий» («Небо как небо, бледные звезды...»). «Ирина правильно сделала, не взяв мою фамилию, а Артема в школе дразнить будут». Борис эту фамилию сделал известной.

Сказано о нем в этом сборнике много. Сказано с любовью. Поэтами, критиками, литературоведами. «Борис Рыжий был самый талантливый поэт своего поколения» (Евгений Рейн). «Борис Рыжий был единственным современным русским поэтом, который составлял конкуренцию последним столпам отечественной словесности — Слуцкому, Самойлову, Кушнеру» (Дмитрий Быков). Хорошо, что это написано уже после смерти. Слишком большая ответственность лежала бы на свердловском мальчике.

Новая книга — наиболее полное на сегодняшний день издание его наследия. Не отколовшийся от общего массива кусок (пусть и самый весомый — его журнальные подборки), а все сразу. Название прозе Рыжего, написанной им после поездки в 2000 году на ежегодный поэтический фестиваль в Голландию, дал в свое время журнал «Знамя». Вслед за Бродским, за его стихотворением «Роттердамский дневник».

Видно, как разнолик и одновременно целен художественный мир Рыжего. Можно нащупать жилы месторождений его будущих текстов, которые никогда уже не появятся. Они стали бы бесплотными, бестелесными, как утверждает Лариса Миллер (но я этого не вижу), или обрели бы «грозный шаг ихтиозавра»: «А не завтра-послезавтра / мы освоим твердый шаг, / грозный шаг ихтиозавра / в смерть, в историю, во мрак» («Долго-долго за нос водит...»)? Последнее — скорее ирония Рыжего. У каждого читателя теперь свой будущий Рыжий. Допустил был он в свою поэзию верлибр? Изменил бы привычный для него поэтический пейзаж?

О Рыжем сказано так много, что свое право написать что-то еще, пожалуй, нужно обосновывать. Новая книга — конечно, повод. Но почему именно мне повезло говорить о ней? Есть несколько причин. Бориса Рыжего я понимаю нутром. Он мой ровесник. У него был район Вторчермет в Свердловске, у меня — Транспортный цех в Караганде. На окраине черноснежного города. Как ни странно, и мой отец был горным инженером, а мама врачом. Они читали мне на ночь тех же авторов, что и Борис Петрович Рыжий сыну. Когда вся страна скрипела, как ржавое колесо, я жила на одном из ее осколков. Рыжему повезло больше — он жил на основной льдине, в России. Еще одна причина — моя готовность дать своему будущему заинтересованному аспиранту тему диссертации о Рыжем.

А Борис Петрович читал сыну, как тот сам напишет в «Роттердамском дневнике», именно в такой последовательности: Лермонтова, Блока, Есенина, Луговского, Брюсова, Лосева, Гандлевского, Рейна, Слуцкого, Георгия Иванова, Ходасевича... И этот ряд не странный. Он во многом отражает пристрастия Рыжего-поэта, вобравшего в свой мир классику, хорошие советские стихи, Серебряный век, современных авторов. Для Рыжего эти произведения порой неотличимы от собственных: «Кроме своих, прочитал «У статуи Родена мы пили спирт-сырец — художник, два чекиста и я, полумертвец» (стихотворение В. Луговского. — Е.З.). Проканалю, никто ничего не понял, даже Рейн». Разные источники рожают порой неузнаваемо разного Рыжего. Он то неустанно воспроизводит картинки советского детства («пионер-герой с портрета смотрит пристально вослед»), то показывает глубинное знание классики, то дает понять, что, при наличии собственной, владеет интонациями других современных поэтов.

Благодаря не известным читателю текстам Рыжий в этой книге предстает как уже знакомый и новый.

Его отличает *беззащитная детскость*.

...там, где вечер, где осень, где плачет забытое детство,
заломив локоточки за рыжие головы звезд...

(«Где-то там далеко, где слоняются запахи леса...»)

Рыжий написал не одно «Детское стихотворение». Ситуация ожидания Нового года мальчиком у елки — одна из сквозных у Рыжего. Предметы и явления уподобляются детям: «квартал... ребенком нежным спал», «вдоль дороги фонари, словно дети, с жизнью в ссоре».

Несмотря ни на что Рыжий, поэт «дна», — *нежный и бережный* поэт. Слово «нежный» — одно из его любимых.

...распустятся листья.
Такие нежные, дружок.

(«Фонтан замерз. Хрустальный куст...»)

Причем эта нежность экзистенциальная: «Я нежен, как Бог» («На мосту»). Важная интенция Рыжего — «Мне не хватает нежности, / а я хочу, чтоб получалась нежность...».

Он эрудирован и глубоко образован, этот поэт «низовой» культуры. «...небо голубое-голубое, яблони белые, синяя сирень, в голове «Ночной смотр» Жуковского звучит» («Роттердамский дневник»). Ряд его стихотворений посвящен античным авторам и героям — Овидию, Гектору и Андромаше, Орфею, Ахиллу. В его поэзии — отклики на стихи К. Батюшкова, Н. Огарева, Ап. Григорьева, со знанием дела лирический герой Рыжего называет Вяземского «усталым»...

У Рыжего *нет маски*. Он искренен и как поэт-эрудит, и как певец улиц. Ему свойственна не маска, а *двоемирие*. Но не романтическое двоемирие с его мечтой и реальностью. А осознание одновременного существования в мире фиктивном и настоящем.

...Покуда в этом все юлили,
Слегка прищуривая глаз,
В том, настоящем, вас убили
И руки вытерли о вас.

(«Глядишь на милые улыбки»)

И погибнуть в мире настоящем — лучше, чем обретаться в фиктивном.

Внутренний ландшафт Рыжего нередко складывается из городского и природного пейзажей. Это и излюбленные у него облака, фонари, небо, луна, звезды, снег, и единичные метафоры — «словно лошади, яблони в мыле». Настоящий Свердловск (Екатеринбург) не повинен в смерти Бориса и депрессивных красках его поэзии. Поэт и не собирался покидать свой Свердловск, в котором лирическому герою «херово ... не только осенью, всегда»: «Я пожал плечами — как я могу уехать. В Свердловске прошло мое детство, здесь мои друзья, по этим улицам по ночам прогуливаются тени родных мертвецов...». Понимаю Бориса — в его двадцать шесть я тоже ни за что не хотела покидать Караганду. Изображение города в поэзии Рыжего — это по большей части не внешний, а внутренний ландшафт. Таково было на его душе. И так ему было бы в любом городе и стране. Едва ли не хуже. «Скверно и жутко» от банальности.

Поэзия Рыжего музыкальна. И здесь не только его практически навязчивые картины звучащей извне музыки — музыканты в саду, в парке, поющий пропойца под окном... Именно картины — Рыжий внешнюю музыку «видит», ему нужно видеть оркестр, инструменты, музыкантов. Стихи его отличает музыка внутренняя — звучание того «сора», из которого растут стихи. Поэтому его поэзия так полюбилась бардам.

Под сине-голубыми облаками
Стою и тупо развожу руками,
весь музыкаю полон до краев...

(«Прошел запой, а мир не изменился...»)

Только в «надежной пустоте» смерти можно будет понять, где сфальшивил.

Из книги отчетливо понимаешь, что Рыжий *не поэтизировал смерть*. Устоялось мнение, что поэт был «зачарован смертью» (Лариса Миллер). Но при постоянной готовности лирического героя умереть («мы умрем с тобою через три часа») смерть для него не желанна. Она для него такая же составляющая жизни, как сама жизнь. Поэтому Рыжий много, очень много пишет о смерти. Она и «уродка», и «красотка». Он просто идет к ней навстречу. Смерть настолько слилась для Рыжего с жизнью, что решительно вошла в нее. «С мертвой куклой мертвый ребенок на кровать мою ночью садится...» — жуткий образ для лирического героя. Горек уход умершего дерева («Яблоня»). Смерть притягательна лишь потому, что в сравнении с жизнью для лирического героя Рыжего «щедр и молчалива» («Благодарю за все. За тишину»). К тому же — за смертью вечность. «Умри — достанут, переписжут. Разрушат и воссоздадут», — пишет Рыжий. Что, собственно, сейчас и происходит.

В творчестве раннего Рыжего немало находок. Вот поэт сравнивает нищих с углями, а на девушке «алеет бант» — «она еще немного тлеет» («Внезапный ветер огромную страну...»). Книга открывается стихотворением 1992 года «Стоял обычный зимний день...», в котором, как в бутоне, художественная система Рыжего — тема смерти, уникальные метафоры («лежал подъезд, в сугроб уткнувшись / бугристой лысиной ступеней»; «я грыз окаменевший снег, / сто лет назад в ладонь упавший») и даже его коронные «фонари» и «сутулый силуэт Свердловска». В ранних стихах уже очень много Рыжего.

В новой книге, куда включена и проза, Рыжий показывает задатки ироничного, гибкого прозаика. Довольно часто, начав как поэт, автор потом раскрывается и как прозаик. У Рыжего есть способности к прозе: в «Роттердамском дневнике» удачная смена субъектных ракурсов, блестящая самоирония и ирония. Правда, автор торопится включить в свой короткий дневник едва ли не всю жизнь — и литературный калейдоскоп лиц, и се-

мейные отношения, и практику в поселке Кытлым, и даже попытку самоубийства... Как будто точно знает, времени у него очень мало. А надо сказать о многом.

В этом издании не все можно принять. Начиная с названия. Не всем посмертным книгам Рыжего повезло с заглавиями. О неудачном названии книги «На холодном ветру» (СПб., 2001) пишет автор предисловия в рецензируемой книге Дмитрий Сухарев, ссылаясь на цитату из Рыжего: «Вот и назвали бы книгу “На отеческом ветру”. Ветер отчизны был Борису теплым». Сомневаюсь, что название «На отеческом ветру» было бы удачным. Как и безликое «В кварталах дальних и печальных...».

Ранний Рыжий — трогательно искренний и искренне трогательный. Но нужно ли было допускать в книгу такие даже не проходные, а слабые стихотворения, как «Мне наплевать на смерть царя, и равно...» с недостаточными (у Рыжего здесь намеренными) рифмами «семьи»/«крути», «век»/«земле», «пути»/«мозги», с ритмическим перебоем в последней строфе и, главное, банальным вызовом человечеству: «Мне наплевать, что космос — безграничность, / Хоть и считаю: короток наш век! / Мне нужен «Ты», мне нужен ты, как личность, / Мне «Вы» нужны живые на земле. / Меня, наверно, не поймут потомки, / Но что поделать, я уже в пути, / Строкой порву ушные перепонки / И влезу в ваши воспаленные мозги!». Даже как ироническое это стихотворение не для книги. Слабое. Может быть, стоило внимательнее прислушаться к самому Рыжему, который не хотел публиковать свои ранние стихи? Но прислушаться так, чтобы ненужное потерять, а ценное сохранить. И книга «В кварталах дальних и печальных...», как я уже отметила, сохраняет это ценное.

Весьма раздражают в книге постраничные примечания (а порой длинные их списки) практически к каждому имени собственному. «Данте — итальянский поэт, автор «Божественной комедии». Эдгар По — американский писатель. Евгений Рейн — поэт, прозаик. Евгений Баратынский — русский поэт». Читатель, не знающий, кто такие Данте и Баратынский, книгу Рыжего не откроет. Зачем ликбез? Конечно, комментарии очень нужны, когда авторы объясняют незнакомые фамилии, топонимы и др. Или приводят шуточные пояснения самого Рыжего.

«Я никогда не жалел себя, а с годами разучился прощать». Борис, не сделавший зла, за что-то не смог себя простить. Он заблудился в себе. Поэтому и ушел. «Бог простит, любя. Когда б душа могла простить себя...». Мера возможности быть в состоянии «но я счастлив вполне от того, что несчастлив» была исчерпана.

Дает ли книга ответ, почему Рыжий добровольно покинул этот мир? Дает. Но каждому свой.

Елена Зейферт

Вопросы и ответы

Евгений Гришковец. Письма к Андрею. Повесть. — М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2013.

Три года назад писатель, драматург, актер etc. Евгений Гришковец стал героем телепередачи «Познер». В заключение интервью Владимир Познер по традиции программы задал гостю ряд вопросов из знаменитого опросника Марселя Пруста. На вопрос ведущего: «Если бы вы могли пообщаться с любым человеком, когда-либо жившим на свете, это был бы кто?», Гришковец назвал имя Ивана Бунина. Возможно, если бы передача снималась в 2012 году, Евгений Гришковец, отвечая на этот вопрос, назвал бы совсем другого человека — кинорежиссера Андрея Тарковского.

«Письма к Андрею» — книга-диалог, сборник посланий Гришковца, адресованных великому режиссеру: «Андрей Тарковский умер, когда мне было девятнадцать лет. Я был юн, служил моряком у самых восточных пределов огромной страны, но даже там, даже под присягой и с погонами на плечах я ощутил горе и пустоту утраты непонятного мне уровня и масштаба. Я почуствовал уход самого крупного художника из тех, с кем мне довелось жить в одно время.

И хоть совсем недолго, но все же я был его современником и навсегда останусь его соотечественником. Именно это дает мне особо сильные чувства и некоторые права на написанное мною далее».

Почему в качестве адресата своих писем Гришковец выбирает именно Тарковского? В предисловии к книге он дает сразу несколько ответов. Кино Андрея Тарковского стало первым сильным художественным впечатлением в жизни тогда еще двенадцатилетнего Жени Гришкова, а дневники, книги и прочие записи Тарковского явились одним из сильнейших жизненных впечатлений автора за минувший год.

Впрочем, «Письма к Андрею» адресованы не только Тарковскому, ушедшему из жизни двадцать шесть лет назад. Автор не может точно определить своего читателя: «Кому я написал? Андрею Тарковскому? Андрею Рублеву? Художнику? Зрителю? Читателю?.. Не скажу. Не знаю.

Я написал письма, которые не ведаю кому и как попадут в руки и на глаза. Не знаю, как и в ком они отзовутся и отзовутся ли вообще».

По Гришковцу, фигура Тарковского — живой и яркий пример человека искусства — человека, в жизни которого есть только искусство и ничего кроме искусства, фигура настоящего художника. И подзаголовок книги очень точно определяет ее форму — «Записки об искусстве». В каждом письме Гришковец ставит перед нами определенные вопросы на тему искусства и сам же дает на них ответы. Где-то эти ответы выглядят как личные предположения, где-то — как смелые и однозначные утверждения. Именно поэтому назвать книгу сугубо теоретической филологической или философской работой об искусстве нельзя — уж больно она эмоциональна. Традиционное обилие восклицательных знаков и многоточий в тексте прямо об этом говорит. При желании автор может легко превратить сборник писем в живой театральный монолог. Тем более Гришковец умеет это делать.

В первых письмах автор рассуждает о природе подлинного художника. Настоящий художник всегда гениален, он берется за недостижимое, живет в постоянном переживании и в отсутствии результата. А еще человек искусства всегда «рвется к людям», но люди не торопятся признавать его гениальность — ведь это всего лишь современный человек, живущий среди нас. И действительно, как писал Сергей Есенин: «Большое видится на расстоянii...» — многих великих стали называть гениями только после их смерти. Говоря о сущности предмета своего исследования, Гришковец цитирует другого великого поэта — Александра Пушкина: «“Над вымыслом слезами обольюсь” — вот самое простое и точное определение искусства».

Особенно интересным мне показалось размышление автора о преподавании искусства в школе. «Школьная практика такова: получил ответ, объяснил способ его получения — садись, молодец, отлично. Так же предлагают изучать и искусство. <...> Ребенку сразу предлагается не получить впечатление от прочитанного, а изучить его под руководством учителя. Изучить и прийти к подготовленному учителем результату». А ведь литература — это не математика, и принципы точных наук здесь недопустимы, при этом навязанные учителем выводы не столь однозначны. К тому же Гришковец справедливо отмечает, что с искусством надо встречаться как с чудом, а не из-под палки. В школах же зачастую искусство пытаются именно вбить в голову, ну а человеческому организму, как известно, иногда свойственно отторжение инородных тел. Вот почему некоторые старшеклассники люто ненавидят «Войну и мир» Толстого или, например, поэзию Маяковского.

Кстати, о Маяковском... Особое место в «Письмах к Андрею» посвящено киноискусству. Если все остальные письма прячутся под безликими порядковыми номерами, то «Письмо о кино» — единственное, которое имеет название. И по объему оно оказывается самым длинным. Девяносто лет назад в журнале «Кино-фото» (№ 4 от 5—12 октября 1922 года) появилась заметка Владимира Маяковского «Кино и кино», в которой поэт писал:

Для вас кино — зрелище.
Для меня — почти мирозерцание.
Кино — проводник движения.
Кино — новатор литератур.
Кино — разрушитель эстетики.

Кино — бесстрашность.

Кино — спортсмен.

Кино — рассеиватель идей.

Но — кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом. Ловкие предприниматели водят его за ручку по улицам. Собирают деньги, шевеля сердце плаксивыми сюжетами.

Этому должен быть конец.

Рассуждая об истории развития самого молодого искусства, Гришковец ставит примерно такой же диагноз: «Кино как искусство в сегодняшнем времени находится в глубокой коме». Одна из ключевых причин болезни кино — все те же деньги, а также те, у кого эти деньги водятся, — продюсеры. По мнению Гришковца, фигуру продюсера «почти обожествил» Стивен Спилберг. Кино превратилось в «разнообразный аттракцион» и успешное предприятие, в котором настоящий художник просто не способен найти себе места. Кроме того, развитие кино тормозит необходимость привлечения к его созданию большого количества людей — сценаристов, операторов, монтажеров, актеров... Однако «подлинный художник может творить только один, шагая в никому не ведомое пространство создания искусства». Четкого рецепта для выздоровления кинематографа Гришковец не дает: «Остается надеяться и ждать. Нужно стать строже и требовательнее, даже если нет надежды дождаться и увидеть рассвет киноискусства на нашем веку».

Если искусство — это чудо, то получается, что подлинный художник должен быть волшебником. А может ли простой человек стать волшебником? Еще один непростой вопрос! В этом месте сразу вспоминается избитая фраза: «Я не волшебник, я только учусь» с ее политическими аллюзиями. Но Гришковец категорически отказывает простому человеку в праве стать творцом искусства. Пытаясь объяснить свой постулат, автор проводит сразу несколько параллелей. Так, например, спортсмен и физкультурник — совсем не одно и то же: «Настоящий спортсмен тратит здоровье, а то и утрачивает его, калеча свою жизнь и организм ради выдающегося, а по возможности рекордного результата. Физкультурник же ходит в спортивный зал ради укрепления здоровья, улучшения физической формы и удовольствия». Художник не может заниматься ничем другим, кроме искусства. Справедливо? Возможно... По крайней мере Гришковец очень убедителен. Сразу вспоминаются «тунеядец» Бродский и некоторые наши рок-музыканты, «на бумаге» работавшие в восьмидесятых годах дворниками, кочегарами и сторожами. Вот они — люди искусства! А что же все-таки насчет «не волшебник, я только учусь»? Такого не бывает — говорит нам Гришковец: «А как же научить человека писать? Писать произведения искусства! Это невозможно! Сколько выпускников Литинститута, разных сценарных курсов и прочих творческих образовательных организаций стали подлинными художниками? Не журналистами, не критиками, не авторами бестселлеров на три дня, не сценаристами сериалов и не редакторами, не режиссерами бесконечных кривляний на сцене, а самостоятельными и подлинными художниками!.. «Неких» крепких профессионалов много. Художников почти нет». К тому же «искусству невозможно обучить по очень простой причине: неизвестно, что это такое. Как можно обучить неизвестно чему?»

Обычный человек может нарисовать картину, написать роман или стать чемпионом по караоке в свободное от основной работы время. Но искусством это не будет. Настоящий художник всегда живет искусством и живет в искусстве — повторяется Гришковец. Жизнь художника «полна переживаний и сомнений», а его путь всегда тяжел и мучителен.

Со многими мыслями автора легко соглашаешься. Но иногда с ним хочется поспорить. Так, некоторые ответы вызывают еще больше вопросов. Из некоторых положений можно сделать вывод, что, к примеру, Дарья Донцова, ежегодно создающая несколько «иронических детективов», — подлинный художник, регулярно заставляющий «над вымыслом слезами обливаться» десятки тысяч неискушенных читателей, а вот, допустим, Захар Прилепин — совсем не человек искусства, поскольку он в настоящем времени не только писатель, но еще и журналист, и редактор, и с политической жизнью связан, а в прошлом и вовсе был разнорабочим, охранником и, наконец, омовцем. Впрочем, Донцова берется за вполне достижимые и постижимые вещи, в которых

нет чуда. Следовательно, и она не подлинный художник. Раз так, то существуют ли подлинные художники в принципе?

В жизни каждого человека периодически возникают сложные вопросы, найти ответы на которые бывает мучительно тяжело. Евгений Гришковец вопросы, волнующие его и не только его, сумел сформулировать и попытался на них ответить. Интересно, что бы ответил Гришковцу Андрей Тарковский, если бы Гришковец мог пообщаться с любым человеком, когда-либо жившим на свете, и в качестве такого человека все-таки выбрал бы Тарковского? А что бы сказал Бунин, прочитав эти записки об искусстве?

Станислав Секретов

Культура — вширь и вглубь

М.Л. Гаспаров. Филология как нравственность. Статьи, интервью, заметки. О прошлом и будущем. Об интеллигенции. О культуре. О школе. О жизни. Составление: А.М. Зотова. — М.: Фортуна ЭЛ, 2012.

Составитель сборника А.М. Зотова озаглавила его по самой известной научно-публицистической статье академика М.Л. Гаспарова (1935—2005), но ее же рубрикация длинного подзаголовка, далеко не полностью охватывающая содержание книги, дает понять, что речь в ней отнюдь не только о филологии и истории. Тут и философия, и политика, включая «национальный вопрос», и соотношение науки и искусства (шире — исследования и творчества), и популяризация культуры прошлого, в том числе переводы и пересказы произведений, и многое другое (итог — «О жизни»). Профессионально Гаспаров был античником и стиховедом, то есть представлял не самые легкие для неспециалиста дисциплины, впрочем, умея писать просто о сложном. А все опубликованные высказывания Михаила Леоновича — в статьях, интервью, записных книжках, письмах — говорят о нем как об универсальном мыслителе, едва ли не самом разностороннем гуманитарии нашего времени, и представляют огромный интерес для читателей любого культурного уровня и интеллекта. Издательство прогадало, ограничив тираж сборника 3000 экземпляров. Умных людей у нас, право, больше.

Часть вошедших в книгу статей и интервью была включена автором в знаменитые «Записи и выписки» (2000), но большинство из них собрано здесь впервые. Даты под ними стоят (с 1989 по 2005 год), однако хронология не соблюдена, поскольку не очень важна. Гаспаров не был конъюнктурщиком, отличался устойчивостью мнений, видно, что хотел донести их до многих.

В статье «Прошлое для будущего» говорится: «На протяжении нескольких поколений нам изображали наше отечество по классической формуле графа Бенкендорфа (только без ссылок на источник): прошлое России исключительно, настоящее — великолепно, будущее — неописуемо». Сейчас доверие к двум последним частям формулы сильно поколебалось, зато к первой скорее укрепилось. «Нашему естественному сыновнему уважению к прошлому велено обратиться в умиленное обожание». Сыновнее уважение великого знатока прошлого действительно не в пример *естественнее*, чем позиция тех, кто велел умиляться.

Приводятся факты как крупнейшего, так вроде бы и не очень значительного масштаба, например, в статье «Интеллигенция и революция» («Примечание историческое»): «Петровская Россия чувствовала себя культурной колонией Германии, а Германия — культурной колонией Франции, а двумя веками раньше Франция чувствовала себя колонией ренессансной Италии, а ренессансная Италия — античного Рима, а Рим — завоеванной им Греции. Как потом ... нововоспринятое просвещение проникало сверху вниз, это уже было делом кнута или пряника: Петр I загонял недорослей в навигацкие школы силой и штрафами, а Александр II загонял мужиков в церковно-приходские школы, суля грамотным укороченный срок солдатской службы». Понятно, в последнем случае подразумевается пореформенное время. Раньше, окончив училище, можно было избавиться от крепостной зависимости, царизм вопреки интересам помещиков давал

крестьянским детям такое право. Только не оказывалось среди них Ломоносовых: им легче было на барина землю пахать, чем головку напрягать. Этому тоже нужно умиляться?

Аморфная и нерасчлененная власть, хоть в принципе и была за просвещение, «требовала не специалистов-интеллектуалов, а универсалов: при Петре — таких людей, как Татищев и Нартов, при большевиках — таких комиссаров, которых легко перебрасывали из ЧК в НКПС, в промежутках — николаевских и александровских генералов, которых назначали командовать финансами, и никто не удивлялся. Зеркалом такой русской власти и оказалась русская оппозиция на все руки, роль которой пришлось взять на себя интеллигенции». Интеллигенция (этому слову и понятию посвящена отдельная статья) возникла в буржуазную эпоху, но не сохранилась с ее восстановлением: в 1998 году Гаспаров сказал, что, вероятно, кончается «эпоха русской интеллигенции образца XIX века, которая одна работала и за искусство, и за философию, и за политику». Целей же своих она не достигла. Чехов надеялся, что если наследующие ему люди из низов «будут вести себя, как он, то постепенно просвещение и чувство человеческого достоинства распространятся на весь народ — по трезвой чеховской прикидке, лет через двести. <...> А если чеховские двухсотлетние сроки окажутся нереальны, то это потому, что России все время приходится торопиться, нагоняя Запад, — приходится двигаться прыжками через ступеньку, на каждом прыжке рискуя сорваться в революцию».

О русской революции Гаспаров не распространялся, но, видимо, понимал ее глубже, чем тот, кто считал себя главным специалистом в этом вопросе, — относясь к нему отнюдь не высокомерно, тем более не злобно, хотя и не прощал ему слово «образованщина» (без «образованщины», то есть просветительства, «ни в России, ни в Африке — нигде ничего не получится»). «А мне Солженицына жалко, — сказано для себя, в записной книжке. — Я видел по телевизору интервью с ним после его возвращения в Москву — он держался живо, взволнованно, совсем не как учитель и пророк, и был даже привлекателен. Но передовые люди не будут его слушать, а реакционеры будут объявлять его своим — зачем ему это? «Один день Ивана Денисовича» — рассказ гениальный, «Архипелаг ГУЛАГ» — подвиг; но все, что он пишет про историю русской революции, с художественной стороны (мне кажется) посредственно, а с научной — наивно». И прогноз, и оценки ученого (стиховеда и античника!), думается, трудно оспорить. Он умел в нескольких словах выделить главное у самых гениальных прозаиков. Еще одна запись: «Пожалуй, про себя я чаще сравниваю Булгакова не с Мандельштамом, а с Платоновым. Стиль Булгакова я люблю больше, но душевно Платонов мне ближе. Революция ужасна у обоих, но Платонов не ненавидит ее оголтелых героев, а жалеет их; а Булгаков ненавидит, и ненавидит со вкусом и наслаждением. А я не люблю тех, кто упивается ненавистью. От этого бывает очень дурная инерция бесконечного взаимоистребления». Знал бы Солженицын, что умнейший из читателей жалеет его, умствующего ненавистника революционеров, так же, как придурковатых революционеров Платонова!

Вместе с тем этот противник ненависти мог весьма язвительно охарактеризовать свою современность. Вот еще несколько примеров из записных книжек. «Демократия: волки сыты, а овец не спрашивают». «Выборы. А что выборы? Выбирать-то будем между одним хреном и несколькими редьками». «В начале перестройки главной радостью была мысль: “Как много у нас, оказывается, есть политиков!” А теперь, глядя на общую борьбу, мучишься мыслию: как мало у нас политиков для такого большого народа». «Жириновский не так страшен, как многие думают: скорее, он демагог и пустослов, и движет им не программа, а личное тщеславие. Но когда так много измученного народа готовы пойти навстречу любым демагогическим обещаниям, это страшно и опасно. Я не экономист, я не знаю, как спасать Россию; но я филолог, мое дело — слово, я понимаю, как важно говорить с людьми на понятном им языке, и мне больно видеть, что этого никто, кроме Жириновского, не умеет. Старой, сталинской технике пропаганды разучились, а новой, демократической не научились». Но автор столь горьких строк не был утрюмым брюзгой. Видя в прошлом и в настоящем больше, чем другие, он и остроумен был, и относился к современности поистине философски. В 1990 году («О пользе литературы») он говорил, что представляет себе «эпохи без иллюзий: все были ужасны. К нынешней, — уточнял Михаил Леонович, — я по крайней мере привык, в ней бы и предпочел остаться». В действительности всего через год наступила новая эпоха. Гаспаров ее такой не

предвидел. Он смотрел гораздо дальше и был гораздо шире национального эгоизма (одно из наиболее неприемлемых для него понятий): «Апостол Павел... сказал, что нет ни элина, ни иудея. А Карл Маркс сказал: “Пролетарии всех стран <, > соединяйтесь!” Христианство идет к своей цели две тысячи лет, марксизм — полтора, и оба — безуспешно. Но идеал — впереди, практическая его насущность все очевиднее, и человечество его достигнет — или перестанет существовать». Вслед за Чеховым и Гаспаровым хотелось бы верить, что когда-нибудь достигнет.

Изучая и пропагандируя прошлое в его по возможности точном постижении, Михаил Леонович, получивший широкое признание лишь в последние полтора десятка лет своей жизни, сознательно работал на будущее. Дважды напомнив, что понятие вкуса было, по сути, главным еще в эстетике XVIII века, а теперь забыто, заявив, что «единство вкусов не раз оплачивало общество не меньше, чем, например, единство веры», он констатировал без паники: «Литература перестала быть объединяющей и стала разобщающей: ахматовский литприхожанин не понимает цветаевского, а сурковский — обоих. Вместо нее объединяющей становится критика, филология, служба взаимопонимания. В беседах мы спорим на самом деле не о Шекспире, а о книгах о Шекспире». Уж во всяком случае, книга М.М. Бахтина о Рабле сейчас популярнее и больше дает читателю, чем сам Рабле, который вообще лишь благодаря исследователю в XX веке стал предметом живого восприятия. Равным образом Гаспаров, помимо всего прочего великолепный стилист, сейчас интереснее и полезнее едва ли не любого здравствующего писателя. А о Бахтине, против идеализации которого как исследователя он выступал, в интервью 1989 года было сказано: «...если бы я уже в те годы читал его работы, опубликованные позднее, то, конечно, выражался бы осторожнее, мне в Бахтина и теперь трудно войти: я недостаточно чувствую его душевный склад. Но сам факт устремления замечательного ученого в будущее, который в 20-е годы объединял и Бахтина, и его современников-оппонентов, мне остается близок...» Им и объясняется «неприязнь Бахтина к устоявшимся формам словесности, его горячий интерес к тем становящимся, еще не утвердившим себя формам, которые он называл романом...» Понятно, почему и Гаспаров не мог ограничить свои научные интересы ни античностью, ни какими-либо «устоявшимися формами».

Филология для него — не просто лингвистика и литературоведение, а «служба взаимопонимания», преодоление автономности сознаний. Правда, это относится также к другим наукам. Вряд ли абсолютно справедлив, но может оказаться очень действенным афоризм 2000 года (который отражает противопоставление науки, познающей объекты в их неприкосновенности, и творчества, преобразующего их, порождающего нечто новое): «Вероятно, все искусства учат человека самоутверждаться, а все науки — не заноситься». Гаспаров-то точно никогда не заносился, со всеми был прост, для всех доступен, а только что приведенный блестящий афоризм заключил в скобки как якобы незначительно дополняющий уже сделанное дополнение к сказанному другим ученым («Ю.М. Лотман сказал: филология нравственна, потому что учит нас не соблазняться легкими путями мысли. Я бы добавил: нравственны в филологии не только ее путь, но и ее цель — она отучает человека от духовного эгоцентризма»). Не могут понять те, кто сейчас искореняет филологию в школе, да и во всей общественной жизни, насколько безнравственным делом они занимаются!). В себе самом Гаспаров благополучнейше соединял теоретически противопоставлявшиеся научное и творческое начала. «Слово — это мысль, любовь к слову — это чувство» (некролог С.С. Аверинцева, 2004). Но ведь наука филология и есть любовь к слову. «Филолог — этимологически — это тот, кто любит ВСЯКОЕ слово» (интервью 1996 года «Прогресс количественный, а не качественный»). Пятью годами раньше в письме: «Я научил себя заинтересовываться и тем, чего не хочется, — это помогало работать». О чем тут говорится, о мысли или о чувстве? И расторжимы ли они в понятии «нравственность»? Наконец, в некрологе Гаспаров объединяет свою мысль — она же чувство — и цитируемую аверинцевскую: «Избегать рациональности, избегать рефлексии — значит отдаляться от взаимопонимания: иррационализм опасен. “Нынче в обществе нарастает нелюбовь к двум вещам: к логике и к ближнему своему” — это вещи взаимосвязанные».

Что Гаспаров не противопоставлял, так это высокую и массовую культуру, относился к последней положительно, отмечал уравнивание той и другой со временем (одинаково изучают Гомера и такой «ширпотреб», как античные эпиграммы или «Дафнис и Хлоя»), осуществленный переход «сверху» «вниз» или желательность такого перехода. Правда, культура низов обеспечивает обществу стабильность, замкнутость, культура верхов — динамичность, интернациональность; одна распространяется вширь, другая — вглубь; первая может жить прошлым веком, вторая — будущим. Но так продолжается не всегда. «Наши внуки будут ценить нынешние эстрадные песенки наравне со стихами Бродского, как мы ценим наравне Пушкина и протопопа Аввакума — а ведь это тоже взаимоисключающие культурные явления».

Гаспаров упорно выступал за комментарий нового типа, смысловой, интерпретирующий, а не только объясняющий фактическую сторону произведений прошлого, но и за их приближение к новому, неискушенному читателю — адаптированный и сокращенный пересказ. Больше всего в этом отношении повезло античным мифам; Гаспаров считал, что даже и сокращенные во много раз для детей пересказы «Гаргантюа и Пантагрюэля» или «Отверженных» полезнее полных и точных переводов. Как долг перед обществом он воспринимал написание своей «Занимательной Греции» (насколько занимательной, настолько и замечательной). «И я очень хотел бы, — признавался он в предсмертной статье «Историзм, массовая культура и наш завтрашний день», — чтобы кто-нибудь помог мне привести в связь мои собственные представления о других областях мировой культуры — например, написал бы книгу «Занимательный ислам» или «Занимательный Китай». Или даже о моей собственной европейской культуре написал бы так, чтобы политические и экономические теории нашли в ней осмысленное место рядом с литературой и искусством, а военное дело рядом с модой». Школа не справляется с возрастающим объемом информации, поэтому так нужны научно-популярные книги. Учитель же, считал Гаспаров, «должен знать все школьные предметы в объеме программы-минимум и свой собственный — в таком объеме, чтобы он мог его преподавать». Если знания удастся интегрировать, «учителя-предметники схватятся за голову и начнут оплакивать участь своих наук. Но сокращение объемов знания окупится связностью знаний». Так заботился о школе человек, более кого бы то ни было достойный звания академика.

Трудно остановиться. Перед тем как засесть за рецензию, сделал выписки из 280-страничной книжки уменьшенного формата, заранее зная, что использую лишь небольшую их часть. Не использовал, пожалуй, и пятидесятой доли, даже не перечислил всех основных затронутых в книжке проблем. И хотя подобает заканчивать статью или рецензию своей мыслью, а не чужой, в данном случае без еще одной цитаты не обойтись: «Мы познаем прошлое только для того, чтобы строить будущее». Жизнь М.Л. Гаспарова — в прошлом. Его наследие — это и наше настоящее, и наше будущее.

Сергей Кормилов

Не только прощание с морокой

Ирма Кудрова. *Прощание с морокой.* — СПб.: Крига, 2013.

Ирма Кудрова широко известна своими книгами о жизни и творчестве Марины Цветаевой. Теперь читатели могут познакомиться и с ее воспоминаниями. Конечно, в них немало страниц, так или иначе связанных с Цветаевой, — воспоминания о первом ошеломлении стихами поэта, возникновении настоящего интереса к ее жизни и о цветаевских штудиях в пору почти полной недоступности ее текстов; о людях, знавших Цветаеву, к которым приводили дороги исследования и азарт поисков; о посещении мест, где прошли годы и дни поэта. Уже по всему этому поклонники Цветаевой не смогут обойти вниманием воспоминания Ирмы Кудровой. В восьмистраничном «предварении» к мемуарам автор сообщает читателям: «Я прожила долгую жизнь, не чересчур богатую внешними событиями и приключениями... Но не помню времени, когда внутренняя моя жизнь надолго замирала... И мне было интересно вспоминать: восстанавливать (хотя

бы по принципу мозаики) кусочки гостевания на этой планете. Мне захотелось увидеть, какую тропинку я протоптала и в каких обстоятельствах... После беглого обзора важнейших «внешних событий» послевоенной поры (от смерти Сталина и хрущевской оттепели до появления Горбачева) приводятся существенные для автора слова Кьеркегора: «В воспоминании есть такая “действительность”, какой никогда не имеет самое действительность». И за ними — начинаются собственно мемуары: детство, довоенный Ленинград, школа, эвакуация, возвращение, друзья юности, университет... Всегда интересно читать о том, чего не знаешь, но в этой книге много знакомых людей, мест, событий, и то, как точно, как верно о них говорится, как автор настойчиво стремится докопаться до сути, порождает уверенность в точности описания и правдивости того, о чем узнаешь впервые.

Все-таки я забежал вперед.

Если театр начинается с вешалки (по крайней мере, по Станиславскому), то книга — с обложки.

Книга Кудровой малоформатная (70 x 100), плотненькая (485 страниц нетонкой бумаги и не самого мелкого шрифта). На передней обложке — довоенное пляжное фото трех крупно снятых женщин с двумя малышами. Та, что постарше, одета в одну тюбетечку и ответственно, строго отдает пионерский салют (это и есть автор книги в младенчестве; замороченный ребенок, — подумает нестарый читатель, глядя на ее название). Эта же салютующая малышка украшает корешок книги. А на задней обложке — небольшой портрет автора, уже написавшего знаменитые книги, и ее суждение о нынешней современности: о «молодых и бесстрашных» девушках из группы «Pussy Riot» («...Они выбрали неожиданную, странную форму протеста. Но это был протест!...»). Знаменательный отрывок текста вынесен и на переднюю обложку, он обращен к современникам автора, сетующим на неудавшуюся жизнь и на то, что впереди нет просвета: «Не гневите Господа, друзья!.. Мы делали каждый свое дело, как могли, и если мы не совершили в своей жизни подвигов, то успешно уклонились и от предательства». Это «мы» — может быть, прежде всего, о себе; есть в книге и о тех, что не «мы», чья жизнь насыщена «пустяковыми, кухонными, денежно-вещевыми эмоциями».

Книга называется «Прощание с морокой». Толковый словарь под редакцией Д.Н. Ушакова определяет слово «морока» как «что-нибудь непонятное, запутанное», либо как «помрачение рассудка». В атмосфере этого всеобщего помрачения, считает автор, прошли многие годы ее поколения. И высвобождение от него шло медленно...

Ну, а поклонники Цветаевой, увидев «мороку» в названии книги, немедленно продублируют: «Тоска по родине! Давно / Разоблаченная морока...»

Однако «тоска по родине» никак не связана с жизнью и судьбой автора «Прощания с морокой». И книге ее предпослано *иное* цветаевское стихотворение:

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа
Пройти, чтоб не оставить тени...

Будь здесь время и тяготение категориями физическими, эти строки, утратив здравый смысл, не обрели бы поэтического. Использование общепринятых физических терминов вне их строго научного смысла может быть лишь метафорическим, т.е. уделом поэтов, а также людей религиозного или мистического сознания (когда, как мне кажется, и срабатывает формула «Мысль изреченная есть ложь»).

Мы, однако, задержались на «вешалке», пора в «зал».

Рядовой российский книголюб знает о Кудровой только конец «истории»: ее книжки о Цветаевой. Из «Прощания с морокой» он узнает многое иное.

Поначалу книга строится как хронологическая автобиография, вплоть до поступления на отделение журналистики филфака Ленинградского университета в 1947-м. Именно из рассказа о последних школьных годах возникает привлекательный портрет автора, многое объясняющий в ее последующей жизни. Пусть себе, приводя свои записи девятиклассницы («Хочу бороться за мировую революцию. Сколько можно ждать ее! Хочу к

Сталину — спросить: что мы, молодые, должны сделать, чтобы помочь Вам?»), автор называет себя тогдашнюю «семнадцатилетней дурой». Страницы дневника подтверждают ее раннюю принадлежность к тому необывательскому «мы», которое упомянуто на обложке. Приведу еще две характерные выдержки. Рассказывая о своей однокласснице Аде, державшейся с товарками независимо и даже презрительно, автор спустя много-много лет признается: «Ах как мне хотелось быть такой же!». Но вот запись 1945-го после слов о голоде, безденежье, нищих вокруг: «И ведь что непонятно и зловеще: так не у всех! Кучка «прозаседавшихся» — бывших НКВД и др., а иногда так глупо и обидно — и буфетчицы — как сыр в масле... Этого не должно быть! Это не наше, социалистическое! А нищие на улицах... Стыдно проходить мимо, а дать нечего...»

Когда-то Илья Эренбург, автор самых знаменитых российских мемуаров второй половины XX века, в ответ на шквал официальных нападок написал, что «критиковали и будут критиковать не мою книгу, а мою жизнь, которую я уже не могу изменить». Так всегда с мемуарами, где автор пишет не только о других, но и о себе. И так, читая книгу Кудровой, думаешь о ее жизни.

Страшный (как мы теперь отчетливо понимаем) 1952-й. Окончен ЛГУ. Была мечта: стать журналистом, постигать действительность и помогать словом правды стране и людям. Красный диплом и... предложение работать в «Пионерской правде». Ни за что! Решение изменить профессии: не журналистика, а филология. Получены профессорские рекомендации, сданы (при огромном конкурсе) экзамены в аспирантуру Пушкинского дома. Сектор советской литературы (самый идеологизированный!). Это стало одним из тяжких разочарований жизни. Гнусная обстановка, никакой самостоятельности суждений, непробиваемая бюрократическая косность и тупость. Научный руководитель — профессор В.А. Ковалев, пишущий — книга за книгой — опусы про сов-классика Леонова, которые никто не читает, и ему надо смотреть в рот. Ни за что! Диссертация об А.Н. Толстом написана, но сектором не утверждена.

Из главы о Пушкинском доме (1952—1964) вынуты в следующую главу годы 1956—1957, и тут утрачивается хронологичность: главы становятся скорее тематическими. Кудрова, строго говоря, пишет книгу не об истории своей жизни, она стремится писать о времени, в котором ей довелось жить, но пишет, естественно, о том, что вспомнилось и запомнилось именно ей. Она может забыть даты, не самые важные события, но помнит обо всех предательствах и обо всех, кто вовремя протянул руку. Пишет о марте 1953-го — о смерти Сталина и о поездке с мужем на его похороны, о 1956-м: XX съезд, доклад Хрущева, волнения в Польше, восстание в Венгрии, выставка Пикассо — это незабываемо. Но не упоминает, например, потрясший очень многих день 4 апреля 1953 года, когда объявили о прекращении антисемитского дела врачей, об оклеветанном Михоэлсе и т.д. Такие неупоминания тоже информативны...

Вспоминая про знаменитый диспут о романе Дудинцева «Не хлебом единым» в ЛГУ (к сожалению, очень немногословно), не упоминает ни сенсационный выпуск в 1956-м первого альманаха «День поэзии» (именно в нем была первая после гибели Цветаевой публикация ее стихов), ни скандал, связанный с запрещением альманаха «Литературная Москва», где во 2-м выпуске была вторая публикация стихов Цветаевой, а Илья Эренбург напечатал статью о Цветаевой и ее месте в русской поэзии. Это прошло тогда мимо внимания мемуаристки — с Цветаевой ее познакомил одноклассник и друг Лев Левицкий уже в 1960-е годы, когда вышли и «Тарусские страницы», и цветаевская глава книги «Люди, годы, жизнь». Из этого тоже кое-что следует: заполненность другим тогдашних ее лет.

Из главы «Большой дом» (1956—1957), едва ли не самой захватывающей в книге, — мы узнаем, что эти годы отмечены были напряженной политической активностью автора. Именно тогда вместе с друзьями, среди которых были ставшие известными люди: Виктор Шейнис (верный друг со школьных лет и по сей день, которому в книге посвящено немало прочувствованных страниц), Револьт Пименов (математик, мужественный диссидент, радикал, замечательный эрудит, чей портрет написан строго, без прикрас, без пиетета, но, пожалуй, скупом) — они замыслили (разумеется, нелегально) распространение закрытого доклада Хрущева о Сталине и материалов о венгерских событиях. Вот тут-то и сработала (похоже, бессмертная) машина КГБ — одних взяли сразу, других

начали прямо с работы таскать на допросы... Драматическое описание самого первого допроса, завершившегося доставкой в Большой дом отца Кудровой, — из самых запоминающихся в книге.

Так или иначе, но в 1957-м «революционная» деятельность автора сворачивается. Последующие годы она растила дочь, проводила экскурсии в музей Пушкинского дома, и при этом совершалась та серьезная внутренняя работа, которая позволила ей найти свою дорогу и реализовать заложенные возможности.

В 1964—1977 годы, уйдя из Пушкинского дома, Ирма Кудрова работала редактором отдела прозы в ленинградской «Звезде». Это литературная среда, не слишком большие возможности влиять на содержание номеров, но иногда интересная работа с авторами (среди них встречались и приличные имена — будь то Каверин, Герман, Володин, Конецкий или еще никому не известный Довлатов...) и радости первых публикаций. После пушкинодомской тоски это все-таки работа, имеющая результат, живая жизнь. Именно в эти годы началось бурное «цветаевское» погружение, ставшее делом жизни; иногда же удавалось уже и в те годы публиковать кое-что значительное: так, стараниями Кудровой в «Звезде» появились казалось бы цензурно непроходимые воспоминания дочери поэта — Ариадны Эфрон.

Не пересказывая содержания книги, отмечу все-таки, что тема «прощания» с морком сталинского и сильно ослабленных послесталинских режимов никак не исчерпывает книги. Значительная часть ее — рассказы о прекрасных людях, с которыми свела жизнь; эти рассказы написаны из чувства признательности судьбе за такие жизненные удачи (как не упомянуть тут имена Д. Дара и Э. Линецкой, Г. Померанца, М. Балцвиника...). Уже после завершающего книгу «заключения» (написанного в 2012 году) книга неожиданно продолжена исполненными душевной нежности портретами (Виктор Конецкий, переводчица Александра Андрес, Ефим Эткинд и Лидия Либединская).

Ну а пятый портрет — «Андрей (из другой тетради)» (его герой скрыт за псевдонимом) — написан с такой художественной свободой, с такой точностью передачи тончайших нюансов взаимоотношений, что появляется надежда на продолжение этой книги на новом дыхании.

Борис Фрезинский

Д В А Ж Д Ы

Евгений Сидоров. Записки из-под полы. — М.: Художественная литература, 2012.

Необязательная книга

Главное качество этой книги — ее необязательность. Что я имею в виду. Есть темы, проблемы, идеи, которыми в настоящий миг живет общество, есть явления культуры, литературы, имена и произведения, которые у всех на слуху, представляются значимыми, — и книга критика, которая говорит обо всем этом, в которой делается анализ того, что жжет и возбуждает сознание и чувства современника, естественным образом сама будет представляться значимым и сущностным явлением, книгой, отвечающей неким витающим в воздухе запросам и потребностям времени, проживаемой эпохи, если выразиться с известным пафосом.

Евгений Сидоров же, все, что сказано выше, знающий не хуже автора этих строк, издал книгу, основной формо- и смыслообразующий корпус которой составили короткие заметки, дневниковые записи, подчас буквально *записочки* (типа вот этой: «Марк Захаров, а за ним и Юрий Карякин торопятся вытащить тело из Мавзолея. Я сказал: «Сам должен уйти». И уйдет в свой срок, а не тогда, когда нам этого хочется»), мимолетно-летучие, торопящиеся, фрагментарно-обрывчатые, топорщащиеся своей внутренней невыглаженностью, не претендующие ни на какую значительность, эпохальность, монументальность, — высказывания по разным поводам, темам и сюжетам нашей российской жизни. Равно общественно-политической и литературной.

Нет, есть в книге и раздел «статейный» (здесь фундаментальность как раз дает о себе знать во всю силу, чего стоят только названия: «На переломе эпох», «Сумерки культуры»), и раздел портретно-рецензионный (скажем, о чудесном, уже ушедшем из жизни поэте Евгении Храмове, о здравствующем, слава Богу, оригинальном прозаике Вячеславе Пьецухе), но не эти разделы определяют лицо книги, ее стать, а именно тот, что дал книге название: «Записки из-под полы». Не случайно же дал. Е. Сидорову важен прежде всего он, именно этот раздел. «Не фи́га в кармане, не записки из подполья, а именно из-под полы. Как мелочь сыплется наружу из нечаянно продырявленного кармана плаща», — такими словами предваряет известный литературный критик, ректор Литинститута, министр культуры в ранние 90-е, затем представитель России в ЮНЕСКО раздел «Записок». Критик, ректор, министр, представитель в ЮНЕСКО, а ныне вновь обычный человек, простой профессор литературы в равных долях присутствуют в этих записках, иногда по отдельности, иногда соединяясь, чаще не давая о себе знать явно, но столь же явно будучи растворенными в каждой из сотен записей.

«Олег Чухонцев — прекрасный поэт для немногих. Он слишком умен (почти как Баратынский), чтобы быть непринужденным. Может быть, ему не хватает глупой отваги, а ум мешает вдохновению? Все равно, он хороший поэт!», «Своим студентам-критикам в Литинституте я внушал не увлекаться рефератами по Достоевскому или хотя бы почитать, что о нем писали другие. Через три-четыре года возник всеобщий Булгаков. Набоков сдвинул мозги не только прозаикам. Про Бродского я уж и не говорю. Моды высокой литературы шли волнами, одна за другой, накрывая школяров с головой, и лишь единицы смогли выползти на свой берег...», «Когда рушатся мировые империи, не важно какие — Римская, Британская, Австро-Венгерская или Советская, — у интеллектуалов на время возникает естественное право гражданского одиночества», «В Париже, оказывается, нет весны... Я пишу эти строки в Манте, где, по легенде, Генрих Наваррский произнес знаменитые слова «Париж стоит мессы». Прохлада с океана слегка просветляет усталые мозги. В такие минуты ищешь примирения с жизнью и смертью. Чувствуешь не то что Бога, но, по крайней мере, Паскаля, и тебе становится легче тащить свою ношу...» — вот некоторые отрывки из «записок», чтобы дать о них какое-то представление. И в самом деле: ни малейшей значительности, желания встать на некие интонационно-смысловые котурны, все просто, без надрыва, с житейской естественностью, с некоторой даже избыточной умелостью литератора-профессионала, привыкшего все свои впечатления, наблюдения, размышления и т.п. переводить в письменную форму, — так что в какой-то миг по чтении возникает и опасение, как бы стиль не начал укачивать, отвращая от чтения, как то нередко случается с произведениями *стилистов*. Но нет, материал высказываний обарывает стиль, чем дальше в глубь записей, тем больше обживаешься в них, дистанция между автором и тобой все уменьшается и наконец исчезает совсем, возникает ощущение застольной приятельской беседы, когда говоришь обо всем, что вам интересно, не выбирая предмета беседы, перескакивая с темы на тему, получая удовольствие от самого процесса общения. От непространного воспоминания о работе в газете «Московский комсомолец» в далекой уже теперь юности — к письму новому Президенту России В. Путину, на которое так и не было получено ответа, от рассуждения о лжи, правде и великолепном горьковском Сатине — к микромомуару, как к автору приходил домой человек из КГБ вербовать его в осведомители...

Автор в этих записках полностью сам себе хозяин в выборе тем, предметов, направленности разговора, в его глубине, поворотах, акцентировках — в этом и состоит необязательность его книги, его неангажированность временем и обстоятельствами. Но между тем, если вспомнить: все подлинно сущностные книги — необязательные. Их, как правило, никто не ждет, они являются городу и миру без всякого зова, их публикация вызывает даже и отторжение: мы хотим не этого, нам это не нужно, подайте другое. Проходит время, иногда недолгое, часто изрядное, и, странное дело, книга, которой, казалось бы, реакцией современников было уготовано небытие, непонятным образом обтаптывает себе место на площадке культуры, завоевывая все больше и больше приверженцев, и становится видно, что она-то и была актуальна, подлинно важна для культуры, а ко всему тому и злободневна.

Утверждать, что именно такой книгой «Записки из-под полы» и являются, конечно же, невозможно: должен минуть некий срок (а уж большой или нет, кто знает). Что можно утверждать, не обинуясь, так то, что это удивительно непринужденное, радостное и, я бы сказал, вкусное чтение. Манера автора и привлекает к себе, и располагает, она благожелательна, ясна, в ней есть благородство и чистота тона, и, чем глубже погружаешься в чтение, тем отчетливее ощущение внутренней приверженности автора жизни, основанной на понятиях чести и добродетели (так!). Автор любит мир, любит тех, о ком пишет, любит литературу, любит, наконец, свою страну — что, согласитесь, в высшей степени важно. Когда чувствуешь эту любовь, снесешь и поймешь любую критику в адрес отечества, тем более что отечество день ото дня предлагает все больше и больше поводов и причин для критики (мягко говоря).

Под конец хотелось бы вернуться к утверждению о «необязательности» книги и повторить еще раз, что это не совсем так. Раздел, где помещены статьи, очень даже «обязательный» — тому подтверждением уже собственно названия статей, о чем говорилось еще в начале рецензии. Однако же раздел, давший название всей книге — «Записки из-под полы», — перетягивает одеяло на себя абсолютно, перекрывает статьи и даже раздел «Литературные заметки», как тех и нет. Тут как бы две книги под одной обложкой, и одна затмевает другую. Возможно, их даже и не стоило бы помещать под общей обложкой. Правда, будь на то только авторская воля, автор, может быть, так бы и сделал, да авторская воля свободна лишь в момент писания. А там включаются разные привходящие мотивы и обстоятельства, и бывают они необоримы. Между тем те же «Наброски к портретам» из раздела «Литературные заметки», как и рецензия «Репетирует Эфрос», вполне и безболезненно могли бы войти в корпус «Записок...», можно было бы придумать что-то и с «Рассуждением о писателе Пьецухе», да и статьей «Поэзия как диагноз». Бывают же, в конце концов, длинные, пространные записки. А дыры в карманах плаща достаточно большие, чтобы в них проваливалась не только мелкая монета.

Да, еще фотографии есть в книге. Автор с Михаилом Ульяновым на Великой китайской стене, с Василием Аксеновым в Вашингтоне, с Эрнстом Неизвестным в Каннах и т.д. Не знаю, нужны ли были эти фотографии в такой книге. Нет у меня уверенности, что нужны. Они мне мешали, отвлекали от ее содержания, хотя герои фотографий все до одного безусловно достойные люди. Не о них книга. Не о встречах с ними. «Записки...» много шире и глубже того чисто внешнего, физического мира, что запечатлен здесь объективом фотоаппарата. На фотографиях рядом с известными людьми — литературный критик, министр, посол (деятель физического мира!), в «Записках...» — духовный образ автора, и этот образ все говорит за себя сам, не нуждаясь ни в какой визуальной поддержке.

Анатолий Курчаткин

Частички бытия

По-моему, так называемая литература нон-фикшн превзошла нынешнюю художественную на книжном рынке. Может быть, так искажают книжную действительность мои личные пристрастия младшего шестидесятника, который обожает документальную и мемуарную литературу, радуется любому восстановленному полузабытому (а то и вовсе забытому) эпизоду недавнего прошлого и негодует, когда это прошлое преподносят читателю в раскрашенной упаковке.

Помню, в начале 90-х прочитал я предвыборную листовку некоего директора крупного предприятия, пожелавшего стать народным депутатом. Он пишет о себе, вспоминает о детстве, когда в праздники с друзьями они то и дело бегали на кухню, где на конфорках булькали бульоны для студня из поросячьих ножек. Их варили соседи по большой коммунальной квартире. И так всей квартирой за одним столом отмечали праздник...

Идиллия? Вранье! Потому что директор этот, как сам рассказывает, был сыном министра. А еще с наркомовских времен министры не жили в общих квартирах: советский

инфант, выписывая подробности коммунального быта, угодничал перед простонародным избирателем.

Сколько похожей лжи мы встретим сейчас и в Интернете, и в коммунистических и националистических изданиях, и в рассказах о жизни их сотрудников и авторов!

Сказать, что книга Евгения Сидорова «Записки из-под полы» противостоит подобному вранью, было бы верно, но невероятно локализовало бы ее задачу. Он пишет о себе, о своей жизни, какая в его книге дана не во временной последовательности повествования, а лоскутками настоящего, которое он наблюдает, обрывками прошлого, оживающего в памяти. И читать подряд это страшно интересно. Потому что зафиксировано время — какой-нибудь дневниковой записью, отрывком из письма, оценкой взволновавшего всех политического события, кусочком воспоминания из детства героя или из его зрелых лет, небольшим рассказом о всем известном человеке или о мало кому известном. И здесь же отзывы о книгах, которыми зачитывался и зачитывается сейчас автор, о фильмах и театральных постановках, какие недавно посмотрел, о музыке, которую удалось послушать. Так что напрасно один поэт посетовал (его слова приводит в своей книге Сидоров): «Ну что вы все какие-то обрывки печатаете, надо сесть за книгу воспоминаний, ведь немало видели за последние годы: Правительство, Дума, ЮНЕСКО <...> Именно книгу писать, а не пробавляться какими-то записками».

А ведь «какие-то записки», изложенные именно вот так — хронологически непоследовательно, как бы случайно всплывшие в памяти, могут стать свидетельством и высокого искусства. Почитаем интернетовскую Википедию: «...отличается крайней прихотливостью построения. Никакого четкого плана не наблюдается, изложение подчиняется прихотливым извивам мысли, многочисленные цитаты чередуются и переплетаются с житейскими наблюдениями». О ком это? Как ни странно, о великом Мишеле Монтене, о его книге «Опыты»!

Я не хочу сказать, что Сидоров подражал Монтеню. Конечно, нет. Но прихотливые извивы сидоровской мысли подчиняются тем же этическим нормам, что у великого философа. В книге «Записки из-под полы» под судом этики находится наша современность — от частной жизни человека до грубого вмешательства в нее государства, от плачевного состояния нашей закатанной чиновниками культуры до редких зеленых листков, пробивающихся сквозь асфальт.

В своих философских эссе Сидоров любит выражаться коротко и емко, порой напоминая Монтеня обоснованностью прогноза и бесстрашием его высказать:

«Дух русской культуры испаряется вместе с идеей будущего. Все, что связано со словом, теряет не только многозначность, но и прямой однозначный смысл. Букварь жизни временно отменен».

Нет, пессимистом мы при этом Сидорова не назовем: он доверяет жизни. Отменен ее букварь, но временно. Не слишком радует его нынче состояние русской поэзии? Но оно, «как лакмусовая бумажка, свидетельствует о состоянии всей отечественной литературы и ее ближайшем будущем. Грядущее в тумане, но далекие огни обещают надежду и зовут в путь».

Но и оптимистом Евгений Сидоров не является. Чего ему радоваться, если он наблюдает, как «наша общественная жизнь активно поворачивается к ликвидации стыда. А ведь именно стыд — одно из главных отличий человека от животного»!

Впрочем, поворот общественной нашей жизни к ликвидации стыда действительно удручает и пугает. Мысль же о стыде, определяющая отличие человека от зверя, не может быть ни оптимистической, ни пессимистической. Это констатация биологической реальности.

Я не подсчитывал специально, но слово «стыд» и его производные в книге Сидорова встречаются очень часто.

Вот весьма примечательная записка, связанная с литфондовским сообществом, — конспект некой ссоры:

«Скорбная литфондовская повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Феликсом Феодосьевичем. Что-то там не поделили.

Стыдно на этом свете, господа!»

Аллюзия на Гоголя здесь очевидна и, конечно, неслучайна. Гоголю было «скучно» от своей действительности, переполненной чиновничьей пошлостью. «Стыдно» в книге Сидорова показывает, в какие еще более далекие дебри бессовестности завели себя нынешние начальники.

Спросят: не слишком ли много я уделяю внимания политологическим записям в книге культуролога, рассматривающего и теперешние литературу, кино, театр, и сегодняшнее положение дел, связанных с выживанием школ, вузов, театров, библиотек? В самом деле. Книга, насыщенная именами Е. Евтушенко, В. Аксенова, О. Чухонцева, А. Битова, И. Бродского, Ю. Карякина, Ю. Алешковского, В. Пьецуха, В. Конецкого, И. Гофф (это только писатели, и то далеко-далеко не все), именами таких деятелей культуры, как А. Эфрос, И. Обросов, А.А. Тарковский, Н. Зоркая, Н. Крымова, С. Юрский, А. Смирнов, чье искусство волнует автора и с кем были связаны его личные отношения, — дает срез нынешнего искусства, его направленности. Но сплетено все это в один нерасторжимый узел: художники, состояние их душ и возможность противостоять гнету, извечному на Руси. А это очень близко к политологии.

Что же до емкости и афористичности манеры Евгения Сидорова, то читатель, думаю, не пройдет мимо таких его высказываний: «Сострадание, как и гнев, вещи одномоментные», «Физически ощущаю когти стиля. Когда они проходят по тебе, болит кожа», «Кризис естественности — тяжелое наше наследие и свидетельство неизбежности внутренних политических предпочтений, несмотря на разительно обновившийся фасад».

А вот с этим высказыванием я согласиться не могу: «Олег Чухонцев — прекрасный поэт для немногих. Он слишком умен (почти как Баратынский), чтобы быть непринужденным. Может быть, ему не хватает глупой отваги, а ум мешает вдохновению? Все равно, он хороший поэт!». Чухонцев действительно прекрасный поэт! Для немногих? Помню, как в 70—80-е Чухонцев собирал полные залы своих поклонников. По сравнению с тем временем, сейчас многие выйдут поэтами для немногих. И уж чем Чухонцев бесспорно обладает, так это восхитительной непринужденностью: «Этот город деревянный на реке, словно палец безымянный на руке...» Так и хочется цитировать и цитировать, упиваясь образностью, предметностью, музыкой: «пусть в поречье каждый взгорок мне знаком как пять пальцев, — а колечко на одном!» Нет, не стал бы я сравнивать Чухонцева с Баратынским, который подчас бывает и тяжеловесным в своей философичности, и дидактичным.

Ну, а если оценивать всю книгу целиком, то опять-таки афоризмом автора: «Хороший мемуар должен быть краток, как выстрел в будущее». А в многословии автора действительно не упрекнешь.

Геннадий Красухин

ВЫСТАВКА

Пожар в муравейнике

Оранжевая меланхолия. Фотопроект Кузьмы Вострикова. Куратор Виталий Пацюков. — ГЦСИ, 2012.

В основе всякого искусства лежит портрет, даже в тех случаях, когда существо, изображаемое человеком, похоже на призрак.

Михаил Лифшиц

Все мы вышли из фейсбука, вот такая штука.

Фотопроект «Оранжевая меланхолия» был представлен в ГЦСИ, а затем в течение месяца выставка висела в московской галерее МАРС. Около трехсот фоторабот разного формата (от 10 x 15 см до 100 x 150 см) занимали три больших зала первого этажа галереи. Работы представляли собой привычную ленту фотографий пользователей со-

циальной сети Facebook, но увеличенную в масштабе. Статусный диапазон персонажей, представленных на групповых и одиночных снимках, широк — от случайных прохожих до известных персон артистического мира и политиков. Кирилл Серебренников и Владимир Мартынов, Евгений Маргулис и Борис Ельцин, Света из Иванова и Иван из Светлогорска — все были равны на ровных стенах галереи. Жанровый разброс всех трехсот снимков — также слепок современного демократизма: наспех снятые бытовые фото, постановочные кадры, черно-белые фотографии под ретро, репортажная фотосъемка. Каким же смыслом наполняет автор эти казалось бы случайно соединенные фотографии? Ответ и секрет в том, что автор наполняет их личным присутствием. Это не фигуральное выражение: фигура автора, облаченного для быстрой идентификации в оранжевый пиджак, присутствует на каждой фотографии в зале. Его лицо то открыто и пародийно копирует выражение лица исходного персонажа, то скрыто резиновой маской, бумажным пакетом, несоразмерными очками. Милая улыбка незнакомки в шубе дополняется оскалом встающего рядом автора, отчего смысл картинки меняется с «какая я симпатичная» на «какие-то мы неадекватные». Рифмой сигареты во рту многозначительно прищурившейся актрисы становится фарфоровая фигурка советского матроса во рту автора, симметрично встроившегося в кадр. Автор проекта использует свою фигуру как плагин в фотошопе, применяя свое визуальное факсимиле ко всем объектам творческого интереса. Но что именно является объектом его визуального эксперимента?

Для того чтобы составить и вырастить свою оранжерею, я подружился с тремя тысячами людей в фейсбуке... В основном моими друзьями стали художники, кинематографисты, выпускники театральных вузов... Приступив к синтезу столь любимого фейсбуком изображения, я обнаружил, что качества картинки не требуется: постановочное фото, красивый свет, ... композиция и фокус — враги современного диалекта... Чтобы от меня не веяло мертвечиной, я принялся стремительно изучать язык, потакая всему новомодному... я галопом понесся впереди фейсбука, разбрызгивая свою оранжевую вакцину как инструкцию по выживанию.

(аннотация к выставке)

Воображение рисует человека, алчно жмущего кнопку «добавить в друзья» на протяжении многих месяцев. Такая автоматическая активность, немного одобренная целевой выборкой (наравне с преобладающими персонажами медиaprостранства, простые смертные также представлены в качестве исходных персонажей), вызывает уважение. Человек хочет много дружить. Но жертвы пока не подозревают, зачем ему их скоропостижная дружба. Далее, войдя в доверие к простым смертным, художник выпускает концептуальное жало, или, используя его образ, *оранжевый шприц*, прививая свой продуманный облик на разнокалиберные дички с бескрайних полей френд-ленты. При этом ни одна из работ не выглядит как фотомонтаж: художник в оранжевом пиджаке действительно встроен в каждый из сюжетов до степени слияния с источником — современная техника дает такие возможности. Все фотографии проработаны до полного смешения подтасовки с реальным результатом. Ему бы выборы курировать...

Проект получился. Но что получилось, что было целью творческого эксперимента над реальностью? Почему пользователям Интернета нужна инструкция по выживанию? Разве они при смерти? Он считает, что да. Техническая сторона дела, подменяющая суть дела, — вот главный мессидж художника, обнажающий связанную с этим нервом жизни проблематику.

Любовь начинается с жалости... Именно жалость есть первая ступень к настоящему, разгорающемуся чувству. Сентиментальность, смешивая чувства с разумом, более корректна и толерантна к объекту. Мой проект фотографий является одной из самых сентиментальных художественных акций, когда сентиментальность обращена к большому количеству объектов страдания одновременно. По сути, это личное сентиментальное чувство по отношению к биосфере, обществу и его истории.

(аннотация к выставке)

Социальная сеть (шире — любая реклама) строит свое процветание на обмане юзеров, которым преподносят суррогат дружбы, позволяя стать не плечом к плечу — аккаунт к аккаунту. Но одиночество от такого соседства лишь возрастает. Собранные в психиатрической больнице шизофреники говорят сами с собой, а не друг с другом. Елочные игрушки не оживляют спящую ель. Коллекция орденов не делает из Брежнева большого героя, чем он есть. Судорожная дружба с тысячами незнакомых людей воспроизводит механизм сплочения, предлагаемый социальной сетью. Художник говорит о цене этой дружбы, похожей на агрессивный тюнинг дешевых машин в провинции. Результат впечатляет всех, кто неустанно дружит и постит свои лики и лайки в сети. Художник предлагает доиграть в эту ложную игру до конца, чтобы доиграться до настоящего объединения. Он ставит своего персонажа в виде рыжего маяка, веселящего юзеров среди темных валов интернет-океана. Мир жив, пока жив хоть один дурачок, берущий на себя роль кликуши-обличителя неподлинных отношений.

Настоящая любовь активна, поскольку чувство отождествляет индивида и объект вожделения. Тот, кого ты любишь, превращается в тебя самого. Вот почему любовь зачастую граничит с неловкостью, и даже с насилием. Моим объектом вожделения и моим страданием одновременно является социум.

(аннотация к выставке)

Почему необходим текстовый комментарий? Завсегдатай современных галерей с удивлением ответит, что связка *проект+комментарий* есть необходимый и достаточный признак именно современного арт-проекта, что зрителю *всегда* требуется экспресс-подготовка к восприятию. Зритель махнул рукой на свои попытки осознать художественный процесс еще со времен кубизма и дадаизма. Он приходит в галерею, как в кафе, ненадолго, он хочет пробежать глазами меню комментария и затем пойти пожрать глазами основные блюда и салаты.

Чувство неудовлетворения (голода), остающееся у зрителя, — тоже часть художественной задачи. Оно осознанно и оговорено автором, оно имеет своей причиной общий кризис художественного проекта в современном мире. Художник сегодня — заложник общемировой системы потребления. Он не может, не имеет права претендовать на слишком большие затраты зрительского времени, потому что времени нет ни у кого, несмотря на скорости автобана и быстроту Интернета. Скорость рождает еще большую скорость, как хорошее питание приводит к акселерации. Художник пропитан той же атмосферой поспешности, несмотря на большой объем и филигранность проделанной работы. Он творец все той же поспешности, с которой он сам борется. Нельзя выйти на мороз и остаться с теплыми щеками. Борьба автора с механистичностью социальных сетей и социальной реальности ведется им с неменьшей механистичностью. Фантазия, дыхание живого мышления безусловно озаряют рутинный проект человеческим светом.

Современный художник поставлен в безвыходную позицию. Ему некуда бежать от современных технологий. Слова так нужны ему потому, что литературе по-прежнему верят, слово еще имеет вес. Поэтому вывешенный при входе авторский комментарий — центр выставки, он перевешивает всю многотрудную бутафорию следующих залов. Вполне вероятно, что, лишь последовав за своим изначальным художественным импульсом и создав серию фоторабот, автор смог сформулировать подлинные причины этого импульса и словесно обозначить изъяны общества и сетевых игрушек. Фотографии были лишь подготовительной работой — как наскальная живопись, подготавливавшая рождение речи.

Художник ходит по уже открытым кругам ада, хоть и раскрашивает видения личным переживанием. Фотоколлаж так и останется шуткой, но прямая речь никогда не бывает всецело ироничной. Бочка самого оранжевого хохота всегда подпорчена ложкой подлинного личного страдания. Слово, бывшее в Начале, продолжается.

Текущее компьютерное общество подавляет вековые традиции общения. Вместо ощущений телесности на маленькой кухне, запечатанного конверта с письмом от близкого человека, плеска волн, горячего песка, мокрого соленого полотенца в южную ночь, мы получили на стол компьютер с проводами и множество картинок... В шлейфе чувств к

обществу мое пространство личного заведено как тетрадь, тригонометрия которой подчиняется ограниченным объемам регламента социальных сетей: технология передачи чувства должна быть визуальной.

(аннотация к выставке)

Да, художник обречен говорить с обществом, подделываясь под общий сленг и тренд. Автор с тоской обращается к визуальному языку социальной сети и крадет ее инструментарий для борьбы с ней. Современный рыцарь скачет с цифровым копьём творчества на цифровую мельницу безразличия. Погибнуть нельзя победить.

Павел Лукьянов

СПЕКТАКЛЬ

Р.Р.Р.?

«Р.Р.Р.» По мотивам романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

Спектакль Театра имени Моссовета. Сценарий, постановка, сценография и костюмы: народный артист России, лауреат Премии города Москвы Юрий Еремин.

Отправляясь на очередной (который по счету!) спектакль по «Преступлению и наказанию», очень хотел, чтобы он мне понравился. Было ли то желание в кои веки написать положительную рецензию, или просто встретиться еще раз — надоест это не может — с великим творением, при всяком более-менее удачном театральном воплощении открывающим новые смыслы (хотя бы потому, что соприкасаешься с текстом через человеческое бытие и энергетику актеров, а не через собственные умозаключения и переживания)? И то, и другое, наверно, да и день был праздничный.

Но игру актеров и весь спектакль выстраивает режиссер. И вот тут-то — главная проблема. Выскажу крамольную для театральных людей мысль: содержание каждого из романов Достоевского настолько сложно и глубоко, столь недостаточно еще понято нами, что если даже вычленишь несколько ключевых сцен и воспроизвести их талантливо и достоверно, не отступая от текста, — зрители уйдут обогащенными и еще долго будут думать над самыми главными в жизни человека вопросами. Но нам ведь все кажется, что Достоевский чего-то, по сравнению с нами, недопонимал, да и — как принято думать в соответствии с модным ныне мыслительным трендом — слишком был религиозен, несколько *наивно* веровал, что самое страшное зло преодолимо любовью к Богу и человеку (а мы-то, с нашим опытом XX века, знаем...). А потому почти каждая инсценировка его прозы превращается в спор с писателем.

Оно бы и ладно. Согласно еще одному популярному ныне убеждению, бесконечный диалог, благожелательный спор всегда лучше бескомпромиссного внутреннего убеждения в истинности собственных взглядов. Но вот в чем, однако, проблема: для спора тоже ведь нужна какая-никакая исходная позиция. А такая позиция по коренным вопросам человеческого существования уже есть вера — или ее отсутствие. Вот, скажем, создатели недавнего мхатовского спектакля по «Преступлению и наказанию» (писал о нем в «Знамени» в прошлом году — № 9) убеждены в том, что «люди совершенно потеряли Бога. Они грубы, пусты, выхолощены, бесчувственны» (из листовки-анонса), и это убеждение твердо выдерживается на протяжении всего сценического действия. Насколько сие согласуется с Достоевским — другой вопрос.

В чем концепция «моссоветовского» спектакля? Пытаюсь воссоздать ее, вспоминая увиденное, — но в памяти вновь и вновь всплывает прежде всего стрекот пишущей машинки, своеобразный лейтмотив постановки. На машинке выстукивает свою статью о «праве на преступление» Раскольников (с этого начинается действие), выпечтываются строки (в дореволюционной орфографии, с «ерами» и «ятями») на периодически спускающемся сверху экране или на заднике сцены, ладно бы только строки из

самого романа — но нередко и дописанные самими создателями спектакля (что, на мой взгляд, нехорошо — вряд ли многие из сидящих в зале способны сразу отличить одни от других), на машинке стучат и Порфирий Петрович, и поручик Порох... Зачем это? Для большинства зрителей (в зале, как всегда «на Достоевском» — и слава Богу! — было много молодежи) это устройство такая же архаика, как и гусиное перо, но для времен Достоевского — нескорое будущее (первые машинки появились лишь спустя лет десять после написания романа, и стоили так дорого, что представить их в каморке нищего студента невозможно; а писать *прямо* на машинке стали лишь в XX веке). Хотели выйти таким образом во «вневременность», не решаясь при этом сразу дать Раскольникову в руки «клаву»? Боюсь, однако, что единственный результат такого приема — убеждение части зрителей, что и Достоевский писал свои романы на машинке. Еще подобные примеры — патефон (появился только перед Первой мировой) в комнате старухи-процентщицы (она слушает *пластинку* перед «смертельным» приходом Раскольникова!) и в комнате, где Свидригайлов пытается соблазнить Дуню; добротные кожаные портфели у Раскольникова (!) и Порфирия Петровича.

Но пора от деталей перейти к главному. Главным препятствием для всех инсценировщиков и экранизаторов «Преступления и наказания», пытающихся представить это произведение как экзистенциально-безысходную «жизненную» драму, являются — сцена чтения Соней Раскольникову главы из Евангелия от Иоанна о воскрешении Лазаря (указующую, помимо надежды для Раскольникова, на подлинного Владельца жизни и смерти) и эпилог, рассказывающий о воскрешении уже самих Раскольникова и Сони. Ну, эпилог принято благополучно «отсекать» в большинстве инсценировок этого романа (тут и Бахтин помогает: эпилоги ведь у Достоевского «монологичны», а это нехорошо; хотя вряд ли люди театра руководствуются здесь именно «Проблемами поэтики...»). С «евангельской» сценой сложнее — уж больно она выгодна драматургически, да и если совсем вынуть из произведения его стержень, есть риск, что все рассыплется. Тогда пытаемся справиться иначе. В упомянутом «мхатовском» спектакле Соня достает Евангелие из таза с грязным бельем, читает несколько строк и, засунув Книгу обратно, уходит. Здесь решение еще более оригинальное: Соня находит по просьбе Раскольникова соответствующее место в Евангелии, после чего уже сам Раскольников читает главу молча, про себя, расхаживая по сцене. Таким образом, сцена есть, а самого текста нет. Хорошо, повторюсь, если зритель сможет воспроизвести всю главу в своем сознании — вплоть до заключительных слов Христа «Лазарь, гряди вон! <...> Развяжите его, пусть идет» — указывающих на дальнейший путь Раскольникова. Но, боюсь, для многих из присутствовавших в зале это не так, да и не воплощенное здесь и сейчас слово — не *слово*. Религиозная составляющая вообще настолько элиминирована в спектакле, что, когда кто-то из актеров крестится, в зале раздаются смешки.

Стержнем спектакля тогда могло бы стать признание Раскольникова (правда, уже почти в конце романного действия): «О, если бы я был один и никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил! *Не было бы всего этого!*». Здесь загадка для многих интерпретаторов этого *первого* из великих романов Достоевского (а возможно, и для самого писателя: отметил же он для себя в черновиках — «уничтожить неопределенность, т.е. *так или так* объяснить всё убийство»): кто же все-таки Раскольников — мученик, взявший такое немислимое страдание на себя из любви к людям, или «неудавшийся Наполеон», желавший только выделиться из толпы «обыкновенных»? Но в данном спектакле любовь Раскольникова к людям, увы, только продекларирована вышеприведенными фразами на экране. Молодой артист А. Трофимов старается, но ни показать нечеловеческих мук Раскольникова *после*, ни его мучительных размышлений *до*, ни страшную борьбу света и тьмы в его душе — не получается (пластичных перекачиваний по сцене для этого недостаточно). На следующий день после преступления Раскольников выбрасывает портфель со всем награбленным у старухи в Неву, чем вроде бы дает нам понять, что убийство совершено им действительно только для того, чтобы доказать себе, что «право имеет», а мысль о будущих «добрых делах» его не волнует (в романе он зарывает все под камнем в определенном месте).

«У него лицо ангела» — так по воле создателей спектакля говорит о Раскольникове Катерина Ивановна и исполняет полностью стихотворение «По небу полуночи ангел летел». Но затем Порфирий Петрович в *придуманной* сцене демонстрирует (с помощью

фотопроектора), что и со «зверским» лицом можно быть замечательным ученым-гуманистом (!), а с лицом ангела — убийцей. Лицо — никак не «лик души», надо сделать вывод. И совесть («судящий во мне Бог», по определению Достоевского), оказывается — согласно опять же придуманной инсценировщиками реплике Раскольникова, — «у людей необыкновенных ведет себя необыкновенным образом». Сложный все-таки писатель Достоевский.

Ну а если серьезно, то в итоге многозначное имя *Родион* (крещен в честь апостола) *Романович Раскольников* действительно съезживается здесь до Р.Р.Р. — подписи под статьей «о преступлении». Вследствие такого не смешения даже, а изъятия центра тяжести перекашивается вся романная конструкция: главное теряет удельный вес, а второстепенное и третьестепенное выдвигается вперед (меня вот занимает, в частности, такой вопрос: почему при безжалостном сокращении ключевых монологов и диалогов при инсценировках «Преступления и наказания» упоминание о геморрое Порфирия Петровича никогда не забывается, а то и разрабатывается подробно?).

Роль Сони оказывается эпизодической, сводится к минимуму — и за эти пределы К. Щербаковой выйти не удастся (судя по уже опубликованным откликам, не удастся и ее «сменщице» А. Прониной — и это не вина актрис, конечно). Свидригайлов в романе — мощный оппонент Раскольникова, обличающий его внутреннее желание «ходить бледным ангелом», быть романтическим героем и прокурором общества («Шиллер-то в вас смущается поминутно <...> Если же убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушенок можно лущить чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку!»), и одновременно двойник героя, тоже безуспешно пытающийся обрести позицию за границами добра и зла. А здесь он в исполнении А. Яцко — лишь престарелый бонвиван, безуспешно пытающийся соблазнить Дуню (их исполненная невероятной внутренней страсти последняя сцена представлена комически-пошло: полураздев Дуню и уложив ее на диван, Аркадий Петрович ложится сверху и лишь спустя некоторое время, встав, задает те самые отчаянные вопросы — «Так не любишь? <...> И... не можешь?.. Никогда?»).

В результате на первый план выдвигаются два хороших актера — В. Сухоруков и Н. Дробышева. Я намеренно называю здесь актеров, а не персонажей — Порфирия Петровича и Катерину Ивановну, — ибо, по существу, спектакль превращается в череду их сольных номеров, неизменно сопровождаемых овацией зала — то есть в некотором роде концерт.

А главным выводом из всего действия становятся ... слова из разговора Алеши и Ивана Карамазовых, переданные, конечно же, Порфирию Петровичу («человеку поконченному», напомним): надобно «жизнь полюбить больше, чем смысл ее» — это как бы ответ на желание Раскольникова заменить Царство Небесное на Царство рассудка (так написано на экране, однако такого желания у Раскольникова в романе нет). Но в разговоре братьев фраза имеет продолжение: «и тогда я и смысл пойму». А что же такое *жизнь* и каков все же может быть ее *смысл*? На эти *простые* вопросы спектакль не пытается ответить.

Удачна сценография — хорошо воссоздана атмосфера «достоевского» Петербурга, с почти постоянным отсутствием солнца, горбатыми мостиками над темной водой и тускло светящимися в темноте газовыми фонарями (кажется, за пределами этого полусвета уже вообще ничего не осталось: или там все мираж, или здесь все во сне происходит). В финале черный шар, все время висающий над Раскольниковым, оказывается светлым и спускается в его объятия (так герой принимает мир?), в струящейся дымке Раскольников и Соня еще несколько раз перекатываются по сцене, ей удается, наконец, передать Раскольникову крест, он берет девушку на руки и уносит (возникает странноватая переключка с тем самым лермонтовским стихотворением — ангел ведь «душу младую в объятиях нес / Для мира печали и слез»). Как бы то ни было, рождающееся в итоге светлое чувство побеждает негативные эмоции, зал аплодирует. Люди ведь действительно хотели как лучше.

Карен Степанян

незнакомый журнал

Под одной крышей

Персонаж: Тексты о текстах (Уфа).

Споры о «бумажной» прессе и ее будущем ведутся уже не первый год. Пора ли отправить традиционные носители информации в музей или они (пока?) живее всех живых? А если и сохранятся, то изменятся ли их функции, и если изменятся, то как именно? Но пока кипит эта дискуссия, «традиционная» пресса продолжает выходить, и появление новых изданий — не только столичных, но и региональных — подтверждает тезис о ее жизнеспособности.

Хороший пример такого издания, способного вызывать интерес и у тех, кто отвык от шелеста бумажных страниц, — критический журнал «Гипертекст», который издается с 2004 года в Уфе. У русского литературного журнала есть одна функция, которая, скорее всего, сохранится при любых его метаморфозах: он не равен самому себе, а всегда представляет собой нечто большее, становится своего рода местом силы, вокруг которого собираются авторы и культуртрегеры и происходят разного рода события. Вот и «Гипертекст» помимо собственно издания журнала участвует в проектах, связанных с современным искусством, культурно-просветительской деятельностью и развитием самиздата.

Один из таких «гипертекст-проектов» — литературное приложение «Персонаж» с подзаголовком «Тексты о текстах» (главный редактор Ольга Левина). В конце декабря 2011 года в уфимском Арт-клубе прошла презентация его первого номера. В отличие от «Гипертекста», где публикуется только критика, «Персонаж» знакомит аудиторию и с текстами молодых писателей. На сегодняшний день вышло три номера журнала.

Создателям проекта удалось найти свежий, нетривиальный подход к изложению. Структура журнала по-своему уникальна: она воплощает принцип мгновенной реакции, интернет-комментария, оставленного непосредственно под текстом. Диалогичность была задана еще старшим собратом — «Гипертекстом», а здесь она возведена в абсолют. Ход, казалось бы, простой, но действенный. Такая концепция порождает полемичность, и начинающим литераторам нужна определенная смелость, чтобы публиковать здесь свои произведения: читатель ознакомится с ними, но не ограничится этим, а сразу же прочитает и рецензию. Но такая форма позволяет напомнить, что, в конце концов, писатель и критик — не антонимы, они не сидят по разные стороны баррикад, а участвуют в одном процессе и делают общее дело. Да и, в конце концов, законы сюжетосложения требуют конфликта между персонажами — так гораздо интереснее: появляется интрига.

В первом номере журнала представлены три подборки стихотворений, пять прозаических циклов, рассказ и драма в одном действии и, соответственно, восемь рецензий. От оценки представленных произведений критики переходят к обобщениям, касающимся современной литературы в целом. Например, Рустам Габбасов называет цикл «Проза ж» Ольги Елагиной «живожурнальным»: «сегодня жанр короткого рассказа окропили живой водой блогеры, и мы наблюдаем подлинный расцвет такой прозы в масштабах от эмоционального лытдыбра до авторской философской мысли», но отмечает, что от обычной записи в блоге его все же отличает авторская воля, замысел — и в этом «шаг от рядового поста» к литературе. Любовь Каракуц ищет современного поэта: «поэт XXI века — старец, но старец свифтовский, бессмертный, слишком быстро доживший до черного пятна на лбу и обреченный на вечную центрифугу повторений» («Наталья и красный петух»), а Наталья Санникова жалеет о том, «что стихи вообще оценивают»: «отмечаем условный поэтический спирограф как инструмент диагностики. Вместе с ним — здравый смысл, логику и прочую прозу. Прибор ночного поэтического виденья нам, пожалуй, пригодился бы» («поэзия сумерек. сумерки поэзии?»).

Сами произведения чаще всего строятся на наблюдениях, микросюжетах, фиксации настроений. Герои — самые разные: не-совсем-кэрроловские Снарки, которые пекут хлеб с солнечными зайчиками и устраивают цветные дни, выпускники гуманитарных факультетов, пьющие вино в тамбуре, будущие «герои книжек для старших классов»...

Многие рецензии, даже не самые благосклонные, заканчиваются формулой, которую обобщенно можно представить так: несмотря на недостатки и шероховатости видно, что у автора есть потенциал, который, надеемся, раскроется в дальнейшем его творчестве. Эту же формулу хочется применить и к самому «Персонажу»: мелкие огрехи корректуры и какие-нибудь еще недостатки (а у кого же их не бывает!) легко простить за новаторскую концепцию журнала, за его лаконичное оформление (номер проиллюстрирован Елизаветой Зайниевой), за строгий отбор и высокое качество представленных текстов.

Авторы «Перонажа» — не только уфимцы. Некоторые из них живут на два, а то и на три города: Уфа — Москва, Челябинск — Москва, Уфа — Манчестер, Ростов-на-Дону — Рязань — Москва — распространенная ситуация для многих провинциалов. Но место проживания не столь важно, ведь все они находятся в пространстве литературы, где писатели и критики обитают под одной крышей, в одном литературном общежитии, и ведут плодотворный диалог. Создатели журнала приглашают к участию в его жизни всех желающих — свидетельство открытости. В этом смысле «Персонаж» выгодно отличается от некоторых провинциальных журналов, существующих для того, чтобы хвалить друг друга и проводить время, обсуждая, насколько прекрасен наш круг.

Справедливости ради нужно упомянуть и о других удачных провинциальных изданиях: например, нижегородский «Дирижабль», коломенская «Околоколомна». Но у «Персонажа», как и у «Гипертекста», есть перед ними преимущество для иногородних: его значительно проще раздобыть.

Достойна уважения и ответственность редакции. Ветреный столичный житель любит объявить о грандиозном проекте, повесить громкую претенциозную вывеску, за которой ничего нет, а потом забросит начинание на стадии подготовки и убежит придумывать что-то новое. Провинциалы же подходят к делу основательно, не бросают начатый проект — и, сочетая легкость подачи материала с серьезной работой, выигрывают.

И одни будут говорить, что провинция — это вам не столица, и любые события, происходящие там, незначительны и не заслуживают внимания, а другие — что только в провинции и остались настоящие таланты. Но из этих банальных рассуждений не рождается ничего нового, а лучшее, что можно делать (если вы, конечно, не даос) — действовать, пытаться что-то создавать, и мироздание уже само разберется, что нужно, а что нет — и, судя по тому, что «Гипертекст» и его проекты живут и развиваются, мироздание, кажется, его одобряет.

Благодаря уверенному тону, с нотками устремленности «вперед и ввысь», пресс-релиз «Гипертекста» напоминает манифест. Прочитую его еще раз: «Не заикливаясь только на явлениях местного порядка, журнал пытается создать образ города Уфы для тех, кто извне». Автор этой рецензии как раз извне: я никогда не была в Уфе, но после ознакомления с «Персонажем» в моей голове сложился ее образ — уютный город, яркие и талантливые обитатели и их гости, всегда готовые к со-творчеству и доброжелательному диалогу. Может, съездить и проверить?

Ольга Степанянц

Сергей ЧУПРИНИН

главный редактор
(495) 699 52 38, chuprinin@znamlit.ru

Наталья ИВАНОВА

первый заместитель главного редактора
(495) 699 39 60, ivanova@znamlit.ru

Елена ХОЛМОГорова

ответственный секретарь
(495) 699 46 24, holmogorova@znamlit.ru

Евгения ВЕЖЛЯН

отдел прозы
(495) 699 47 84, vejlyan@znamlit.ru

Ольга ЕРМОЛАЕВА

отдел поэзии
(495) 699 42 64, ermolaeva@znamlit.ru

Анна КУЗНЕЦОВА

отдел библиографии
отдел публицистики
(495) 699 52 18, kuznecova@znamlit.ru

Карен СТЕПАНЯН

отдел критики
(495) 699 48 71, stepanyan@znamlit.ru

Ольга ТРУНОВА

отдел прозы
(495) 699 47 84, trunova@znamlit.ru

Елизавета ПОЛУКЕЕВА

корректор

Евгения БИРЮКОВА

допечатная подготовка, производство,
распространение
(495) 699 80 67, bir@znamlit.ru

Валерий КАЛНЫНЬШ

художник

Людмила БАЛОВА

исполнительный директор
(495) 699-48-98

Марина ГАСЬ

бухгалтер
(495) 699-48-98

Наталья РОГОЖИНА

компьютерный набор
(495) 699-48-71

Марина СОТНИКОВА

заведующая редакцией
info@znamlit.ru
(495) 699-52-83

**Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке
Федерального агентства по делам
печати и массовых коммуникаций**

Электронная версия журнала:

<http://magazines.russ.ru/znamia/>

адрес редакции:

123001, Москва,
ул. Большая Садовая, 2/46
(вход с улицы Малая Бронная).
Для справок: (495) 699 52 83 т/факс,
info@znamlit.ru

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации №20 от 28.08.1990.
Учредитель — трудовой коллектив
редакции журнала «Знамя»
Издатель — ООО «Знамя»

Сдано в набор 15.03.2013.
Подписано к печати 17.04.2013.
Формат 70х108 1/16.
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз.
Заказ № 2034

Отпечатано в типографии ОАО
«Издательский дом «Красная звезда».
123007, Москва, Хорошевское ш, 38.
<http://www.redstarph.ru>

**Журнал «Знамя» благодарит фонд
«Финансы и Развитие», который
выписал и направляет часть тиража
в библиотеки экономического профиля**

**СВЕЖИЕ НОМЕРА «ЗНАМЕНИ»
И НОМЕРА ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОЖНО
ПРИБРЕСТИ У НАС В РЕДАКЦИИ**

Также представлены журналы
«Арион», «Вопросы литературы»,
«Дружба народов», «Если», «Звезда»,
«Иностранная литература», «Континент»,
«Нева», «Новый мир», «Октябрь», альманах
«Достоевский и мировая культура».

Метро «Маяковская», ул. Большая Садовая, 2/46,
вход с Малой Бронной ул., тел. (495) 699 80 67

*Присланные рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Редакция не имеет
возможности вступать в переговоры
и переписку по их поводу, а только извещает
авторов о своем решении.*

*Материалы, поступившие по e-mail, а также
рукописи объемом более 10 авторских листов
(400 000 знаков) не рассматриваются.*

Всеволод БЕНИГСЕН. Двоежизнцы
Равиль БУХАРАЕВ. Хасанов,
или Блуждающий сад
Сергей БОРОВИКОВ. В русском жанре-46
Юрий ДАВЫДОВ. Дневники и записные
книжки
Игорь ДУАРДОВИЧ. Ташкентская школа
Игорь ГОЛОМШТОК. Эмиграция
Максим ГУРЕЕВ. Покоритель орнамента
Полина ЖЕРЕБЦОВА. Путь
политэмигранта
Елена ЗЕЛИНСКАЯ. Дом с видом на Корфу
Екатерина ИВАНОВА. «...В бесконечном
аду языка»
Алексей КОНАКОВ. Нате
Владимир МАКАНИН. Мойщик

Юрий МАНН. Клочки воспоминаний
Андрей НЕМЗЕР. Дело наше – почти
антропологическое
Максим ОСИПОВ. Кейп-Код
Григорий ПОМЕРАНЦ. О духе цивилизаций
Ольга СЛАВНИКОВА. Уступи место
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма
Алексей ЦВЕТКОВ. Отставка из рая,
или Новый Холстомер
Константин ФРУМКИН. Российская
фантастика и мирный труд
Владимир ШАРОВ. Возвращение в Египет
Алексей ШМЕЛЕВ. Языковые концепты
Владимир ШПАКОВ. Забастовка
Юлия ЩЕРБИНИНА. Чтение в эпоху
Web 2.0

новая проза

Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,
Владимира БЕРЕЗИНА,
Андрея ВОЛОСА,
Максима ГУРЕЕВА,
Елены ДОЛГОПЯТ,
Александра КАБАКОВА,
Юлии КОКОШКО,
Александра КОТЮСОВА,
Ильи КОЧЕРГИНА,
Эдуарда КОЧЕРГИНА,
Владимира КРАВЧЕНКО,
Маргариты МЕКЛИНОЙ,

Ильи ОГАНДЖАНОВА,
Даниэля ОРЛОВА,
Юрия ПЕТКЕВИЧА,
Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Александра СНЕГИРЕВА,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Игоря ФРОЛОВА,
Наталии ЧЕРВИНСКОЙ,
Владимира ШПАКОВА

новые стихи

Михаила АЙЗЕНБЕРГА,
Дмитрия ВЕДЕНЯПИНА,
Константина ГАДАЕВА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Михаила ДЫНКИНА,
Алексея ЗАРАХОВИЧА,
Михаила ИВЕРОВА,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Всеволода КОНСТАНТИНОВА,
Михаила КУКИНА,
Ильи КУТИКА,
Инны ЛИСНЯНСКОЙ,

Владимира НАВРОЦКОГО,
Олеси НИКОЛАЕВОЙ,
Евгения РЕЙНА,
Владимира РЕЦЕПТОРА,
Ксении РОГОЖНИКОВОЙ,
Андрея САННИКОВА,
Ольги СЕДАКОВОЙ,
Юрия СЕРЕБРЯНСКОГО,
Ф.К.,
Алексея ЦВЕТКОВА,
Михаила ЧЕВЕГИ,
Олега ЧУХОНЦЕВА

адрес редакции:

123001, Москва

ул. Большая Садовая, 2/46

телефон/факс: 699 52 83

e-mail: info@znamlit.ru